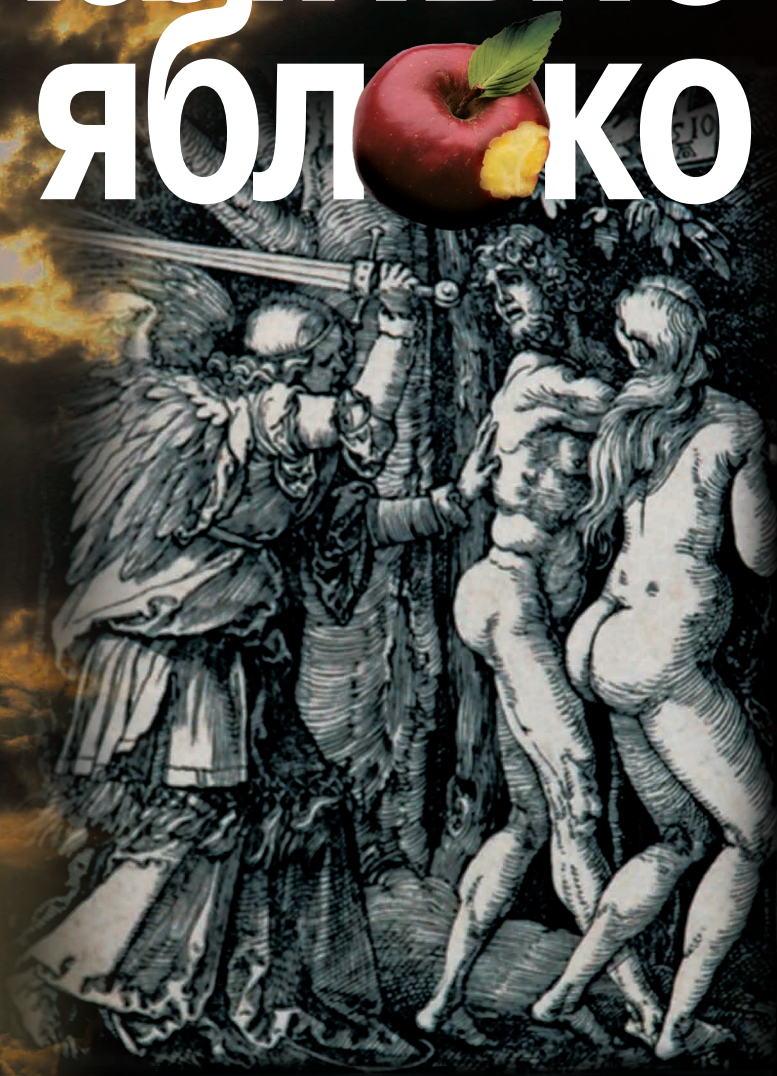
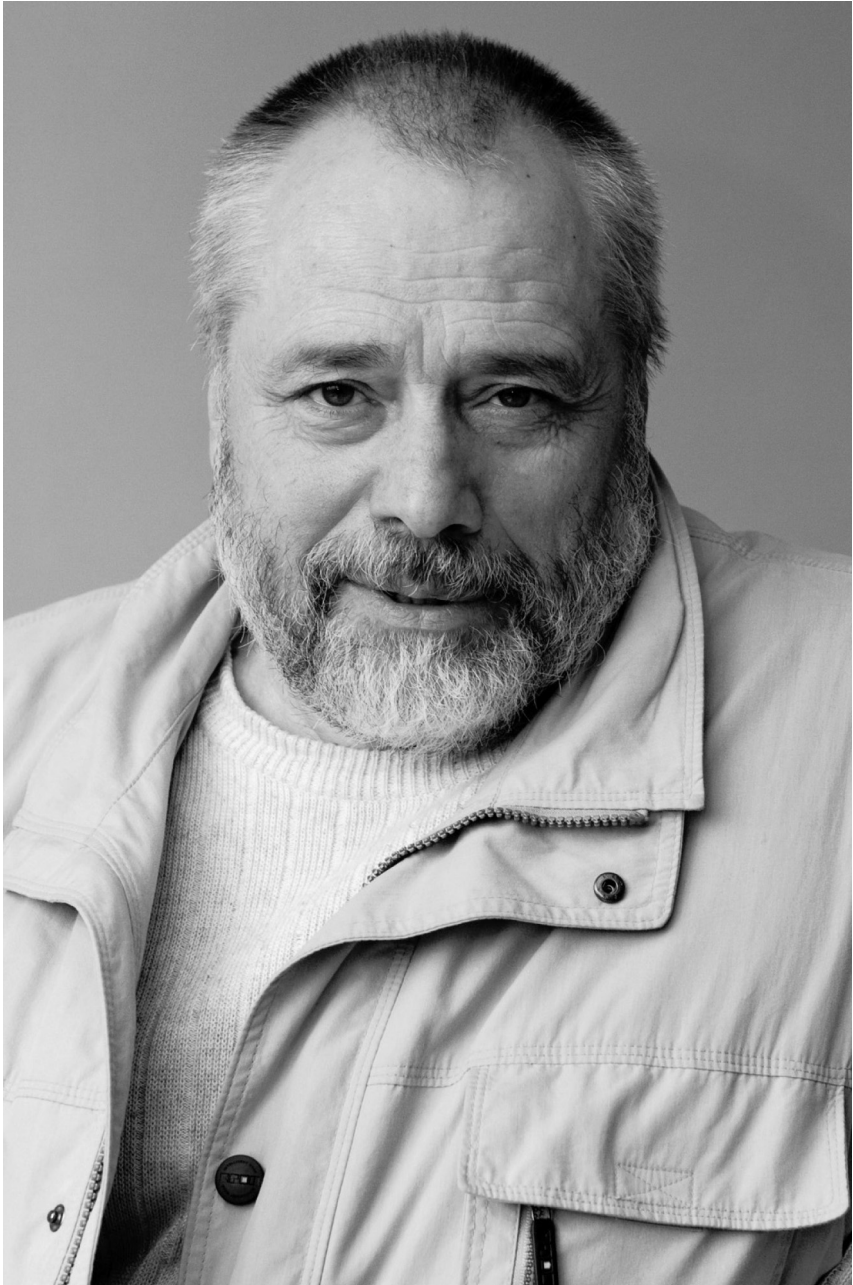


Владимир КАНТОР Наливное ябл^{ко}
ко

Владимир
КАНТОР

Наливное ябл^{ко} ко





Владимир
КАНТОР

**Наливное
яблоко**



Летний
сад
Москва
2012

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
К19

Художник П.П. Ефремов

Кантор В. К.
К19 **Наливное яблоко.** Повествования / Владимир Кантор. — М. :
Летний сад, 2012. — 430 с.
ISBN 978-5-98856-137-8

Каждый настоящий писатель по сути своей автобиографичен. Его собственная жизнь является своеобразным опытным полем, на котором он исследует, пытается понять естество и сущность человека. И неважно, насколько отстраненно, в каких образах он потом передает свои открытия. Гоголь как-то написал, что и Чичиков, и Манилов, и Ноздрев, и Хлестаков – все вышли из его души. Существенно, что художественный автобиографизм отнюдь не означает пересказа реальных событий, случившихся с автором. Без сочинительства нет писательского произведения. Автобиографизм и художественная конструкция всегда есть единое целое. Автор известных романов «Крокодил», «Крепость», романа-сказки «Победитель крыс» предлагает вниманию читателя книгу повествований, связанных между собой темой жизни человека – его взрослением и старением. Если угодно, это книга о жизни, разбитая на ряд эпизодов, порой грустных, порой смешных, порой трагических. Говоря словами Пушкина, «собрание пестрых глав».

ISBN 978-5-98856-137-8

© Кантор В.К., 2012
© Летний сад, 2012

Часть первая

Книжный мальчик



Наливное яблоко

Рассказ

Я запишу эту историю так, как увидел ее в детстве. То есть не совсем в детстве. Мне было уже лет двенадцать-тринадцать. Но, будучи ребенком в достаточной степени домашним, более погруженным в книги и семейные переживания, нежели во внешнюю жизнь, я не замечал многого, что другие мои сверстники знали как бы на ощупь. Разумеется, я знал многое и про многое читал и слышал, но все это слышимое и известное я как бы не видел. По нашему двору ходили вежливые, благообразные люди, при встрече они раскланивались, приподнимая или даже совсем снимая шляпы. И со мной тоже раскланивались, и я отвечал весьма вежливо, хотя почти никого не знал по имени-отчеству, разве что в лицо. И мне до того случая и в голову не приходило, что среди этих, даже каких-то бесполох от вежливости людей могут быть страсти, борьба, противостояния, «подсидки» и вообще *подлости* (о чем я читал в книгах, но в жизни не сталкивался) и здесь, в нашем, зеленом отгороженном от улицы (и, казалось, тем самым от низменных страстей) дворе, можно увидеть «провал в адскую темноту». Но так я, во всяком случае, тогда увидел и подумал.

Был, наверно, август, конец месяца, последние дни до школы. Я вернулся из деревни, где на лето родители снимали дачу, и, одуревший от дачного бездумья и бесчтения, взялся сразу читать «толстые» и «серьезные» книги, с удовольствием чувствуя, как наполняются ум и душа, примерно так же, как после тренировки укрепляются мышцы и приходит в результате хорошее самочувствие. Во дворе никого из ребят ещё не было, значит, не вернулись с каникул, и, стало быть, до начала занятий оставалось не меньше недели.

Несмотря на предчувствие осени (появившиеся кое-где желтые листья, темно-красные продолговатые ягоды барбариса на колючих кустах с редкими маленькими листочками, выгоревшая, темная и старая трава на газоне, а также сумки и авоськи, набитые фруктами), дни были ещё вполне летние, жаркие, и я торчал на улице, читая и с приятностью одновременно ощущая, как сквозь листву липы падает на меня свет и жар солнца. Обычно до обеда я сидел на скамье в липовой аллейке, разделявшей два больших газона с кустами сирени по углам и

крестообразными дорожками, обсаженными кустами барбариса. А когда надоедало читать и хотелось просто бесцельно думать ни о чем, я складывал книгу, зажимал палец между страницами и медленно ходил вокруг клумбы по барбарисовым дорожкам, срывая, жуя и сплевывая продолговатые красные, тощие и кисловатые ягодки. И состояние духа было спокойное, вдумчивое, исполненное серьезности и самоуверенности. Я очень нравился себе в такие минуты, мне казалось, что все в жизни понимаю, а если и не все, то непременно через время пойму. В тринадцать лет ведь думаешь, что год, ну от силы два — и в восьмом, а то и в седьмом уже классе ты будешь взрослый и всезнающий.

Так я гулял по дорожкам газона, что расположен был как раз перед моим подъездом, когда с балкона второго этажа меня окликнул высокий, толстый человек, одетый в теплый байковый халат и шерстяные лыжные брюки с начесом (видные сквозь прутья балкона).

— Скажи мне, мальчик, ты — Боря Кузьмин?

Он стоял, опершись толстой грудью и ладонями о перила балкона. На голове у него была феска с кисточкой, а его большой горбатый нос был замечен даже на расстоянии и напоминал клюв коршуна, как его рисуют на картинках. Кто он, я знал: Сипов Георгий Самвелович, профессор института, где работали раньше дедушка Миша и бабушка Лида. Я с ним ни разу не разговаривал, как, впрочем, со многими другими, хотя Сипов жил прямо под нами и я каждый день видел его во дворе. Он ходил, выпятив живот и грудь, держа в кулаке ручку огромного, но плоского ледеринового портфеля, глядя перед собой и немного вверх, и на робкое «здрасьте» когда отвечал, а когда и нет. Важность Сипова передавалась не только его злой, тощей и старой жене, передвигавшейся мелкой, быстрой, переваливающейся походкой и раздраженно стучавшей по асфальту палкой, но даже его домработнице, без зазрения совести вытряхивавшей половики прямо на лестничной площадке. Она даже не очень-то спешила спрятаться за дверь, когда кто-нибудь поднимался по лестнице, и пыль летела вам прямо в физиономию.

Вопрос, Боря ли я Кузьмин, насторожил меня. Уж не сделал ли я что-то не то? Может, где газон помял?.. Но вроде бы я по дорожке шел... Хотя кто знает, что ему могло показаться. Я помнил, как в наш двор вдруг приехали рабочие и стали обрезать и опиливать нижние ветви с тополей, на которые так удобно было залезать. И рабочими этими, властно покрикивая, распоряжался Сипов, а не Юрий Николаевич Кротов, который, в сущности, и озеленил наш двор. Потом мы узнали, Сипов вызвал рабочих обрезать ветки как раз из-за того, что мы на них лазали и орали, играя у него под окнами. Поэтому я до-

вольно робко задрал вверх голову и подтвердил, что я и вправду Боря Кузьмин. Но он не ругался, а с каким-то любопытством и даже добродушием осмотрел меня и сказал:

— Ты, я вижу, хороший мальчик! Любишь книжки читать!

— Да, — сказал я, успокаиваясь и с самодовольством.

Он медленно моргнул обоими глазами, как это могла бы сделать птица от яркого света.

— А что ты читаешь?

Читал я, надо сказать, книги «не по возрасту», иногда гордясь (когда с «понимающим» собеседником говорил), иногда стесняясь этого. Сейчас ответил с важностью:

— «Ад» Данте, песнь тридцать вторая.

— Анданте? Что — анданте? Не понял.

Мне стало стыдно громко кричать про Данте, и я упростил:

— Стихи.

— А-а... молодец. Я помню, твой отец тоже стихи любил читать. Маяковского. А твой дед — Пушкина. А ты кого?

И я снова застеснялся выкрикнуть имя Данте, когда он уже в первый раз не то что не услышал, а не понял, о ком речь.

— Да разных... — насупился я, — были бы поэтами...

— С большой буквы поэтами, — поправил он меня и вдруг зябко поежился и обнял себя за плечи. Губы его посинели и задрожали, словно от холода. Язык не слушался, когда он с трудом выговорил: — Тебе не холодно? — И пояснил: — У нашего балкона пол совсем ледяной в любое время года. Строительный брак. Это у нас ещё бытует. Но в данную минуту, мне кажется, везде похолодало.

Ноги его — было видно сквозь прутья решетки — подергивались и приплясывали. А солнце светило ровно и жарко, ни тучки, стояла спокойная позднеавгустовская теплынь. Да и время самое солнечное — предобеденное. Я был в ковбойке с коротким рукавом и прямо на голое тело, в бумазейных синих штанах и сандалетах на босу ногу.

— Мне не холодно, — сказал я, — на улице сейчас, пожалуй, градусов двадцать пять, не меньше. А вас, наверное, просто знобит.

— Да, знобит, — он глянул тревожно, и эта тревожность как-то не шла к нему, к его толщине, власти, коршуноликому образу. — То месяцами ничего, ничего, а то вдруг налетает. — Он криво улыбнулся. — Ноги как во льду стоят. Хотя я не простужен.

— Это у вас, видимо, нервное, — заметил я, и, надо сказать, в тот момент безо всякой задней мысли.

— Ты умный мальчик. Как и твой дед. Ты на него похож. Умом.

Я и раньше слышал, что называется, краем уха, значения этому не придав, что дедушка работал с Сиповым, который был поначалу его учеником, а потом вскоре стал вместо него заведующим кафедрой. Говорилось это словно бы вскользь и с каким-то неодобрением, особенно в голосе бабушки Лиды слышалось раздражение. Но причиной тому я, не особенно вдумываясь, считал бабушкину уверенность, что никто не может сравниться с дедушкой и заместить его. А поскольку после его смерти, думал я, с кафедрой, где он работал, отношений больше не было, вот и с Сиповым мы не общались. Да и важный он был чересчур.

Поэтому на слова Сипова я никак не среагировал, а только улыбнулся вежливо и немного смущенно (так я считал должным в этой ситуации поступить) и ответил:

— Мне трудно судить. Вы ведь знаете, что дедушка умер в сорок шестом году, спустя год после моего рождения. Так что я его совсем не помню.

— Совсем? — снова по-птичьи встрепенулся он, плотнее закутался в свой байковый халат и переступил с ноги на ногу. — Ты милый мальчик. Хочешь яблоко?

— Нет, спасибо, — отказался я. Мне и вправду не хотелось, к тому же не любил я куда-то заходить. Почему-то в детстве родители старались не пускать меня в гости по чужим квартирам.

— Ну, тогда у меня к тебе просьба. Отлومي веточку барбариса и принеси ее мне. Она мне нужна для коллекции минералов, туда положить для красоты. Прошу тебя, Боря. Только не уколись.

Его неожиданно добрая и заботливая предупредительность была мне приятна. Ничего не оставалось, как выполнить просьбу. Я обломил ветку с красными ягодами и с зелеными, но уже как бы с прожельтью листочками.

— Подходит?

Сипов кивнул:

— Подходит. Поднимайся.

— Я только родителей предупрежу. А то они рассердятся.

И снова в лице его мелькнула некая напряженность. И даже испуг и растерянность.

— Да зачем? На минутку всего лишь зайдешь...

Дверь мне открыла его злобная тощая жена с коротко обрезанными седыми волосами, выглядывавшими из-под черного пухового платка. Она была в черной меховой накидке и даже по квартире ходила с палкой.

— Тебе чего? — сказала она вместо «здравствуй»

Я сделал шаг назад. Но из глубины квартиры уже донесся резкий и повелительный окрик:

— Зоя! Впусти! Это я пригласил. — И, выйдя из дальней — с балконом — комнаты, сделав приглашающий жест рукой, Сипов пояснил жене: — Это Боря, внук Михаила Сергеевича Кузьмина.

Но приветливости его слова жене не добавили. Прихрамывая в своих войлочных полусапожках, она развернулась и, мелко семеня и опираясь на палку, пошла впереди меня по направлению к мужу, который уже снова скрылся в комнате. Я двинулся следом, мимо высокого зеркала, едва не задев плечом гардероб, стоявший в коридоре при входе. Стекла в нем были, правда, завешены зелеными занавесками, но сквозь них все-таки проглядывали черные пальто и шубы с меховыми воротниками. «Значит, шубы они летом держат не в диване, как мы», — подумал я и, свернув направо, вошел в профессорский кабинет-приемную. То есть на кабинет это не очень-то было похоже, во всяком случае как я его себе представлял. Не было письменного стола с лампой, разбросанных бумаг, папок, книг с закладками, около стены я заметил всего один книжный шкаф. Зато по углам стояли две застекленные горки с весьма старинной по виду посудой, платяной полированный шкаф, а посередине — круглый стол, тоже полированный, с тремя салфетками из соломки на нем и хрустальной вазой со светящимися румяными яблоками. Вокруг стола — четыре крепких круглоспинных стула, два мягких кресла друг против друга.

В одном из них уже сидел, кутаясь в плед, накинутый поверх байкового халата, Георгий Самвелович. Его горбоносое лицо, казалось, отдавало в синеву от пронизывающего его холода. Он выглядел таким замерзшим, что даже натертый паркетный пол заблестел в моих глазах ровной гладью, как зимой лед расчищенного под каток пруда. «Словно озеро Коцит, — подумал я, потому что как раз про это начал читать в тридцать второй песне. — Может, Сипов тоже какой-нибудь грешник. Ведь пол у него как “озеро, от стужи подобное стеклу, а не волнам”». Но тут же устыдился глупых мыслей. Ноги профессора были обуты в теплые, войлочные туфли. Горел рефлектор.

Вроде бы от всего этого должно бы быть тепло, но нет, тепла не было. И хотя минуту назад, на улице, я чувствовал себя разомлевшим от жары, да и здесь спервоначалу я холода не ощутил, но при взгляде на съжившегося Сипова и его колченогую супругу, тоже под пледом сидевшую в другом кресле и уставившуюся на меня напряженным взглядом, меня вдруг зазнобило и затрясло. Я даже плечами передер-

нул от холода (мамин жест, который она, как она сама говорила, переняла у свекра, то есть моего деда, отцовского отца).

— У нас всегда в квартире очень холодно. Вот мы и греем старые кости. — Сипов помолчал, всматриваясь в меня, как бы оценивая мое подергивание плечами. — Ты не похож на отца, ты все же на деда похож. Что скажешь, Зоя?

Она сидела в кресле, поставив перед собой палку и держась за ее рукоять обеими руками с таким выражением, словно готова была пустить ее в дело. На вопрос мужа она ничего не ответила, только моргнула, по-прежнему глядя на меня, словно чтоб ни жеста не пропустить моего (так мне показалось). Я стоял не шевелясь, барбарисовую веточку у меня никто не брал, и я держал ее немного за спиной, чтобы не выставлять подчеркнуто, что она мне мешает. Зато холод вдруг как пришел, так и ушел.

— А почему ты ничего не скажешь?

Я понял, что Сипов обращается ко мне, но не мог понять, чего он ждет услышать и почему он и жена с таким вниманием следят за каждым моим движением и за выражением лица. Какое, в конце концов, ему дело до меня, зачем он придумал эту историю с барбарисовой веточкой, чтобы заманить меня к себе, и чего он от меня, в сущности, ждет? Поэтому с детским хитроумием я ответил простовато и бестолково:

— А чего говорить-то!

И даже, кажется, носом для правдоподобия шмыгнул. Но этим ещё больше смутил и почему-то насторожил его — своим превращением из интеллигентного мальчика в простоватого дурачка.

Он замолчал, сидя в кресле, обнимая себя за плечи и все больше нахохливаясь. Надо сказать, что феску свою шерстяную он и в комнате не снимал. Я сглотнул слюну и как бы случайно выдвинул из-за спины барбарисовую веточку. Пусть видит, что я давно уже держу в руке то, из-за чего к нему зашел. Но он смотрел мимо.

— Мы с твоим дедушкой вместе работали.

— Это я знаю, — обрадовался я возможности хоть что-то сказать.

— А ещё что знаешь? Ты говори, не стесняйся.

— Ничего, — пожал я плечами.

— А почему же тогда твои родители запрещают тебе ко мне заходить? Скажи!

— Никто мне этого не запрещал. Просто родители могут забеспокоиться, когда позовут обедать, а меня во дворе не будет.

Разговор стал совсем непонятным и нелепым, а главное, мне сделалось не по себе от пристального, молчаливо-цепкого взгляда его сухой, сморщенной, маленькой, почти утонувшей в своем кресле жены.

Он, видимо, это или ещё что-то почувствовал.

— Ну, тогда иди, конечно. Только дай мне барбарис, который ты сорвал.

Он не добавил «пожалуйста», а просто протянул руку. Я сделал было шаг к нему, держа веточку двумя пальцами, чтобы не уколоться, но Сипов предостерегающе поднял ладонь, очевидно вспомнив про колючки.

— Положи на стол. Вот так. Спасибо. Теперь возьми из вазы яблоко. Не бойся, возьми. Я же тебя угощаю. Можешь здесь не есть, если сейчас не хочешь. Съешь дома. До свидания. Зоя, проводи.

Держа яблоко за хвостик, чтобы не испачкать грязными руками (а со стороны, как мне потом стало понятно, это могло выглядеть, что брезгую), я пошел к входной двери. Постукивая палкой по полу, Сипова провожала меня, все так же молча и подозрительно и чуть-чуть исподлобья заглядывая мне в лицо. Открыла дверь, выпустила меня и сразу ее хлопнула, и было слышно, как она запирает дверь на цепочку и засов.

Я поднялся этажом выше и оказался дома. Мама велела мне идти на кухню, потому что первое уже разлито по тарелкам, и она не понимает, где я болтался, ведь она мне минут пять с балкона кричала — звала обедать. Действительно, и папа и бабушка сидели за столом и, может быть, даже съели уже к моему приходу по паре ложек супа. Чтобы оправдаться в опоздании, я сказал, поднимая за хвостик на всеобщее обозрение яблоко:

— Меня Сипов — знаете, внизу под нами живет — в гости зазвал зачем-то и вот яблоко подарил. Ничего яблочко, а?

И как вещественное доказательство своей правдивости я положил яблоко прямо на стол меж солонкой и хлебницей.

Наверно, так они были бы ошеломлены, если бы я вдруг положил на стол что-нибудь небывало-невиданное или ужасно страшное, а не какое-то обыкновенное вполне яблоко. Папа опустил, почти уронил ложку в тарелку и сумрачно-недоуменно сгустил над переносицей брови. Даже надменно прямоспинная и прямосидящая бабушка как-то принагнулась от удивления, уставившись испытующе на меня: уж не дурацкая ли это шутка. А вошедшая вслед за мной на кухню мама не спросила, а выдохнула:

— Кто? Кто зазвал?..

Папа же взял яблоко за хвостик и почему-то стал рассматривать его на свет. «Яблоко как яблоко, молодое, наливное, румяное. Со всем, — вдруг подумал я, — как в “Сказке о мертвой царевне и семи богатырях”, которое принесла, подпираясь клюкой, злая колдунья.

Ведь и вправду яблоко это “соку спелого полно” и при этом “будто медом налилось”!» Я подумал даже, что папа ищет, видны ли «семечки насквозь», как в том яблоке.

— Что он тебе говорил? — не давая мне ответить на первый вопрос, перебил папа.

— Ничего особенного. Попросил ему веточку барбариса принести, — я почувствовал, что меня снова охватил озноб. — Говорил, что с дедушкой вместе работал.

— Это он правильно говорил, — отвела бабушка рукою негодующий жест отца. — А больше ничего он не сказал?

Ее надменно-прямая спина распрямилась снова, а выпуклые безресничные глаза за очками потемнели. Но видел я в них не гнев, а скорее беззащитно-презрительное недоумение.

— Ничего, — снова повторил я. — Я, может, что-нибудь не так сказал?

— Откуда мальчик мог знать, — оборвала мама напрягшегося было что-то сказать отца. — И хорошо, что он ничего не знает.

— Не уверен, что это хорошо...

— Именно, — поддержал я отца, — я хочу знать. У него с дедушкой разве была научная полемика?

— Если бы! — не выдержал отец. — Но то, что этот коршун проделал, называется не полемикой, а другим словом. И в те времена, и во все времена это называлось...

— Гриша!! — воскликнула в тревоге мама.

— Аня права, — подтвердила неожиданно бабушка, хотя они редко с мамой в чем-нибудь сходились. — Боре не надо об этом знать.

— Да, но хочу знать я! Он что-нибудь про дедушку тебе говорил? — папа осторожно опустил яблоко на стол.

— Посмел бы он что-нибудь сказать! — выкрикнула мама, хотя только что собиралась молчать и отцу не дать говорить. — После всего, что он сделал, как у него ещё совести-то хватило Борю к себе зазвать!

Я упрямо посмотрел на маму и сказал:

— А что, собственно, произошло? Я не понимаю. Что такого, что я к нему зашел? Он говорил, дедушка был очень умный человек и хороший ученый.

— От него особенно приятно это слышать!.. — начал было снова отец.

Но твердокаменная бабушка снова оборвала его:

— Твоему сыну не надо знать о таком прошлом. Он должен жить обращенный в будущее, а не в прошлое. Достаточно того, что у Синова ничего не получилось, и Миша отделался только инфарктом.

Я ведь обошла тогда всех и отстояла твоего отца. Так что я имею больше права об этом говорить. Но я молчу. Вот и ты будь благоразумен. Не растравляй ребенка.

Все замолчали. Но отец все же ещё раз сорвался:

— И что, он сам угостил тебя яблоком? Или *ты* попросил?

— Конечно, он сам, — отвечал я, решив при этом про себя, что я этого яблока есть не буду.

— Не понимаю, — сказал отец.

Я тоже ничего не понимал, точнее сказать, до конца не понимал, хотя и догадывался кое о чем. Но расспрашивать подробности все же почему-то не стал. Не по себе становилось, что я, такой мирный, должен буду начать кого-то ненавидеть. И я тоже ничего не сказал и не спросил. А яблоко потихоньку, после обеда, когда все ушли с кухни, выбросил в помойное ведро и сверху прикрыл газетой, чтоб не заметили.

Сипов, надо сказать, меня больше к себе не приглашал. А когда, спустя время, я в разговоре с отцом случайно помянул Сипова, сказав, что и он и его жена все время у себя в квартире мерзнут, даже летом, отец все равно ничего не стал рассказывать, а только пробормотал, что это у них, скорее всего, что-то нервное.

Заимообразно

Рассказ

Бабушка дала мне шоколадку, сказала, чтобы я никуда со двора не уходил, а сама заковыляла в дом готовить обед. Я присел на не так давно выкрашенную в зеленый цвет лавочку, стоявшую под толстым тополем между кустами боярышника. Проводил бабушку глазами до подъезда, затем повел ими по сторонам.

На газоне росли кашки, над ними, переваливаясь с крыла на крыло, кружил мощный шмель и носились осы. Кажется, было уже то время, когда облетал тополиный пух, долго плавая в воздухе, прежде чем упасть. Мне надоело сидеть на лавочке, солнце стояло как-то так, что я не мог спрятаться в тень тополя. Краска от жары разогрелась и стала липкой. Я собирал потеки краски и мял их в пальцах, пытаюсь что-то лепить, но получались только круглые комочки. Тогда я встал. Оглянувшись, увидел на лавочке пятно, повторяющее очертания моего зада. Несложно было догадаться, что краска налипла мне на штаны. Но домой идти все равно не захотелось. Я отправился на липовую аллею, в тень, продолжая грызть шоколадку, глядя себе под ноги и не озираясь больше по сторонам.

На аллее, однако, я натолкнулся на незнакомца моего возраста — мальчишку лет семи. Байковые короткие штанишки на жилистых ножках, теплая тельняшка обтягивала его плотное тело. А лицо было широкое, простое, сейчас бы я сказал — бабье. И плотность не интеллигентская, без жирка. Я и тогда это почувствовал, но сформулировал так: «Не из нашего дома».

Наверно, я обрадовался ему. Я не умел быть с ребятами, очень мучился от этого и завидовал дружбе моих сверстников-соседей. А теперь я вдруг понадеялся, что, пока они на дачах, у меня зато тоже, может быть, появится товарищ. И, приехав, они удивятся, а мы примем их к себе и будем играть все вместе, и ко мне все будут хорошо относиться. Этот мальчик тоже, вероятно, ходит один, как я. А когда нас будет двое, когда мы будем дружить, с нами все тоже захотят дружить.

Настороженно поглядывая, мы приблизились друг к другу. От него слышался запах жилья, тяжелого кухонного уюта. Во всяком случае, я сейчас вспоминаю именно этот запах. И я почему-то догадался, что

он, должно быть, сын новой дворничихи. Мне стало стыдно и своего костюмчика, светлого, летнего, с которым я мог обходиться столь небрежно, и белой панамки, и шоколадки, и вообще всего себя, благополучного, благоустроенного, живущего в трехкомнатной квартире, а не в подвале под домом, как новая наша дворничиха тетя Даша.

Мне очень захотелось уравняться, отказаться от чего-нибудь.

— Хочешь шоколадку? — спросил я.

— Откусить? — поинтересовался незнакомый мальчик, но не живо, а как-то обстоятельно, тяжеловато. И добавил: — Я немноско.

Он плохо говорил, шепелявя. Вскоре я узнал, что он ещё не говаривает букву «р». Он примерился и откусил ровно одну дольку. Когда он кусал, то подбирал губы, оголяя ровный ряд больших зубов. Я тогда обратил на это внимание, потому что мои зубы были кривые, неровные и я как раз ходил с пластиной.

— А ессё не дас? — снова поинтересовался он.

— Кусай.

И снова он откусил ровно столько же. Потом о чем-то задумался. И, видно, решив, что теперь не прогадает, вытащил из кармана руку с зажатым в ней красным леденцовым петухом.

— Хоцес откусить? Лаз ус ты такой доблый. Заимообразно.

Мне стало совсем стыдно. Ему было жалко своего лакомства, а мне вовсе не хотелось этого петуха, но невозможно было отказаться, и от смущения я оттяпал сразу половину леденцовой фигурки. Петух оказался совсем невкусным — противного пригорелого сахара; есть его к тому же было неприятно ещё и потому, что оказался он обслюнявленным, как я в последний перед укусом момент заметил, обтекший по краям. Помню, что давился, проглатывая.

Ему же, естественно, помстилось, и справедливо, что отхватил я от его петуха лишку.

— И мне дай ессё откусить соколадку. Заимообразно. Ты мне, я тебе.

И снова, примерившись, отгрыз ровно одну дольку, спрятавши петуха в карман. Я не знаю, когда я впервые столкнулся с тем, что бывают разные сладости, какие для кого. И мои, в общем-то, из лучших. Особенно для послевоенных лет. Это знание казалось врожденным: есть люди, которые живут, что называется, проще. Почему проще? Об этом дома рассуждалось, социальное расслоение осуждалось. Но вряд ли я осознавал, понимал разговоры; я жил атмосферой. Тогда же я вдруг отчетливо почувствовал, что шоколадка для этого мальчишки — исключение из правил; его лакомства — леденцовые петухи.

В растерянности крутанувшись на одной ноге, я предложил:

— Пойдем ко мне!..

— Не, — ответил он, поглядывая на мои штаны, — тетку зду... — И, указывая на красочное пятно на них, сказал: — От мамки попадет.

— Нет, что ты, не попадет, — возразил я.

Он не поверил.

Мы все так же стояли друг против друга. Вдруг он спросил:

— Как тебя звать?

— Боря. А тебя?

— Юлка.

Мы замолчали.

— Ты здесь живёс? — спросил он снова, щупая материал моего костюмчика. — Навелно, здесь, — утвердительно удостоверил он.

Он произносил слова рассудительно и обстоятельно:

— Да, — вынужден был я согласиться. — А ты?

— Я к тете Дасе, клёстной, погостить плиехал. На недельку, должно быть. А потом меня мамка снова забелёт. Хочес, я тебя поциссю? А ты мне соколадку дас откусить. Заимообразно.

Всё это — и слово «крёстная», которое я понимал, но в живой речи слышал впервые, и пугающее чем-то нетоварищеским, недушевым (я точнее не умел выразить) словечко «заимообразно», — во всем этом чудилось что-то чужое, во всяком случае, не то, чего я ожидал и о чем мечтал. Мне сделалось не по себе.

Отдавши шоколадку, чиститься я отказался. Он не настаивал.

— У тебя зубы хорошие, — как приятное сказал я. Не придумал ничего другого. А мысль о зубах сама собою возникла, потому что все время, пока он говорил и ел, зубы его обнажались до самых десен.

— Да. Я вчела клай кастлюли плобовал откусить...

Почему-то мне не понравилось это признание, сейчас не могу дать разумного объяснения своему чувству некоторой брезливости. Может, потому, что мне внушали, как важно беречь зубы, и было ясно, что подобное обращение с зубами некультурно, негигиенично, отвратительно.

— Ну и как? — лишь из вежливости прикинулся я заинтересованным.

— Один зуб ласкლოსл. Э... — он ткнул пальцем в передний зуб сверху. — Клёстная отняла.

— А надолго ты к нам? — в моем вопросе был скрытый смысл.

— На недельку. А потом мамка забелёт, — повторил он.

И мне, к стыду моему, стало легче. «На недельку. Значит, ненадолго». Я смотрел уже как на крест на возможную дружбу с ним. «Но

ведь он же не виноват, он просто привык так поступать, потому что его не учат поступать по-другому», — подумал я. Дети вообще житейски понимают столько же, сколько взрослые. У них просто нет слов, которыми понимание это можно выразить.

А наш разговор отчаянно затухал. Я никак не мог дождаться тети Даши, дворничихи, его крестной, чтобы она как-нибудь, зачем-нибудь позвала бы его. Никто во двор не выходил. Я предложил влезть на свое любимое дерево: под ним росли огромные золотые шары, и, пока сидишь на стволе среди ветвей, тебя не видно.

— Не, — Юрка покачал головой, — станы полвёс.

И тогда, не зная, что ещё сказать или сделать, я повернулся и побежал к дому.

— Вот и умник, что сам пришел, — открыла мне дверь бабушка Настя, приехавшая «сидеть» со мной. — А я уже собиралась тебе кричать. Иди руки мой. Сейчас обедать будем.

Но мне почему-то тяжело было слушать такие домашние слова. Они мне казались изменой. Изменой чему? Я не знал. Мне было мучительно и тоскливо, как будто я совершил гадкий поступок.

Немецкий язык

Рассказ

Мы собирались в гости. Был уже вечер, темный, ранний, зимний. Но от снега, отражавшего электрический свет окон, на улице казалось светлее, чем в бесснежные зимние вечера. Снег был сухой, рассыпчатый, недавно выпавший и напоминал елочные новогодние блестки. Его праздничная искристость создавала невольно приподнятое настроение. И с этим приподнятым, праздничным настроением я явился домой: меня позвали с улицы переодеться. Дома, однако, было нервно, хотя нервность эта мне показалась тоже хорошей, будоражащей, празднично-гостевой.

Мама нервничала, красила перед зеркалом губы, что делала крайне редко, доставала из шкафа то одно, то другое платье (и каждое такое уютное, такое знакомое), говоря время от времени, что ей совсем нечего надеть, потому что она редко ходит в гости и не имеет ничего приличного, что лучше уж ей совсем не ехать, чем ехать к этим людям. Бог знает в чем, особенно к этой женщине, и чувствовать там себя стесненно.

— Иди переоденься! — прикрикнула она на меня, и я вышел в коридор, заглянул в ванную, где отец, намылив щеки и уперев изнутри язык для опоры, соскребал, как мне казалось, мыльную пену безопасной бритвой. В такие минуты он бывал сосредоточен и не разговаривал, и я отправился в свою комнату. Там я снял мокрые шерстяные рейтузы и мокрые шерстяные носки, натянул приятные, теплые, прямо с батареи, сухие носки и стал дожидаться, завернувшись в плед, когда кончит свои приготовления мама, чтобы спросить у нее совета, как мне одеться.

Мне было не совсем понятно, хочет она ехать в эти гости или же нет. То есть я видел, что вообще-то ей ужасно любопытно посетить их городскую квартиру, посмотреть, как живут люди совсем другого круга, и, конечно, удовлетворить самолюбие, ибо после летнего знакомства получено приглашение от людей знаменитых и, что называется, *известных*. Сам хозяин дома, куда мы были приглашены, Лука Петрович Звонский, был шумевший в те годы по Москве театральный режиссер, его жена, Лариса Ивановна, младше его двенадцатью годами, занималась графикой, но в основном, как думал я, начитавшись классической литературы, была занята тем, что «держала салон». Она мне

очень понравилась, как только я ее увидел: стройная блондинка, с распущенными золотистыми волосами, ласковая, мягкая, но с каким-то твердым стержнем власти и победоносности внутри, смеявшаяся очень открыто и заразительно, раскованно и свободно. Хотя ей было уже весьма за сорок, в мои тринадцать она вовсе не казалась мне старухой, потому что вела себя спортивно, бегала наперегонки, плавала и была со мной так приветлива, проста и мила, что не хотелось думать о ней плохо, как о старухе. Да и не производила она такого впечатления, как я сейчас вспоминаю, нет, не производила.

Ну, конечно, и обаяние известности на меня действовало. Дед мой, которого я не помнил, был профессором, но, кроме двух-трех учеников, о нем никто не вспоминал, отец с трудом после университета устроился младшим научным в институт, что-то писал, но пока ничего не печатал, а фамилия Звонский — звенела. Его, казалось, знали все. И жили мы гораздо строже, суше, проще, чем наши новые летние знакомые. Мама порой бывала резка, хотя и добра ко мне, но не умела быть любезной — с крестьянской утилитарностью и научной деловитостью отрицая «пустое любезничанье», поскольку — если делаешь дело, то делай, а любезничать попусту нечего. А Лариса Ивановна, напротив, была сама любезность, разговорчивая, обаятельная.

Лука Петрович держал себя как бы в стороне от разговоров, был как бы погружен в свои художественные прозрения, но слушал внимательно, изредка вставляя нарочито грубые, бурсацкого толка шуточки. Как я довольно быстро догадался, молчание его объяснялось тем, что говорить он не умел, не умел рассуждать, знал мало из жизни идей, читал тоже не очень много, поэтому с таким интересом прислушивался к рассуждениям отца. Когда я рассказал о своем наблюдении отцу, он возразил, что зато у Луки Петровича огромный природный талант, который вполне заменяет ему многознание. Но было ясно, что Лука Петрович прекрасно знает себе цену и ощущает себя своего рода солнцем, без которого жизнь в его семействе, да и в округе, может, и не текла бы вовсе. Он был чуть ниже ростом своей жены, потому казался маленьким, порывистым, с наполеоновским ежиком на голове, дескать, мал да удал, позволял себе смеяться в самых неподходящих ситуациях, как бы подчеркивая этим свою художественную нескованность приличиями, и вообще старался походить на такого грубоватого парня, простецкого, но гениального, этакого Мартина Идена, которого за его талант полюбила женщина «из образованных».

На самом деле в этой внешней противоречивости чувствовалась внутренняя гармония. Когда мы вдвоем с отцом отдыхали на Риж-

ском взморье, получилось так, что у нас с этой семьей оказались общие знакомые, которые и притащили отца (и меня за компанию) к Звонским, рекомендовав отца как «интеллектуала». А поскольку среди их гостей и приятелей всегда бывали именно «интересные люди», независимо от чинов: поэты, художники, артисты, то и отец попал в их число. Я-то сам считал отца ужасно умным, даже самым умным на свете. Но всегда приятно получить подтверждение со стороны, видеть, с каким уважением выслушивают твоего отца люди посторонние и тоже неглупые, к тому же знаменитые; даже когда, как мне казалось, он говорил вещи обычные и банальные и я смущался и стеснялся этих «недостойных его» речей, Звонские слушали его все равно с вниманием и интересом. Короче, мы стали общаться. Встречались на пляже, а потом шли к ним в номер люкс дома отдыха пить чай. Лука Петрович говорил только о себе, рассказывая случаи из жизни, но не те, в которых он проявлял себя как художник, а те, в которых он выступал «настоящим мужчиной», и нисколько не мешал своей жене Ларисе вести то интеллектуальные, то кокетливые разговоры с гостями.

На излете месяца приехала мама, и ей сразу показалось что-то вроде романа между отцом и Ларисой Ивановной. Было ли что там? Спустя четверть века все кажется милой ерундой, да и в самом деле ничего, кроме легкого кокетства, и не было. А тогда меня сие и вовсе не волновало; этот дом, нет, прежде всего его хозяйка влекла меня: своей приветливостью, выказываемой заинтересованностью в моих делах, умением весьма мило притворяться со мной запанибрата и умением выслушивать; она советовала заняться как следует языком (узнав, что я учу немецкий с учительницей), запоминать наизусть стихи (обещала, когда в Москве будем, подарить мне томик Гейне на немецком языке), она была ласкова со мной, и я был словно очарован, не влюблен, а именно очарован. Завидя издали ее золотистые волосы, я радостно вздрагивал: было приятно, что она сейчас подойдет ко мне, что они с мужем не заняты никаким делом, а только друг другом и другими окружающими людьми, разумеется, включая меня.

После приезда мамы я к Звонским стал ходить реже, потому что и она ходила туда с неохотой.

— Я неинтересный для них человек, — поджав губы, как она всегда делала, когда сердилась, говорила мама, — чего я туда пойду? Чего я там не видела? Чай пить в номере люксе? Вы, гуманитарии, привыкли время в разговоры переводить. Я уж, видимо, так никогда не научусь. А ты иди, — говорила она отцу, — покрутись перед Ларисой, хвост-то свой павлиний распусти, ты это любишь. А мне с микроскопом привычнее. Не пойду.

Хотя познакомиться с ними маме пришлось, но знакомством дело и ограничилось. Через неделю Звонские уехали, а напряжение между родителями постепенно исчезло.

Прошло почти пять месяцев, и вот мы получили официальное приглашение посетить их. На сей раз мама согласилась, а я обрадовался, потому что с удовольствием вспоминал их огромный двухкомнатный номер люкс, с большим холодильником, застекленным сервантом с гостиничными рюмками, бокалами и графинчиками, вазы с фруктами на столе, когда к ним ни зайдешь, шоколадные конфеты и непременная минеральная вода. Отец продолжал с ними общаться и осенью — Звонский иногда приглашал его прочитать лекцию по истории искусства актерам в своем театре; судя по папиным рассказам, сам тоже слушал с вниманием, а потом они за полночь сидели уже дома у Звонских. Отец говорил, что Звонские пригрели того несчастного актера из бывшего театра Михоэлса, с которым мы познакомились на взморье, кормят, одевают его, иногда дают мелкие поручения. Отец рассказывал это, говоря о доброте Звонских, и я был с ним согласен, да к тому же и я помнил этого человека. Марк Самойлович был невысокий, ростом с Луку Петровича, совершенно лысый, толстый, с каким-то бугорчатым носом... Глаза беспокойные, заискивающие, хотя он все время пытался хохмить, поглаживая свои маленькие усики и веселя Звонских и нас, потому что в тот месяц мы оказались как бы друзьями дома, а он в поисках работы всё же зависел от Луки Петровича, обещавшего пристроить его в театр.

— Где Бора? — однообразно шутил он, закатывая глаза к небу. — Ужас! Вы забыли мальчика на пляже. Надо пойти поискать мальчика в пивной...

Почему-то именно однообразием и повторением эта шутка очень веселила Луку Петровича. Все смеялись, смеялся и я, чувствуя в душе непонятное превосходство над этим старым актером, потому что тот был зависим, а я как бы на равных, да ещё меня тетешкала хозяйка. Звонский давал актеру деньги, и тот шел на пляж за пивом. Потом взрослые пили пиво, разговаривали, смеялись невеселым шуткам Марка Самойловича, а я с большим удовольствием ел и сосал шейки и клешни вареных раков. «А Бора слушает, но ест!» — повторял из раза в раз, нарочито перевирая фразу басни, Марк Самойлович, и снова все смеялись. И ещё всех почему-то умиляло, что я ровесник Победы: по этому поводу бежалось ещё за дюжиной пива.

Я забрался на тахту в ожидании, что сейчас войдет мама и скажет наконец, как мне одеваться. Жили мы, конечно, не бедно, но и нельзя ска-

зять, что богато, хотя мне самому всегда в детстве казалось, что наш достаток выше среднего. Тахта, шкаф, письменный стол — вот что стояло в каждой из трёх комнат. Но три комнаты — это всегда мне казалось (да так оно и было) знаком обеспеченности. Кресел никаких, стулья старые, с твердым сиденьем и прямыми спинками, этажерки да полки с книгами. В родительской комнате на стене висел круглый репродуктор, с военных ещё времен, я думаю. Когда я болел и мама перетаскивала меня в свою комнату на раскладушку, я часами слушал передачи по радио, особенно мне почему-то запомнилась радиопостановка «Седая девушка» — о какой-то китайской героине, которая поседела от пыток, но никого не выдала. Эта передача повторялась в моем детстве много раз, и каждый раз я слушал ее с увлечением, но сейчас все забыл. Помню только неизъяснимое чувство благородства и социальной гордости, ненависти к богатым и захватчикам, — все это чрезвычайно мне imponировало. Но, несмотря на демократизм, который вращивали и культивировали во мне, в школьной форме — брюки и гимнастерка с ремнем — я ехать в гости не хотел, отказывался. Универсальных джинсов тогда не было. Но и костюма я не имел. Все же нашлись брюки, на которых на скорую руку мама залатала дырку, совсем стало незаметно, и свитер с высоким воротом.

Не помню, что мы везли с собой: скорее всего, бутылку шампанского и коробку конфет, самое доступное по тем временам. Я надеялся, что ради такого случая поедем на такси, но до самой улицы Горького мы тряслись в трамвае, а трамвай дребезжал всеми своими разболтанными железными частями. Я сидел у окна и смотрел на сумеречную улицу: фонари, забор с лампочкой на углу (значит, шла стройка), дома с темными и освещёнными окнами. Прижимаясь носом к стеклу, выдувал на холодном, заледеневшем стекле, белом от намерзшего льда, глазок для осмотра, а потом дыханием, а иногда, сняв варежку, тайком от родителей, жаром руки расширял этот глазок. Родители стояли надо мной, ухватившись за висащие поручни, которые болтались из стороны в сторону на длинных ременных шлеях, а когда трамвай встряхивало, то дергали за собой и державшихся за них. Мы неслись в перепутанице трамвайных и железнодорожных линий Савеловского вокзала, мимо кинотеатра «Салют», потом пошли высокие каменные дома, вдоль которых передвигались маленькие людишки. Узкие тротуары, казалось, прижимали их к самым стенам. У поворота на столбе висели под фонарем огромные круглые часы с массивными стрелками, наручные часы для великанов. Вообще центр города, да ещё вечером, в электрическом свете, казался мне не то что другой страной, а подводным таинственным царством, где все не как у нас на окраине — волшебнее, богаче, запутаннее, утончен-

нее, изощреннее; то есть слов этих я тогда, разумеется, не употреблял, но если вспомнить свои впечатления, то обозначить их можно только так. А когда зажегся в нашем полупустом (было воскресенье) трамвае, сразу в обоих вагонах, электрический свет — за окнами ещё сильнее потемнело, и огоньки фонарей и окон домов, бежавшие мимо трамвая, стали напоминать театральную иллюминацию, красивую и таинственную. И вообще, весь этот путь в трамвае, путь длинный, через весь почти город... точнее, полгорода, от окраины до центра, до знаменитой центральной улицы Горького, самой нарядной и лучшей в мире, как я был уверен, мимо затемненного спортивного магазина «Пионер», — плавание по городу в светлом ярком корабле на колесах по рельсам, проложенным прямо по дну морскому, мимо этой бедности пятидесятых годов, которая мне казалась богатством, — весь этот путь, повторяю, чудился мне как бы подготовкой к лицемерию ожидающего нас не то дворца, не то замка. А может, морского грота, куда вливается потихоньку наш «Наутилус», а там раковины, огромные, перламутровые, раскрывают свои завитки навстречу, лес разноцветных кораллов, жемчуга и блеск чешуи всевозможных рыбок, мелькающих в царевом дворце. Все при деле: кто на посылках, кто вестником, кто в охране, кто прислужой...

Потом мы вышли, долго, как всегда кажется при незнакомом маршруте, шли улицей, потом свернули в переулок между высокими домами с тяжелыми углами, у которых цоколь, словно мхом или морским лишайником, оброс мрамором, затем ещё свернули, идя уже дворами; вёл, разумеется, отец.

— Однако, как ты дорогу-то вызубрил! — сказала вдруг холодно мама. — Не раз, видно, сюда захаживал.

Отец ничего не ответил. И тут я сообразил, что в трамвае они ни разу словом не обменялись. Это означало только одно: родители или уже в ссоре, или накануне ссоры. Я не очень понимал, почему мама злится; ну и что, что отец сюда ходит! Ведь ему интересно поговорить, послушать, а вовсе не ради Ларисы Ивановны — к тому же тут всегда и Лука Петрович присутствует. Наверно, и мама это понимала. Но я тогда не знал, что ревновать можно не только к женщине и подозревать не просто измену, так сказать, мужскую, ревновать можно и к образу жизни и видеть измену в предпочтении иного образа и стиля существования.

Но, наконец, мы добрались... Я и не обратил внимания, как выглядит этот дом, потому что не знал, к какому мы идем, какой *наш*. Все они были большие и устойчивые, как скалы, уверенно стоящие поперек омывающей и обтекающей их воды людского движения. Помню только, что вся нижняя часть дома была облицована чем-то гладким, а снег не только пе-

ред подъездами, но и на проезжей части весь счищен до асфальта, никакой снежной корки, которая всегда застывала на асфальте у нас во дворе. Дверь подъезда тоже не такая, как у нас — крашеная, фанерная, со стеклом вверху, а тяжелая, массивная, темного дерева, с огромной дверной ручкой, с тугой пружиной, открывалась с трудом. В прихожей подъезда была дверка с окошечком, и сквозь стекло виднелась комнатка-клетушка со столом и топчаном в углу. За столом перед телефоном сидела пожилая женщина в сером жакете с отворотами. Она подняла голову, приоткрыла стеклянное окошко и спросила громко, останавливая нас вопросом:

— Вы к кому? В какую квартиру?

Я из-под руки отца увидел, что на столе лежат какие-то растрепанные книжки, а под стеклом — бумаги со списком фамилий, как в школьном журнале, и номерами телефонов. Отец ответил, к кому мы идем, но консьержка (по французским романам я догадался, как должна называться эта женщина) не успокоилась.

— Какой этаж? — подозрительно спросила она.

— Пятый, — сказал отец, и тогда она указала нам рукой в сторону лифта, тут же, по выполнении своего служебного долга, забыв о нас и нашем существовании вообще:

— Проходите.

Мы вошли в лифт, закрыли за собой решетчатую железную дверь, затем две деревянные дверки с окошками, которые закрепила поперек откинувшаяся сверху планка. Я нажал кнопку пятого этажа, лифт дернулся и поехал вверх. После трехминутного плавного подъема лифт остановился, папа открыл дверцы, затем дверь, пропустил нас, вышел сам и с шумом захлопнул за собой дверь лифта. Тот вздрогнул и поехал вниз: очевидно, внизу уже кто-то давил кнопку вызова.

Мы свернули направо, в темный холл с перегоревшей электрической лампочкой, где в глубине чернели две квартирные двери, номеров на них видно не было. Посередине этого, следовавшего за лестничной площадкой холла почему-то стоял квадратный стол и несколько стульев. Но папа предупредил нас, и мы на него не наткнулись. Все так же уверенно отец провел нас мимо стола к черневшей слева двери и позвонил. Звонок зазвенел где-то очень далеко.

Дверь нам открыла немолодая, тощая, в голубом переднике домработница (как сейчас вспоминаю, присутствие домработницы меня не удивило, тогда у многих, временами и у нас, были постоянные или приходящие домработницы), вскоре она ушла и запомнилась мне только своим резким, неприятным голосом, которым крикнула, обращаясь в глубь квартиры:

— К вам это!

Повернулась задом и тут же скрылась куда-то в боковое ответвление выходявшего из прихожей коридора. Описывать ли их квартиру? Воспоминание у меня смутное, но все же что-то я помню, хотя, быть может, их интерьер спутался в моем сознании с интерьером подобных же квартир, где мне приходилось бывать уже взрослым. Помню большую прихожую с встроенными шкапами, маленькое оконце в толстой стене, под ним большое овальное зеркало в деревянной оправе на резной подставке с куриными ножками. Прямо из прихожей дверь в гостиную, налево — детская (правда, дочь их уже выросла, вышла замуж, дома не жила, но комната, как рассказывала Лариса Ивановна, называлась по-прежнему детской). Направо из прихожей коридор вёл в кухню, перед которой располагались по одну руку ещё комната, а по другую — ванная и туалет. Кухню от коридора отделяла не дверь, а свисающая бамбуковая занавесь. Такое я видел до тех пор только на картинках, изображавших Китай или Японию. Перед гостиной, ещё в прихожей, стоял невысокий секретер из дерева с красноватым отливом, а на нем телефон, звонивший за вечер довольно часто, и Лариса Ивановна всегда оживленным голосом восклицала: «А, это ты! Привет! Кисочка, ты не могла бы (или: ты не мог бы) позвонить мне завтра поутру? Я сейчас занята, у нас гости. Да. Потом расскажу. Летние наши знакомые. Ну, пока!»

На стене в прихожей, в простенке между детской и гостиной, висела писанная масляными красками картина в деревянной рамке. На картине изображался морской берег в зимнюю погоду, редкие кусты и перевернутая, занесенная снегом рыбацкая лодка. Ощущение было такое, что в квартире живописи столько, что малоценное из этого избытка выставлено в прихожую. И вправду: в гостиной над столом, стоявшим наискось к окну, столом, крытым зеленым сукном, с высокой бронзовой лампой на нем, висела огромная, но явно выбивающаяся из общего стиля дома картина: квадраты, кубы, трепещущие бесформенные цветочные пятна и мазки, все это соединялось вместе и перечеркивалось ровными черными линиями, как бы бравшими всю эту цветопись за решетку. Вся эта смесь из Миро и Кандинского, как определил бы я теперь по воспоминаниям, перечеркнутая прямыми линиями, означала, что искусство, нам показанное, — гонимо. Вот, пожалуй, и все, что можно было извлечь из созерцания этого произведения. Но так я сейчас думаю, а тогда с остротой маленького человека, попавшего в незнакомое, но влекущее место, просто впитывал все, старался запомнить, хотя, повторяю, за точность воспоминания не ручаюсь; возможны наложения типических ситуаций других лет. «Эта карти-

на — подарок нашего друга, — объяснила тут же Лариса Ивановна. — Он очень интересный художник». А Лука Петрович, сидя в кресле с подлокотниками в виде воткнутых в дерево топоров, сказал: «Выкрутасничает, ха-ха, молодой... Пусть себе побесится». Но было ясно, что художник «в кругах» считается модным и что хозяева, в сущности, гордятся, что им перепала его картина: не случайно ей отвели самое главное место. На другой стене висели зато портреты сановных людей в мундирах и партикулярной одежде прошлого века. Живопись была хорошая, но какая-то несвободная. Лука Петрович, указав на них, опять хехекнул добродушно-подкальывающе: «Это предки Ларис Ивановны. Народную кровь, хе-хе, сосали...» А Лариса Ивановна спокойно и как само собой разумеющееся пояснила: «Это и в самом деле наши крепостные писали». Я помню, как была ошарашена этим ответом мама, гордившаяся своим происхождением из крепостных, и как смутился отец, даже покраснел и отвел глаза в сторону.

Впрочем, мама была, как я видел, шокирована, обижена, уязвлена с того самого момента, как мы переступили порог квартиры Звонских. Домработница скрылась, а из гостиной вышла Лариса Ивановна в бледно-голубом кимоно, одежде дотоле нами не виданной, волосы ее были уложены в простой пучок, на левой руке были надеты маленькие часики с бриллиантом, на правой зеленого цвета браслет, свободно скользивший по руке до локтя, рукава кимоно легко упали почти до плеч, когда она вскидывала руки поправить волосы. Губы ее были не намазаны, а шея открыта и без украшений. Мамин наряд: накрашенные губы, напудренное по обычаю того времени лицо, ее единственное гранатовое ожерелье, довольно тесное, вокруг шеи, и цветастое платье с поясом — сразу показался жалким, нищим, неуклюжим. Лариса же, заметив впечатление, как умная женщина, постаралась сгладить неловкость, подбежала к маме, взяла ее за плечи, поцеловала в обе щеки (мама, не привыкшая к подобному обращению, с трудом заставила себя ответить тем же: это напряжение было написано на ней), затем, не отпуская рук, отклонилась, как бы издала разглядывая маму, и обратилась к отцу:

— Каждый раз я твоей женой люблюсь! То-то, сиднем дома сидишь. Какая она у тебя красавица и нарядная сегодня!

Эти «сегодня», «твоей» и «у тебя» уязвили, я думаю, маму до чрезвычайности. Значит, обычно она не нарядна (а ясно, что ее самый большой наряд ничто перед этой якобы простой одеждой Ларисы Ивановны), и значит, хозяйка дома с отцом на «ты», чего он не сообщал. Но мама ничего не ответила, и тогда мы прошли в гостиную. И минут пять нам было дано на осмотр. У стен, под картинами, стояли старин-

ные, темные, застекленные шкафы, за стеклами — хрустальные рюмки и кувшинчики, графинчики, красивые обеденные и чайные сервизы, которые, разумеется же, должны были быть фарфоровыми. Во всяком случае, всюду: и в шкафах, и на сервантах, даже на светло-коричневом пианино — стояли всевозможные фарфоровые и бронзовые статуэтки и фигурки — целующиеся пастушки и пастухи, охотники с собаками, обнаженные женские торсы. В металлических рамках висели меж картин небольшие фотографии Луки Петровича, самого по себе, и со знаменитостями театрального мира, и две или три — в ролях. Про одну роль я догадался, это был шекспировский Ричард III. На массивной деревянной подставке, которую я принял было за тумбочку, стояла большая беломраморная голова Луки Петровича.

Затем нас из гостиной провели в другую комнату, с большим окном, книжными полками во всю стену слева (как потом я увидел, там стояли дорогие и массивные книги по театру и живописи на русском и немецком языках), а на другой стене висели три или четыре картины, изображавшие голых женщин в различных позах. Увидев эти картины, я покраснел, отвел глаза, снова посмотрел, снова отвел.

Лука Петрович, все заметив, хлопнул меня по плечу и сказал дурашливо:

— Что, мужичок, никогда голых баб не видел? Смотри, изучай, если мама не заругает, хе-хе...

На выручку пришла Лариса Ивановна, поправляя своего грубоватого мужа, чувствуя пуританство мамы:

— А я считаю, что в лицезрении подобных картин ничего особенного нет, все нормально, — Лариса Ивановна, прохладная, душистая, светловолосая (даже при пучке было понятно, что у нее очень длинные волосы, как у гейневской Лорелеи), легкая, тербила рукой мои волосы, отчего мне было приятно и краска с лица постепенно исчезала, — произведения искусства не должны восприниматься дурно. Да и в конце концов, вид прекрасного женского тела должен только способствовать развитию эстетического вкуса у мальчика.

Это было смело сказано. Мама после этих слов напряглась так, что вздрогнула, но ничего не сказала, только невольно сделала от нас шаг в сторону, оказавшись в одиночестве посередине комнаты. Мне было неловко за мамино пуританство, одновременно обидно за нее (наверняка ее точка зрения, не высказанная, но выявленная, казалась хозяевам ограниченной) и вместе с тем боязно, что мама скажет сейчас что-нибудь резкое и нам придется уйти из этого необычного дома. Все это тоже почувствовали и застыли, словно бронзовые или фарфоро-

вые статуэтки. Папа с Лукой Петровичем у книжных полок, я, разинув рот, перед картинами (благо, получил санкцию смотреть!), около меня, в своем голубоватом кимоно, Лариса Ивановна, а мама одна, по-прежнему посередине комнаты.

На сей раз ситуацию спас Лука Петрович.

— Ну, осмотр, можно считать, закончили, хе-хе. Соловьев баснями да картинками не кормят. Да и я проголодался. Давай, солнышко, зови нас к ужину! Вы позволите быть вашим кавалером на сегодняшний вечер? Гриша, я надеюсь, не ревнив, — протараторив все это в одну секунду, Лука Петрович подлетел к матери и предложил ей опереться о его локоть. Мама слегка покраснела от удовольствия слушать куртуазную речь и принимать ухаживание знаменитого человека, оперлась о его руку, и мы двинулись через гостиную, потом по коридору в сторону кухни, свернув прямо перед ней налево в комнату, где уже стоял накрытый белой скатертью и уставленный тарелками и закусками стол.

Прислугу Лариса Ивановна отпустила и подавала на стол сама, не позволив маме помочь ей.

— Сидите, голубушка. Уж я как-нибудь сама.

Это «голубушка», как я снова почувствовал, снова покорило маму. По ее представлениям, слова «моя милая», «голубушка» и тому подобные употреблялись «вышестоящими» по отношению к «нижестоящим». Но ее снова отвлек Лука Петрович, и ужин прошел спокойно, оживленно, весело.

Что за отношения связывали отца со Звонскими? Как я видел, было безусловное уважение к его уму и знаниям. Я тогда так понимал, что им за занятиями искусством и светскими делами думать некогда, хотя их многое интересует, а от отца они получали, не прилагая усилий к чтению и размышлению, идеи, интеллектуальную информацию, а главное — объяснение окружающего мира, событий и того, что сами делали. Понять самих себя, да ещё в ряду и на фоне мировых явлений и событий, неожиданно соотнести себя с мирозданием, — да важнее этого для человека ничего нет. Как им было не обхаживать отца!..

После ужина мужчины, закулив папиросы, вернулись в кабинет Луки Петровича, женщины последовали за ними, а я попал в чулан или что-то вроде того. Это была маленькая, метров пять квадратных, комнатка без окна, с яркой лампочкой без абажура, свисавшей с потолка. Чулан этот располагался между кухней и комнатой, где мы ужинали. Там стоял небольшой покоробленный письменный стол со сломанными ножками под одной из тумбочек, в углу на полу картонный ящик с высокими бортами и импортными наклейками, и вот в

этом ящике, а что не поместилось, то на столе или просто грудой на полу — всевозможные игрушки, каких я раньше никогда и не видал. Японские, французские, канадские, немецкие, бразильские, игрушки всех стран света, где побывал Лука Петрович: фаянсовые и фарфоровые куклы, закрывающие глаза и наигрывающие мелодии, стоит их повертеть, японский борец с разинутым в крике ртом, индеец в перьях и на коне с копьём, причем был он сделан из какого-то материала наподобие пластика, что позволяло гнуть его в разные стороны, придавая ему самые разные позы, из такого же материала — Мики Маус со смешной мышачьей мордой, лопухий заяц, олененок Бэмби, семь так же мнущихся уморительных гномов, которым можно было придавать любое выражение; такие же гнущиеся монстры, ковбои и гангстеры. А ещё, ещё там было оружие, игрушечное, разумеется, но какое!.. Автоматы, ружья, пистолеты самых разных марок и систем, до того похожие на настоящие, что оторопь брала. Стреляющие, трещащие, с вспышкой, с загорающейся электрической лампочкой, с вылетающими искрами. Словно какой-то великан, затащил к себе в пещёру на утес все это богатство и, отдыхая от набегов, играл, как ребенок, во все эти чудеса. Но на самом-то деле это были, как объяснила Лариса Ивановна, подарки Луке Петровичу от восхищенных его талантом режиссеров и актеров во время его зарубежных поездок.

Попал я туда, в чулан, следующим образом. После празднично-гостевого ужина — с красной и белой рыбой, черной икрой, шампанским и коньяком для взрослых, чаем с шоколадными конфетами и кексом — Лариса Ивановна вдруг спросила, довольно бесцеремонно, на мой взгляд, но все равно очень мило и ловко, как и все, что она делала:

— А сколько тебе лет, Борис? Я что-то забыла. Судя по тому, как ты у Луки Петровича в кабинете покраснел, думаю, шестнадцати тебе ещё нет.

— Скоро четырнадцать, — ответил я.

Я вовсе не желал казаться старше, чем я есть, но поскольку у взрослых существовала легенда, что каждый подросток хочет выглядеть старше своих лет, о чем читал и в книгах, и по радио слышал, то я из вежливости ответил таким тоном, будто бы и я хочу выглядеть старше. А на самом деле мне и в своем возрасте было хорошо. Но все умиленно улыбнулись и засмеялись на мою интонацию.

— Ну, тогда ты ещё развлечешься, — сказала Лариса Ивановна, единственная сохранившая серьезное выражение лица, — тем, что Луке Петровичу надарили: у него есть игрушки и оружие игрушечное, как раз для мальчишки. А мой Лука Петрович, он же, как всякий ху-

дожник, совершенный ребенок и совсем непрacticalный человек, ему бы все в игрушки играть.

Лука Петрович сидел важный, но сквозь его важность и значительность после слов жены сразу проступило этакое простодушно-детское и упрямо-мальчишеское выражение на лице: «Конечно, она права, я большой ребенок». А Лариса Ивановна взяла меня за руку и отвела в чулан. И там я, беря в руки то ковбоя, то гномов, то японский автомат, то американский кольт, думал с завистью, что вот бы это все во двор, всю эту роскошь, к нашим играм в казаки-разбойники, в индейцев, тогда бы мы с ребятами поиграли, и это наверняка повысило бы мой авторитет, по крайней мере у Кешки Горбунова и Алёшки Всесвятского, которые вечно вытаскивали во двор всякие импортные игрушки и забавы. «А ему зачем? — думал я. — Все попусту пропадает. Не заходит же он сюда по вечерам и не воображает себя то индейцем, то ковбоем, то храбрым партизаном или подпольщиком, скрывающимся от гестапо» (как это было в книге Левенцова «Партизанский край», любимой книге моего детства).

В чулане я, как вспоминаю, пробыл не особенно долго. Не помню уж, сам ли я оттуда вышел, пресыщенный зрелищем богатств и уязвленный их недоступностью, так что и играть не хотелось (мелькнула было мысль выскочить с кольцом в гостиную, но так поступать в гостях, я это знал, было неприлично), или меня зачем-то позвала мама, но я опять очутился а комнате с голыми женщинами на картинах и книжными полками во всю стену. Взрослые сидели в креслах вокруг журнального столика и вели разговоры.

Увидев меня, Лука Петрович сделал приглашающий жест рукой, чтобы я подошел к нему поближе:

— Ну что, мужичок, наигрался? Понравилась игрушки? Ничего, а? Должны понравиться. Понравилась?

У меня вдруг мелькнула невероятная мысль, которая и в голову-то до того не приходила, почти невзправдашняя надежда, и вместе с тем я тут же уверился, что ничего невероятного и несбыточного в этом нет — в том, что Лука Петрович сейчас возьмет и предложит мне на выбор игрушку в подарок.

— Да, — сказал я.

И добавил: — Очень!

Я ждал, что Лука Петрович скажет: «Выбери себе автомат, какой понравится, любой, или если хочешь, то кольт». Но он ничего подобного не сказал, а захохотал, показывая, что рад был доставить мне удовольствие. И я тогда подумал, что ему просто жалко, что он жад-

ничает, а теперь думаю, что ему, может, и впрямь просто в голову не пришло удовлетворить мое корыстное желание.

— Вот и хорошо, что понравилось. — Лука Петрович мотнул головой в мою сторону, предлагая остальным взглянуть на меня: — У малого есть вкус. Эх, мне бы эти игрушки лет на сорок раньше — по поселку с ребятами побегать!.. А теперь все это, как говорят ученые люди, — реализация несыгранного... Ну, садись с нами, мужичок, раз тебе надоело игрушками забавляться. Послушай, как взрослые люди пустяки врут, а Лариса тебе сейчас соку даст. Лариса, поднеси, радость моя, стакан соку нашему старому другу.

Лариса Ивановна легко встала, ее широкое, чистое, курносое лицо светилось довольством и радостью гостеприимства, любезностью. И ко мне она обращалась, словно мы и в самом деле были с ней старыми близкими друзьями:

— Как тебе нравится, Борис, этот держиморда? Что-то он чересчур раскомандовался, тебе не кажется? Помнишь, как на взморье он был тише воды, ниже травы. Он, видите ли, тогда отдыхал и расслаблялся, а теперь новый спектакль готовит, актеров гоняет, вот и мне достается.

Говоря так, она улыбалась, и мне, и всем сразу, налила стакан сока, поставила передо мной, и было ясно, что все легко и хорошо и вовсе ей ни капельки не достается. Поблагодарив, я взял стакан, пригубил его и, перестав наконец привлекать всеобщее внимание, смог глядеть по сторонам. Мама сидела в углу, спиной к картинам, с казенной улыбочкой на губах, откинувшись на спинку кресла, но слушала все внимательно, хотя реплик почти, не подавала. Отец тоже сидел в кресле, рядом с книжной полкой, весь напрягшись, вцепившись в подлокотники, и нервничал, почти не говорил, только отвечал, да к тому же односложно. Он чувствовал себя несвободно, потому что видел, как многое тут раздражает маму, и вести непринужденный разговор было словно бы неким предательством мамы; во всяком случае, так могло ей показаться, особенно потому, что Звонские принадлежали к столь далекой от нашего привычного круга *элиты*. Не просто были художниками, артистами, то есть людьми иной профессии, а именно «высшим светом», где жизнь и профессия, род деятельности и образ жизни странным образом слиты.

Впрочем, и сами Звонские считали себя элитой и настоящими светскими людьми. Я слышал, как на взморье приятельница Ларисы Ивановны, тоже жена, правда, не режиссерская, а одного из видных актеров, говорила: «Конечно, именно мы сейчас представители света, светского общества. Даже чиновники к нам тянутся, они чувствуют,

что духовная элита, да и вообще элита — это мы, а не они». Сказано это было с апломбом, но было видно, что произносит она не свои слова, а высказывает точку зрения, кем-то уже не раз формулированную, может быть и скорее всего ее мужем. Но мне тогда показалось, что она права. «Раньше актеры и постановщики, — подумал я, припомнив разнообразные книжки, — были богемой, общаться с которой представителю “порядочного” общества было зазорно, зато теперь почетно. Знакомством с ними все гордятся». И япил сок и, забыв вскоре обиду из-за игрушек, с интересом и упоением слушал рассказы Звонских, впитывая их тон, саму манеру разговора, легкую и живую.

— Вот так он и лютует, помыкает мной, как сатрап, — ласково-ироническим тоном говорила Лариса Ивановна. — А как когда-то ухаживал! Что только не вытворял! Я ведь о принце мечтала, как и каждая молодая дуручка, — но слово «каждая» она так выделила, что нетрудно было догадаться, что к себе его она не относит. — Ко мне мно-огие сватались. Я ведь была дочь командарма, да ещё и из хорошей семьи: отец мой из тех царских офицеров, что приняли революцию и быстро дослужились до самых верхов. Только в тридцать четвертом он разбился на самолете. Ну, зато в чистки не попал. И была я, молодая барышня, вся в денщиках, ординарцы отца каждое утро цветы мне дарили, на машине катали; у отца и в опере свой абонемент был... Поверите ли, Анечка, — обратилась она к моей матери, — что в юности я принимала ванны из молока, для кожи, — кожа у меня тогда была не очень хороша, вот врачи и велели за собой следить... Во всяком случае, чувствовала себя принцессой. И тут в театральной студии встречаю этого, тогда ещё молодого грубияна. А он кто? Да никто. Бывший боксер, пока что трюкач в цирке, в студии на вторых ролях. И вдруг начинает за мной ухаживать!.. Я ему говорю: я выйду замуж только за знаменитого режиссера или актера. «Значит, за меня, — он мне отвечает, — а то нынешние все старики, какой от них прок! Они же ж ничего уже не могут, даже не расшевелият, не то чтобы удовлетворить!» Представляете? Так прямо невинной девушке все и ляпнул! — она захохотала, запрокинув голову. Ей было приятно делиться своей биографией, ей было интересно рассказывать про себя, и этот искренний интерес невольно передавался и слушателям.

— Ну ладно, ладно, — прервал ее Лука Петрович, — ты лучше расскажи, как я тебе меж пальцев из пистолета стрелял. Я ведь молодой лихой был, — пояснил Лука Петрович, — а пистолет у меня от брата после гражданки оставался. Она мне все хвасталась, что вокруг нее военные, храбрые и ловкие, с пистолетами, а ты только, мол, кулаками махать умеешь. А я говорю: а могут ли они из пистолета у тебя

между пальцев руки с двенадцати шагов попасть пуля за пулей? Лариса гордая была девочка, мне под стать, храбрая была. К стене сразу подошла — мы у нее в саду были, — пятерню растопырила, к стене прижала: «Давай, говорит, стреляй».

— И вы?.. — перебил я его, острее взрослых переживая историю с оружием.

— А что мне оставалось делать? — усмехнулся он. — Пришлось стрелять. Так пулю за пулей все четыре штуки и всадил.

— Не ранили? — снова встрял я.

— Нет. Тут первый раз ее немного проняло. А потом пришлось мне, в свою очередь, обещание выполнять — становиться знаменитым режиссером. Вот и стал. Все, чтоб ей угодить. — Они оба ласково переглянулись. — Так уж больше двадцати лет лямку и тянем. Двадцать лет бессрочных каторжных работ! — теперь уж рассмеялся он. — Ну, честно признаюсь, Ларисе, конечно, больше достается. У меня работа, театр, а на ней весь дом, да ещё и собственное творчество. Но раз уж впряглась в эту лямку, согласилась ее тянуть, — так уж тянет, и без сбоев, — сказал он, а я подумал, вспомнив, что говорила мама о Звонских, что не так уж тяжела эта лямка при домработнице и «хорошо зарабатывающем» муже. Достаточно посмотреть на фарфор и хрусталь, да ещё и в молоке в молодости купалась. Зная крестьянское уважение и даже некоторое скопидомство мамы по отношению к продуктам (даже сухой корки хлеба выбрасывать нельзя, сюда труд вложен!), я просто боялся взглянуть на нее после рассказа о молочной ванне.

— Да уж, — подхватила тем временем свою партию в дуэте Лариса Ивановна, с ласковым укором и одновременно озорной усмешкой посмотрев на мужа. — У него там актриски, то да сё, ему легко эту лямку тянуть. Но я понимаю, мы, Анечка, это понимаем, что мужчинам нужна разрядка, такая уж у них физиология. Женской выдержки и терпения у них нет и никогда не будет. Это только мы, женщины, — обратилась она к маме, — способны хранить постоянную верность и преданность. У нас на это силы побольше, чем у любого мужчины.

— Среди мужчин тоже не редкость встретить порядочного человека, если он все время помнит, что у него есть семья, дом, жена, дети и обязанности перед ними, особенно если он твердо знает, что его жена не изменяет ему с каждым встречным и поперечным, — сказала резко мама.

Резкость ее была откровенной, вызывающей.

— Вот и не обязательно, голубушка, — спокойно, без обидыотреагировала Лариса Ивановна. — Вы ведь должны знать, что перед хорошенькой юбкой никакой мужчина устоять не сможет. Это проверено.

И нечего его за это винить. Главное, надо следить, чтоб он не влюбился. Тогда это и в самом деле опасно. Я один раз так чуть своего Луку не прошляпила, чуть не потеряла. Думала, так все просто, в игрушки играет, покрутится, повертится, а потом все же в родовой замок вернется, за гранитные-то стены. Вдруг, приглядываюсь, задумываться он стал, на меня грустно так посматривает, на квартиру, будто прощается. Ну, думаю, уведят моего Лукашку, прямо из стойла уведят.

Я невольно посмотрел на Луку Петровича, не смутился ли, но он сидел прямо, крепко, слегка подводя зрачки под веки, с самодовольным выражением, которое я теперь могу определить как самодовольное выражение петуха, которого нахваливает его курица, ссорившаяся из-за него с другой курицей. Он попивал маленькими глоточками коньяк и с удовольствием слушал рассказ жены. Его маленькие глазки жмурились, и он все вальяжнее и барственнее раскидывался в кресле, а пальцы его отбивали на ручке кресла так легкомысленной песенки «Блю, блю, блю кэнери», доносившейся из магнитофона... Да, я забыл упомянуть об этом предмете, а он произвел на меня, быть может, самое сильное впечатление, как предмет невероятной — по моим тогдашним понятиям — рос кошки. Машина с двумя крутящимися катушками с пленкой, в полированном деревянном корпусе, — нет, это даже не роскошь, а знак приобщенности к *той* жизни, зарубежной, европейский, «высшей». К тому же, как объяснял Лука Петрович, приобретался магнитофон не только для развлечения, а для профессиональных надобностей прежде всего, чтобы в работе быть на уровне современных технических средств. Лука Петрович формулировал это так: пишет он плохо, память у него слабая, забывает, что актерам хотел сказать, а наговорить, когда в голову приходят идеи, может много. А тут — раз, включил магнитофон и говори... И все важное сохраняется. Вот зачем он ему нужен.

А Лариса Ивановна продолжала свой рассказ, и под ритмы этой вполне легкомысленной песенки о любви все рассказываемое звучало как милая история:

— ...Уведят моего Лукашку. В глаза он мне не глядит, морда все время виновато на сторону скошена. Ну, думаю, так дело не пойдет. А мне ее показали: ничего, хорошенькая такая, рыжеватенькая. Вкус у Луки, надо отдать ему должное, в этих делах, всегда был неплохой, — Лариса Ивановна хрипло, точнее хрипловато рассмеялась, и было в этой хрипловатости нечто интимное и незлое, прощающее, уже простившее, но и властное, уверенное. — И все равно, я же знаю, что я для него лучше и нужнее. Конечно, теперь, когда у него такая слава, за него всякая не только пойдет с охотой, а ещё и стремиться будет. Это

я в свое время беспортошного трюкача приняла... И куда он от меня и без меня денется!.. Он этого может не понимать, зато я понимаю. Ну, я к ней в фойе после спектакля подошла, горжетку, которую он ей купил, сорвала; она побледнела, в сторону, как кошка блудливая, дернулась, я ее за волосы, да об пол и при всех, кто там был, за волосы по полу оттаскала. Она визжит, а сопротивляться не смеет, знает кошка, чье мясо съела. Меня оттащили, а Лука стоял и смотрел. Та визжит, ругается, слюной брызгает, а он ко мне подошел, под руку взял и домой увел. И все, больше с той ни разу не встречался. Оценил! — Она снова рассмеялась, подошла и поцеловала Луку Петровича в голову.

Мама перестала совсем улыбаться, отец улыбнулся какой-то тревожной улыбкой, явно ему эта история была не совсем понятна, в нашем доме совсем другой стиль отношений был заведен, серьезнее и надрывнее, а Лука Петрович сидел и ухмылялся, и что-то мягкое и довольное было в его улыбке.

После рассказа Ларисы Ивановны (я почему-то и про себя называл ее по имени-отчеству, хотя сейчас так и тянет назвать просто по имени) слово взял, не давая перерыва, Лука Петрович:

— Теперь, кхе-хе-хе, я опять при ней. Глядишь, так и до конца вместе эту лямку дотянем. Сколько нам там осталось? Двадцать лет? Тридцать?.. Как по-твоему, Гриша, это много или мало — двадцать лет?

Отец пожал плечами, но не поспешил с ответом, видно мне было, что он переживал за маму, за ее дискомфортное состояние, винил в этом себя, а потому и не сразу включился в разговор, а включившись, ответил неожиданно сухо и с раздражением:

— Всё зависит от меры отсчета и от наполненности человеческой жизни. Сумеет человек наполнить жизнь делом, вдохновением, настоящей любовью, трудом, реализацией себя — он вложит в эти годы много, спрессует их, а проживет, как свинья, для своего удовольствия, то будто этих лет и не было, во всяком случае для будущего времени их не будет, останется пустое пространство, будто в нем никого и не существовало. Впрочем, все эти банальности вы и сами знаете, без меня.

Он говорил, будто выговор Звонским делал, и снова тем не менее они не обиделись.

— Люблю Гришу, он всегда как-то все на свои места умеет поставить! — Лариса Ивановна отошла от мужа, приблизилась в своем шуршащем кимоно к отцу, обняла его одной рукой за плечи, прижала не то к своему боку, не то к бедру и поцеловала в щеку. Отец невольно дернулся, кинул быстрый взгляд на маму, не привыкшую к таким артистическим вольностям, и покраснел.

А Лука Петрович, потирая свои маленькие глазки, хехекал и повторял:

— Много или мало, все от человека зависит, именно, все от человека зависит, много или мало он прожил, все от человека.

Лариса Ивановна погладила отца по волосам. Свет в комнате был полупритушен, из пяти ламп на люстре горело только две, да ещё торшер в дальнем углу, вполне все было видно, и все же атмосфера уюта, изолированности от окружающего мира, предполагающая беспредметную и игровую велеречивость, этим освещением создавалась. Но мама, глядя на глядящую отца руку, выпрямилась со сжатыми губами и сидела, ничего не говоря, как оцепеневшая, как застывшая. Отец старался делать вид, что ничего не замечает.

Молчать, как мама, мне почему-то стало неловко, хотя никто и не ждал от меня особых речей, и, чтобы сделать вид, что я занят и слушаю «взрослые разговоры» как бы вполуха, я тихо подошел к книжной полке и принялся доставать по очереди массивные тома книг по искусству, то на русском, то на немецком языках, листал их и рассматривал картинки, прислушиваясь к разговору. Но иногда отвлекался, читая краткие аннотации. Немецкий я знал тогда настолько, что был в состоянии разбирать подписи под картинками.

— И вот вызывает меня этот Шпанделевский, кхе-хе, я так его прозвал, Гриша знает, о ком я говорю, из министерства один там, и спрашивает, — рассказывал тем временем Лука Петрович, — «Ты иностранные языки знаешь?» Я тут же сообразил, что к чему, и отвечаю: «Конечно, два языка». «В Англию поедешь, — говорит. — Нам нужен там в делегацию грамотный и хорошо образованный театральный деятель, художник, одним словом, да». Я киваю важно. А сам ни бумбум, ни в одном языке... Сколько меня Лариса немецкому ни пробовала учить — она ведь у меня ещё и немка наполовину, знали ли вы это, Анечка? — ничего так и не усвоил. Приезжаем, а я без переводчика ни шагу. Говорят: «Ты что же? А два языка?» Я им: «Два и есть. Армянский и грузинский». Фиг вы, думаю, мне тут проверку устроите. Махнули рукой. С тех пор и езжу. Вот так вот, понял? Языки знать надо!

Вдруг Лариса Ивановна, отсмеявшись, повернулась • о мне:

— А кстати, каковы твои успехи в немецком, а, Боря? Wie geht es Dir? Помнишь, я тебе обещала, если ты выучишь хоть одно стихотворение на языке, подарить хорошую книжку. Ну, и как у тебя успехи?

Я был рад сделать ей приятное, выполнить ее любую просьбу. Тем более прочесть по-немецки стихотворение — такой пустяк. Я повернулся к взрослым и сказал:

— Хайнрих Хайне. Ди Лорелей, — я нарочно сказал «Хайне», а не «Гейне», чтобы показать, что я знаю, как правильно произносить фамилию поэта, и прочитал:

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin;
Ein Marchen aus uralten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn...

Я прочитал стих до конца, а Лариса Ивановна спросила:

— Перевод, я надеюсь, ты знаешь?..

С самодовольным торжеством я ответил:

— Разумеется. Перевод Александра Блока.

И прочитал:

Не знаю, что значит такое,
Что скорбью я смущен:
Давно не дает покоя
Мне сказка старых времен.
Прохладой сумерки веют,
И Рейна тих простор,
В вечерних лучах алеют
Вершины дальних гор.
Над страшной высотой
Девушка дивной красоты
Одеждой горит золотою,
Играет златом косы,
Златым убирает гребнем
И песню поет она:
В ее чудесном пенье
Тревога загаена.
Пловец на лодочке малой
Дикой тоской полонит;
Забывая подводные скалы,
Он только наверх глядит.
Пловец и лодочка, знаю,
Погибнут среди зыбей;
И всякий так погибает
От песен Лорелей.

— Ну что ж, роль Лорелей нам подойдет, правда, Анечка? — сказала Лариса Ивановна. — Только не похожи они что-то на погубленных!

— Эта роль не для меня, — сухо отрезала мама. Да и в самом деле, на Лорелей скорее походила Лариса Ивановна, живущая в своем доме-утесе на пятом этаже, и ласковые речи её — её песни, а пловцом в лодочке был, конечно, я. Возможно всё же, что, сам того не подозревая, я был, наверно, влюблен в Ларису Ивановну, в Ларису. И её образ был для меня окружен золотым сиянием. Она встала, подошла к полкам, достала том избранных стихотворений Heine (я-то помнил, что он ее любимый поэт и что именно этот том и был мне обещан!) и протянула его мне со словами:

— Держи, учи наизусть. Лучший способ выучить язык — это учить наизусть стихи.

Мне вдруг показалось, что если я буду изъявлять благодарность, как положено, то нельзя не упомянуть и то, что я ждал этого подарка, и тогда получилось бы, что я напомнил об этом чтением стихов, попросился, так сказать. Я взял в руки книжку и, в растерянности пробормотав еле слышно «спасибо» и «пойду положу», выскочил черед гостиную, чувствуя себя неуклюжим и топорным под взглядами взрослых, в холл-прихожую, засунул книжку в мамину сумочку и с трудом заставил себя вернуться обратно.

— Ты куда ходил? — спросила мама. — Даже «спасибо» не сказал.

— Я сказал, — покраснел я. — А ходил положить. В твою сумку.

— Хорошо! — смутился и папа. — Настоящий бурундук.

Его слова вогнали меня в краску окончательно, до слез, до неловких жестов, когда нарочито не обращаешь ни на кого внимания. Я подошел к окну и мрачно уставился в темное стекло, пытаюсь разглядеть за ним слабо освещенный двор, казалось расположенный на дне пропасти, настолько высоки были окружающие его дома. Но виднелся только каток за деревянными щитами с тоненькими деревцами и четырьмя фонарями. Он напоминал арену, куда можно было выпустить и гладиаторов, и диких зверей, а из окон сверху, как с усовершенствованных зрительских мест, можно наблюдать за схваткой. Я замечтался, отвлекся, но сзади захохотал Лука Петрович, и я в отчаянии прижался лбом к стеклу с такой силой, словно пытался выдавить его. Женские руки нежно взяли меня за плечи и, несмотря на мое не слишком упорное сопротивление, развернули. Это была Лариса Ивановна.

— Да ты что, Борис?! Да фу на твоих родителей! Что за мещанская чопорность! Все правильно. Ты получил в подарок книжку и спрятал ее в сумку. Все нормально. Ну, улыбнись, не переживай!

От нее исходил манящий, влекущий запах духов, запах, которого я никогда не слышал раньше. И я был ей благодарен, она, в сущности, вытащила меня из пропасти, в которую я с отчаяния ринулся от стыда, не одернула, не засмеялась и вдруг прояснила, что ничего страшного не случилось. И после самообвинений и ясного понимания, что я поступил «неприлично», наступило столь же ясное понимание, что все в порядке, что я имею право смотреть на белый свет, но все же ее слова о родителях были мне неприятны, хотя за ее доброту я и готов уже был стать ее верным рыцарем, расплыться в обожании ее. Полобнимая меня за плечи, она подвела меня к креслу, усадила и присела рядом на широкую и плоскую его ручку.

— Ну, — повторила она, — не переживай, мы же друзья. Верно?

— Слушайся Ларису Ивановну, с ней не пропадешь, — сказал щурясь Лука Петрович. — Уж если она меня, хе-хе, удержать сумела, ума у нее побольше чем у всех других женщин, вместе взятых.

— А что, Борис, — в порыве вдохновения произнесла Лариса Ивановна, — давай приезжай ко мне, я с тобой буду немецким заниматься. Все же это мой второй родной язык.

Я молча кивнул, а сам вспомнил свою «немку», Эльзу Христиановну, которая «давала уроки» мне и моему дворовому приятелю Алёшке Всесвятскому. Когда она приходила к Алёшке (мы занимались у него на квартире), его бабка приносила ей на стол чай и конфеты с печеньем в вазочке. Сначала она пила чай и просматривала наши домашние задания, потом Алёшкина бабка приносила ей вторую чашку, и Эльза Христиановна начинала спрашивать нас перевод, чтение, слова, продолжая между делом прихлебывать из чашки чай. Когда она как-то раз оказалась в нашей квартире, где суровая мама поставила на стол только будильник и сказала «немке», что если в течение положенного часа мы будем баловаться, а не работать, чтоб она не стеснялась на нас прикрикнуть, а если надо, то позвать и ее, потому что работа есть работа. «Mach die Tür zu», — досадливо сказала «немка» привычную фразу, кивнув мне. Я встал и закрыл дверь комнаты. На квартире у Алёшки обычно это делал он. Эльза Христиановна морщила к переносице брови и с неудовольствием раскладывала книги. Она напоминала мне всей своей повадкой, своим длинным коричневым платьем с белым воротничком и белыми манжетами рукавов, своей длинной костлявой фигурой, любовью, уменьем и любовью «побеседовать» с Алёшкиной бабушкой «немку» из прошлого века, не то учительницу, не то гувернантку. С нами она всегда была мила, изредка дарила нам немецкие книжки про индейцев, которые (так предполагалось) мы с интересом должны

были читать, но которые мы не читали, разве только на занятиях. Она что-то бормотала чуть слышно, ее длинные худые губы шевелились, наконец она произнесла: «Setzen sie sich». Мы уселись, и занятия начались. Очевидно, что ее природный, врожденный немецкий педантизм, почти пропавший среди российской бестолковости и безалаберности, проснулся от маминого крестьянского напора и деловитости, и она целый час гоняла нас по склонениям, заставляла читать, пересказывать, вести между собой беседу, умаяв нас и сама умаявшись. Но больше она у нас в квартире не занималась, предпочитая Алёшкину, нахваливая Алёшку бабке, чтоб та снова и снова приглашала ее заниматься к ним домой. Было в ней что-то от приживалки, эксплуатирующей свою национальность и язык, раз уж больше нечего и ничего-то другого она делать не умеет, и родина далеко и вряд ли она уже туда вернется, да и есть ли к кому. Очень жалею сейчас о нашем детском равнодушии, что мы даже не поинтересовались ее судьбой. Кто она, откуда, как жизнь прожила и как сейчас живет. Для нас она была хорошей теткой, доброй, не очень нас загружавшей (чем весьма нам нравилась) и, по сути дела, не пытавшейся учить нас языку. И до сих пор я так и не знаю немецкого. Хотя мечты родителей, чтобы их сын непременно знал иностранный язык, потихоньку вколотились мне в голову, и я хотел язык знать, но не представлял, что это требует постоянных усилий, как и все на свете. О последнем я тоже тогда не догадывался.

Выслушав предложение Ларисы Ивановны, я с радостью молча кивнул ей, но при этом вопросительно посмотрел на родителей. Как *они* к этому отнесутся? Без их разрешения я не представлял себе поездки сюда. Отец пожал плечами, и я поглядел на маму: от нее теперь все зависело.

— Спасибо за предложение, но, Лариса Иванна, — сказала мама, — у Бориса уже есть учительница, да к тому же регулярно сюда ездить у него не получится, а заниматься от случая к случаю — толку не будет, — с прямым и нескрываемым осуждением этой затеи сказала решительно мама.

Я видел, что Лариса Ивановна несколько растерялась: она и не собиралась давать постоянные уроки, как показалось маме.

— Но никто и не говорит, чтоб он бросал регулярные занятия с учительницей, — попытался поправить положение отец. — Сюда он может ездить для шлифовки языка, произношение улучшать.

— Пусть с Эльзой Христианной занимается. За что-то она деньги получает, пусть и произношение ставит. Главное, чтоб он сам не лентяйничал, — уперлась мама.

— А ты считаешь, Гриша, что учить язык полезно? — бесцеремонно встрял Лука Петрович. — Не знать, а именно учить?..

Отец повернул к нему голову, радуясь — по всему было заметно, — что разговор хоть слегка меняет русло.

— Конечно, полезно. Открываешь новый мир, даже заучивая простые грамматические правила чужого языка. Надо только помнить, что слов и грамматических правил здесь недостаточно, — заговорил отец «рассуждающим» тоном, привлекая всех вслушаться в то, что он будет говорить, и забыть о «напряжке». — Мы не овладеем языком, пока не научимся мыслить на нем, а это задача из задач. Обычно удивляются, почему взрослому труднее выучить язык, чем ребенку. Но у ребенка происходит первая встреча с миром, и эта ситуация уже не повторяется. Поэтому второй язык учить сложнее, тут реальная трудность состоит не столько в изучении нового языка, сколько в забвении старого. Что вы так на меня смотрите? Это звучит парадоксом, но это так. Наши восприятия уже сложились в соответствии со словами и речевыми формами материнского языка именно материнского, связь тут столь же тонкая и прочная, как у ребенка с матерью, потому и разрыв связей между вещами и словами, чтобы назвать вещи новым словом, требует больших усилий. Но ради языка можно пожертвовать усилиями и временем. Проникновение в другой язык есть всегда проникновение в новый мир, обладающий своей собственной интеллектуальной структурой, и самое большое достижение здесь состоит в том, что свой родной язык мы начинаем видеть в новом свете. Как сказал Гете, — отец взмахнул рукой, словно подчеркивая цитату, — «*wer fremde Sprachen nicht kant, weiss nichts von seiner eigenen*». Борис, можешь перевести?

Я отказался. Лариса Ивановна переспросила, но перевела:

— Кто не знает иностранных языков, тот не знает ничего и о своем собственном. Так? Что скажет ученый мудрец?

Уже в который раз опять зазвонил телефон. Разведя руками, что, мол, не может выслушать ответ отца, Лариса Ивановна вышла в прихожую. Оттуда, как и предыдущие разы, был ясно слышен ее сильный веселый голос: «Да. А, здравствуй, Маричка. Достал? Молодец. Ну, конечно, возьми. Договорились. Наши общие знакомые. Помнишь Гришу Кузьмина? Вот он с семьей. Непременно передам. Ну, разумеется. Сказала тебе — передам, значит, передам. До скорого». Она звонко засмеялась, как обычно смеются шутке.

Вернулась она в комнату, продолжая смеяться.

— Помните такого забавника, Марка Самойловича? На взморье все юлил вокруг нас, надеялся, что Лука Петрович его в театр пристроит.

Передавал горячий привет и спрашивал, здесь ли Боря, или его, как всегда, забыли в пивной? — Она снова засмеялась. — Услужливый такой человек! Я его послала очередь отстоять (за одним предметом дамского туалета, — пояснила она, склонившись к маме, интимно). И представь себе, Лука, он достоялся. Завтра привезет. Просто прелесть!

— Да, человек он услужливый, хе-хе, этакий Шпанделевский, — подтвердил и Лука Петрович, — а куда ему деться? Все ждет, что я его на работу пристрою, а у меня пока не получается.

— Несчастный человек, а не человек, — сказала вдруг мама громко и в сердцах.

А я посмотрел на Ларису Ивановну, такую естественную в своем аристократизме, и подумал, что она, конечно, не гейневская Лорелей, а, скорее, прекрасная дама из шиллеровской «Перчатки». Надо сказать, что «Перчатка» своим демоническим и гордым трагизмом нравилась мне куда больше «Лорелей», потому что воображать себя отважным рыцарем, не побоявшимся с высокого балкона прыгнуть за перчаткой надменной дамы на площадку зверинца, где бродили лев, тигр и барсы, было куда интереснее и приятнее, чем непонятным пловцом в утлой лодчонке: стихотворение это было напечатано в учебнике готическим шрифтом, что придавало ему средневековую убедительность, и когда я произносил слова: «Den Dank, Dame, begehrt ich nicht!», — мне казалось, что и я бы с таким же презрением отверг лицемерную и надменную красавицу. Но тут же увидел, что вовсе и не похожа Лариса Ивановна на надменную, тем более лицемерную красавицу, потому что и она ужасно смутилась, да и Лука Петрович смеялся после маминих слов.

— Он такой забавник, то есть шутник, то есть я вовсе, мы вовсе не хотели его обидеть, говоря, что он услужливый... что вы, Анечка, «человек» вовсе не унижительное слово, он ведь и в самом деле невысокий такой, да и духом невелик, — оправдывался в растерянности Лука Петрович, а Лариса Ивановна подтверждающе кивала головой.

— Да нет, это я так, — спохватилась и мама в смущении.

А Лариса Ивановна бросилась ко мне как к спасательному кругу, как к человеку в лодке среди волн, как к спасателю, как к рыцарю Делоржу, который поднимал перчатку дамы, но не из гордости, а за помощью:

— Ну так что, Борис?.. Как ты решил? Будешь ко мне ездить языком заниматься?..

Конечно же, я хотел ездить. Мне не так хотелось заниматься немецким языком, как заниматься именно с ней, ездить к ним в дом,

общаться с ними, это льстило моему самолюбию, сам не знаю почему. У нас дом был, что называется, интеллигентный, но простой. В нем была *прямота*, доходившая даже до обидного, поскольку меня не облизывали, а, скорее, побранивали, гораздо чаще, чем мне хотелось бы. И никогда у нас дома не было изобилия: только то, что нужно. Уже позднее я определял этот стиль жизни как характерный для российской демократической интеллигенции. Не голоден, обут, одет, в тепле, здоров, книги есть — читай, развивайся: для занятий — книгами, деньгами, учителями — ты будешь обеспечен, только трудись, работай. Меня не тянули, мне помогали. Но желание приобщиться к миру, где меня не бранили, не поучали, где отношения чудились легкими и простыми, где со мной разговаривали, не ставя одновременно, пользуясь каждым поводом, высокоморальных целей, — короче, желание стать «своим» в этом мире охватило меня.

— Я с удовольствием, — отозвался я на ее слова, но, пытаясь взглянуть куртуазно вежливым, добавил: — Если только у вас будет время для меня.

— Конечно, будет, — сразу сказала она. — Как решишь приехать, так и звони, только лучше звони за день, чтоб я других дел не назначала. Хочешь, прямо с послезавтра и начнем? Все же мать у меня немка, должна же я в ее честь хоть одного человека выучить ее родному языку. Итак, решено, послезавтра. Приезжай к обеду. Будем обедать и беседовать по-немецки... Gut?

Лука Петрович сморщился:

— Ларочка! Зачем ты обманываешь нашего юного друга! Ведь послезавтра у нас Елисеевы, и тебе не удастся поговорить с Борисом на твоём втором родном языке, солнышко ты мое! Елисеевы, хе-хе, в языках, вроде меня, люди, свободные от знаний... Хе-хе! То есть пусть Борис приходит, когда хочет, мы всегда рады его видеть, только в этот день занятий не получится...

— Да вы что, — сказала мама, — зачем ему *попусту* ездить, у него все же школа, уроки, да и вообще я считаю, что нечего попусту людей беспокоить. Пусть хорошо делает хотя бы то, что ему по программе положено, да что Эльза Христиановна ему задает... — Мамино лицо от внутреннего напряжения пошло красно-белыми пятнами, смотрела она при этом на бахромку своего накинутого на плечи посадского платка.

Но и Ларисе Ивановне, хозяйке волшебного замка, вознесшегося на утесе над морем человеческой обыденности, отступать было нельзя.

— Ну и что. Мы увидимся в другой раз. Анечка, дорогая деточка, я вовсе не съем вашего сына. Он такой милый и славный мальчик, с

красивыми глазами, как у отца, и очень мне нравится. Просто Боря должен сам мне позвонить, ну, скажем, через неделю. И мы с ним непременно выберем время для встречи. А с этими Елисеевыми я действительно должна буду заниматься, развлекать их разговорами, и они нам с Борей будут мешать. Лучше через неделю.

— Лариса, — робко сказал отец, — я думаю, Аня права, зачем вам себя утруждать! У Бориса есть учительница. Так что все в порядке, он нормально занимается.

— Тебе, Гриша, стыдно так говорить, — прищурилась златовласая красавица с курносым носиком, и тут я впервые осознал, что отец говорит им «вы», а они ему «ты». — Ты бы должен был понимать, что значит работа по обязанности и что значит работа от души. Ты же мудрец, мыслитель.

При этих словах мама посмотрела на отца пронизательным долгим взглядом.

— Быть может, тебе и в самом деле, Гриша, лучше знать это, раз так говорит Лариса Ивановна.

— Аня! Ну что ты, право! — сказал отец, уже не обращая внимания на Звонских.

А я вдруг подумал, что понимаю отца, что как Эльза Христиановна приходила к нам не ради уроков, а чтоб погреться, отогреться при цивилизованных детях, в профессорских семьях, за чашкой чая, где к ней относились как к человеку, а не просто как к училке, так и папа стремился сюда, чтобы побыть в атмосфере изящества, свободы, где ему *внимали*, причем слушали не как специалиста, а по любому вопросу он мог говорить, как много знающий и умный человек.

— Я ничего, — отозвалась мама, неловко, скованно и принужденно улыбаясь Звонским.

Эта улыбка, ее, так сказать, тональность, показала (мне, во всяком случае), что визит не удался, что мама это сознает и сама сюда ни ногой, даже если и пригласят.

По-видимому, и Звонские это почувствовали. Вечер сходил на нет. Лариса Ивановна плюхнулась на диван, закинула ногу на ногу. Потом закурила, затянулась, положила горящую сигарету в пепельницу и, закидывая высоко руки, принялась поправлять прическу. Широкие рукава ее кимоно упали на плечи, браслет съехал к локтю. Браслет был темно-зеленоватого цвета с золотыми точечками, похожий на свернувшуюся змейку. Я посмотрел на него и вспомнил, как летом, показывая этот браслет, Лариса Ивановна раза три разным людям рассказывала, что, когда она была молоденькой совсем, ее родители привезли из Индии маленькую змейку, совершенно такого же цвета,

вроде той, что укусила Клеопатру, ужасно красивую, только с удаленными ядовитыми зубами. И как она эту змейку носила на руке вместо браслета. И одна старушка на улице все восхищалась этим браслетом, а змейка вдруг подняла головку, раскрыла пасть и зашипела, и старушка упала в обморок. Очень мило она это рассказывала и добавляла, что с тех пор носит браслет, похожий на эту змейку. Почему-то мне нравилась эта сомнительная история. Я готов был ещё раз выслушать ее, эту историю, придававшую столько экзотики златовласой хозяйке, но Лариса Ивановна не стала на сей раз ее рассказывать, только улыбнулась и подмигнула мне, указывая глазами на браслет: мол, помнишь? А я радостно закивал ей в ответ, тоже улыбаясь. Но, посмотрев на родителей, невольно посуровел — такие они сидели молчаливые, напряженные и не улыбочивые. Мама явно хотела уйти, поглядывала на часы, так, чтобы отец это заметил. Но, видимо, уйти, чтобы было *прилично*, в такой ситуации было весьма трудно. И отец сидел, тщетно пытаясь, как я думаю, найти повод для ухода.

Разговор тек вяло, Лука Петрович что-то рассказывал довольно скучно, о своей поездке в ГДР, как он притворялся знающим немецкий язык и как его пригласили ставить Шиллера, а он отказывался, говоря, что ему чужд этот драматург. Сопровождавший его немец из вежливости говорил по-русски и его надувательства так и не раскрыл, а может, и раскрыл, поправила его Лариса Ивановна, но виду не подал. Вставить хоть слово об уходе в этот его рассказ было трудно.

Все же мама встала и сказала, что она извиняется, но для мальчика уже поздно, ему завтра в школу, что мы должны идти и что вечер был такой чудный, и что теперь наша очередь звать их в гости. О моих занятиях немецким с Ларисой Ивановной не было сказано ни слова.

— Что за счеты, — говорила Лариса Ивановна, — кто у кого больше был в гостях. Лучше уж вы звоните и приезжайте. Или вот с Борисом передайте, когда захотите прийти. Мы с ним теперь часто будем видеться по поводу немецкого. А сами мы редко ходим в гости.— Этим ее словам я не поверил.

И вот мы снова в прихожей-холле, натягиваем шубы, прощаемся и на лифте, словно в замедленном, мягком прыжке, спускаемся на первый этаж с их вершины, проходим мимо консьержки, внимательно оглядевшей нас, и выходим в темный двор-колодец. Только светились окна дома-утеса где-то наверху. Мы вышли на улицу, трамвая не было и поэтому, хотя мама была принципиальной противницей такси, как ненужной роскоши, домой на этот раз мы поехали на такси. Когда папа остановил машину, выскочив почти на середину шоссе, и мы

сели — папа на переднее, а мы с мамой на заднее сиденье — и машина тронулась, мама сказала:

— Слава Богу, хоть это сумел сделать! Уйти от Звонских сил у тебя не было, конечно! Разумеется, там тебя ласкают, тобой восхищаются... Но вы натуры художественные, вольные, можете и до часу дня спать, а нам с Борей завтра рано вставать, хотя бы об этом надо помнить и пожалеть нас. Ему в школу, да и мне, ты должен знать, на работу к восьми, а путь не близкий.

— Да ещё не поздно, — донесся из темноты несмелый и растерянный голос отца.

— Какое «не поздно»! — воскликнула мама. — Уже двенадцатый час!

Папа не отвечал, и разговор затих. Я сидел тоже молча, уставившись в окно, вспоминая вечер и наслаждаясь скоростью и удобством индивидуального транспорта. Дома мама сразу мне сказала:

— Разбирай постель и — спать.

Я вошел в свою комнату и остановился в раздумье у дивана с деревянной спинкой, включил настольную лампочку, стоящую на тумбочке, отпер шкаф и достал из нижнего отделения постельное белье — отдельного бельевика у нас тогда не было. Расстелил простыни, положил подушку, сверху верхней простыни пристроил зеленое байковое одеяло без пододеяльника, потом пошел в туалет. И вправду было поздно, почти уже двенадцать показывал будильник.

Сидя в клозете, я слышал, как родители вышли на кухню и что там-таки все же затеялся разговор, почти ссора.

— Мы для них черная кость! — негодовала мама.

Отцовского ответа я не слышал. Только мамины слова снова:

— А я не позволю ему к ней ездить! Я не хочу чтобы мой сын унижался перед кем бы то ни было! Будь они хоть самые что ни на есть раззнаменитости!

— Аня! О чем ты говоришь? Какое унижение? — долетел теперь и ответ отца.

Опасаясь пропустить самое интересное, потому что тема Звонских и меня волновала (я чувствовал себя равноправным участником этого обсуждения), я поспешил выйти и, помыв с мылом руки, явиться на кухню. Родители сидели за столом друг против друга. Перед мамой лежала на бумаге горка гречневой крупы и стояла кастрюлька. Очевидно, она перебирала гречку, чтоб варить нам на завтрак кашу. Папа сидел, опершись локтями о стол и взявшись обеими руками за волосы; выглядел он растерянным, но раздраженным.

— Ты почему ещё не в кровати? — воскликнула мама.

— Действительно, иди ложись, — сказал мне и отец, а маме: — Он ещё не успел. Что ты на него накидываешься?

— Ну, конечно, я накидываюсь! Я такая злая! А они добрые! Пусть и Борис так же думает. Ты этого хочешь? Тогда давай.

— Аня! Ну зачем ты так?

— Как *так*? Не изящно, как тебе хотелось бы? Как твои лицемерные Звонские? Да они тебя в грош не ставят, раз боятся принять тебя с семьей одновременно с другими гостями, выделяют отдельное время, ставят на другую доску! Конечно, мы не светские люди. Или тебя они считают светским, только жену твою отделяют? И сына переманивают!..

— Но, Аня!.. Лариса Иванна же знает немецкий и просто хотела оказать любезность — позаниматься с Борей, только и всего. Уверяю тебя, что ничего другого... А эти занятия для него будут полезны.

— Все равно, — упрямо сказала мама. — Нечего ему туда ездить. Это не тот немецкий, какой ему нужен.

— Что значит «не тот»? — встрял я. — Язык один и тот же, двух немецких языков не бывает.

— Ты ещё мал, чтоб судить, — сказала мама, — сколько и какие языки бывают. У нее другой язык. У них и русский другой. Я бы никогда такого, что говорили, не смогла бы сказать. Я не хочу, чтобы мой сын ходил куда-то из милости и вёл себя, как приживал. Ты понял?

— Понял, — угрюмо ответил я, вышел из кухни и встал на пороге.

Мне было обидно и за себя, и одновременно за маму тоже, потому что я вдруг почувствовал, что ее чем-то обидели во время нашего визита. Руки мамы, пока она говорила, безостановочно двигались, перебирая крупу, сыпая очищенные зерна в кастрюлю, а бракованные сдвигая в одну кучку. Отец встал и ходил вдоль плиты. Он, может быть, даже и вышел бы из кухни, если бы я не стоял у двери на его пути. Я ждал, непонятно почему, что он сейчас скажет, что все это ерунда, что мама не права, что я все равно, должен ездить, раз меня пригласили, но, к моему удивлению, он ничего не сказал, наоборот, помрачнел и вовсе смолк, вместо того чтобы продолжать спорить. Мне только сказал:

— Иди спать, если постелил. Мама тебе что сказала?

Я и пошел. Уходя, ещё слышал мамины слова:

— Мне неприятно, что они выставляют передо мной свою жизнь. Это неприятно... Или они считают, что перед нами, как перед прислугой, нечего стесняться?.. Я не хочу, чтоб мой сын рос и жил, как несчастный Марк Самойлович, униженный и оскорбленный.

— Ты не права, Аня, — сказал отец усталым голосом, — при чем здесь прислуга, при чем здесь Марк Самойлович? А рассказывают они о себе потому, что для художника его жизнь и есть материал для искусства, говоря о себе, они как бы все время в творческом процессе находятся. Такой у них стиль жизни.

— Все равно мне все это не нравится и противно. Да и ты там со всеми своими умными разговорами нужен лишь как развлечение для этих бар. Мы другого круга!.. Впрочем, если тебя подобная роль шута устраивает, что я могу сказать!..

Я пошел в свою комнату и закрыл за собой дверь, чтобы больше ничего не слышать. Разделся и лег, уткнувшись лицом в подушку. Дверь отворилась, и вошел отец, присел ко мне на постель (я от непонятного чувства обиды даже не подвинулся). Он положил мне руку на спину, но я, не поворачиваясь, передернул плечами, показывая тем самым, чтоб он снял руку, хотя на самом-то деле мне было приятно прикосновение его руки.

— Не обижайся на маму, — сказал отец. — Быть может, она не права по форме, но, наверно, права по существу. Лариса Ивановна, конечно, добрая женщина, но добрая по-светски. Она может легко подарить тебе книжку, но занятия — это ведь постоянный труд. Мне кажется, что, если ты позвонишь, она опять не сможет с тобой увидеться и опять перенесет твой визит, и так будет переносить, пока ты не поймешь, что с этим делом, по этому поводу звонить не надо. И это не потому вовсе, что она плохо к тебе или к нам относится. Просто у нее есть круг людей, с которыми она должна общаться, есть круг светских и театральных обязательных знакомств, обязанностей, которые она должна выполнять, и все это требует времени. Ей кажется, потому что она хороший и добрый человек, что она сможет с тобой заниматься, но она не сможет, поверь мне. Мама права, мы для них из другого круга.

Я невольно повернулся на бок, лицом к нему, чтобы удобнее было слушать. Я и сам знал, понимал, чувствовал, что мы другие, но все казалось, что это не препятствует возможности общения. Я думал, отец так и скажет. А он сказал:

— Мама права, мы принадлежим к другому кругу, — он снова повторил эти неприятные мне слова, словно других не было или он не мог их найти, — но он ничуть не хуже. У нас есть свои ценности, которыми можно гордиться: труд, знание, чтение, наука, а также принципы каждодневной жизни, которым стоит следовать: не путать дело и удовольствие и помнить, что сначала работа, а потом развлечения. Твой дед, человек науки, профессор, в ученом мире был человек из-

вестный, но известность эта другого рода, чем у Луки Петровича, — у специалистов, у студентов, вот и все; это жизнь не на виду, не на публике, а в одиночестве кабинета, в спокойствии библиотеки и лаборатории. Мы и в самом деле говорим со Звонскими на разных языках. И это никому не в осуждение. Просто образ жизни у нас разный, разный во всем. Даже у меня иной, тем более у мамы, которая шесть дней в неделю, каждый день из этих шести дней, по восемь-девять часов проводит в лаборатории за опытами, а летом в поле, с утра до темноты в земле копается — ботанику иначе и нельзя, а ещё и готовка, стирка, хозяйство. Мама так устает, как Ларисе Иванне и не снилось. Ты не должен обижаться на маму. И нечего жалеть, что не будешь больше ездить к Звонским!..

Я не очень верил, что отец до конца говорит, что думает (особенно последняя его фраза вызывала у меня сомнения), потому что ему самому ведь нравилось бывать у Звонских, но я понимал, что он утешает меня, успокаивает, и был ему за это благодарен. Я и в самом деле немного успокоился, заслушавшись его, и затих. Решив, что я уснул под его говор, он тихо вышел из комнаты, но я ещё долго не спал. Погасил свет, но все равно не засыпал, раз десять переворачивая подушку. «А что, если я ей все же позвоню? Просто вот возьму и позвоню. Для нее это было светское обещание, сказанное просто так, из любезности. А я его возьму и приму всерьез. Интересно, что будет? Папа говорит, что такие светские предложения нельзя принимать всерьез, как нельзя этим людям на их вопрос «как дела?» и в самом деле рассказывать о своих делах. Это просто формула вежливости. Ну, а я сделаю вид, что не понял этого. Раз они такие. Раз мы не их круга». Мне было обидно. И, засыпая, я думал одно: «Не хочу быть ничьего круга. Ничьего. Сам по себе».

Знакомая девочка, или Как сверкают пятки

Рассказ

(Из цикла «Детское — недетское»)

Мне шесть лет. Я гуляю один за домом, на южной стороне. Весна. Дом пятиэтажный, длинный и нештукатуренный. Время — конец обеденного, на улице никого. Жарко. В расщелинах кирпичей лениво греются огромные черные мухи, счастливо отзимовавшие. В полете они жужжат, и их совсем нетрудно ловить.

Я сосредоточенно хожу, руки за спину, и о чем-то размышляю. Мне хорошо думается, и я рад, что в одиночестве. При этом я, так сказать, созерцаю мир: нагретую солнцем кирпичную стену с отбитыми краями и углами; ручеек, бегущий вдоль растрескавшейся асфальтовой дорожки перед домом; пролежавшие зиму высохшие кучки собачьего кала на газоне. На мне чулки на резиночках, сандалеты, серые короткие штаны и лыжная курточка. Мне уютно в этой одежде.

Тут я слышу, как в одном из подъездов хлопает дверь. Я быстро высчитываю: получается, что в третьем. Значит, Верка Фесенко. Как помню, у нас с ней всегда были какие-то непроясненные отношения. Враждовать мы открыто не враждовали, а так, ощущали неприязнь. Но виду не показывали.

Я как раз у другого угла дома. Достаточно завернуть за угол, и мы не встретимся. Я это чувствую и все же иду назад.

Мы двигаемся навстречу друг другу. Расстояние между нами большое, дом длинный. Я спотыкаюсь. Самое неловкое — это идти издали к какому-нибудь человеку, особенно когда вы не друзья.

Синенькая юбочка, ленточка в косичках, новенькие сандалии, красные носочки и шерстяная кофточка с вышитыми цыплятами. Сейчас я с трудом восстанавливаю ее облик. Наверное, была плотная девчонка, веснушчатая, узкилицая, самоуверенная и очень властная.

Я прохожу большую часть расстояния и теряюсь. Она внимательно смотрит на меня и говорит первая:

— Здравствуй.

— Здравствуй, — говорю я и краснею, потому что слишком быстро шел и потерял лицо, надо в таких случаях ходить медленно.

Она смотрит на меня в упор, ставит одну ногу на скамейку и говорит:

— А мне мама новые сандалеты купила.

И ждет, что я скажу, какие обновки у меня, и уверена, что у меня их нет. Я говорю:

— А мне папа — барабан...

Она тщекает и продолжает хвалиться:

— А мне мама — новые носочки. Вот!

Я тогда честно припомнил свои последние обнови, но последних не было, а соврать в неожиданном разговоре я не умел.

— А мне папа — барабан...

— А мне мама — юбочку новую. Она дешевая, зато практичная.

Я угрюмо повторяю:

— А мне папа — барабан...

И тут мы начинаем тараторить. Она всё больше и больше упиваясь, а я все больше и больше озлобляясь.

— А мне мама кофточку. Э-э!

— А мне папа барабан!..

— А мне мама ленточки-и!

— А мне папа барабан!!

— А мне мама косыночку-у!

— А ты... а ты... а ты...

«Дура», — хотел сказать я, но не сказал. Молчу. И она сразу замолчала. Испугалась, что ли?

Но я не пугал, я боялся сам, что она может сказать что-нибудь такое обидное, на что я не найду ответа. Я знал, что не найду.

Мы не разбредаемся в разные стороны, потому что домой рано, а ребята ещё не вышли, чтобы каждому разойтись по «своим». Мы сидим на ободранной скамейке со спинкой, сидим рядком, но молчим. Однако плохое настроение не держится. Снова начинает она:

— Скажи «чайник».

Сомнительно мне что-то, произношу нерешительно:

— Ну, чайник...

— Твой отец — начальник!

Подобные дразнилки считались шутливыми. Но она так серьезно произносит это, что я готов обидеться. Снова молчим.

Я встаю и подхожу к садику злощей старухи, жившей в собственном одноэтажном домике. Ни домика, ни садика сейчас нет — двенадцатиэтажный кооперативный дом, а тогда ветки за забор свешивались. Я подхожу и начинаю почки жевать — очень вкусно. Старухи дома нет, ушла в магазин. Верка подходит и тоже начинает объедать почки. Мне почему-то очень хотелось с ней подружиться взаправду. Быть

может, потому, что была в ней какая-то непоколебимая уверенность, которой во мне не было...

Если бы появилась старуха, я думаю, нас сдружило бы общее бегство от нее. Но на мое невезение, она не появляется. Однако, опасаясь ее, мы двинулись прочь и снова вышли на асфальт около нашего дома. Я принимаюсь рассказывать мой первый увиденный тогда фильм — «Алитет уходит в горы». Распинаюсь и выкладываюсь. Вдруг она прерывает меня:

— А мне папа сказал, что когда я бегаю, у меня пятки сверкают! Э-э!..

Её папа!.. Толстый профессор, запрещавший дочке по непонятной для меня в том возрасте причине играть со мной. Позднее, подросши, я узнал от родителей: по причине моей нерусской фамилии.

Я недоверчиво кощусь на нее: «Как это — пятки сверкают?..»

— Вот, смо-ри! — кричит она, вскакивая. — Только как следует!

И она бежит вдоль дома. Я смотрю очень внимательно, но ее пятки не сверкают. Они даже не мелькают. Ноги ее отрываются от земли одна за другой очень размеренно.

Она возвращается, запыхавшись.

— Ну и что? — пожимаю я плечом. — Я так тоже могу, подумаешь!..

Мне хочется, чтобы и меня кто-нибудь похвалил. И ещё я чувствую вдохновение бега.

Пожалуй, я и сейчас уверен, что бежал быстрее нее.

Я прибегаю назад, она сразу торопится сказать:

— У тебя пятки вовсе не сверкаю-ут! — И поспешно встает: — Смори, как надо!

И мчится. Я уже понимаю образ не буквально, не жду от ее пяток сверкания, но все равно мне кажется, что я бежал поскорее своей соседки, и кажется, что она-то понимает слова своего отца буквально.

Но объяснить, что я понял, не умею.

— Видишь, как надо? — возвращается она.

Она даже не торжествовала, нет. Она просто меня учила. А мне стало совершенно ясно, что она никогда не сможет разглядеть, как быстро я бегаю. Не сможет, потому что не захочет. Или это мне сейчас ясно?.. А тогда только обиделся: чего, мол, она воображает?!

Но вслух все равно ничего не сказал.

1968–1979

Язычница

Рассказ

Посвящается Дагмар

Почему меня все время тянет к воспоминаниям детства? И дело тут не только в уже ощутимо приблизившейся старости. Не в ностальгии по прошедшей свежести и непорочности. Просто в случайных детских эпизодах, встречах, событиях нахожу я теперь некие символы, могущие если и не объяснить, то хотя бы дать намек на разгадку нашей посконно-домотканной культуры да и всей нашей — с постоянно меняющимися смыслами — вывернутой наизнанку жизни.

Я вспоминаю, как мы с Танькой Саловой, девчонкой годом меня старше (а мне уже девять), укрылись в кустах поспевшей черной смородины и дергали потихоньку одну ягоду за другой. Маленький садик ее и дом были окружены забором. Перед калиткой рос огромный дуб, как страж разделявший наш двор, где два пятиэтажных каменных профессорских дома, и ее дворик и домик — деревянный, с мезонином, уцелевший от окраинной, околичной Москвы. Когда я читал: «У лукоморья дуб зеленый...», я почему-то всегда именно это дерево воображал.

Около дуба, на нашей территории, стояло одноэтажное и тоже деревянное, белого цвета домоуправление, состоявшее из двух частей: в одной конторская комната, где днем сидел домоуправ Сенаторов (подлинная фамилия — не сочиняю), в другой — дворницкое жаркое, пропахшее потом и стружками жильё. Там ютился дворник Иван, перебранный год назад в Москву из Иваново-Вознесенска. Был он высок, силен, молчалив, постоянный трудяга. Он столярничал по жильцам, потом заменил и вечно пьяного слесаря Ваську, благородно оставив его при себе как помощника. Не пил, не курил. Нрав имел твердый, строгий. Все, что обещал, выполнял. Скажем, нам он сделал во всю стену книжные полки для двух комнат: аккуратно, в срок и дешево. С собой он привез жену и дочь, живших вместе с ним в дворницкой. Обе некрасивые, бесфигурные, мучнистого цвета, лица одутловатые, с маленькими глазками. Жена его ходила, выпятив вперед грудь и живот, подпоясываясь почему-то веревкой. Дочку звали Матрёшей. Профессорские дочери и внуки в свой круг ее не впускали, но и околичные девчонки, вроде моей Таньки, тоже с ней не водились. Она держалась особняком,

замкнуто, а оттого казалась ещё большей уродиной, юродом — так я переименовал слово юродивая, которым назвала Матрёшу Танькина мама. Губастая, неуклюжая, косолапая, Матрёша выглядела придурковатой. При этом к Ивану все относились хорошо, особенно в нашем доме. Его работоспособность и услужливость позволяли профессорам наших домов, соединенных густой липовой аллеей, чувствовать себя как бы жильцами барско-профессорской усадьбы, опекаемыми верным слугой, вроде глухонемого Герасима из тургеневской «Муму».

Мы сидели с Танькой, потихоньку поедая смородину, и ждали, когда нас кликнет ее мать — есть олады. Дверь в ее домик была открыта, помещенье начиналось с кухни, и оттуда доносились вкусные запахи стряпни. Печка там всегда топилась, и казалось мне, что там всегда — тепло, уютно, домовито. Как и должно быть у русских людей. Круглолицей Танькиной матери нравилось, даже было лестно, как я теперь понимаю, что с ее дочерью дружит скромный мальчик из профессорской семьи. А я не то чтобы стеснялся своего профессорского происхождения, но быть простым русским человеком мне тогда казалось самым почетным званием. Ведь с конца сороковых радио целый день говорило, что простой русский человек — опора, свет и будущее всего мира. Неужели же дети не слышат радио?! Еще как! И воспринимают все произносимые слова как правду-истину. Были и враги, *не наши*. Их было много, все злобные и черные. Зато понятие «наши» сливалось для меня в нечто каратаевски круглое и незамысловатое. В готовность быть таким как все и без колебаний пожертвовать собой по первому же призыву. В тот год — кажется, тысяча девятьсот пятьдесят четвертый — по радио часто передавали песню, как «врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает». Не имея слуха, я тем не менее песню эту любил и все время пел, даже при посторонних, испытывая глубокие патриотические чувства. Танькин отец, бывший моряк, тоже привечавший меня, дал мне прозвище «крейсер «Варяг». «А вот и Крейсер «Варяг» к нам идет, — слышал я, когда переступал их порог. — Давай, не топчись, швартайся». А Танька любила слушать мои истории. Я много читал, а она не очень. И я с восторгом плел затейливые пересказы разных книг, ощущая самого себя чрезвычайно благородным в эти моменты: ибо всегда был на стороне «наших» — восставших крестьян, шиллеровских разбойников, красных бойцов или краснокожих индейцев. Брат Таньки, Толик, работал на заводе, то есть тоже был тем, кем надо. Как несложно сообразить, ни черта я в жизни не понимал, не видел, но зато был архетипичен донельзя.

Я с упоением слушал рассуждения Танькиной матери о приметах: чего можно, чего нельзя делать — и почему. И принимал все всерьез:

Саловы верят, значит кроме книжного есть и другое знание о том, как вести себя, истинное, ибо народное. А Танька и Танькины родители были вполне суеверны: чуть что — плевали через левое плечо; говорили «чур меня»; рассыпав соль, боялись ссоры; боялись пустых ведер навстречу; из-за черного кота могли пойти другой улицей; споткнувшись, стукали кулак о кулак — сверху, снизу, сверху; Таньку раз побили, когда она зеркало расколотила; зато разбитое блюдце или чашка не наказывались — на счастье. Рассказывали жутковатые истории про людей, не остерегшихся примет. Но передо мной словно бы и извинялись: «Мы люди простые, со старины в это верим, а уж вы теперь ученые, можете и посмеяться. Толик вон мой — смеется. На заводе ума набрался», — улыбалась круглолицая, вся в ямочках, Танькина мать.

Одно было странно — Танька не желала дружить с Матрёшей. Матрёша была, конечно, некрасивой, но тоже из простых, то есть *наша*. А Танька ее не любила. И сидя в кустах смородины, объев следующую гроздь и ожидая оладьев, она на мое высказанное не помню уже почему недоумение вдруг просто сказала:

— Её убить надо. Один раз девочки ее чуть не поколотили. Ей-Богу, не вру! Она только от них успела на дуб залезть. Она часто на нем сидит, все что-то высматривает и колдует там. Она в Бога верит. Так все девочки считают. А раз веришь, то в церковь ходи. Вот моя тетя Клаша каждое воскресенье Николаю Угоднику свечку ставит. Чтоб от нечистой силы избавил. А Матрёшку там ни разу не видела. Она знаешь кто? Она — *язычница*! Вот кто! Честное пионерское.

Таньку уже приняли в пионеры, и она этим гордилась.

Я недоверчиво посмотрел на нее. Вернее, изобразил недоверчивость, потому что совершенно не понимал значения слова «язычница». Но признаваться в этом не хотел.

— С чего ты взяла? — возразил как знающий. Мне одно было только ясно: что быть язычницей плохо, это вроде как быть врагом, *не нашим*.

— Хочешь, красным галстуком поклянусь? — быстро опровергла меня подружка. — Гляди, клянусь: делом пионерии, делом комсомолки, делом партии. — Надо сказать, она всюду носила, ещё важничая новым своим статусом, красный галстук, а тут быстро его сняла, поцеловав по очереди: короткий и тонкий лоскут — за пионерку, длинный — за комсомолку, а задний, широкий — за дело партии. — Уж теперь-то веришь? — воскликнула она.

— Верю, — согласился я. Мне ничего другого и не оставалось. Уж страшнее этой клятвы Танька не могла и придумать. Она стояла всех других заклятий!

— Да и мать у нее — мордовка. А мордовки, они все такие — деревьям поклоняются. Ей-Богу, не вру. И в пионерки Матрёшка не поступает. Ей мать не велит.

Про мордовку я тоже ничего не понимал. Что за название чудное Танька выдумала? Мордой, что ли, Матрёшкину мать обзывает? То, что слово это от «морды» происходит, я не сомневался, хотя и чудился мне в нем национальный оттенок: мол, мордовка, не русская. Или это я потом понял? Когда в пионерлагере, через год примерно, услышал про одну деревенскую бабку, которую все недолюбливали: «Да она мордовка, вроде еврейки». А тогда я связал слово про мордовку и язычницу, что как будто у них с лицом у обеих не в порядке.

— Они кустам молятся, и в Бога верят, — продолжала Танька. — Ей-Богу. Потому Матрёшка и на дерево всегда лазит, чтобы выше быть и Бога высматривать. Что, не веришь? Честное пионерское! Глянь, — вдруг обрадовалась моя юная наставница жизни, — вон она опять на дубе сидит!

И крикнула:

— Язычница! Язычница! Чтоб тебе с дерева свалиться и насмерть разбиться!

В ответ Матрёшка высунула толстый язык, но ничего не сказала, только плюнула, но не в нас, а так просто, на землю; мол, она нас несколько не боится.

Надо сказать, на этот громадный, почти сказочный в своей развесистости дуб и я любил лазить. Часто сидел там меж ветвей, наблюдал, как проходят с нашего двора люди мимо забора Танькиного дома к утоптанной широкой дороге, за которой располагались футбольное поле, горка, с которой зимой катались мы на санках и лыжах, мелкий пруд (где летом «большие ребята» купались, флиртывали, а иногда топили кошек) да маленький лесок за прудом. В этих местах господствовала и бушевала шпана. Позднее лесок благоустроили и превратили в парк «Дубки»: школьникам при его разбивке тоже пришлось побатрачить. Дуб возвышался над всеми мирами, но был и пограничным указателем, ибо от него расходились разные дороги — и в профессорскую жизнь, и в тихую Танькину, и в юривую Матрёшкину, и в жизнь уличной шпаны. А имя Матрёшка показалось мне вдруг забавным. Так ведь куколок зовут, где одну откроешь, а там другая, эту откроешь, а там новая — потрудиться надо, пока до сути дойдешь. И куколок своих тряпичных девочки тогда тоже Матрёшками звали.

Но я готов был вместе с Танькой ненавидеть эту Матрёшку: ведь она была язычница, то есть чужая.

Шипнув, изогнув спину и хвост, обежала стороной дуб Танькина серая кошка и нырнула в открытую дверь домика, откуда доносились вкусные запахи.

— Вот и кошка наша её боится, стороной обходит, — кивнула головой моя собеседница. — А домой бежит, жрать хочет. Чувствует, что мать стряпню развернула. А язычнице на дубе хоть бы хны. Сидит и дразнится. Право слово, колдунья какая-то. Она иногда про такие чудеса болтает, что хоть уши затыкай. Ты ее спроси: она не стесняется все это рассказывать.

Но я отрицательно помотал головой. Показалось, что если буду расспрашивать, будто к прокаженному подойду. Ведь с насмешкой я не смогу, а значит поневоле буду всерьез прислушиваться: а так и разиться недолго.

— Да ну ее, — сказал я.

— А ты не бойся, — утешила меня Танька. — Подойди, послушай, а потом и отбеги. Она и не успеет тебя заколдовать. А хочешь, вместе ее как-нибудь подловим и все выпросим?

Этот вариант меня больше устаивал. Когда вдвоем, то можно самому как бы и не вступать в сомнительный контакт, со стороны просто слушать. Но все же я не зря читал гуманистические книжки, поэтому искал жалких оправданий Матрёшке:

— Но Иван-то, её отец, хороший, рукодельный.

Ответ был неотразим:

— А зачем тогда на мордовке женился?

Я ещё раз вспомнил одутловатое лицо его жены. Что ж, при желаниии его можно было назвать мордой, несмотря на ярко-синие ее глаза, а саму ее мордовкой. Но это уж кому как повезет — тот на том и женится.

— Эй, язычница! — крикнула Танька. — Слезай, поговорить надо. Да не бойся ты! Драться не будем.

Но Матрёшка сидела на ветке не двигаясь. Только снова высунула толстый язык, показывая, что не слезет.

— Давай, — предложила тогда Танька, — комьев земли наберем и ее оттуда сшибем, раз она *по-доброму* не хочет...

И она сразу принялась собирать комья земли — посуше и потверже. Я не решался ее остановить: ведь мы с ней дружили. К моему облегчению, Танькина мать тут крикнула, что олады готовы и можно идти за стол. Танька кучкой уложила собранные земляные комки и пообещала Матрёшке:

— Погоди, мы ещё до тебя доберемся!

Мы вошли в дом. Ели у Саловых в следующей за кухней комнате. Здесь же, за обеденным столом, Танька делала уроки, и спала тут же, на лежанке в углу. Усатый Евдоким Матвеевич, Танькин отец, уже сидел перед пустой тарелкой — в своем потертом и засаленном фланелевом матросском бушлате. Он никому не давал забывать о своем морском прошлом. Служил на флоте простым матросом, никакого звания не выслужил, и потому говорил, что любой капитан, любой старпом, любой мичман и любой боцман без матроса не более чем дырка от спасательного круга. Это я хорошо понимал и полностью был согласен, что без простого русского человека (чем проще, тем лучше) никакое дело сделаться не может. Так и тут. Капитан ведь только приказы отдает, а дело делает, конечно же, матрос. А Евдоким Матвеевич и в домашней жизни не рвался на командные места.

Нина Петровна внесла миску, накрытую тарелкой, поставила на стол, рядом — широкогорлый горшочек с растопленным маслом, куда полагалось макать оладьи, и без того жирные. В комнате сразу запахло тяжелой сытостью. А клеенка на столе была в цветочек и чистая, но я сразу вообразил, какие сальные пятна останутся на ней после нашего пиришества. Впрочем, клеенка — не скатерть: протер, и дело с концом.

— Вы ешьте, сейчас уже другую принесу, там теста совсем мало осталось, — сказала Танькина мать.

— Да мы хозяйку подождем, — возразил отец.

— Ешьте лучше, а то остынут, я сейчас с вами сяду. — Нина Петровна говорила, держа открытой дверь на кухню, и оттуда тянулся характерный запах нерафинированного подсолнечного масла, на котором жарились оладьи.

— Ну тогда ладно, раз главное командование приказало, наше дело исполнить приказ как следует. Не подкачать, — и Танькин отец снял с миски тарелку, взял рукой верхнюю подрумяненную оладушку, обмакнул в растопленное масло, поднес ко рту и кивком предложил нам «действовать так же». Вообще мне показалось, что Евдоким Матвеевич и Нина Петровна жили — не тужили, друг друга поддерживали и вроде бы совсем не ссорились.

— А Матрёшка опять на дереве сидит, — успела вдогон матери выкрикнуть Танька.

— Ох уж эта мордовкина дочь! — с какой-то даже ласковой укоризной буркнула Нина Петровна. — Сломит она как-нибудь себе шею.

И скрылась на кухне. А мы принялись за еду. И хотя перед каждым стояла тарелка, но пока оладья плыла в руке от горшочка ко рту, склоненному над тарелкой, следы масляных капель отмечали ее путь. Вилоч

и ножей в данном случае в Танькином доме не полагалось. Но оладьи — пицца тяжелая, требуют горячего чая. И Нина Петровна через пару минут принесла не новую миску, а уже запотевший от пара заварочный чайник и большой чайник с кипятком, поместив их на деревянные дощечки, всегда использовавшиеся как подставки. Затем из застекленной части серванта достала чашки с блюдами и чайные ложечки, а из его же закрытой части — банку смородинового варенья. Кто хотел, мог теперь класть на оладью варенье, прихлебывая из чашки.

Но вот и вторая миска, и Нина Петровна села рядом с мужем, напротив нас, и тоже приступила к трапезе. На секунду лишь прервал ее чавканье вопросом Евдоким Матвеевич:

— А Толику, когда придет?..

— Я ему в духовке оставила, — ответила Танькина мать, вытирая рот и руки кухонным фартуком.

Никаких серьезных, тем более политических разговоров, как у нас дома, здесь за едой не велось. Слишком это было важное занятие. Но Танька уже насытилась, а потому влезла с репликой:

— А мы с ним, — кивая на меня, — язычницу хотим отловить!..

— Лучше бы не связывались вы с ней. Шли бы сторонкой мимо, — вздохнула Танькина мать. — Добра не будет от этого. А то и порчу какую наведет, — она боязливо вздрогнула. — Врать не буду, а слышала, что с такой же вот, как ваша Матрёшка, дети связались, поколотили маленько, ну, пошалить вздумали, а потом у одного рука отсохла, другой заикой стал, третий вообще окривел, а четвертый перед машиной перебежал, поскользнулся, ему обе ноги и отрезало...

Мы притихли.

— Слушай мать, дурного не посоветует, — сурово тогда сказал Таньке Евдоким Матвеевич.

Но мы все же подловили ее на другой день.

Мы пускали с Танькой щепки, как кораблики, в образовавшейся после ночного дождя большой луже на солнечной, торцевой стороне нашего пятиэтажного дома. Солнце пригревало, настроение у нас было чудесное, и мы, находя все новые и новые щепки, бегали вокруг лужи, спотыкаясь о рытвины, переговаривались деловито, не кричали. У нас шел морской бой. Мой крейсер «Варяг» уже миновал без потерь несколько минных полей, и разрывы бомб, то есть комки земли, бросаемые Танькой, только ускоряли его ход.

В поисках комка поувесистей, чтобы уж наверняка покорежить мое судно, она сунулась было на теньевую сторону нашего дома — когда-то фасадную. Но теперь вход был со двора, газончик перед парадными

подъездами зарос бурьяном и лопухами, асфальт растрескался, а парадные двери были заколочены досками, да и изнутри подъездов в ручки дверей были продеты толстые палки. С этой стороны дом словно бы забаррикадировался. И доски набивал, и палки вставлял Иван по приказу домоуправа Сенаторова. Слишком близко подходила эта сторона дома к трамвайной линии, вдоль которой ещё полно было барачков, да и не просматривалась никем, не то что подъезды со стороны двора, где вечно сидели люди. И кого-то из жильцов дома — сообщало местное предание — как раз на парадном крыльце и ограбили. Как и все в России, и это было вывернуто наизнанку: не двор, а парадный подъезд — опасное место. А уж потом туда и вправду стала забредать шпана — перекинуться в картишки на ступенчатых крылечках пустующих подъездов. Туда-то и ринулась Танька, но вдруг так быстро скакнула назад, как будто наткнулась на что-то опасное

Она предупредила мой вопрос-вскрик, приложив палец к губам, подмигнула, блестя своими круглыми коричневыми глазами, — вся такая круглолицая, сильная, коренастая. И зашептала:

— Там Матрёшка сидит на крыльце. В ближнем подъезде. Давай тихонько подкрадемся. Она сидит и чего-то пальцем по ступеньке водит, дура такая ненормальная. Только надо так подойти, чтоб к дубу ей от нас не утечь. А то сбежит, влезет! Поговори тогда с ней, порасспрашивай. Язык будет казать — и все. Только на нём её тогда и не достанешь. Надо с двух сторон зайти. Ты иди с той, что вокруг дома, а я с этой, ближе к дубу. Видишь, здесь и в домоуправление дверь открыта, она и сюда может шмыгнуть, — мы играли как раз между нашим домом и домоуправлением. — Тебе отсюда нельзя идти. Ты робкий и мягкий, наверняка ее упустишь, сжалишься. Ну ты иди, тебе дольше идти. А я здесь у угла притаюсь. Как увижу, что ты уже по той стороне идешь, мигом выскочу — и к ней. Тебя-то, если даже увидит, она не испугается, так и будет сидеть.

Ноги не очень слушались. Казалось, все на меня оглядываются. Чего это, мол, я вокруг дома бегу. Что сказать? Что охочусь, как дикий индеец, на глупую девчонку? Глупо. Но никто не спросил. Зато по пустынной стороне дома, по необходимому пространству оказалось идти труднее, ибо жутковато. Все же я немало наслушался разных сказочных историй: и от Таньки Саловой, да и от других. Не как сказок, а как того, что и сейчас в жизни бывает. Скажем, в подвале нашего дома запросто могли жить не то *домовники*, не то *домовые*, не то *домушники*. Вдоль растрескавшейся асфальтовой дорожки — *подлопушники* и *подасфальтники*, которые норвят, если оступишься, тебя за ногу дернуть — так

что упадешь и нос расшибешь. А думать будешь, что сам споткнулся. В кустах, отгораживавших газон от трамвайной линии, таились *фигушишиги*. А ещё из пустых подъездов способны были выскочить *пустотницы* — обволочь тебя пустотой, утянуть к себе, так что сам пустотой станешь. И семь лет надо на них отработать, семь человек в пустоту обратить, чтоб себе прежний облик вернуть. Конечно, я знал, что все это сказки, но одновременно тайная вера в них меня не покидала.

Но вот я уже заметил Матрёшкины — в резиновых черных ботах — вытянутые ноги, торчащие с крыльца. Сама она ещё была скрыта в проеме подъезда. Затем углядел высывавшуюся из-за угла круглую Танькину рожицу, которая моргала мне глазами, предлагая ускорить шаг. И чуть я приблизился к нужному месту, как Танька стремглав бросилась ко мне. И мы оба стали по обеим сторонам Матрёшки упершись в нее глазами.

— Думала, не подловим? — торжествовала Танька. — Ничего, подловили. Признавайся теперь, что в Бога веришь! И расскажи-ка нам, какой он такой — кудрявый или бородатый с рогами?

Матрёшка судорожно вертела глазами по сторонам, на ее одутловатом лице было выражение беззащитности и тревоги. Но, быстро сообразив, что ей не вырваться, ответила, как мне показалось, заносчиво, при этом плохо ворочая во рту толстым языком:

— А Бог он один и есть. Безо всяких рогов. Рога только у черта бывают. Бог один и един в трех лицах: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. А Сын Божий — он ещё Богочеловек, Христос-искупитель. Он все грехи человеческие на себя взял, чтоб род человеческий от гены огненной спасти.

Понимала ли тогда Матрёшка, что она говорит, — не знаю. Но мы точно ничего не понимали.

— Один — в трех лицах! Представляешь? — захохотала Танька. — Это он получается как трехголовое чудище — вот как! Попробуй-ка теперь отрицать, что ты язычница! Язычница и есть! И в церковь не ходишь, и в пионерки поэтому не вступаешь, — сурово прикрикнула на Матрёшку Танька.

— А вот и не язычница!

— А кто же ты тогда такая? Скажешь, может, что и на облаке никого не видела? Ты Полосиной рассказала, а она мне.

— Ну и видела! — вдруг обозлилась Матрёшка. — Вам такого никогда не увидеть! У вас сердца каменные, даже у тех, кто в церковь ходит, без истинной веры. А я видела, как облако плыло — я высоко тогда на дубе сидела — белое, большое и словно на нем одинокий крест

стоит и весь светится. И вдруг рядом поднялась Мария-Дева с младенчиком Христом на руках. Как раз со светящимся крестом.

Букву «х» Матрёшка выговаривала как «к», что внесло окончательную путаницу в мозги: «с младенчиком Крестом возле креста». Ничего непонятно, ведь «е» и «и» тоже похоже звучат. А Матрёшка вещала, чувствуя нашу растерянность:

— И Дева Мария сказала, что истинно верующие могут в нашу церковь не ходить, потому что она всегда с теми, кто нарушает закон Божий. Но что таких страшных войн, как эта, больше не будет до конца века, а потом только наступит светопреставление. Зато праведники всенепреренно спасутся.

— А ты-то праведница, что ли? — перебила её Танька.

— Конечно, праведница.

— А вот я тебя сейчас побью!

Но Матрёшка неожиданно очень ловко подсекла своей ботой Таньку под коленкой, так что та присела, опершись рукой об асфальт, а сама бросилась бежать. Но не к дубу, а нырнула в домоуправление, в свою дворницкую, под родительскую защиту.

— К матери побежала, к мордовке, — хмуро сказала Танька. — Жаловаться на нас будет. А Иван, ее отец, к Сенаторову пойдет. Ивана сейчас все любят. Попасть нам может. Пойдем отсюда. А если что — скажем, что Матрёшка все наврала. Не приставали мы к ней. Понятно?

— Ага, понятно, — согласился я.

— Ладно. Может, пронесет. Может, и не наябедничает, — продолжала рассуждать Танька, пока мы уторопленными шагами перебирались в другой двор — за трамвайную линию. Будто мы там и играли все время. Тем более, что там и вправду была детская площадка с качелями, нами любимыми. — А ты спорил, не соглашался, — укоряла меня неизвестно за что Танька, видимо, чтоб себе разрядку дать. — Говорил, что она не язычница. Видишь теперь? Послушал ее? Самая настоящая язычница и есть.

А я туповато думал, что ни про какой язык Матрёшка не говорила, разве что у самой он очень толстый и еле во рту ворочается. Наверно, за это девчонки ее и не любят и такое прозвище дали, чтобы свое плохое к ней отношение показать. Ведь Матрёшка была «чужая», а чужих дразнят, с ними не играют и всяческие обидные слова говорят. Например, язычница.

1995, Бохум, Германия

Святочный рассказ

На каждого, даже очень хорошего человека хотя бы раз в жизни нисходит демон благополучия. Вы ошибетесь, если решите, что демон этот откровенно пошел и взывает к так называемым низменным инстинктам человека. Он коварен, но мудр и все наши затаенные мечтания, самые вроде бы светлые и человеческие, казавшиеся ранее неосуществимыми, представляет как возможные. Он совсем не плох поначалу, пока не начинает подчинять себе нашу жизнь и жизнь наших близких, заставляя держаться привычной, наезженной, проверенной дороги, стремясь убрать всякую неожиданность из нашего будущего и заставить нас поверить, что стоит только следовать его советам, как мы избавимся от всех окружающих нас случайностей. И повезло тому, кто вовремя распознал коварство этого демона. Ведь будущее все равно приходит, и оно всегда неожиданно. Но как трудно не поддасться тихой сказке, которую человек нашептывает сам себе, сказке, говорящей о предвидимости человеческой судьбы и обещающей ее благоустроенность!

Григорий Михайлович Кузьмин шел домой легкой походкой, которая невольно возникает у человека в удачные периоды его жизни, когда все складывается один к одному, когда удача сама бежит навстречу и предлагает свои услуги, когда вдруг сильные мира сего, о которых ты и не думал, сами находят тебя и ты получаешь то, на что никогда и не собирался претендовать. Тогда человек начинает ощущать всем своим нутром, что он перевалил какой-то бугорок и теперь очутился в таком положении, когда подъем вверх легче, чем спуск вниз. Защитив кандидатскую диссертацию, тему которой долго не хотели утверждать, потом не допускали к обсуждению на секторе, защиту которой дважды под разными предлогами откладывали, отрицательные и положительные отзывы на которую составили в конечном счете целую папку, — Григорий Михайлович, продравшись сквозь все препоны, неожиданно оказался не только кандидатом (а по тем временам это значило, что по нынешним доктор наук), но и заведующим тем самым сектором, куда он несколько лет назад хотел поступить в аспирантуру, но куда его не приняли из-за спорности его реферата. От зарплаты младшего (или,

как говорили, мэнээс) без степени до зарплаты кандидата да ещё заведующего сектором взлет был настолько велик и крут, что, вчера ещё урезывавший во всем себя и свое семейство, Григорий Михайлович чувствовал себя Гаруном аль-Рашидом, способным осчастливить весь Багдад. И уж во всяком случае свою семью: свою мать, свою ещё молодую и любимую жену и, конечно и прежде всего, своего сына, на которого возлагал надежды ещё большие, чем на себя самого.

Когда он сошел с трамвая, пропахшего елочным духом, и двинулся под желтым светом фонарей по поскрипывавшему от мороза плотно слежавшемуся на асфальте снегу, утопанному многими сотнями башмаков, мимо наметенных за декабрь снежных сугробов по краям дороги, но тоже уже улежавшихся, чувствуя в руке приятную тяжесть оттягивавшего ее книзу портфеля с покупками, он испытывал то предвкушение радости, которое дано испытать только доброму человеку. Он предвкушал то радостное сияние глаз, которым встретят его приход жена и сын. Жалко, что мать была ещё в санатории, но и она должна была к Новому году вернуться, и тогда все будут в сборе! Его новое положение и сопутствовавшая ему удача на какой-то момент словно примирили любивших его. И потому он не очень боялся совместных празднеств. Напряженность семейных ссор покинула как будто его дом.

Он вспомнил бедолаг, мимо которых проезжал сегодня, толпившихся около елочных базаров, окруженных выкрашенными в зеленое заборами с нарисованным на воротах Морозом с белой бородой и в красной шапке, с мешком подарков за спиной,— бедолаг, переступающих с ноги на ногу и даже подпрыгивающих от мороза в ожидании «нового завоза» елок, и почувствовал себя вот таким же рождественским дедом, несущим в свой дом веселье, и поразился, с какой непридуманной легкостью ему удалось в этом году достать елку. Вчера, только он вышел из дому, как увидел у подъезда подвыпившего мужичка с роскошной, зеленой, отливавшей в серебро елкой, с такими при этом пушистыми и свежими иголочками, такой ровненькой и стройненькой, что смотреть на нее было приятно, а мужик просил всего лишь «на бутылку». Григорий Михайлович вынул просимую тридцатку, тут же поднялся и отнес елку домой, и вот она стояла и ждала его, ещё не наряженная, потому что наряжать ее они решили перед самым Новым годом, тридцатого числа, но совершенно преобразившая комнату. Она стояла в ведре, раскинув и распушив свои ветки, стояла около открытого книжного стеллажа, который пришлось завесить какой-то серебристой тканью от иголок, стояла, занимая треть комнаты и наполняя воздух хвойным запахом, который молодит тело и

настраивает душу на празднично-волшебный лад святочных гаданий, предсказаний и предчувствий Будущего.

Он оглянулся. Трамвай, погромыхая и сверкая электрическими огнями, укатил в темную даль пробега, высвечивая на своем пути то фонарный столб с потухшей лампой, то куст у дороги, а Григорий Михайлович, прибавив шагу, спешил к дому с освещёнными окнами, в которых кое-где тоже виднелись елки. И демон благополучия нес его, словно подталкивая, вдоль их пятиэтажного дома, к крайнему подъезду, а потом мигом вознес его на третий этаж, к обитой коричневой кожей двери.

Дома, как он и ожидал, его встретили улыбкой и сиянием глаз, как будто он отсутствовал очень долго и вот наконец пришел, принес с собой удачу и хорошее настроение. Его недавно возникшие упоение и уверенность в жизни, как ему казалось, исходили из него ровной волной и охватывали, омывали всех его домашних. Вышел навстречу из своей комнаты сын, стриженный колочим ежиком, ещё пухлощекий, ещё подростковому невысокого роста, но в котором уже чувствовалась, по чернеющей верхней губе и по другим, совершенно неуловимым признакам, скрытая биологическая сила, накопленная организмом перед рывком, и что ещё год, максимум два, и к четырнадцати или пятнадцати годам он из подростка превратится в юношу. Сын улыбался ему, и было видно, что рад его приходу. Жена ещё не слышала, что он пришел, и, пока он раздевался, они перебросились в коридоре несколькими фразами.

— Привет, папа, — сказал сын. — Это ты пришел?

— Ну, конечно, не я. Разве ты не видишь?

— Теперь вижу. Ты пешком пришел? Или тебя, как большого начальника, прямо к подъезду доставили на машине?

— Увы, увы. Машина мне по штату не положена. Но ты лучше, чем над отцом посмеиваться и насмешничать, скажи, что у тебя сегодня в школе?

— Все нормально.

— Правда, нормально?

— Точно.

— Никаких новостей?

— Никаких.

Но по его пухлощекой физиономии Григорий Михайлович сразу заметил, что чего-то сын утаивал, что-то удерживал, не говорил ему и, как он догадывался, не сказал и матери. Сын никогда ничего сразу не рассказывал, а Григорий Михайлович и не настаивал на немедленном рассказе. Он снял шапку, шубу, размотал шарф, наклонился в поисках домашних тапочек, надел их.

— Ну ладно. А где мама?

Но и жена уже тоже стояла в коридоре и шла ему навстречу:

— Гришенька пришел. А я и не слышала. — Она положила ему руку на плечо, он наклонился и поцеловал ее, а она, радуясь его непозднему приходу, говорила: — Очень вовремя. Мы с Борей как раз собирались ужинать.

Она подхватила его портфель:

— Ого, какой тяжелый! Что это там?

Он засмеялся, перехватил портфель у нее из рук и вошел на кухню. Он чувствовал себя все в той же роли счастливого отца семейства, почти патриарха, которого обожают домочадцы, как своего единственного властелина и повелителя, за его любовь и удачливость в охоте и пастушеском деле. И как некогда охотник притаскивал в пещёру тушу убитого им зверя, сопровождаемый восторгом женщин и детей, так и он нес портфель на кухню, а за ним следовал эскорт из жены и сына. Свет на кухне не горел, и в окно он увидел четкие переплетения голых ветвей, какие бывают на японских гравюрах, с вороньим одиноким гнездом в развилке ствола. Вспыхнул неожиданно свет, очевидно, шедшая сзади жена повернула выключатель, и дерево с гнездом пропали, а в комнате стало уютно и даже от света словно бы и теплее. Зато улица сразу как-то грозно потемнела. Жена подошла к окну и задернула кисейные занавески. И черная темнота, просачивавшаяся все же сквозь отверстие, прорубленное в стене и называемое окном, окончательно исчезла.

— Тебе звонили сегодня. Редактор из издательства. Пришла положительная рецензия на твою рукопись.

— Я уже знаю. Он мне дозволил на работу. Самодовольное чувство человека, владеющего будущим, снова охватило его, и он сжал жену за плечи:

— Все у нас будет хорошо, Анюта. Вот увидишь. Мы направим жизнь туда, куда захотим.

Он раскрыл свой вместительный портфель и достал оттуда бутылку шампанского и бутылку «киндзмараули», из другого отделения вынул коробку с пирожными, куриный паштет, сырное масло, банку шпрот, две банки крабов, банку майонеза и банку черной икры. Вывалив все это на стол, он закрыл портфель, снова полюбил жену за плечи и сказал:

— Народу перед праздниками в магазинах прорва. Вот все, что удалось на скоростях купить. Но давай это не к Новому году, а устроим сегодня рождественский ужин.

Оказывается, это было так просто и так приятно — делать радостными других людей! И жена снова засветилась, словами подтвердив его ощущения:

— Я так рада...

— И, конечно, погадаем, какое новое повышение ждет нашего папу в Новом, пятьдесят девятом году,— съязвил сын, стоявший у другого края стола и с плотоядным удовольствием рассматривавший вываленные на стол деликатесы.

— Ты, Борис, все-таки, нахал, — засмеялся отец. Он смеялся, потому что думал, что сын язвит от смущения, а на самом деле доволен предстоящим пиршеством. — Я тебе отвечу за столом. Пока же скажу только, что человек должен не угадывать, а предопределять будущее, строить его.

— И мы постараемся устроить его, разумеется, как нельзя лучше! — снова сказал сын, но тут же добавил: — Шучу, шучу!

Григорий Михайлович ушел переодеться к столу, вымыть руки, а тем временем ужин был сервирован, и все сидели за столом, ожидая его. Как «хозяин дома» он разлил в бокалы шампанское, они выпили «за все хорошее», отхлебнув по глоточку, немножко поели, а потом Григорий Михайлович поднял свой бокал и держал речь.

— Я сейчас, наверно, скажу сентиментальную ерунду, — начал он с ходу, полуизвиняясь, полуоправдываясь. — А быть может, если подойти серьезнее, то и не ерунду, и вовсе не сентиментальную, — он посмотрел на жену, в синих глазах которой он видел спокойствие и доверие — самое лучшее выражение, какое только и должно быть в женских глазах, на сына, продолжавшего готовить себе бутерброд с черной икрой, но наклоном пухлощекой головы показывавшего, что слушает, и продолжал, упиваясь отчасти собственной речью (ибо демон благополучия требует обязательно от человека, подпавшего под его власть, и прекраснодушия): — Я люблю свою семью. И не только потому, что считаю семью вообще, семью как общественный институт — крепостью, защищающей человека и способствующей его развитию, но и потому, что у меня очень хорошая и талантливая семья, и, уверен, такой останется. Я жалею, что был не очень близок со своим отцом, но он был старше меня больше чем на сорок лет, а потом началась война, и прежде чем я вернулся домой, мой папа, а твой дедушка, Борис, умер. Тебе был тогда ровно год. А дедушка был очень добрый и очень умный. Но мне не повезло. Получилось, что я был лишен общения, лишен дружеской поддержки отца, руководства, совета, того, что называют отцовской помощью. И в каком-то смысле был представлен сам себе. И если бы не помощь моей мамы, а твоей бабушки, то мне было бы очень трудно что-то написать и сделать. — При этих словах жена моргнула, но ничего не сказала, не желая прерывать педагогической речи. — И я надеюсь, что у Бориса все будет по-другому.

Во всяком случае, я приложу все силы, чтобы мои знания и опыт не пропали для Бориса даром...

— Папочка, ты уже это не раз говорил,— перебил его сын.

— Не перебивай отца,— стукнула пальцем по столу жена. — Ты должен слушать и стараться понять, что он говорит.

— Нет-нет, Борис, наверно, прав. Мы часто повторяемся, не замечая этого. Но просто я про все это все время думаю, потому и говорю так часто, что начинаю повторяться. И Боре, конечно, все это надоело. — Григорий Михайлович был очень добрый человек и, несмотря на временное благодушие, внушенное демоном благополучия и преуспеяния, не считал себя всегда и во всех случаях правым и непогрешимым. — Поэтому я скажу короче. Я хочу, чтоб и спустя двадцать и тридцать лет мы так же мирно и дружно сидели за этим столом или за большим столом в соседней комнате. И чтобы так же по всей квартире пахло елкой. А быть может, и запахом оплывающего воска — у новогодних свечек такой чудесный аромат! А Борис был бы к тому времени доктором исторических или биологических наук, профессором, и здесь сидела бы его жена и их дети, а наши внуки. Может, конечно, и не профессором и не историком, но, главное, достойным человеком, нашедшим свое место в жизни, которым мы сможем гордиться. А я уверен, что так оно и будет. Потому что в этом смысл истории, в преемственности духа от отца к сыну, в преемственности культурного наследия. Во взаимоотношениях отца и сына и осуществляет себя история, происходит ее развитие. Давайте за это и выпьем — за семью, за дружбу родителей и детей!

Они чокнулись приятно зазвеневшими бокалами и ещё немножко отпили шампанского и, наконец, принялись за ужин. Ужин был обильный: винегрет, овощное рагу с мясом, шпроты, ветчина, а затем пили чай с бутербродами с икрой и с пирожными. А потом Борис вдруг — как он это всегда делал — сказал:

— У меня рассказ взяли в альманах. Сказочку, — сказал как бы между прочим, но Григорий Михайлович сразу догадался, что в этих словах и проявилась та тайна, тот секрет, о котором он умолчал при встрече в прихожей.

— Что за альманах? — подозрительно спросила мать.

— Лиалюн.

— Как-как? Что это такое? Очень странное название, — продолжала с сомнением она. — Кто это выдумал?

— Да не беспокойся ты! — засмеялся сын. — Так ваша учительница назвала, литераторша. Так что никакого хулиганства и никакой кра-

молы. Всего-навсего Литературный альманах Юность, а сокращенно Лиалюн. Она даже сама стишки на обложку выдумала.

— Какие стишки? — спросил отец.

— Ну, девиз альманаха. Могу прочесть.

— Давай.

Сын кивнул головой и прочел немного неуверенным голосом:

Пусть автор твой пока ещё юн,

Но мы безусловно верим в это,

Что тот, кто сегодня писал в Лиалюн,

Когда-нибудь станет великим поэтом.

Он сидел, развалившись на стуле, и смотрел на родителей слегка исподлобья, стараясь придать своему пухлощекому лицу суровый вид, как он всегда делал, не зная, как они отнесутся к тем или иным его выходкам. Отец с матерью ответили почти одновременно.

— Это какая учительница? Татьяна Ивановна? Которая на костылях? — спросила мать.

— Она и не подозревает, — подмигнул отец, — что на сей раз она попала в точку. По крайней мере в отношении одного из участников. — И более серьезным тоном: — Что ж, я рад, Борис, это хорошее дело, если только заниматься им серьезно. Писательство, как и всякое дело, требует труда и культуры.

Григорию Михайловичу всегда хотелось подбодрить сына, который, особенно в последние год-два, казался ему неуверенным, сомневающимся в себе, в своих силах, слишком погруженным в себя и в свои переживания, недеятельным. И хотя он видел, что сын замечает его подбадривания и порой не очень доверяет им, ему тем менее представлялось, что постепенно таким образом удастся разбудить в мальчике честолюбие и веру в себя, добиться того, чтобы он ставил себе не мелкие, а крупные, настоящие жизненные цели, чтобы его не волокло по жизни абы как, а чтобы он шел уверенно, зная, куда идет. Но вместе с тем он боялся и отпустить его, что называется, по воле волн. Он был уверен, что долго ещё будет лучше сына понимать его интересы. Но для этого необходимо, чтобы сын доверял ему. Чтобы его воля не была навязана, а была принята сыном, чтобы сын именно с ним связывал свои честолюбивые мечтания. Григорий Михайлович мечтал, чтоб в будущем было достаточно одного его слова, чтобы направить сына в ту или иную область — для его же блага. Поэтому он никогда не требовал, не приказывал, а просил.

— Покажешь? — спросил он, имея в виду рассказ, спросил тоном просьбы, которая, однако, предполагала согласие.

— Ладно. Но только не сейчас. А когда я лягу спать, — отвечал слегка набычившись и смущенно, глядя исподлобья, сын.

«Смешной и трогательный подросток», — умиленно подумал Григорий Михайлович и согласно кивнул головой.

Они кончили пить чай, жена принялась мыть посуду, а Борис отправился в свою комнату стелить постель. Наконец он лег, жена помыла посуду, зашла поцеловать Бориса на ночь, вернулась на кухню, где Григорий Михайлович смотрел газету.

— Спит? — спросил он.

— Засыпает.

— Пойдем в твою комнату, к елке.

Он пошел первый, прихватив с собой бутылку «киндзмараули» и пару рюмок. Войдя, зажег свет, и елка его встретила вдруг как живое существо, всей своей зеленой пышностью и оглушающим запахом, снова направляя его мысли на празднично-рождественский лад. Она словно перестроила не только комнату, но весь мир. Хотя бы на время, но наполняя его добротой и спокойствием, ощущением вечности и мира. Поставив на письменный стол бутылку и рюмки и вдыхая хвойный дух, он повернулся к вошедшей следом жене со словами:

— Прямо хочется при свечах посидеть. И погадать, как в старину, гадали. Чего там они делали? Только из Пушкина да из Жуковского и помнишь это... Настали святки. То-то радость! Гадают ветреная младость, перед которой жизни даль, которой ничего не жаль... И как-то там дальше... Что они делали? Не помнишь? Чего-то с кольцами, чаши с водой, свечи с зеркалами...

— Мы, я помню, топили воск и лили в холодную воду, — сказала жена. — Так должно было нагадаться будущее. Но все это глупости и суеверие. Молодые были, глупые.

— А, вспомнил! — воскликнул Григорий Михайлович. — Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали... А вы башмачок за ворота не бросали? А? Ха-ха!.. Давай с тобой в этот вечер просто посидим, выпьем хорошего вина, поболтаем. Пусть это будет наш вечер. Почитаем Борин рассказ... Жалко только, что мамы нет, правда? — немного непоследовательно добавил он.

— Конечно, — помедлив и видно, что с трудом и неохотно, согласилась жена. Но он не стал обращать внимания на проскользнувшую в ее тоне напряженность, потому что рождественский вечер должен быть тихим и милым. Потому что хорошо не ссориться, а мечтать в рождественскую ночь, когда, быть может, приоткроется щель в бу-

дущее, и очень хочется, чтобы это будущее было беспечальным и без бесконечных проблем.

— Ну давай посмотрим, что мальчик написал. Он, должно быть, уже заснул, — как можно мягче и нежнее казал он.

Жена прошла в комнату к сыну и через минуту уже вернулась, держа в руках несколько напечатанных на машинке листочков. Они сели вместе около стола, выпили по рюмке вина, подержав рюмки в руке и глядя с улыбкой в глаза друг другу, а потом, по очереди читая страничку за страничкой, они прочли следующее.

«Самостоятельный»

Сказочка

В большом лесу жила стая волков. У этой стаи был вожак, громадный, сильный и жестокий волк. У него была жена. У них обоих был сын. Сына звали Фрикки Вольф. Отца Фрикки звали Горри. Случилась эта история, когда люди только начали истреблять волков и волки ещё жили в относительном спокойствии.

Фрикки Вольф был очень упрямый волчонок. Характером, как и силой, он походил на отца. Но Фрикки не слушался ни отца, ни мать, ни окружающих. На их слова он отвечал равнодушным молчанием или презрительным фырканьем, а если и произносил что, то ответ был один: «Нет!» Вполне понятно, почему Фрикки был так строптив с другими волками: он видел, как они подчиняются его отцу, а Фрикки считал себя не ниже отца, и, будучи тверд и властен характером, он не переносил волков, которые подчинялись кому бы то ни было. Отцу он не подчинялся потому, что отец пытался властвовать над ним, не учитывая, что Фрикки той же породы и характера, что и он сам. Фрикки был первым среди волчат своего возраста, а отец среди взрослых волков, и Фрикки считал, что они равны с отцом. Отец, однако, не считал так. И между ними была вражда. Матери же Фрикки не слушался потому, что она была заодно с отцом.

Но Фрикки был одинок. Его слабые духом сверстники боялись его, но они боялись и своих отцов. И отцы передали им по наследству, внушили им рабское послушание и преданность Горри Вольфу. А Фрикки не любил отца. Он знал, что со временем будет вожаком стаи, если будет притворяться перед всеми, что он любит отца. Но, во-первых, он видел, как к подобным ухищрениям и притворству прибегал отец, когда хотел кого-нибудь задобрить. Следовательно, Фрикки только поэтому не стал бы так делать. А во-вторых, он вообще ненавидел низкую игру.

Ранняя самостоятельность приучила Фрикки решать все самому, самому принимать решения. Она развила его ум и, конечно, силу. В противоположность отцу Фрикки не был жесток с волками, напротив, был даже мягок с ними. Но он всегда был тверд в своих решениях. Сказано — сделано.

Как-то, когда был голод, отец Фрикки убил оленя и хотел его съесть один, втихомолку. Фрикки узнал это и вытащил оленя к стае. Хотя волки и боялись Горри, но они были слишком голодны, и они съели оленя. Появился Горри. Он был в наисквернейшем состоянии духа. «Кто зачинщик?» — прорычал он. Волки, жутко испуганные, трусливо молчали, пряча хвосты между задних ног. Горри оглядел их. И один из волков просипел тогда: «Фрикки». Горри тихо, медленно подошел к Фрикки. И вот картина. В лесу тишина. Вечер. Два друг против друга на белом снегу. В одной стороне — сбившаяся стая, в другой — обглоданные кости оленя. «Так это ты украл, собачий выродок? Я тебя...» — и страшным голосом начал Горри. «Попробуй тронь», — слегка обнажив клыки, усмехнулся Фрикки. Это был фактически уже взрослый волк, хотя во всех его сверстниках сохранялось ещё нечто щенячье. Фрикки уже исполнился один год. И Горри, чтобы скрыть свое поражение, сказал: «Поговорим в пещёре, в семейной обстановке». Схватки не было. Волки разошлись. Таков был Фрикки.

Прошло ещё полгода. Теперь все волки считали, что Фрикки не уступит по физической силе своему отцу. Но подчинялись волки Горри. Фрикки был мягок с ними, и они считали, что это признак душевной слабости, несмотря на его многочисленные победы в схватках с ними. Но Фрикки после победы всегда их щадил. А слабые духом волки уважают только сильных, а сильными им кажутся жестокие, те, кто притесняет их, потому что сила притеснителей испытана на собственной шкуре. И Фрикки стал глубоко презирать свою стаю.

Однажды он бежал вместе со стаей и вдруг увидел громадного, жирного быка. Фрикки позвал стаю. Бык был жирен, но и силен, и Горри сказал: «Нет». Но Фрикки сказал: «Да». В первый раз Фрикки призвал волков к неповиновению. Бык был жирен, но был Горри был вожаком. И волки не двинулись с места. Фрикки убеждал их напрасно. «Ты просто трусишь один схватиться с быком», — сказал Горри. И было решено, что, если Фрикки один победит быка, он станет вожаком. И Фрикки побежал за быком. Схватка была ужасной. Фрикки чуть не погиб. Усталый, раненый, он лег и думал: «Зачем я дрался? Бык вкусный, но я один бы никогда не напал на него. Чтобы быть вожаком стаи? Но она ведь мне глубоко противна. Большое удовольствие править слабодушными рабами! Они слушаются отца так, будто они собаки, а не волки. Править трусами? Нет. Не хочу. Они мне противны». Фрикки приволок быка. И прежде чем он сказал хоть слово, Горри крикнул: «Так вы против меня?! Все? Ну что ж, кто первый? Никого? Отвечайте: кто ваш вождь?» Волки стояли в нерешительности. «О, презренные, трусливые собаки! Вы нарушили договор. Вы не похожи на Фрикки. — Я не хочу быть вашим вожаком». И Фрикки скрылся в лесу.

Фрикки жил один. Он знал теперь больше, чем его отец, так как старался думать, что он делает, а отец правил. А власть опьяняет. Редко думаешь, когда правишь.

Но вот в лес пришли люди. Они стали устраивать облавы на волков. Они огораживали часть леса красными флажками, волки пугались их и бежали прямо на охотников. Фрикки попал в одну

из таких облав, но чудом уцелел. И он понял, что нужно не бояться красных флажков.

Облава добралась и до его стаи. И в Фрикки заговорили старые привязанности. Он вернулся в стаю. «Я знаю, как уйти», — сказал он. «Мы тоже знаем, — сказал Горри, — мы побежим к выходу из красных флажков». — «Неправильно, — сказал Фрикки, — я один раз попал в облаву. Нужно прыгать через флажки, а у выхода ждут охотники». — «Ты ещё мал мне указывать!» — промолвил Горри. Волки одобрительным ворчанием встретили слова вожака. «Ну подумайте! — убеждал Фрикки. — Зачем охотникам стоять за красными флажками?! Они же знают, что мы боимся красного цвета. И ждут у выхода. Ну подумайте сами!» Чудак! Он призывал их думать. Они даже забыли, что это такое — думать. И волки послушно побежали за вожаком. А Фрикки, горестно осклабившись, перепрыгнул через флажки и исчез. Стая погибла». Этими словами рассказ заканчивался.

— Страшный сон, — пробормотал Григорий Михайлович, вытирая рукой лоб.

— Я не понимаю, — беспомощно сказала жена. — Что он всем этим хотел сказать?

А Григорий Михайлович как будто бы понял. О, это был страшный удар по демону самодовольного благополучия! Опустив голову и вертя в руках рюмку, постукивая по столу то ее ножкой, то краем, он коротко рассмеялся:

— Здесь несчастье — страшный сон, счастье — пробужденье...

— Не понимаю, — повторила жена и вырвала у него из рук рюмку, поставив ее твердо на стол, чтобы она не разбилась.

В ночной тишине слышно было, как наверху у соседей часы пробили двенадцать ударов. Зеленая темная масса елки казалась напоминанием о вечных проблемах, которые всегда останутся с человеком, и отец это увидел.

— Ты думаешь, он и вправду станет писателем? — снова спросила жена.

— Не знаю. Написано не бог весть как. Хотя имя Фрикки — это неплохо. Это от фырканы, ведь он на всех фыркает, Боря просто забыл или не сумел, что скорее это имя обыграть.

— Откуда ты это знаешь? Он тебе говорил?

— Догадался. Да и не в том дело, как написано. Написано, конечно, смешно и не очень грамотно. Но вот что написано — это интересно. Это целое мироощущение. И оно из него вдруг выплеснулось. Я думаю, что Боря сам до конца не понимает, что у него написано. И понять должны мы.

Ожидание его слов и тревога ясно читались на лице жены. А сам Григорий Михайлович вдруг с облегчением, почти физическим, почув-

ствовал, что из него выходит какая-то болезнь, улетает, улетучивается, и глаза становятся яснее, и дурман выходит из головы, как тяжелое похмельное сновиденье. Это улетал демон, рисовавший ему картинки, закрывавшие живую жизнь. И выздоровевший Григорий Михайлович понял то, чего не понимал прежде. И об этом он начал говорить.

— Эта сказочка — урок нам с тобой. И предупреждение...

— Ты хочешь сказать, — перебила его жена, — что он к нам относится, как этот волчонок к своим родителям?

— Ни в коем случае. У искусства свои внутренние законы (а рассказ этот хоть отчасти, да построен именно по этим законам), и путать их с жизнью не надо. Он имеет отношение к нам, но не буквальное. Говорю же, что это мироощущение. Вернее, попытка заявить свою самостоятельность. И урок в том, что нельзя за сына решать, какой дорогой ему идти, нельзя ничего навязывать, — говоря это, он невольно вспомнил, что как только сын начинал чем-нибудь увлекаться и они сразу заваливали его подарками, советами, пособиями, книгами по заинтересовавшей его области деятельности, увлечение тотчас кончалось, и теперь ему был ясен в этом не осознаваемый самим сыном внутренний отпор их экспансии в его дела, и он повторил: — Нельзя предписывать своему ребенку свой путь. И хорошо, что он пойдет сам, как бы трудно ему ни было! Иначе не было бы развития, не было бы истории. И нам с тобой надо смиренно понять, что у него своя судьба, свой путь, который не угадаешь и не предпишешь. И давай выпьем с тобой за то, чтоб наш сын остался верным себе, остался самостоятельным и когда он станет старше.

Григорий Михайлович медленно наполнил две рюмки красным сухим вином, и они выпили.

— А ты уверен, что ты прав? И что с мальчиком не надо поговорить по поводу его мыслей из рассказа? — путаясь в словах и волнуясь, спросила жена.

— Уверен ли я? Не знаю. Но мне кажется, что уверен. И ещё уверен в том, что нам самим надо жить самостоятельнее, чтобы наш сын нас мог уважать.

И, глядя на елку, он думал, что им ещё повезло, что они так запросто и без особых усилий получили такой урок. И что такое могло случиться, конечно, только в рождественскую ночь. А сквозь серебристо-зеленую хвою он теперь видел жизнь, наполненную не фанфарами, блеском, благополучием и славой, а трудами, которые чередуются с кратким отдыхом, удачами и длительными неудачами, болезнями и выздоровлениями, срывами и взлетами, — словом, видел то, что мы обычно и называем Жизнью.

Смысл жизни

Рассказ

Почему, затеяв писать о смысле жизни, я вспомнил школьные годы моего приятеля? Да просто с возрастом стал понимать: направление своей жизни человек угадывает (если угадывает, если успеваешь поймать свою догадку) именно в юности, не очень ещё вникая в попутные сложности и проблемы.

* * *

Костя сидел в классе, где год назад парты заменили столами и стульями, и все пытался вспомнить, *что же такое он сумел понять* в тот зимний декабрьский день примерно пятилетней давности, когда мать отослала его во двор «подышать воздухом» до прихода гостей. Но сейчас он сидел за столом, жевал кусочек оторвавшейся от тетради бумажки, глядел в окно на такое же как тогда зимнее и облачное небо, на прозрачные падающие за окном снежинки и слышал крики выскочивших во двор и играющих в снежки ребят, визги и ойканье девиц, попавших под снежный обстрел. Фрамуга была открыта, он поеживался от холода, но зато все из комнаты вышли, и он остался один. Перемена была большая, и следующий урок не скоро здесь начнется, и надо постараться успеть *все вспомнить* за эти двадцать минут. И вот он сидел, сопоставляя тот день и нынешний, стараясь припомнить ход мысли, который сегодня оборвался, а тогда привел к цели. Вот-вот он снова доберется...

— Корнев, ты чего здесь делаешь в одиночестве? — заглянула в кабинет завуч. Тон ее был любезен, почти игрив. Тощая, серая, прозванная старшекласниками «сеledкой», она, как говорила школьная басня, всегда заигрывала с выпускниками.

— К физике готовлюсь, а там кабинет пока заперт, — соврал Костя, стараясь ограничиться минимумом информации и так подать ее, чтобы продолжение разговора сделать как можно менее вероятным.

— Ну хорошо, хорошо, сиди, — разрешила она, выходя. — Только смотри, чтоб посторонних тут не было.

Костя кивнул, а когда дверь закрылась, сплюнул изжеванный бумажный шарик, которым чуть не подавился во время разговора. Но

мысли сбились. И увидев на столе перед собой тетрадку с сочинением и испытав смешанное чувство удовольствия от похвалы литератора и некоторое расстройство от слов рыжего Сашки, *он вспомнил*, что и в тот день, пять лет назад, во дворе он играл в снежки тоже с рыжим, только с Виталиком. Костя отлистнул страницы тетради до заголовка последнего сочинения «В чем я вижу смысл жизни...», проглядел текст, ещё раз глянув на пятерку и написанную красными чернилами фразу: «Тема раскрыта глубоко и интересно».

Если мой герой дожил до нынешних дней, то, оглядываясь на прошлое, он может воскликнуть: «Советское было время, а учитель — типичный шестидесятник, пытавшийся для своих смутных фрондерских стремлений найти оправдание в марксизме, *вместо того, чтобы думать мыслями*». Его светлые волосы вились жесткими завитками, но глаза были холодные, однако загоравшиеся, когда, взмахивая рукой, он читал стихи. К Косте он вроде бы благоволил, а последнее сочинение не только похвалил, но и зачитал вслух, сказав слова о «широкой эрудиции и разносторонних интересах вашего одноклассника», о том, что этот одноклассник даже ему подал мысль заново *перечитать школьное сочинение молодого Маркса* и использовать его на уроках. Косте было приятно, хотя выигрышный, кульминационный момент, вокруг которого строилось все сочинение, придумал он не сам, а использовал этот текст по подсказке отца.

Теперь-то нам смешно, что фрондеры использовали *Маркса, как антитезу реальному социализму*, но тогда это казалось им выражением свободомыслия.

— Давай рассуждать, — сказал тот, видя Костины мучения. — Тебе нужно написать сочинение. «В чем я вижу смысл жизни...» Прекрасно. Тема трудная, но интересная. Однако ни один мотор не работает без горючего. В данном случае горючее — это чужие мысли. Мысли великих людей, думавших на эту же тему. Ты ведь понимаешь, что человек должен опираться на достижения прошлого. Это наиболее экономный способ деятельности. И вот на твоё счастье один из величайших людей в твоём примерно возрасте написал сочинение на близкую тему — «Размышления юноши при выборе профессии». Вот как раз этот том. Да, это Карл Маркс. Не отмахивайся, это вполне доступно, ведь пишет семнадцатилетний юноша.

Он сел рядом с Костей на диван, раскрыл том на первых страницах, почитал немного про себя, а потом сказал:

— Вот отсюда прямо можно начинать: «Если человек трудится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым ученым, вели-

ким мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным и великим человеком».

— Прекрасная, глубокая мысль, если вдуматься в нее как следует, — добавил от себя отец, но тут же продолжил, не желая прерываться:

«Если мы избрали профессию, в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы не согнемся под ее бременем, потому что это — жертва во имя всех; тогда мы испытаем не жалкую, ограниченную, эгоистическую радость, а наше счастье будет принадлежать миллионам, наши дела будут жить тогда тихой, но вечно действенной жизнью, в над нашим прахом прольются горячие слезы благородных людей».

Он закрыл том и посмотрел на сына:

— Ну и что скажешь? Разве я не прав? Ты подумай: имеешь ли ты что-нибудь возразить на эти слова? Отвечают они твоим мыслям? Как ты видишь, тут не просто цитата ради цитаты, она у тебя будет как изюминка в пироге.

Костя прекрасно понимал, что все прочитанное, и умно, и благородно; в принципе ему нечего было возразить против любого из положений, оставалось только аранжировать их собственными рассуждениями.

Действительно, учитель литературы зачитал его сочинение вслух, хотя в нем было написано примерно то же самое, что и в других: что смысл жизни в том, чтобы жить для других людей, куда бы ни забросила тебя жизнь, и на какой бы работе ты ни оказался, всегда помнить, что ты служишь людям. Однако отрывок из Маркса придал его словам ту философскую глубину, интеллектуальную полировку и ощущение широты мысли, которой не чувствовалось у его одноклассников.

Но, как порой бывает, одна фраза, случайная, быть может, для сказавшего, прозвучала для Кости обидой, задела его, ибо поставила под сомнение его Я.

Пухлощекий рыжий — крепкокостный, сутуловатый и немного обезьяноподобный — с движениями нарочито утрированными, с постоянным подмигиванием, похлопыванием себя по ляжке, подхихкиванием, как у классного шута, каковым он все же не являлся, сел на угол стола, подмигнул:

— Костик, а если без цитат, ты сам можешь сказать, что ты думаешь о смысле жизни, именно ты? — сначала спрашиваемый подумал, что это — шутка, но это был настоящий *вопрос в форме шутки*, как стало ясно из вполне серьезных слов рыжего Сашки, за этим последовав-

ших. — Ты прямо говори, что думаешь, — как Ленин. Ты ведь *Корень!* А ты все цитатами прикрываешься.

Рыжий был шут и правдоискатель, постоянно страдавший от учителей за подначивающие вопросы. Но Коренев относился к рыжему Сашке вполне всерьез, хотя девочки и говорили, что Рыжий сам не верит тому, что говорит, *поскольку* у себя во дворе ведет себя как трус и водится с самой последней шпаной, чтоб его не трогали.

— Я примерно так и думаю, как написал. Что думаю, то и написал, — ответил Костя. — Никаких возражений у меня этот текст не вызвал. Я с ним вполне согласен.

— Во-во, — Рыжий покрутил растопыренной пятерней перед Костиным лицом, как бы показывая относительность его ответа. — В том-то и дело, что «примерно так», а не точно так. Конечно, ты с Марксом согласен, я тоже согласен. А что все-таки ты сам думаешь, ты, человек двадцатого века? Неужели ты создан жить для других и хочешь этого: жить для меня, для литератора, для «селетки»?.. Но не есть ли это психология раба, который живет для хозяина? А мы, советские люди, — прежде всего свободные люди. А? Что скажешь?

— Нет, — сказал Костя после мучительного мгновенья растерянности, — если все друг для друга, то уже не рабы.

— А если все не захотят? Тогда принуждать будешь? То есть подгонять всех под себя?

— Да что ты пристал? — не выдержал Костя. — Это всего-навсего сочинение, а не то, что я сам придумал, не трактат. Но если хочешь, то я против подгонки всех под меня. Пусть все развиваются свободно, как хотят.

— А ты будешь жить для других? Ну-ну! Двистительно, почему бы одному бла-ародному дону не оказать услугу другому бла-ародному дону? Бла-ародные мысли бла-ародного дона! — закончил он цитатой из Стругацких, из всеми любимого тогда романа «Трудно быть богом».

Рыжий снова подмигнул и вышел с портфелем подмышкой за дверь, не дожидаясь ответа и оставляя последнее слово за собой. Ушли девочки-отличницы, ушли школьные спортсмены-разрядники, и трое наиболее близких Косте приятелей, которые тоже собирались поступать на физфак. И, делая вид, что копается в портфеле и чем-то занят, он пропустил их всех и остался в классе один, задела его фраза Рыжего, что он прячется за цитаты. Он внутренне согласился с ним, что *цитата не позволяет разглядеть истинный смысл твоего бытия, что она преграда между тобой и смыслом*. Он сидел на стуле и пытался при-

вести в порядок собственные соображения на тему смысла жизни. Но, принявшись думать, с раздражением сообразил, что ничего кроме банальностей, ему в голову не приходит: «Ведь я вправду спрятался за цитату. И не знаю, что же и в самом деле об этом думаю. Ну, в идеале, в конечном счете, чтоб моя деятельность была признана всеми, тогда... Признана всеми или полезна всем? — оборвал он сам себя. — В идеале, конечно, полезна, но хотелось бы, чтоб и признана, вот чего на самом деле я хочу. Нет, но если шире: для чего я существую на Земле? Ведь не для того, чтоб меня признали... Скольких при жизни признавали, они ушли, а их забыли. Да и не в этом дело. Надо понять, что такое — жить для других. Но почему? И для всех ли других? И что же, значит меня рождали из расчета, что я для кого-то буду жить? Нет, это нелепо. Зачем вообще живет человек, не я, а вообще человек? Может просто, чтоб любить, жить и производить себе подобных... но зачем тогда человеку сознание? Ведь именно этим он отличен от собак и кошек, и... и вообще от животных. И есть ли на все это ответ? Не эти общие слова, а мой, мой собственный ответ. Я вроде бы знаю все справедливые слова на этот счет, или почти все, но именно только знаю, а не сам придумал, а надо пусть то же самое, но чтоб сам...»

Но заметив, что начинает повторяться, что прошло уже почти десять минут и что такими темпами он до конца перемены не управится, от нетерпения и раздражения, что ничего не получается, даже притопнув ногой, Костя прекратил попытки *быстро понять*. И, не зная ещё слов Платона о знании как припоминании, пошел *дорогой воспоминаний*, понадеявшись, что вспомнит то, что надо было открыть. Ему вдруг почудилось, что открытие уже было, и надо лишь поднапрячься, чтоб вспомнить его.

* * *

И тогда он словно увидел тот сбор в четвертом классе под названием «Твое место в жизни», напряженные лица сидевших за черными партами с откидными крышками и тянувших руки, когда прямая, как складной метр, с какими-то угловатыми движениями всех частей тела, их классная руководительница Лидия Ивановна указывала линейкой то на одного, то на другого, поскольку она требовала, чтобы все по таким вопросам «высказывались, а не отсиживались за спинами товарищей». И все выступали. Таня Бомкина говорила о том, что только в школе может быть настоящая дружба, Витя Подоляк ее не то оспорил, не то поддержал, сказав, что без совместного дела, которое для пионеров всегда в совместном труде, не может быть и настоящей

дружбы и именно дело делает человека человеком, а не только дружба. Костя поначалу ничего не мог придумать, что бы ему сказать такое, но требовательность Лидии Ивановны заставила высказаться и его, и он тоже поднял руку, пробормотав, что место настоящего человека должно быть среди тех, кто строит новую жизнь, что надо быть ударником на заводе, на фабрике, на стройке, короче говоря, быть стахановцем во всех областях жизни, но быть стахановцем — это значит помогать тем, с кем ты соревнуешься социалистическим соревнованием. При этом Костя удачно привел рассказ из учебника по литературе о соревновании двух каменщиков, когда один стал отставать в работе из-за болезни, то его соперник, как настоящий товарищ, после работы втихую оставался, чтоб выполнить норму своего друга, с которым соревновался.

— Мне не нравится только слово «втихую», — сказала Лидия Ивановна, качая головой слева направо и справа налево, и стоя прямо как деревянная линейка, которую она как обычно держала в правой руке. — Но в целом, мальчик, ты мыслишь правильно. И пример показывает, что ты понимаешь, о чем мыслишь. А ты что улыбаешься, болван деревянный! — прикрикнула она вдруг суровым и яростным голосом на Ваську Паухова. — Лучше слушал бы, если думать не умеешь. Просто не похож на советского человека. Ходишь в школу истязать учителя! Скажи, зачем ты сюда ходишь? Ты даже не понимаешь — ума не хватает — зачем ходишь!

Этим скандалом и закончился сбор. Костя отправился домой, дорога была длинной, трамваи не ходили, целая их вереница растянулась на квартал, он шел по тропочке, протоптанной вдоль рельсов среди глубокого снега, нанесенного за ночь и первую половину дня, и вдруг почему-то представил себе серебристую и заснеженную джеклондонскую Аляску, потом подумал о первобытном Севере, о вымерших мохнатых мамонтах, о великом оледенении, а следом и подумал, что само слово *жизнь* ужасно сложное и как-то оно во всех областях имеется. Быть может, он думал и не совсем теми словами, но так ему тогда в девятом классе вспомнилось. Ему вдруг представилось, что жизнь — это что-то огромное, охватывающее все континенты и материки, все страны и народы, все прошлое, настоящее и будущее, и что поэтому строить ее нельзя, потому что ты в ней живешь и являешься ее частью, и кто-то ещё живет, и ещё, и ещё, и твой узкий участок жизни ещё не вся жизнь... И тут-то он подумал про пересказанную им историю о каменщиках, что вкладывать все свои силы и всю свою жизнь в строительство каменных зданий и каменных стенок — безумие, по-

тому что ведь *это может сделать кто угодно, поэтому вначале нужно человеку понять, что именно он должен сделать на земле*. И Костя с охватившим весь организм холодом спросил себя: «А я? Зачем я здесь на Земле? Есть в этом какое-то назначение, какой-то смысл? Или это просто так?»

В таких размышлениях он и явился домой, но здесь поговорить как всегда было не с кем. Хитроумного отца, который не любил разговоров просто так, а только по делу, по урокам, по прочитанной книжке, но который тем не менее мог бы хоть что-то сказать, дома не было, а мать готовилась к приему гостей. Должны были придти вроде бы милые и старые знакомые родителей, которые неожиданно стали «нужными людьми». Отец тогда пробивал отъезд за границу в один из пресс-центров, мать собиралась с ним, а сегодняшние гости как раз и сватали Костиного отца на эту работу, где прежде работал приглашенный приятель отца. И вот это смешанное ощущение грядущих гостей как старых приятелей и одновременно как *нужных людей* выбивало мать из колеи. Она нервничала, и хотя Юра Пастухов позвонил, чтобы никаких особых приемов не было, мать хлопотала на кухне, чтобы сделать так, будто ничего особенного не происходит, а вместе с тем, чтобы все было, что может захотеться гостям: к ужину и хорошее вино, и охлажденная водка, и ломти семги, и копченый угорь, и икра, и капуста, и огурцы, и селедка, и шпроты, и салат «оливье», буженина, а также готовилось что-то ужасно вкусно пахнущее и ворчавшее внутри духовки, а на после ужина марочный коньяк к кофе и хороший трубочный табак, поскольку Пастухов курил трубку, научившись этому за рубежом.

* * *

Костя отчетливо (так что даже страшно становилось, как можно так видеть прошлое: словно в стереокино) представил себе эту сцену: старую кухню, на которой с тех пор столько уже было перестановок, застекленный шкафчик, подаренный друзьями маминых родителей, зеленая газовая плита с черными конфорками, около плиты домработница Клава, приехавшая из деревни на заработки, с каштановыми волосами и круглыми черными глазами, с черными бровями и ресницами, видно, какая она стройная под маминым старым платьем и молодая совсем, ей семнадцать лет; у кухонного стола мама, она на всякий случай, на случай прихода гостей раньше назначенного времени — в *приличном* синем платье, а поверх — фартук, с двумя завязками — на шее и на спине. Матери было не до него. И не спрашивая даже, как его

дела в школе, она сказала ему, чтобы он переоделся и шел гулять, пока они с Клавой готовят, но от дома далеко не отходил, потому что как только вернется отец и придут гости, его позовут и тогда он сразу должен бежать домой, а не заставлять себя ждать, как всегда.

Эта картинка ясно представилась ему, но мысли, ради которой она вспомнилась, он пока не находил. Надо было идти дальше по воспоминаниям. И Костя снова ощутил запах жареной утки с яблоками, потому что мать открыла дверцу духовки и пробовала утку вилкой, испытывая ее готовность.

* * *

Он надел валенки с калошами, черную ватную шубу с меховым воротником из собаки, в рукава были вдеты варежки на резинках, чтоб он их не потерял и кроличью шапку-ушанку. Получив ещё раз наставление прийти домой по первому зову, Костя принялся спускаться по испещренной прожилками и какой-то зернистостью каменной лестнице. Он очень отчетливо, до деталей, вспомнил, что между первым и вторым этажом он увидел стоявших у батареи ребят: кто стоял, кто сидел у батареи, кто на подоконнике, свесив к батарее ноги, увидел лежавшие и сушившиеся варежки и носки. Там были и Андрюшка Мацкевич, прижавшийся спиной к теплу и уставившийся наглыми глазами на спускавшегося Костю, и — *опять же рыжий* — Виталька, всегда угрюмый и раздражительный (хотя он вовсе не был по-настоящему рыжим, а скорее белесым, но потому и злился больше, чем надо, когда его дразнили «рыжим», и в отличие от большинства рыжих, ехидных, но все же шутливых, смотрел на всех исподлобья, хмурил брови, не прощал обид, вечно сморкался в носовой платок и часто болел), всем своим видом выражавший презрение к тому теплу, которое шло от батареи, рядом с ним стоял и грелся Вовка Метельский, в очках и очень положительный по виду мальчик из их дома, а также двое ребят из чужого двора. На улице не было холодно, наоборот, падал мягкий, почти мокрый снег, но они все, судя по мокрым шубам, варежкам и горсточкам снега, вытряхнутым из валенок, играли в снежки, совершенно извозились в снегу и промокли.

— Здорово, — сказал Вовка Метельский. — Надолго вышел?

— Да не очень. Как позовут.

— Уроки делать?

— Не, в воскресенье буду. Гости должны к родителям приехать.

— Ну ладно, — он сдвинул очки на нос и посмотрел поверх них на Костю подбадривающим взглядом, но взгляд этот показывал ещё и

то, какая этот Вовка шкода и пакостник. — Вот за них будешь, — он указал рукой на двух ребят из чужого двора. — Мы в крепости, а вы атакуете.

Косте показалось обидным, что его словно отделяют от компании, отправляя с чужими, и он спросил, а почему именно он.

— А кому же ещё? — наивно удивился Вовка. — На новенького... Не Рыжего же посылать, ему опять в атаке глаз подобьют.

— Почему? Я пойду, — сказал хмуро Рыжий. — Только посмотрим, кто кому ещё глаз подобьет.

Одевшись (хотя варежки и носки ещё не высохли, и от мокрой теплой шерсти валил пар), они вышли гуськом из подъезда, а Рыжий, выходя последним, не придержал дверь, и она хлопнула гулко и дребезжаще. Потом они прошли по асфальтовой дороге перед подъездом, которую дворничиха тетя Маша расчищала широкой лопатой, сгребая снег в кучи к краю газона, обсаженного деревьями, и вообще вдоль дороги. Затем свернули на аллею, разделявшую газон на две части, правую и левую: аллея их называлась в обиходе «средней». Костя вспомнил, как он сразу увидел неподалеку от голых кустов, покрытых ледяной корочкой, прозрачной и блестящей на солнце, снежные комы, уложенные один на другой квадратом, иными словами, снежную крепость.

Потом он вспомнил, как они внутри крепости лепили снежки, как быстро пропитались влагой его варежки, но от этого только легче стадо лепить, как он наготовил себе с десяток комков и сложил их на небольшой полочке внутри крепости, и то же самое сделали Вовка Метельский и Андрюшка Мацкевич, чтоб не тратить времени на лепку во время атаки противника, да к тому же у нападавших было преимущество — обилие снега вокруг, они же обобрали снег с земли внутри крепости и теперь лепили снежки, отщипывая кусочки снега от стен своего бастиона...

Противники, ухватив по пять-шесть комков, изготовились к атаке.

— Чур, только ледышками не кидаться! — крикнул осторожный Мацкевич.

И началось!.. Летели снежки, нападавшие были упорны и обильны зарядами, а защитники непреклонны, защищая крепость, свой дом — свою крепость. Шапки сбились, шарфы свисали, варежки Костя сбросил, и они на резинках втянулись в рукава шубы, так что сразу намокли рукава рубашки, снег сыпался в валенки, но они покраснелись, смеялись, получая удары снежками в грудь, плечи, живот, прикрывая от комков лицо.

Но мысль, видимо, продолжала работать незаметно для самого Кости, потому что в один из перерывов меж боями он вдруг неожиданно для самого себя обратился к Вовке:

— В школе у нас сегодня сбор был — «Твое место в жизни»...

И потом, во время этого затишья, смущаясь и говоря косноязычно, он спросил у Вовки вполголоса, как тот думает, зачем человек рождается и зачем существует на Земле. Вовка посмотрел на Костю сквозь очки взглядом положительного мальчика, которому всё известно, но который ничего так в простоте не скажет, а непременно под каким-нибудь пакостным условием. Был он немножко странный, по понятиям дворовых ребят, жил на пятом этаже и часто лазил на чердак, куда остальные ходить не решались, а он говорил, что там у его отца кладовка и тайник, что он там «все ходы и выходы знает», но никого с собой не возьмет. И ещё про него говорили, что он ест селедку с белым хлебом (это казалось дикостью — надо с черным), а на пряник намазывает горчицу.

— Могу сказать, — произнес Вовка, довольно долго перед этим поглядев на Костю сквозь очки, — могу... Давай только вначале в Рыжего одновременно влепим, ты справа, я слева... Видишь, он снежки делает.

И не сообразуясь с тем, что это было не по правилам — кидать, пока противник лепит снежки — Костя, подначенный Вовкой и ожидая разъясняющего ответа, метнул свой снежок и так неожиданно ловко и сильно попал Рыжему прямо в лоб. Тот, сидя на корточках в неустойчивом положении, от удара даже опрокинулся на землю. А Вовка свой снежок и не кинул...

— А ты что же? — растерянно спросил Костя после своего попадания, чувствуя, что вся ответственность за нарушение перемирия падает теперь на него.

— А у меня что-то руку свело, — ответил Вовка. И непонятно было, серьезно он это говорит или слегка глумится. — А ты бы меня не слушался, если Рыжего боишься, иди меня подождал бы, вместе и кинули бы.

Между тем Рыжий, озверев, вскочил и, потрясая кулаком, выкрикнул, обращаясь к Косте, несколько угроз, которые сводились к тому, что он ему всю морду снегом залепит.

— Вот видишь, — сказал рассудительно Вовка, — для тебя сейчас решен вопрос, как жить на Земле, потому что ты должен защищаться от Рыжего, иначе нашей крепости придется плохо.

Костя растерялся и бормотал, что он не хотел, что он к Рыжему Виталику хорошо относится, что Вовка его гнусно обманул, но вместе

с тем, говоря все это, так и не решился покинуть крепость в знак протеста, потому что все сочли бы это трусостью и предательством.

* * *

Он хотел что-то ответить Вовке, но в этот самый момент снежок Рыжего попал ему прямо в ухо, залепив его целиком, оглушив до звона в голове, а рассыпавшиеся остатки снега попали за воротник рубашки. Он вскрикнул от обиды и ярости, забыв даже, что сам первый поступил не шибко хорошо. Ухо и зубы у него аж заломило от холода, пока он выковыривал снег из уха, доставал его из-за воротника и обтряхивал от снега воротник рубашки. Прodelывая все это, он крикнул, трясая заледеневшей рукой:

— Я пока не играю!

— Рыжий! — крикнул Вовка Метельский. — Корень пока не играет! Ты погоди немножко!

Эти слова вызвали у рыжего Виталика очередной приступ ярости.

— А я играл?! — завопил он и одновременно запустил в Костю новый снежок, который у него в руке отлежался и скрепился сильнее обычного.

Костя и без того чувствовал, как вода стекает по его спине, и всем уже было собрался идти греться в подъезд. «Теперь заболею, — думал он, — если не обсохну». И в этот момент получил оглушительный удар в лоб плотным, почти ледяным, смерзшимся снежком. Это было так неожиданно и больно, что он невольно охнул и сел задницей на какой-то кусочек льда, валявшийся внутри бастиона, ударившись болезненно копчиком. Вовка и Андрюшка захохотали, как всегда бывает при чем-то неожиданном и нелепом падении, а у Кости закапали из глаз слезы. Он вскочил, выбежал из бастиона и побежал по аллейке к дому, но не домой, а за дом, отсидеться там, чтоб никто не видел его злых слез.

Костя вспомнил, что ощущение обиды как-то встряхнуло его всего и придало остроту всем его мыслям. Он завернул за дом, где снег не сгребали и он лежал ровной чистой пеленой, поэтому шаги его отпечатывались совсем четко и только по краям следа снег немножко осыпался внутрь, что портило четкость отпечатка. Несмотря на свои злые мысли, Костя старался, чтобы след был четок, и для этого вытаскивал ногу осторожно, дергая ее прямо вверх, а не шаркая валенками. Он не дошел до самого конца дома, нарочно оставив промежуток нетронутого снега до утопанной тропинки и пошел назад след в след, чтобы следы его обрывались таинственно и непостижимо. Такая незамысло-

ватая игра развлекала его. Но мысли при этом оставались сердитые и горестные.

* * *

А ведь тогда, вдруг спохватился Костя, я как будто понял.

Отвернувшись от измазанной мелом доски, он снова вернулся на пять лет назад, к своей прогулке за домом, к тому, как, успокоившись, он шел мириться к ребятам и понял, что, наконец, подобрался к моменту озарения. И воспоминания его приобрели замедленность и яркость медленно прокручивающихся киношных кадров.

* * *

Вот он шагнул за угол дома, тело как будто само приняло решение о направлении пути, меж тем, как мозг продолжал прокручивать идеи о «смысле жизни» и о причинах человеческого появления на Земле. Но тут ему пришло в голову нечто такое, от чего перехватило восторгом открытия весь организм, *он и сейчас, спустя пять лет, помнил это чувство, чувство неожиданного откровения*. Тогда только надо было зафиксировать и обдумать пришедшую в голову мысль, но прежде, чем мозг успел отдать приказ телу повернуть назад, тело вышло из-за угла во двор, и Костины глаза уткнулись в стройную полногрудую Клаву, стоявшую у подъезда в маминых валенках и накинутом поверх платья пальто. На газоне, за сугробом, весь в снегу маячил Вовка Мельский и, увидев Костю, замахал кому-то рукой:

— Ребя, назад! — и, обращаясь к Клаве, указал на подошедшего. — Да вот он, — и к Косте. — Тебя, Корень, мать уже раз двадцать звала.

И Коренев увидел, как рыжий Виталька и Андрюшка Мацкевич повернули назад: один бегал к противоположному дому, другой к шоссе — искать его. Им и махал рукой и кричал Вовка. Клава ежилась от мороза:

— Захолодела тебя ждуть! Наталья Петровна уже горло сорвала кричать тебя. Гости приехали.

Косте бы остановиться, отмахнуться, додумать, *минуты бы хватило*, ведь только четко себе сформулировать, и тогда стало бы ясно не только, как человеку жить на Земле (это он вроде бы знал — чтобы помогать другим), но и зачем *он сам* на ней появился, зачем живет и какой во всем в этом высший смысл. Но он уже втянут в инерцию отношений и ему кажется, что он ещё успеет додумать. «Дома, после гостей, вспомню и додумаю», — решил он.

— Иду, иду, — сказал он Клаве.

Но надо было как-то отреагировать и на ребят, и он подхватил с асфальта липкий снег, сжал его в снежок и *шутливо, с глупым смехом* кинул его несильно в Вовку, чтобы как-то показать, что все забыто, затем прыгнул следом за Клавой в подъезд, и сквозь полуоткрытую дверь высунул голову, показал Вовке язык и, дразнясь, выкрикнул:

— Э-э-э!.. Съел!?

И, считая все это удачной шуткой, захлопнул дверь подъезда и покакал вверх по лестнице, пока Клава, догнав его, не буркнула осуждающе:

— Некрасиво так — бросить и спрятаться. Так мальчишки не поступают.

И хотя он знал, что Клава не поняла шутки, ему вдруг ужасно стало стыдно за свой глупый смех и брошенный снежок, так что он даже покраснел. И от стыда окончательно забыл, что же такое пришло ему в голову.

Действительно, гости уже пришли. Муж, жена и сын, Костин ровесник, ленивый и неповоротливый мальчик с короткой шеей.

— Ты где застрял? — не очень довольным тоном спросила мать. — Разве забыл, что у нас гости?

— В снежки заигрался, — преувеличенно бодро ответил Костя, зайдя прямо в шубе и валенках в комнату, весь ещё мокрый и покрасневшийся, являя собой картинку здорового жизнерадостного мальчика, все свое время проводящего в разумных детских развлечениях на свежем воздухе.

— Хоть бы ты подбавил энергии нашему дитятке, — улыбнулась жена Пастухова.

Костя широко улыбнулся в ответ, развел руками, вернулся в коридор, снял шубу, валенки, ушел к себе в комнату — переодеться в сухое, и пока переодевался, у него снова мелькнула мысль: «Только бы не забыть». Но речь уже должна была идти не о том, чтобы не забыть, а о том, чтобы вспомнить. Однако вспомнить времени не хватило — его позвали к столу. *Так, быть может, в первый раз в жизни он не сумел остановиться, выпасть из потока и бега времени, чтобы ухватить, не потерять то, что касалось самой сути его бытия.* Бег времени, песок мелочей оказался сильнее.

За обедом разговор был оживленный, шутливый, но все не о том. Уже вечером, лежа в постели, Костя опять задумался о своем почти состоявшемся открытии. Он лежал в темноте под одеялом, мучительно напрягаясь и испытывая отчаяние от того, что никак не может вспомнить то, что, казалось бы, и забывать нельзя, — так это важно.

Эта невозможность вспомнить что-то очень важное и как будто известное, уже бывшее в голове, вызвала у него какой-то внутренний зуд во всем теле, который ничем унять не удавалось, даже почесать как комариный укус и то невозможно. От ярости он даже принялся, полуплача, колотить подушку, но потом, изнемогши от бессильных и безрезультатных попыток, незаметно для себя уснул.

* * *

И сейчас, сидя в классе и напряженно уставившись на пустую доску, он снова и снова крутил все эти древние эпизоды, перетряхивая память и пытаясь *вспомнить невспоминаемое*, пока не зазвенел звонок к следующему уроку; тогда он встал, собрал портфель и пошел к двери, сказав себе: в другой раз непременно вспомню, невольно, как бы случайно, себя не насилуя, постараюсь не пропустить, но *как-нибудь в другой раз, как-нибудь ещё. Как-нибудь.*

* * *

Вот это ощущение я и хотел передать. Ощущение, что все мы всегда откладываем *на потом* поиск смысла — своего, личного, не общественного, не навязанного. А потому и живем без смысла. Хотя иногда — как в бреду — хотим вспомнить, где ж она, наша суть, наш смысл.

Моему герою это так и не удалось. Но ведь многим и вспоминать нечего!

Декабрь 2002

Часть вторая

Подросток



Радиоприемник

Рассказ

Проснувшись, не открывая глаз, но, чувствуя сквозь сомкнутые веки утренний свет, я продолжал делать вид, что сплю, не сразу просонья сообразив, почему я это делаю. Вспомнив же, тем более не разомкнул век, но якобы сонным движением подмяв под голову подушку, повернулся к стене. И уж тогда только открыл глаза. Когда никто этого не мог заметить.

А куда было деваться? Конечно, ещё какое-то время лежать. Благо, что осенние каникулы уже наступили, в школу никто будить не придет. Но надолго ли этим спасусь? Мама вот-вот отправится на работу, а перед уходом непременно заглянет ко мне. Но в тот момент вовсе не мамы я опасался. Скорее, она могла бы смягчить ситуацию. С бабушкой она в контрах, а на бабушкин радиоприемник ей вообще наплевать. Ей хватало громкоговорителя — круглой черной тарелки, висевшей в нашей комнате на стене между дверью и шкафом, чуть повыше шкафа. Он весь день напролет громко говорил на чистом русском языке, умолкая только на время моего сна. Все новости, все русские и советские песни, все радиоспектакли (о седой китайской девушке, сражавшейся с оккупантами, о Зое и Шуре, о каких-то американских людях-шакалах), все призывы выполнить решения исторического XX-го съезда КПСС, все итоги выполнений этих призывов безостановочно лились из рупора громкоговорителя. Радиоприемник казался мне, как и маме, излишеством.

Он, конечно, был *вещью*. Массивный, в деревянной светлокорицевой лакированной коробке, с четырьмя круглыми ручками-колесиками, которые можно было вертеть, со шкалой, при включении загоравшейся зеленым светом; на ней выделялись темно-желтые названия иностранных городов, написанные латинскими буквами. Стрелка бегала по этой шкале взад и вперед, вызывая к жизни разнообразные звуки — каждый раз нового происхождения. Бабушка привезла этот агрегат из Испании. Конечно, это память о гражданской войне. Конечно, это было героическое время, и приемник — память о нем. Но бабушка сама же сказала на собрании, посвященном юбилею «испанских событий», что она не видит поводов для ликований и поздравлений друг друга: войну-то мы проиграли, выиграли ее фашисты

во главе с генералом Франко. Ее тогда чуть с праздника не поперли, и могли бы, если б не была она там чуть ли не единственной участницей той войны. Да ещё с орденом Боевого Красного Знамени. Так что приемник — *память о проигранной войне*. А стоит ли о ней вспоминать?

К тому же сквозь шорох и треск, доносившийся почти с каждой точки, на которую попадала на шкале стрелка, ничего осмысленно русского я разобрать не мог. Там же, где было отчетливо все слышно, звучала иностранная речь либо программа передач нашего громкоговорителя. Бабушка, правда, почти каждый вечер проводила у радиоприемника; она свободно говорила по-испански и по-французски. Но слушала обычно поздно, когда я уже готовился ко сну.

Последнее время к отцу стал ходить в гости лохматый неряшливый поэт с женским именем. Он вернулся в Москву из карагандинской ссылки, жил по друзьям. Ленина он называл «марксистом-любителем», Сталина — вурдалаком, рассказывал смешную, но отчасти безумную историю, как в Караганде, в день похорон «Главного Людоеда», когда шли плачущие толпы, один ссыльный бросился навстречу знакомой с криком: «Анна Петровна! Наконец-то! Дожили! Издох, собака! Поздравля-аю!» И как потом они бежали проходными дворами, спасаясь от рассвирепевших обывателей. Этот зековский язычок, зековское меланхолическое остроумие были мне в диковинку, хотелось подражать такому стилю речи, но не получалось. Во всяком случае, небритый поэт стал для меня авторитетом. Он поначалу интересовался бабушкиным радиоприемником, спросил у отца дрогнувшим, но слегка притушенным голосом: «Ловит?..» Отец отрицательно помотал головой, пожал плечами. Поэт, разумеется, попробовал сам покрутить ручки настройки, но ничего кроме все того же писка, треска, хрипа и шуршанья не нашел, если не считать голосов иностранных дикторов. Но чуждой речи поэт не понимал, поэтому досадливо отошел от приемника, буркнув: «Глушат, сволочи».

А то, что слушала на испанском и французском бабушка, она все равно никому не рассказывала. Учитывая же ее любовь к нравоучениям и пересказам газетных статей, я умозаключил, что ничего для себя (а стало быть, и для нас) она из этих иностранных радиопередач не извлекала. Да и какие там могли быть новые факты, которые не сообщались бы по нашему громкоговорителю!

Вот почему я в конце концов, после долгих просьб, отдал вчера утром радиоприемник Алёшке Всесвятскому — на радиодетали. Он собирал свой, хотел выйти на связь с таким же, как он, радиолобителем из соседнего района. А деталей у него не хватало, купить же было

негде. Жил он этажом выше и почти каждый день забегал ко мне поклониться испанскую игрушку.

— Все равно твоей бабке он не нужен. Чего там на этих *иностранных* языках *честного* услышишь! Отец твой его не крутит, он и так умный. А мне *для дела*.

Для дела — это был весьма сильный аргумент. Так нас учили в школе, так говорили родители, так каждый момент внушали мне бабушка и громкоговоритель, что *нет на свете ничего важнее дела*, что ради дела можно пренебречь буржуазно-интеллигентскими условностями, уж тем более не обратить внимания на свою собственность, ибо собственность — вообще нечто плохое.

— Неужели *другу* жалко *для дела*? — снова и снова спрашивал меня Алёшка.

Был он стройный, худощавый, с большими синими глазами, и себе на уме: прямо вьюном вилял. Хотел надуть меня. Это понял я уже потом, лежа в постели, глядя в стенку и перемалывая и мыслях все, что я натворил.

Хотя вроде ничего особенного.

Алёшка вчера утром прямо обманул меня, сказав:

— Дай мне не надолго, я только посмотрю, как он устроен.

Я отдал, хотя и чувствовал, что отдаю — *для дела*, для *его* дела. И правда: уже к вечеру Алёшка зашел ко мне и признался, что разобрал приемник до последней лампочки, что многое ему из деталей может пригодиться, но он все равно готов все вернуть, только вот заново собрать у него не получается.

Я, конечно, мог бы сказать: «Все равно приноси. Я сам соберу». Или: «Приноси. Отец соберет». Но было ясно (и Алёшка это прекрасно знал), что ни отец, ни я собрать приемник не в состоянии. «Руки не тем концом приделаны», — так оправдывала мама папину и мою хозяйственно-техническую непригодность. Я растерялся, а Алёшка, торжествуя, удалился к себе. Понятно было также, что ни бабушка, ни отец не пойдут к нему с требованием вернуть — слишком интеллигентны. Так что приемник останется у него.

Мое счастье, что вчера бабушка долго беседовала с кем-то по телефону и отправилась в папин кабинет, где стоял приемник, видимо, уже после того, как я улежусь спать. Вечером таким образом я избежал неприятных нареканий. Но тем острее ощутил утром непоправимость содеянного. И час расплаты приближался. Не скажешь ведь, что Алёшка виноват: во-первых, сам отдал, а во-вторых, валить на друга — неприлично.

Я прислушался. В кухне шел разговор. Говорили обо мне. Говорила бабушка — как всегда правильные слова, которыми она словно бы защищалась от всех моих, папиных и маминых неправильностей и недуманных поступков. Да и от всей остальной жизни, которая не была такой правильной, как ей хотелось бы.

— В конце концов он уже взрослый человек. Двенадцать лет — это совсем не мало. И должен сам отвечать за свои поступки, — голос бабушки Лиды звучал жестко, прямо-таки дышал непреклонностью. Я так и видел мысленно ее прямую спину и вскинутую вверх голову.

А что папа? Мама-то, небось, уже на работе. Она бы заступилась, хотя бы ради того, чтоб поперечить бабушке с её, как маме всегда казалось, высокомерным тоном. Потому что, поясняя мама, слишком долго твоя бабушка по Европам ездила, все к нашей простой жизни привыкнуть не может. Бабушка и впрямь биографии была но совсем обычной: старый член партии, с девятьсот третьего года, после тюрьмы эмигрировала в девятьсот пятом в Швейцарию, сначала жила там, а потом, переехала в Аргентину. И вернулась в страну победившего пролетариата только в двадцать седьмом, и тут, как посмеивался лохматый поэт, случился фарт: ее не посадили. А не посадили потому, говорил он, что все партийные посты были уже расхватаны, ей куска пирога не досталось, и никому она не была соперницей. Так себе, обломок прошлого с партийным стажем. Но сама бабушка никогда не жалела, что вернулась на Родину, ибо жила идеалами, а не реальностью. Так мне казалось, а об идеалах твердили все газеты и громкоговорители, совпадая с бабушкиным душевным порывом прежних лет. Правда, Алёшка, выключившая у меня радиоприемник, ехидничал:

— Глупо сделала. Жила себе в Америке. А приехала сюда, к нам. Теперь поди жалеет, что в нашу серость вернулась. Вот и слушает свой приемник. Только растрavляется. Ей от этого слушанья только хуже, понимаешь?

Мама считала так же, как Алёшка. Что бабушка на самом деле *жалует* о своем возвращении в Россию, только горда, потому молчит, а так тут все не по ней, Европы ей не хватает с ее удобствами, поэтому всех она и учит, как надо жить, жить *цивилизованно*, не нравится ей, как у нас работают, а самое главное — недовольна она тем, что ее сын (мой отец) взял себе жену из *простой* семьи. В чем-то мама была права, во всяком случае, я тоже не раз видел, как бабушка бывала недовольна работой слесарей или плотников, призывавшихся для мелкой починки в квартире. И мне было неудобно, когда она им *указывала*, что тут вот недоделано, а здесь сделано *не так, как она хотела*. Как и маме, мне это казалось *барскими капризами*. Неумением или нежела-

нием жить «простой жизнью», как все живут. И в перепалках и ссорах мамы с бабушкой я всегда держался маминой стороны. Поэтому от нее ждал бы сейчас поддержки, если б она была дома.

И тут я услышал маму.

— Я сейчас подниму его, — сухо сказала она.

Потом распахнулась и хлопнула дверь моей комнаты, и мама резко дернула меня за плечо, разворачивая от стены к свету:

— Нечего прикидываться! Натворил — изволь отвечать!

Я открыл глаза. Мама была в том своем платье, в котором она ездила на работу, причесана, тонкие, уже покрашенные губы плотно сжаты, смотрела она на меня с гадливостью, в сильном раздражении.

Сердце упало, я испугался. Когда мама сердилась, мир рушился: оправдаться было невозможно.

— Я из-за тебя на работу опаздываю! Вставай немедленно и отчитывайся, зачем это сделал! Пока подзатыльник не получил! Довоспитывали! Мой сын — из дома вещи ворует! Чем ты лучше любого подзаборного?.. Меня же теперь тобой твоя бабка попрекать будет! Скажет, что я тебя таким воспитала, потому что сама — *из простых*. Да уже попрекает! Ну? Что молчишь? Язык проглотил? Отвечай!

Вжав голову в плечи, я торопливо выскочил из кровати и, как и положено виноватому, принялся молча и суетливо запихивать одеяло, простыни и наволочку с подушки в ящик для постельного белья. Но мама была так раздражена, что вырвала простынный комок у меня из рук, швырнула обратно на диван и крикнула:

— Отвечай, когда спрашивают! Я за тебя краснею и отдуваюсь, а он отмалчивается!.. Вся жизнь не промолчишь! Или свою дорожку уже нашел? Так потихонечку начнешь вещи из дому таскать? А потом что? У *чужих* воровать пойдешь?!

Мама в детстве нагляделась многого, живя на рабочей окраине Москвы, и ее волновали простые и здоровые вещи. Она знала, что *такое* бывает. Впрочем, знал и я, в школе у нас *разные* учились. Но ко мне, был я уверен, это не имело никакого отношения: я не воровал, я отдал свое, потому что всё, находившееся в квартире, воспринимал как общую собственность, как общее, как наше, а стало быть, и мое. Это я и попытался сформулировать, запинаясь и дрожа.

— Свое! Свое! — взорвалась мама. — Это не твое! Не тобой куплено! Не тобой поставлено! Не тобой возьмется! Это и не мое тоже. Поэтому не у меня проси прощенья. У меня — не за что! У бабки своей проси. Это ее приемник. А меня ты расстроил — хуже некуда. Выростила себе опору!..

И, не удержавшись, мама все-таки влепила мне подзатыльник. Потом, тряхнув за плечо, сказала:

— Все! Не сопи. За дело! Убирай постель, мойся, завтракай. И оправдывайся сам. Нашкодил — держи ответ! А мне на работу пора бежать...

Мама вышла, но дверь за собой все же закрыла, оставив меня в оголенном пространстве, как бы защищенном от нападающих реплик и взглядов из кухни. Только теперь я начал понимать, а точнее — ощущать *степень* своего проступка. Конечно, уже с самого пробуждения понимал, но все же не до конца, думал, что вдруг преувеличиваю, вдруг обойдется. Не обошлось. Выходить на кухню мне не хотелось. Что сказать? Как оправдаться? К тому же бабушка недолюбливала Алёшку, комната которого располагалась как раз над бабушкиной, и оттуда до поздна неслись дикие тогда звуки джаза и блатных песен. Алёшкины родители развелись давно, мать снова вышла замуж, а он жил с ее родителями — добродушной и глуповатой бабкой и дедом-профессором, которому дела не было до внука и его занятий. Быть может, сказать, что такое нам было школьное задание — разобрать и собрать приемник, Алёшка мне помогал, да вот прокол случился — разобрать разобрали, а собрать не сумели. Но звучало это неправдоподобно, и я отмел этот вариант. Однако, придумывая оправдания, я немного успокоился после маминого нашествия и сидел на диване, размышляя, как жить дальше. Хуже всего было (и я это знал), что вину мою уже никак не исправить. Не принесу же я пустую коробку радиоприемника, из которой выпотрошено Алёшкой все содержимое...

Я надел теплую байковую рубашку и вместо синих хебешных китайских шаровар толстые школьные брюки. Мне чудилось, что так я защищеннее, будто в броне. И вышел.

Мама уже уехала на работу. Еще в комнате я услышал стук входной двери, после чего и решился выползти из убежища. Папа и бабушка сидели за кухонным столом друг против друга и молчали. Не ели, ждали меня. Отец выглядел смущенным и раздосадованным. Бабушка посмотрела на меня сквозь свои очки без оправы, но пока ничего не сказала. Она была одета в парадный жакет с орденской колодкой и длинную темную юбку, словно собиралась на партсобрание или какое-нибудь торжественное заседание. Но что-то было в ее взгляде, да и во взгляде отца отчасти тоже, что я не сразу понял. И только когда, чистя зубы, увидел свою физиономию в зеркале, догадался. Ибо глянул в какой-то момент на себя *их глазами*. Они смотрели на меня, как на *чужого*, как на неприятного им чужого мальчика, случайно оказавшегося в их квартире.

Я почувствовал, что жар приливает к голове, а лицо как будто даже распухает незнакомо и краснеет. Более того, становится и мне самому чужим. Я взгляделся в зеркало. Оно отражало очень неприятного меня. Бывали минуты, когда я любил крутиться перед зеркалом, принимая воинственные позы, а то и рассматривать, какое у меня может быть сосредоточенное и умное лицо. А иногда я пугался, видя, до чего я нелеп — с короткой шеей, слишком широкими плечами и морщинистым лбом, нос тоже толстый, и вообще никакого отпечатка благородства: не то, что у стройного и изящного Алёшки. Я тогда пугался себя, думая, что мой облик отражает мою будущую мелкую, неаристократическую жизнь. А кто же в детстве не мечтал быть благородным графом или бароном!.. И теперь эта минута нелюбви к себе приближалась — в результате обмененных взглядов бабушки и отца, полных недоумения и презрения. «Вдруг я и в самом деле ничтожество, которое и родным даже уважать нельзя?» А потом ещё более страшная мысль, напугавшая почти до икоты, посетила меня: «А что если я и впрямь — чужой? подкидывш? Ведь случается такое... А теперь *они* мне это скажут...»

Дверь ванной комнаты отворилась. На пороге стоял отец. Верхняя губа его вздрагивала не то от гнева, не то от презрения ко мне, от нежелательной вынужденности разговора со мной:

— Ты, может, перестанешь, наконец, отсиживаться и выйдешь? Ведь знаешь, что тебя ждут.

Повернулся и ушел.

Признаться ли? Отца я обожал, и самое тайное и основное стремление моего детства и моей юности было походить хоть немного на него. Я не был дворовым ребенком, улица отпугивала меня, мне больше нравились умные разговоры взрослых, которые я слушал не в школе, а дома. Я весь был в семье, но семья не бытовая, а той, где постоянно обсуждаются всякие высокие материи, говорят о поэзии, о философии, истории, а если о политике, то не конкретно, а в общем плане мироустройства.

К тому же я видел, что все друзья отца не просто уважают его, а относятся с пиететом, считают человеком, который призван к чему-то высшему. Срывавшиеся с их уст слова: «Ну, ты гений», «с гением не поспоришь», восхищение его редкими статьями, — все это конструировало мое отношение к отцу. Я был уверен, что лет через сто, когда идеи отца будут оценены по достоинству всем человечеством и он будет повсюду прославлен, не забудут и про меня, ведь все же я его сын и он со мной первым делился своими мыслями. И какая-нибудь строчка в толстом исследовании о жизни отца будет и мне посвящена. Быть упомянутым хоть строчкой в таком исследовании казалось мне тогда

самой завидной судьбой. «Я — сын гения», — таково было мое тщеславие. Я выпитывал каждое его слово, принимал все его трактовки и объяснения без возражения и проверки, никогда и ни в чем не перечая ему. Впрочем, и сам отец подавал пример подобной сыновней любви, беспрекословно выполняя все просьбы своей матери, моей бабушки, даже когда, как я мог понять, не во всем с ней соглашался. Ибо в сути был согласен: в отстаивании коммунистических идеалов, которые однажды просияли во мраке человеческой истории, но были загублены сталинистами. «Лучше и выше идей коммунизма — свободы и счастья всех в этой жизни — не было придумано, — говорил он. — А то, что у нас, — никакого отношения к коммунизму не имеет, безумие и бред».

Неужели им так важен этот приемник? Какое отношение имеет он к бабушкиным идеалам? К коммунизму? К спорам с лохматым и невымытым поэтом, который утверждал, что преступнее, чем нынешняя система, в мире никогда не бывало?.. Может, я чего-то не понимаю? Как же мне сейчас держаться? То, что виноват, — спору нет. Но *как* виноват? Насколько? Я прислушался.

Но ни звука не долетало до меня. Очевидно, ждали, когда я выйду из ванной. Зачем они ждут? Мало было того, что мама наругалась на меня? Что ещё им нужно от беззащитного человека? Исчезнуть? Убежать?.. Но куда? И для чего?

Волна холодного озноба прокатилась по спине, и задрожали от слабости ноги. Может, мама права, и дело в том, что я и впрямь — *украд*. Ведь, скажем, мне и в голову не придет отдать кому-нибудь папину пишущую машинку — это было бы настоящим воровством, *это его вещь, он на ней работает*. А приемник, успокаивал я себя, — стоял почти совсем бессмысленно. Даже когда бабушка слушала свои зарубежные передачи на иностранных языках, на вопрос мой или папин, что она услышала нового и интересного, обычно отвечала торжествующе: «А, как всегда буржуазная чепуха. Болтают всякую чушь». И удовлетворенно почему-то кривилась и морщилась. Зачем же хранить вещь, по которой только ерунду и чушь услышишь?.. А для информации — газеты и громкоговоритель имеются.

Ноги дрожали, но на кухню я все-таки вышел. Мне ведь некуда было больше идти. Не на улицу же, в никуда...

Папа и бабушка сидели всё так же молча. Папа спиной к двери, бабушка слева, у окна. На моё «доброе утро» отец даже не обернулся, а бабушка только кивнула. Но ее выпуклые безресничные глаза сквозь очки следили за каждым моим движением. Сама же она, казалось, застыла в своей прямоспинности. Я подошел к кухонной плите, по-

ложил на тарелку из кастрюли уже остывшую и потому противную манную кашу, налил в стакан прохладного чаю. Бросил туда кусок рафинада и смотрел, как он стал оплывать, почти не растворяясь в чуть теплой воде. Потом, наконец, осмелился, повернулся, сел за стол.

Заглотнул, не поднимая глаз, комок холодной каши...

— Что же ты молчишь? — спросила вдруг бабушка.

Отхлебнув глоток противного чая, я виновато и торопливо ответил:

— Я не подумал, когда делал... Я больше не...

— Жаль, — прервал меня неприязненно отец. — Думать всегда надо. Если ты себя человеком считаешь.

И опять замолчал. А что я мог возразить? «Думать всегда надо». Конечно, кто бы спорил... Аксиома, не вызывающая возражений. *Но что же делать, если я уже не подумал!..* От холодного пренебрежительного тона отца глаза мои наполнились слезами. Я чувствовал, что его настроила бабушка, но настроила основательно. Не перенастроишь!..

— А я вот не подумал. Может же человек хоть раз в жизни не подумать!..

— Но не больше, чем раз, — усмехнулся отец. — А ты уверен, что уже не превысил?.. — но тут же замолчал, потому что за разговор взялась бабушка.

— Я все пытаюсь понять, — торжественно-траурным голосом, словно на собрании выступала, начала она, — каковы причины подобных поступков. Глупость? Но ты вовсе не глуп. Желание сделать мне неприятность?.. Но зачем?

— Не хотел я вовсе тебе делать неприятно! — воскликнул я голосом, неожиданно перешедшим в противный взвизг. — Просто мне казалось, что приемник никому особенно не нужен!

— Представь себе тогда, — холодно сказала бабушка, — что ты дежуришь в пионерской комнате, а там валяется старый, давно не используемый горн или старое рваное знамя, которое уже не выносятся... Ты что, сочтешь возможным отдать это любому, кто тебя попросит? Ведь ни горн, ни знамя уже не используются. А просящему знамя нужно на рубаху, а горн, к примеру, приспособить вместо гудка для его машины. Вроде бы — для дела. Ты бы отдал?

Мне припомнились Алёшкины слова и аргументы, и я вдруг разозлился. Алёшка говорил: «Жалко ее, что сюда приехала. Вот и слушает свою заграницу. Опять туда хочет. А зачем тогда возвращалась? Я понимаю, что там лучше. Вот бы и оставалась там. А уж к нам попал, от нас не уедешь! Теперь себя растрavляет».

— Тебе просто нужна твоя заграница! — выкрикнул я. — И не надо приемник со знаменем сравнивать! Знамя — это честь школы. А это — личное радио. Или тебе мало громкоговорителя? Зачем тебе приемник?! Зачем? Ты все равно говоришь только то, что и наш громкоговоритель! Или, может, тебе просто звуки иностранного языка дороже русского?.. — и сам испугался своей догадки.

Бабушка, похоже, была ошеломлена моей речью. Она аж побледнела. Медленно и величественно поднялась со стула и руку вытянула, указывая на меня пальцем:

— Посмотри на него, — обратилась она к отцу. — И это твой сын! Мой внук!

Я вспомнил — проклятая начитанность! — «Судьбу барабанщика» и старика Якова, матерого шпиона, но сразу отогнал этот образ: не то, не то, другое...

— Знамя — это отличие, — продолжала бабушка, уже и меня беря в расчет. — Оно отличает один отряд от другого. Как и горн, как и барабан. Приемник отличал наш дом от других. Ты забыл, что я получила его как награду за бои в Испании. *Это ещё один мой орден. Да и вообще, это — собственность, и не твоя!* — пробудилось в бабушке ее буржуазное прошлое. — Но не в этом дело, — тут же поправились она. — А в том, что ты предал свое отличие, свое знамя. Бывают люди, преданные делу, идее, друзьям, семье, а бывают — предатели всего этого. Ты оказался в числе последних. Ты не украл, ты дом свой предал.

Эти слова были ужасны. Страшнее слов нельзя было найти. Ибо я понимал, что гнуснее предателя нет на земле человека.

— Я не знал, что это награда, — сказал я, давясь слезами. — Мне никто не рассказывал. Но я вовсе не предатель! Я докажу это!

Самые настоящие рыдания охватили меня, и я почти бегом, отмахиваясь руками от отца и бабушки, бросился к себе и комнату. «Я докажу! Докажу! Оденусь сейчас и уйду! Пусть знают! На улицу, где все чужие и враждебные. И там всей жизнью докажу верность дому и его идеалам. Я докажу, что я не меньше предан тому, за что сражалась бабушка, и во что верит отец... Умру за эти идеалы. А *от них* никакой помощи!.. Пусть предлагают... Откажусь — гордо и иронично. Пусть *потом* раскаиваются...» Напрасно отец вдогон шагнул:

— Сыночек, успокойся!..

Сквозь слезы я сумел рывкнуть:

— Иди лучше бабушку успокой. Это она за свой приемник переловилась. Собственница она, а не коммунистка! Я ещё вам докажу,

кто из нас настоящий коммунист. Если такой строй вообще может на земле быть, то я это сделаю!

Отец вышел. Но пришла бабушка, села на диван и молча смотрела на меня, рывшегося в шкафу в поисках уличной одежды. Молчала долго, так что я не выдержал, бросил на пол свитер и, повернувшись к ней, вытерев глаза, спросил сухо:

— Не понимаю, зачем тебе нужен был этот приемник! Ведь ты сама говорила, что передают западные станции только буржуазную чушь и ерунду. Но он тебе зачем-то нужен, иначе бы ты не устроила мне *судилище*.

В ответ бабушка ещё помолчала, глядя на меня сквозь очки своими бесресничными глазами, словно решала, сказать или нет. Потом прозвнесла:

— Видишь ли, мне тебе это трудно объяснить. Но приемник был нужен мне для дела. С его помощью я могла слушать мир. Когда-нибудь и ты выучил бы иностранные языки, и перед тобой открылись бы безграничные возможности для постижения действительности...

Я был уверен, что она снова хочет прочесть мне мораль. Снова говорить о долге и ответственности, о моем проступке, который отбрасывает меня в число отверженных. Тех, что никогда не смогут стать членами идеального общества, которое она всю свою жизнь пыталась построить. Но вдруг я почувствовал в ее речи какую-то змеиную двусмысленность: сквозила она почти в каждом предложении, поскольку каждое из них можно было понять и прямо, и совсем наоборот. В моем мозгу стоял треск, создавая помехи как в радиоприемнике.

— Люди имеют привычку забывать о проклятом прошлом, о том, как тяжело жилось им при царе и капиталистах, — вещала бабушка. — Сейчас смотрят на Запад, думают, там лучше, а сами там никогда не были. Я была и знаю. Там рабочий класс тоже выдвигает требования. И многого добился. Но полной победы нет. Поэтому глупо и неправильно заниматься самооплевыванием, что, мол, у нас не получилось. Там ещё хуже. И об этом мне сообщала почти каждая радиопередача оттуда. Миллионы нерешенных проблем там остались. Мне важно было это слышать для сравнения. Здесь, у нас, все-таки во главе угла — идеалы коммунизма. А там — наживы. У нас много недостатков, да и Сталин во многом извратил линию партии, но я не жалею, что приехала сюда с Запада. Понял? И приемник ежедневно, ежевечерне подтверждал правильность этого моего решения. Он помогал мне слышать мир, чтоб утвердиться в верности избранного пути. Вот и подумай теперь в свете моих слов о своем поступке.

Осуждающе глянула она на меня снова, не моргая, словно гипнотизируя. Сознвала ли она сама второй смысл своих слов? Она слушала радио, слушала мир, не слыша его, слушала, чтоб услышать себя. Моих оправданий она тоже не захотела выслушать. Прямо спинная как всегда, поднялась она с дивана и вышла из комнаты, не удостоив меня больше ни словом, ни взглядом. А я не знал, что сказать ей вслед.

Да и что я мог тогда сказать!?

Декабрь 1995 (Бохум) — январь 1996 (Москва)

Собеседник

Рассказ

Автобус был синий, с длинным вытянутым капотом, своего рода носом, в котором заключался мотор. Такие автобусы, где вход только мимо водителя, и водитель сам, вручную, открывает и закрывает дверь, я видел только в детстве, когда гостил у бабушки, жившей на самой окраине Москвы, за Окружной дорогой, да ещё в деревне летом, куда класса до шестого меня мама отправляла к родственникам. Но странно: вид этого провинциального автобусика, уткнувшегося передними колесами в бетонную кромку асфальтовой площадки, так что они повернули немножко вбок, привел меня не в умиление, а в состояние близкое к душевному испугу, или, точнее сказать, к той заторможенности, нерешительности, даже вялости, которые у человека всегда предшествуют действию, необходимому, но совершаемому без внутреннего жара и желания.

Я вспомнил понурые и усталые лица людей, возвращавшихся в этих автобусах вечерами с работы; бабушка Настя заставляла меня уступать им место, этим людям, существовавшим где-то вне меня, не просто жившим, как я, а — ходившим на службу работать — на завод, на фабрику, в контору... А поскольку домашнего их быта я не представлял, не видел их воскресений, их отпусков, то люди, ездившие вечерами в автобусе, воплощали для меня это понятие ежедневной службы. И не так страшно, что ежедневной, как то, что всю жизнь. Всю жизнь пребывать где-то вне дома, от звонка до звонка, даже без перерыва на перемены каждый час, как в школе, и все ради того, чтобы два раза в месяц получать количество денег необходимое, чтобы прожить этот месяц, чтобы время от времени покупать одежду, платить за квартиру да иногда дарить детям игрушки. Я ещё никогда до той осени не работал; производственная практика, из-за которой нам сделали одиннадцатилетку, воспринималась как часть школы, а не как работа. Ведь на работу приходишь один, и ты не особый, не школьник, а такой, как все, почти равный взрослым, ты вроде бы достиг их уровня: тоже ходишь на службу, тоже получаешь зарплату. И притом многие *старики* «получают» не больше тебя, молодого, а у тебя ещё

есть «перспективы для роста», пойдешь в вечерний институт или на курсы — будешь получать ещё больше. Ну что ж, я даже был доволен, что теперь работаю и буду получать деньги: мне казалось, что это утвердит мое Я, что я докажу сам себе и всем, что я не иждивенец, что я могу зарабатывать *на жизнь*.

На третий день меня выделили от бригады на уборку свеклы. Мне казалось, что от того, что я не привык к «физической нагрузке», я быстро устану и не «потяну», и все поймут, что я «вчерашний школьник». Почему-то я этого стыдился; школьник — это значит маменькин сынок, а я, хоть и не собирался идти чернорабочим, как пошёл, а поступал летом в университет, выглядеть маменькиным сыночком не хотел. Поэтому я, например, изо всех сил сопротивлялся, когда мама заставляла меня надеть резиновые сапоги, свитер и плащ, а в сумку мне пихала продукты, — мне казалось позорным надевать теплые вещи и брать с собой еду, будто бы я боюсь холода или голода. И только около автобуса я про себя тихо поблагодарил маму, что она хотя бы на плаще с капюшоном настояла.

Утро было промозглое, пасмурное, моросил мелкий дождь, тучи плыли как лохмотья какой-то драни, одна налезала на другую, за серой шла черная, за черной — посветлее, затем опять темно-серая, но синего неба не проглядывало. И хотя ещё не было восьми, было ясно, что и день будет не лучше. Я бесцельно толкался перед пустым ещё автобусом, не зная, заходить или нет, не решаясь спросить об этом шофера, чтобы не будить его: он, приехав, открыл дверь, положил на руль руки, уткнул в них голову и заснул. Перед автобусом стояли ещё двое: молодая девушка, очевидно что-то вроде прораба, как я потом понял, в резиновых сапогах, лыжных брюках и длинной теплой куртке с капюшоном и высокий мужчина лет тридцати в темном прорезиненном плаще, накинутым на плечи столь изысканно-небрежно, что казался он не то командирской плащ-палаткой, не то плащом оперного дьявола.

Я как бы случайно профланировал мимо них к уже пустому искусственному пруду с заасфальтированными берегами. Летом, как я помнил, там плавали два лебедя, казавшиеся очень изящными в воде и толстозадыми и коротконогими, когда они с трудом вылезали на сушу — чуждую им поверхность. Пройдя мимо стоявших, я заметил, что у девушки плотно сжаты губы, а лицо бледное, некрасивое, но при этом интеллигентное и одухотворенное. Зато лицо человека в плаще поразило меня своей художественной законченностью и значительностью. Оно казалось серым, но, «быть может, это от погоды», наивно подумал я, заметив, что белое здание Ботанического сада намокло и

тоже посерело от дождя. Лицо его было узкое и стремительное: брови — углом, от переносицы они поднимались на лоб и вдруг резким углом опускались к виску; нос словно летел вперед и немного вниз как копьё на излете; ему бы очень подошла борода эспаньолкой и треугольная шляпа, но длинный и узкий, разделенный заметной ложбинкой подбородок был чисто выбрит, а на голове плотно сидела, залезая резинкой на лоб, болоньевая шапочка от дождя. Длинный тонкий шрамик с левой стороны лица, идущий вниз от левой губы, придавал ему насмешливо-ироническое выражение. Был он красив, но красив красотой, как я книжно определил про себя, «вырождающегося аристократа-византийца». В этом, несмотря на весь мой демократизм, прививаемый с детства, было нечто настолько привлекательное и властное, что ужасно захотелось, чтобы именно этот человек заметил меня и заговорил.

В восемнадцать лет наверно каждый второй — конечно, рефлектирующий, конечно, Лермонтова начитавшийся — полагает, что не ему быть мелким чиновником, делопроизводителем, клерком, а мечтает о карьере Дарвина, Кюри, Бальзака и т.п. И к своему тогдашнему общественному состоянию я хотел относиться в общем-то как к случайному эпизоду, который каким-нибудь образом сам пройдет, судьба всё изменит, и буду тем, кем предназначено мне стать. Кем — я не знал ещё, это просто означало, что я реализую, выявлю себя, свою суть. Но поймет ли человек в плаще эту, ещё скрытую от меня самого суть? Я считал себя заслуживающим его внимания и одновременно — в том-то и дело, что одновременно! — сомневался в себе наотмашь, до конца. В юности так легкий переход от самомнения к полному самоуничтожению. Я чувствовал себя именно в те дни почему-то жутко одиноким, никому не нужным, пустым и никчемным. И мне ужасно надо было поговорить с кем-нибудь взрослым, но не с родителями, которые, конечно же, просто-напросто утешали меня после двух провалов в институт, и я им не верил; мне надо было правды, правды от человека, который тоже бы отнесся ко мне с добротой и пониманием, как относились родители, но — со стороны.

От застекленных оранжерей и парников, расположенных по бокам перпендикулярно главному зданию и чуть вдвинутых назад, к площадке перед прудом, где скособочился наш автобус, шли не торопясь и как-то понуро сорокалетние и пятидесятилетние женщины в ватниках, телогрейках под прозрачными полиэтиленовыми накидками и замызганных плащах. Но внутри этой понурости и ворчания, что не их очередь ехать на уборку, было и спокойное приятие неизбежности

этой поездки, вплоть до забвения, куда и зачем их везут; они молчали, перебрасываясь иногда словами на темы, мне тогда далекие, — о детях, домашних делах, пьянстве мужей и магазинных проблемах. Маленького мама водила меня смотреть оранжереи и парники. Там была одуряющая жара, казавшаяся мне, книжному мальчику, тропической, в парниках стояли распылители воды между рядами выющихся огурцов и помидоров, а в оранжереях — бассейны с подогретой водой, с лотосами и кувшинками, плававшими по поверхности, пальмы в кадках, со стволами гладкими и мохнатыми, какими-то плетеными, словно перевитыми корневищами растений и уголок кактусов, высоких, огромным, не то что в цветочных горшках, с мелкими камешками керамзита, которыми была устлана поверхность кадок. Среди всей этой тропической жары и роскоши бродили эти женщины в синих халатах, с ведрами и тряпками. Тогда они мне улыбались. Но сейчас никто из них на меня даже внимания не обратил. И я пошёл снова описывать круги возле пруда, размышляя угрюмо, отчего это я последнее время всё ссорюсь с отцом и мамой, хотя мне этого совсем даже не хочется.

Я добродился до того, что автобус почти наполнился, все лучшие места оказались заняты, осталось только одно — сзади, вплотную к неотапливаемой стенке. Пробираясь к своему месту, я заметил, что, если не считать мужчины в плаще, который уселся рядом с бледной девушкой, и шофера, все остальные были женщины, да к тому же в возрасте немалом. Стенка, к которой я оказался притиснут, от дождя и сырости совсем заледенела, так что я сразу почувствовал проникающий внутрь тела холод, и постарался пристроить между собой и стенкой сумку с бутербродами.

От холода я сжался в комок, чтобы было теплее, и приготовился отдаться движению, думая о чем-то с движением не связанном, чтобы не замечать его. Но автобус не двигался: мы ещё кого-то ждали. От здания к автобусу спешил пожилой по моим тогдашним понятиям (лет сорока пяти) человек с широким плоским и рябым лицом. Я его видел дня три-четыре назад, когда оформлял документы в кабинете главного инженера, который подписывал мое заявление о приеме на работу. Главный инженер говорил, что хорошо знает маму как отличного специалиста, что меня пока берут садовым рабочим, но я молодой и у меня есть перспективы роста, что у них есть сейчас курсы трактористов и чтобы я месяца через два к нему заглянул, и он меня туда устроит, ведь я сразу после школы, так что быстро овладею трактором. «А то, гляди, женишься, — засмеялся вдруг главный инженер, — не на пятьдесят же рублей семью содержать!..» «Это пироги

с котятками получатся тогда», — подмигнул мне ряболицый человек, «зам.начальника АХО» (так он представился), таинственного АХО, расшифровать тогда эту аббревиатуру я не мог. Плотный, коренастый, широкоплечий, он напоминал председателя колхоза «из кино», даже добродушный рокочущий басок подходил под эту роль.

— Ну, все здесь? — спросил он, войдя в автобус и бросая взгляд вдоль заполненных сидений. Под расстегнутым плащом у него виднелся пиджак и рубашка с галстуком, брюки были заправлены в высокие, выше колен сапоги.

С сидений послышались невнятные препирательства, потом кто-то выкрикнул:

— Налепина больна, остальные все!

— Ну, тогда поехали.

Он присел на одинокое сидение впереди, рядом с шофером. Автобус тронулся, встречный промозглый ветер обдувал и без того холодную стенку. Дождь полосовал стекло, капли разбивались, отекали вниз длинными полосками, некоторые от удара уцелевали, на мгновение застывали, проходила их короткая жизнь, и вдруг они стремительно по странной кривой сбегали вниз и расплывались по краю. Как только мы съехали с городского шоссе, пошли пустые поля с рывинами, заполненными водой, намокшие скирды сена, обвисший ельничек среди почти облетевших и потемневших лиственных деревьев. Колеи были, очевидно, глубокие, скользкие и одновременно вязкие, потому что автобус то заносило, то он начинал буксовать и шел с трудом. Мне было одиноко, тоскливо и как-то непонятно на душе. Непонятно, как жить дальше и вообще жить ли. Прекратились внезапно наши длинные разговоры с папой; он, я это достаточно отчетливо понимал, был в растерянности из-за моего внезапно возникавшего раздражения и даже злости. Я кричал и ему и маме, что они на меня не обращают внимания, что им всё равно, что со мной будет, обижался на малейшие проявления невнимания, хлопал дверью, уходил без завтрака, спать ложился без ужина, но с комком в горле. И только вне дома отходил и понимал, что всё это — мой бред, но, возвращаясь, снова впадал в ту же полуистеричку. Писать рассказы я тогда перестал, и не было дела, к которому можно было бы приложить душу. Не было при этом в новой послешкольной жизни и той обязательности, когда от тебя требовалось некое постоянное напряжение: ответ уроков или сдача экзаменов. Возникла привычка, особенно в последний предэкзаменационный год, читать с какой-то внешней целью, а теперь она исчезла. Можно было расслабиться, «распустить пояс». Время вроде

бы и терялось, для духа я имею в виду, но никто, однако, не считал, что оно теряется, потому что я ходил *на работу*.

И вот эту образовавшуюся вдруг в жизни и душе пустоту я пытался изо всех сил забить чтением, не целенаправленным, не к экзаменам, но и не бескорыстным как в детстве: я просто старался держать себя в форме, как спортсмен между соревнованиями, ожидая неизвестно чего, ожидая, что каким-либо образом судьба моя переменится, не зная, однако, совершенно, как это может произойти. Я кидался от книг про французский импрессионизм и современную архитектуру к романам Диккенса и Бальзака, стараясь прочесть как можно больше, чтобы ум не пустовал. Я читал по дороге на работу, в обеденный перерыв, по дороге домой и дома вечерами до полуночи. Один роман Бальзака, вошедший в новое собрание сочинений, перечитал даже дважды. Я говорю о «Луи Ламбере». Луи Ламбер, гениальный философ, который ещё в школе писал трактат о воле, а с него требовали выполнения школьных уроков, он хотел понять мироздание, а ему говорили, что надо заниматься «делом», он приехал из провинции в Париж, думая там совершить мировой переворот в философии и вдруг понял: чтобы быть свободным от денег, надо деньги иметь, а чтобы их иметь надо отказаться от проблем бытия и заниматься проблемами быта. Ламбер свой выбор сделал, отказавшись от устройства собственной жизни.

«Но, — спрашивал я себя, — к себе же я не могу отнести судьбу Ламбера. Ведь я не собираюсь вроде бы объяснять мироздание, у меня просто «смутное томленье чего-то жаждущей души», какая-то слепая, ни на чем не основанная уверенность в своем предназначении. Но к чему? К какому делу?»

Имеет ли вообще такое томление хоть какую ценность? Не блажь ли всё это? Быть может, и вправду лучше поступить на курсы трактористов, поработать год или даже два, зато как *стажник*, да ещё *по профилю*, я разом поступлю на биологический, а филологический, пожалуй, по боку. Ведь мама и папа говорили, что *биолог — это профессия, а филологи — все как один безработные, их перепроизводство. Вот и надо было, провалившись на биофак, на филологический уже не лезть, но сразу идти в Ботанический сад работать. А после двух лет стажа по специальности, не только поступить легче, но и пять лет учебы тоже в стаж пойдут, что для пенсии существенно. И это здорово: я буду учиться, а мне рабочий стаж идет, да и твердая профессия тракториста в руках, — я говорил все эти старческие речи, словно глядел на себя глазами приемной комиссии или составлял себе положительную характеристику, как бы не осознавая их пошлости, вполне всерьез, именно как*

вариант жизни, настолько я был в растерянности. Вообще, — думал я, — общественная жизнь состоит из ячеек, клеточек, как хотите назовите, и нужно только спокойно перемещаться из одной в другую, шажок за шажком, пока не займешь предназначенное тебе по твоим способностям место, *социализоваться*. Вот мама тоже, когда из-за генетики лишилась работы, упорно, сжав губы (именно губы, я так и представил решительный изгиб маминых губ и пристальный, упорный взгляд, когда она сидела сосредоточенно за работой), тоже шла шажок за шажком: чернорабочей (это после университета-то!), затем лаборанткой, затем научно-техническим, а затем и младшим научным сотрудником, потом наконец защитила кандидатскую по эмбриологии, и теперь — старший научный. Что же тут плохого? Она так и двигалась из одной ячейки в другую. Да и где бы она тогда отсиживалась со своей генетикой, к которой, кстати сказать, сейчас снова вернулась. Она приняла социальные законы и выиграла. Или. Во всяком случае, утвердилась в обществе. Вот и меня вполне, наверно, может устроить спокойная жизнь человека, получающего свою зарплату, без риска разорения, как рискуют капиталисты, или творцы, ставящие все на карту своего творчества.

Так я мечтал, или точнее, заклинал себя, и грустно было мне от этих размышлений, и я думал, кто же она, которая будет мне спутницей в этой жизни, где трудом я должен был себе доставить и независимость, и честь, и положение, и захотелось, чтоб это была бледная девушка, сидящая рядом с мефистофелеподобным человеком в черном плаще. Разница бы в возрасте меня не испугала, думал я, и у нас были бы дети, такие же как она, немногословные, с нахмуренными серьезными бровями. Я так усиленно принялся думать о ней, что она вдруг повернулась и удивленно и даже, как я решил, робко посмотрела на меня. Я испугался и отвернулся к окну.

В этот момент мы перевалили овраг и с трудом по размытой и размокшей дороге выехали к черному, видно, что раскисшему под дождем полю. Еще сидели в автобусе, а уже было ощущение, что ноги вязнут в грязи по щиколотку, и я пожалел, что не надел резиновых сапог, как настаивала мама, потому что кеды мои сейчас наверняка промокнут, носки тоже, и я простужусь. Мы вышли, выползли, по одному и с неохотой, из автобуса: на небе ни просвета, все та же мелкая и мерзкая моросня, нудная и безостановочная. Впереди вдали виднелся продолговатый одноэтажный барак: контора. В одном из окон желтел свет — единственное пятно в полумрачной серости: опушка небольшого леса перед полем, где остановился автобус, от дождя казалась даже почерневшей.

Рябой бригадир, шаркая сапогами с налипшей на них сразу мокрой землей, направился в контору. Все остальные полезли назад в автобус, чтобы не мокнуть под дождем, я сделал то же самое, решив повторять поступки большинства, ибо не знал, как себя вести, а со мной никто даже и не заговаривал, словно бы меня и не было среди них. Только бледная девушка смотрела на меня немного удивленно и с каким-то напряженным вниманием (она была вся какая-то неправильная, угловатая, но очень миловидная, *напускавшая* на себя строгость). Да черный мужчина, всю дорогу её неизменный собеседник, перехватив её взгляд, тоже пару раз внимательно вскинул на меня глаза; мне стало приятно, что *он* обратил на меня внимание, но он тоже ничего не сказал.

Вернулся бригадир, махнул рукой, и все снова неохотно принялись выбираться из машины. Он сделал широкий жест рукой, охватывая пространство от барака и неопределенно далеко в стороны, и сказал глуховато-добродушным голосом киношного председателя колхоза:

— Нам отводится этот участок работ. Как сделаем, так уедем, как говорится. Не обязательно в шесть. Сделаем до четырех — уедем до четырех, сделаем до двух — уедем до двух. Как у нас в армии говорилось: как потопаем, так и полопаем.

Я не понял, где конец участка, но надеялся, что мои опытные «товарки» это поняли, и просто надо работать так же и столько же, сколько они. Выдергивать свеклу, бросать ее в кучки, потом стаскивать эти кучки в большую свекольную кучу, да все это под дождем, в грязи, — работа с непривычки тяжелая. Вскоре у меня заболела спина, заныли кисти рук, стали плохо, с трудом, сгибаться и разгибаться пальцы, выданные мне брезентовые рукавицы стали грязные, мокрые и тяжелые от налипшей земли, плащ и даже свитер (потому что верхняя пуговица на плаще не застегивалась) на груди тоже испачкались: перетаскивая свеклу, я невольно прижимал ее к груди.

— Что же, мамка не могла тебя получше одеть? — как-то очень добро спросила вдруг моя напарница, поглядев на хлопающие мои кеды, но сказала это вроде как бы мимоходом и больше уже не говорила, да и я промямлил что-то крайне глупое: де, мама предполагать не могла, какая будет погода и какого сорта работа нас ожидает.

Безбровое, широкое и безулыбчивое лицо моей напарницы было покорным и суровым, выражая одно: надо делать работу что бы ни было и не отвлекаться на жалость и разговоры. Мне стало интересно, работает ли руководящая тройка: бригадир, бледная девушка-прораб, и так поразивший меня своим необычным лицом человек в черном плаще. Но в сумраке дождя фигуры нагибающиеся и разгибающиеся

ся были неразличимы. До конца «участка работ», как я теперь видел, оставалось уже не больше трети пути, но силы у меня совершенно иссякли, так что свекольная ботва выскальзывала из ослабевших пальцев и я тащил из земли двумя руками ту свеклу, которую раньше выдернул бы одной. Да и сгибался и разгибался я уже не сам по себе, а волевым усилием.

И тут, к моему облегчению, бригадир начал бить ложкой по донышку алюминиевой кастрюли, вынесенной из конторы. Все остановились, с трудом распрямляя согнутые спины. А бригадир объявил, что уже двенадцать часов и что он предлагает получасовой перерыв, потому что, похоже, мы до двух успеем доделать всё. Торопящиеся домой женщины заговорили было, что надо бы уж разом всё прикончить и ехать, и я пришел в ужас, что бригадир их послушается, но он твердо повторил:

— Перекур.

Когда я проходил мимо него, он мне подмигнул и спросил:

— Ну как пироги? С котятами?

Но я так устал, что даже не отреагировал никак на его шутку, из вежливости хотя бы. Просто прошёл мимо. Автобус, оказывается, уехал; шофер обещал к двум вернуться. Вещи все он выгрузил и оставил на опушке под высокой лапчатой елкой. Подобрал свою сумку, я побрел по опушке в поисках места, где можно было бы присесть и жевать свои два бутерброда с сыром и выпить бутылку холодного сладкого чая (от термоса я из упрямства и стеснительности отказался и теперь, продрогнув и промокнув, жалел об этом). Женщины доставали из своих баулов большие и толстые полиэтиленовые пленки, раскладывали их на мокрой траве и усаживались, болтая, доставая огурцы, помидоры, хлеб, колбасу и термосы. Наконец, я увидел два незанятых пня. Уселся угрюмо на один из них и принялся за еду.

У конторы, еле различимой сквозь серую мглу этого непрерывного мелкого дождя, стояли бригадир, бледная девушка и высокий ее спутник в черном плаще — так, по крайней мере, я догадывался по очертаниям фигур. Бригадир, судя по жестам, приглашал их в контору, девушка вскоре согласно кивнула и скрылась за дверью, а мужчина покачал головой, вздернул на плечо сумку и зашагал, как-то странно выбрасывая вперед ноги, по направлению к опушке. Когда он приблизился, я заметил ещё одну странность в его походке: пятки он ставил вместе, носки же и ступни — под прямым углом друг к другу. В школе мы почему-то были уверены, что такая походка означает принадлежность к тайной масонской ложе, хотя одновременно прекрасно

понимали, что ни лож, ни масонов давным-давно не осталось. Но во всяком случае такая походка придала ещё больше привлекательности моему незнакомцу. Он шел, уверенно лавируя между сидящими на земле женщинами, и вдруг я с удивлением увидел, что направляется он прямо ко мне, я весь напрягся и даже смутился, потому что никак этого не ожидал, хотя и хотел и мне было бы лестно, чтобы он со мной заговорил.

Он встал передо мной, поставив свою сумку на соседний пенёк.

— Я вам не помешал?

— Нисколько, — ответил я изысканно-вычурным тоном, уловив такую же подчеркнутую вежливость в его голосе и невольно подражая ему; и сделав любезно-приглашающий жест рукой, добавил: — Садитесь.

— С удовольствием.

Его присутствие и обращение заставили меня на какой-то момент тщеславно встряхнуться и выйти из оцепенения мрачных мыслей и усталости.

— Вам здесь, я, вижу, одиноко, — продолжал он, подбирая под себя плащ, чтобы не сесть на мокрый пенёк, затем сел. — Интеллигентный человек, попав в чуждую ему среду, — он указал на жующих женщин в робах и телогрейках, — не может, хотя бы на миг, не почувствовать свою космическую одинокость.

Продолжавшееся его обращение ко мне как ко взрослому и равноправному существу, к чему я совершенно ни в школе, ни на улице не был приучен; его «вы» вместо обычного «ты, Борис»; его сочувствие, когда я этого совсем не ждал, заставили меня не только встряхнуться, но даже спину разогнуть, что далось, надо сказать, о трудом.

— Почему же чуждую? — однако возразил я,

— А разве это не так? С кем вы здесь можете поговорить об интересующих вас предметах: о живописи, поэзии, философии — вообще о высоком? Вот вы и молчите, потому что я прав,

Он говорил ужасно серьезным и задушевым тоном, и хотя его физиономия была исполнена насмешливости и лукавства, эта насмешливость, этот явный взгляд на свои слова как бы со стороны придавали им некую объективность и неопровержимость.

— Впрочем, что же я болтаю! Я вижу вы пьете холодный чай. Не желаете ли горячего кофе? В такую погоду это, уверяю вас, очень неплохо. И не стесняйтесь — у меня термос велик, на нем две крышечки, так что мы можем пить, друг друга не стесняя. Да и колбаски бы после физической работы — ой как необходимо! Вот, берите. Поверьте мне,

что это нужно. Я знаю, я вообще многое знаю; вот и физический труд тоже знаю.

Я смотрел на него как завороченный. Его вежливость, интеллигентность и предупредительность, его сочувствие моему положению, кажущееся понимание моего психологического состояния, наконец, его внимание и ласка покорили меня, я послушно сделал глоток горячего черного кофе из белой крышки термоса и откусил бутерброд с колбасой. Он пил кофе из красной крышки, и этот цвет как рефлекс подсветил в серой мгле его красновато-смуглое лицо.

— Позвольте, однако, представиться. Я-то знаю, кто вы, — он подтверждаяще кивнул головой. — Вы сын Анны Антоновны Кузьминой. Почтенная женщина — ваша матушка. Лично я отношусь к ней с огромным уважением. Она ведь попала под сессию ВАСХНИЛ сорок восьмого, когда кончала аспирантуру по генетике покрытосеменных в институте Навашина, — и выдержала. Два года работала чернорабочей, пять лет лаборанткой, а в пятьдесят восьмом все-таки защитила кандидатскую по эмбриологии, да так, что все на неё сейчас ссылаются: чтобы всё это выдержать, надо сильную волю иметь. Да и талант, конечно. Как видите, кое-что я про вас и ваше семейство знаю. Хотя бы из области внешних фактов.

Я проглотил слюну. Полез в карман брюк за сигаретами. Почему-то меня поразило, что он не только знает про маму, но и говорит о её делах с тем верным акцентом, как мог бы сказать я или отец.

— Хм, — сказал он, улыбаясь левым уголком губ моему озадаченному выражению лица, — не уверен, знает ли меня, а если и знает, то говорила ли вам про меня ваша матушка, но тем более представиться друг другу мы всё же должны.

Он приподнялся и поклонился:

— Ужатов, Виталий Георгиевич.

Я тоже приподнялся, подхватывая рукой поползшую с колен сумку и неловко кивнул:

— Борис.

— А по батюшке?

— Борис Григорьевич.

— Ну что ж, будем знакомы, Борис Григорьевич. А поскольку наш начальник ещё не вспомнил о своей священной обязанности гнать нас как скот на работу, мы можем некоторое время не без приятности поболтать.

Я поглядел на контору. Дождь немного приутих и было хорошо видно, что около двери стояла, прислонившись к косяку, понравив-

шаяся бледная девушка, моя предполагаемая будущая подруга; теплая куртка ее была расстегнута, лыжные эластичные брюки, заправленные в сапоги, обтягивали ее длинные красивые ноги, косынку она сняла, и ее подстриженные волосы опускались до плеч, очень пленительно, как мне показалось.

— А вот девушка эта, тоже начальница, она вышла уже, — робко, с запинкой и как бы случайно обратил я его внимание на предмет моего интереса.

Он повернулся, взглянул туда, потом на меня с усмешкой.

— А, Клара... Вы что, мой друг, заинтересовались ею? В таком случае объект выбран правильно. Она как раз лет на восемь вас постарше: для начинающего — оптимальный возраст партнерши. Она вас многому научит.

— А... а... а она разве *такая*?

— Совсем *не такая*, — передразнил он меня с добродушной улыбкой. — Даже наоборот. Старается блюсти себя и быть гордой и непреклонной. Но семьи нет, постоянного друга нет, а природа требует своё. Вы это, я думаю, уже понимаете. Вот и непреклонная Клара Максимовна иногда срывается. Главное, мой вам совет, быть настойчивее и не обескураживаться первыми неудачами. И тогда вы получите то, о чём втайне мечтает ваше естество.

Эта откровенная простота в объяснении мотивов человеческого поведения (женщины при этом!) походила на правду, но тем более шокировала меня. Он помолчал, пристально и как-то исподлобья и снисходительно-грустно глядя на меня.

— Могу вас представить ей.

— Не надо, — твердо сказал я, хотя и понимал, что без его помощи никогда не приближусь к той бледной девушке. Но что-то постыдно-неприятное было в его предложении.

— Как хотите.

Говорить ему свои соображения о браке, о семье я не решился, опасаясь, что это выставит меня перед ним как *мальчишку-сопляка*. И чтобы скрыть свою растерянность, я протянул ему раскрытую пачку сигарет, которую наконец вытащил: оказались они вовсе не в кармане брюк, а завалились в дырку кармана плаща и задержались подкладкой.

— Не желаете? — спросил я.

— Не хочу, — он отрицательно поводит ладонью перед своим лицом. — Не курю. Уж лучше дышать серой и прочими дьявольскими испарениями, нежели поглощать в себя никотин.

Я был с ним вполне согласен, и сигареты носил из самоутверждения, и из самоутверждения же, чтобы показать свою независимость и хоть что-то делать, а не просто сидеть, слушая его речи, я закурил.

— Чтобы нам не сидеть, слушая только мою болтовню, — словно подхватил он мою мысль, — расскажите-ка лучше о своих интеллектуальных притязаниях и проблемах.

И я рассказал ему, что поступал на биофак, хотя вою жизнь чувствовал призвание к филологии, точнее даже к писательству, но считал, что знание биологии, высшей нервной деятельности (отделение биофака, куда я хотел поступать) не повредит мне, а поможет, что не добрал я всего одного балла (из-за аттестата, добавил я, оправдываясь), что тогда решил не ждать одного года, а подать документы на филологический, сдал и снова не добрал балла, но если к биофаку я готовился долго, то на филфак шел без подготовки, ибо филология — это то, что я знал с детства, что открылась вдруг возможность подать те же баллы на вечернее отделение филологического, и я подал, но что результат будет известен в конце октября только. А пока я изо всех сил читаю, читаю все подряд, но высокое, иначе быт затянет, ведь на этой работе думать не надо, приходи, вкальвай, получай деньги и домой. А особенно, если в конторе работать буду или трактористом. Год, когда нет стимула для чтения, для размышления, — это ужасно.

Мы давно уже доели всё и допили, сигарета моя размокла от попавших на нее капелек дождя, и я ее выкинул; он сидел, положив ногу на ногу, и, обхватив себя руками за плечи, облизывал губы, глядя на меня. Наконец, сказал:

— Вижу вы уже постигли смысл выпавшей вам работы: она освобождает от интеллектуальной ответственности и умственного напряжения. Но оценили ли вы её прелесть? Быть может, и вправду стоит расслабиться, «распустить пояс», — повторил он вдруг моё же мысленное выражение. — Вас никто не осудит, ведь вы же ходите на работу. Что вы сейчас читаете?

— «Луи Ламбер» Бальзака.

— А, знаю. Мистический роман, где утверждается, что ангелы — белые. И что же вы теперь намерены делать? Просто читать? Конечно, это тоже неплохо. Но ведь надо прежде разобраться со смыслом жизни...

Он повел рукой как бы охватывая окрестности, включая и дождливое небо, объединяя всё в одно целое. Я не собирался «просто читать», я ещё хотел наблюдать жизнь и людей с тем же проникновением сквозь внешние черты внутрь человека как Бальзак. Но слишком я

был тогда опрокинут на самого себя и поэтому все впечатления внешнего бытия не связывались во что-то единое, перед глазами тогда был, как помню, хаос линий и цветовых пятен. Жизненные столкновения, факты и эпизоды казались лишенными смысла и не воспринимались как части общей картины жизни. Поэтому я с такой готовностью и доверием послушно проследовал взглядом за движением его руки, обещавшим прояснить всё; потом сам огляделся. На полиэтиленовых пленках, вытянув ноги в резиновых сапогах и прикрыв юбками колени, сидели группки жестикулирующих и говорящих о чем-то женщин. Почти рядом сидела моя напарница, а вполоборота к ней и спиной к нам, очевидно, ее знакомая. Около моей напарницы лежал мешок, в который она собирала несортную свеклу, чтоб отнести ее домой. Это разрешалось. Нас женщины не слушали, потому что сами весьма изрядно препирались.

— Побирушка ты и есть, — говорила сидящая к нам спиной. — Эвон сколько свеклы набрала! Всё с запасом норовишь!..

— Ну и пусть побирушка, — отвечала моя напарница. — Зато у меня сын вон инженерный институт кончает, а ты так всю жизнь с голым задом и проходишь. Твои-то сыны где? Все по тюрьмам гуляют? От хорошей жизни, небось...

— Тебя, девушка, это не касается!..

Он, видимо, тоже услышал, потому что указал мне на женщин глазами и произнёс:

— Как это ни ужасно, но именно об этом, о том, как жить, и наши споры тоже, и мы не много больше можем сказать, чем эти чуждые высокому существу женского пола. Разве что прибавим чувство собственной космической неприютности. Вся философия и всё искусство накручены вокруг того, как бы прожить получше, поудачнее свою жизнь. Вот я, например, не подумайте, что я хвастаюсь, окончил оба эти факультета: и биологический, и филологический, И к чему всё это? Я, конечно, тоже считал, что во мне горят великие силы. Однако потом вскоре я начал задавать себе вопросы, которых вы себе пока, наверно, не задавали. Интересовал ли вас, скажем, вопрос о свободе и предопределении? Что первично в мире? — он вдруг заговорил проникновенно-возвышенным тоном. — Может быть, случай, а может быть, провидение. Обе идеи, обозначенные этими словами, непримиримы друг с другом. Если случайности не существует, то надо принять фатализм или насильственную координацию всех фактов, подчиненных общему плану. Почему же мы сопротивляемся? Если человек не свободен, то чем становится здание его нравственного мира? А если

он может строить свое будущее, если он по своему свободному выбору может остановить выполнение общего плана, то что же такое Бог?

Говоря последние фразы, он полуприкрыл глаза и покачивался, будто наизусть декламировал. Что-то мне слышалось знакомое, но что?

— Узнаёте? — уставился он в меня.

— Нет.

— Луи Ламбер, собрание сочинений Бальзака, том девятнадцатый, страница двести семьдесят три — двести семьдесят четыре. Из письма философа его дядюшке. Возьмем, если угодно, вместо слова Бог, слово мироздание, и ничего не изменится в смысле. Но могу сказать, что я понял то, чего не понимал бальзаковский гениальный Луи. И с тех пор живу по законам, которые открыл.

Подул ветер, тряхнув верхушки деревьев, и вся скопившаяся на них дождевая влага пролилась на наши головы, плечи и спины. Ужатов сидел, прижав локти к бокам, как будто и вправду был ужат, сжат, зажат, но от этой зажатости тем напряженнее казались его слова, тем пристальнее взгляд.

— Не верите? — переспросил он,

Но я верил ему. Он шел по пятам моих собственных мыслей и наблюдений, интересов и пристрастий, и это покоряло, убеждало, хотя и смущало. Будь я Бальзаком, как я хотел быть, я постарался бы выяснить, кто он, откуда родом, почему он подошел ко мне, попытался бы прочесть его характер по чертам его лица, слишком выразительным, чтобы быть случайными. Быть может (надо было так спросить себя), он — неудачник, которого терзали страсти и мучили великие проблемы, а теперь он заброшен безжалостной судьбой на уборку свеклы, в общество людей, ему далеких, и он, увидев меня, человека из того же, духовного, мира, хочет как-то самооправдаться, показать, что он создан для другого и стоит большего, что он здесь случайно, по несправедливости жизненного расклада, и потому он и рисуется передо мной. А быть может, он — некий Мельмот, Вотрен, демон проездом, который мимоходом искушает случайного встречного. Если бы я успел задуматься, я скорее тогда склонился бы к последнему предположению (что-то в этом духе навевал на меня его облик, да и очень уж он был проникновенен), но я чувствовал себя рядом с ним маленьким, растерянным мальчиком, и был способен только слушать, впитывая в себя каждое его слово.

— Какие законы? — выдохнул я, срываясь на хрип.

— Видите ли, у нас пока что слишком велика разница в возрасте; когда мне стукнет сорок, а вам двадцать пять, она, эта разница, уменьшится. Пока же, я боюсь, вы можете кое-что понять умом, но не осозна-

ете, не прочувствуете. Но тем не менее, тем не менее... Раз уж я начал, то продолжу. В один прекрасный день, а быть может, это был ужасный день, я со всей отчетливостью осознал то, что вы пока осознать не сможете. До этого дня я был легковверен и молод, видел перед собой долгий путь творческих успехов, и мои способности, казалось, неисчерпаемы; я с легкостью кончил два факультета, писал стихи, и даже опубликовал исследование о сонетах Шекспира, где сравнивал подлинник с маршаковским переводом: все-то меня тянуло выявить то, что выявлять, может, и не стоит. А жизненный промежуток, который я тогда проживал — от двадцати до тридцати — виделся мне бесконечным, едва ли не вечностью, к концу которой, то есть к тридцати годам, я мечтал достичь если и не мировой известности, то все же шумной и прочной славы. Но лет в двадцать шесть меня вдруг, именно вдруг, охватил ужас, что жизнь проходит, а ещё ничего не сделано, но главное — я почувствовал, что не вижу смысла в делании чего бы то ни было, — он говорил грустным тоном умудренного жизнью человека, тоном тоскливого воспоминания, и *ничего в нем не было демонического* (все же в какой-то момент промелькнуло у меня в голове), напротив, в голосе слышалась интонация всепрощения и снисходительности к человеческой слабости, тем же тоном говорил он мне и о бледной девушке Кларе, как бы заранее извиняя и ее, и меня. Но самое удивительное, что мечты о славе, и примерно также, то есть, чтоб к тридцати годам, и меня обуревали, и если бы по мне так работа не ударила, я бы о другом и думать не стал.

— Я вдруг понял, — продолжал он, — всю монотонность и однообразие жизни, когда день идет за днем, а разрывают это однообразие только неприятности да страдания, сталкивающие тебя с самим собой. А из всех неприятностей самой непоправимой является, как вы понимаете, смерть. Я понял, осознал, прочувствовал до самой своей сердцевины, до печенки, как говорят, что я смертен, что природе и миру на меня наплевать и тем более плевать на мои творческие потенции, на мои создания, я понял, что природа меня все равно убьет, что бы я ни создал, кем бы я ни стал, — так будет. Я перестану существовать, И все пожрётся неведомой бездной. Всякая обо мне память пройдет со временем.

Он помолчал, потом оглядевшись и понизив голос, стесняясь, видимо, что его услышат женщины, продекламировал:

Река времен в своем стремлении
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

— Это Державин, — пояснил он. — Причем этот глубокий и страшный старик, написавший это стихотворение перед своим гробом, убил меня больше всего окончанием стиха. В начале ведь говорит он вещи известные, все уйдет, но творчество, но искусство!.. Оно ведь должно как будто бы остаться! Вы помните окончание?

Я покачал головой, ошеломленный этим напором. Да и Державина я вообще не знал тогда, только учил про «певца. Фелицы».

— Так слушайте:

А если что и остается

Через звуки лиры и трубы...

А! Казалось бы вот оно! Вот! Поэзия, искусство, мысль! Остаются? Как бы не так.

А если что и остаётся
Через звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдёт судьбы.

Это уже перестало напоминать беседу. Скорее это был монолог перед слушателем. И все же это была беседа, ведь я мог в любой момент перебить его, если б захотел, но я не хотел.

Надо, правда, для точности добавить, что пока он говорил о славе, о Ламбере, я это воспринимал и верил ему, но когда он заговорил о смерти, я перестал относить его слова к себе. Очевидно, возраст был ещё тот, когда, кажется, что с тобой ничего не случится; уже не тот, когда думаешь, как в детстве, что к моменту твоего старения изобретут лекарство от умирания, но все же некая уверенность, что у тебя ещё время есть. Но это, пожалуй, и всё. А в остальном полное доверие. Я то кивал, то поражался, до чего же наши ощущения похожи, то просто смотрел, как он крутил в руках пустую красную крышку от термоса, как нагнул, поднял мокрую шишку и швырнул в сосну, попал, засмеялся и продолжал:

— Вот так. *Общей не уйдет судьбы.* Это всех ждёт, и вас, мой друг, тоже, хоть наверняка вы думаете об особом своём положении в мире. А надо думать, быть может, только о земной карьере. Но мы гордые, мы не можем, даже если и задумаемся об этом, то потом стыдимся!..

— В космосе всё случайно, — говорил он, — и общего плана не существует. Мир, природа, история, общество — они движутся сами по себе, а вовсе не для человека. Человек что? Пылинка! Даже и того меньше. Где же человеку искать опору? В себе? Ну какая тут опора, если мы

случайны. И я понял: чтобы выжить, не сойти с ума, нужно принять законы рода, роя, пчелиного улья, не высовывать нос выше положенного.

Все мои терзания как бы получали удостоверение в подлинности. К тому же, словно мимоходом, он развивал их и указывал выход. Оказывается, какой-то другой человек, более опытный и несомненно умный, шёл тем же путем, каким сейчас иду я, и теперь у меня есть учитель.

— Ведь что такое общество, рой, улей? — он прищурился на меня татарским прищуром, его вислый нос и шрамик под нижней губой вдруг покраснели, будто налились кровью, а может, это был отблеск красной крышечки термоса, которую он держал почти у самого лица и в которую ударил луч выглянувшего или, скорее, разорвавшего на мгновение облачную мглу солнца. — Общество, как улей, состоит из ячеек, клеточек. Вы попадаете в одну, потом в другую, медленно так передвигаетесь, но передвигаетесь, а лучше этого ничего нет. Вы живёте нормально. Нет ничего выше этого слова: *нормально*. Получаете зарплату, рождаете детей, имеете обеспеченную старость. Ведь в конце концов все революции совершались, чтобы у всех людей была нормальная жизнь. Конечно, вы надеетесь, что живете не напрасно, что в вашей жизни есть какой-то высший смысл, говоря старинным словом, предназначение. Но это не так. Никакого смысла. Никакого. Ничего. Нигиль. Как писал ваш любимый Маяковский: «Над всем, что сделано, ставлю Nihil». И не думайте, что бояться творчества стыдно, что стыдно променять творческий дар на уютную, семейную, квартирную жизнь! Это каким же надо самомнением обладать, чтобы быть уверенным, что та черточка, которую вы, условно говоря, сумеете прочертить, провести так важны и существенны для бесконечного мироздания!.. Конечно, молодость влечёт чёрт знает куда! Вдруг вы захотите бросить всё и уехать на целину, на стройку какую-нибудь, но ведь и там то же самое: вы женитесь, получите квартиру, станете инженером или кем ещё и доработаете честно до пенсии. Порыв в первые два-три года, а затем будни. Да и с вашей филологией и с вашим писательством, если вы все же рискнете, — то же самое. Ведь все художники и писатели в конце концов приходят к тому, что им нужна квартира и обеспечение. Но здесь есть риск: то ли вы выиграете, то ли проиграете, а если проиграете, то в зрелости начинать нормальную жизнь будет много сложнее. Пойдут дети, внуки, нужно будет думать о самом вольгарном заработке. Вот и судите сами.

От его уроков мне стало просто страшно, настолько безысходная картина моего будущего вдруг возникла передо мной. То, что было у

меня в мыслях под знаком вопроса, он возвращал мне, возвещал мне со знаком восклицательным. Спасаясь от сомнений в себе, в своих силах, я вроде бы сам нечто подобное придумал о своей жизни, а теперь оказывалось, что другого варианта и не существует. У меня заболело сердце и стало почти до слёз себя жалко. Очевидно, лицо мое выразило испуг и желание, чтобы его слова относились к нему только, но не ко мне. Он сдвинул свои брови — углом, так что почти скрылись глаза:

— Вы, может, думаете, что я неудачник. Фамилия моя такая — Ужатов. Есть в ней, конечно, задавленность, ужас, ужатость, но есть и то, что я ужал всю воду и в случайной беседе, не желая говорить с умным человеком по пустякам, выдал вам весь смысл жизни. Ведь в Ужатове и уж слышится. Уж, змея, змей — символ древнейшей мудрости, почти космический. И я вам мудрость старался передать, что делать — она не радужна. А вообще-то я и в «Юности» печатался, в лучшие её годы, стихи писал не хуже нынешних знаменитостей. Да сам бросил. Гораздо разумнее статьи по биологии писать, что я и делаю, не шумно, зато честно. И сейчас меня тянут заведовать отделом в отдел соседний с отделом вашей матушки — космической биологии. Я специалист довольно редкий. Да я сам не хочу.

Он подметил остатки сомнения у меня:

— Вы, я вижу, всё же верите, что нечто создадите, что останется. Напрасно. Поскольку вы натура, видимо, поэтическая, я позволю себе напомнить вам Блока:

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века -
Всё будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

Всё, мой юный друг. Больше мне сказать нечего.

Закончив свою речь словно прямым и беспощадным ударом копыя, с какой-то непонятной безжалостностью, он вскочил резко и пружинисто на ноги. Стремительность его выглядела зловещей. Казалось, он больше не видит во мне ничего сверх того, что он говорил о всех, не оставляет надежды на исключение. Насмешливое выражение его лица стало злым и саркастическим. Снова закапал, заморосил дождик,

солнце скрылось, будто и не выглядывало. Я увидел, что женщины тоже встают.

— Ну ещё часок работы, — он похлопал меня по руке как начальник подчиненного, — и за вами автобус придёт.

— А вы?

— А мне ещё в конторе надлежит быть. Дела, мой друг, дела. Желаю удачи. Жизненной удачи.

Честно говоря, я был даже рад, что нам не придётся с ним ехать назад вместе. Слишком я был подавлен. На бледную девушку Клару я даже и смотреть не мог, хотя мы и возвращались в одном автобусе, и случай для знакомства был очень удобный.

* * *

Больше мне сталкиваться с ним не приходилось. Мама сказала, что знает его плохо, но что он — «толковый специалист, только болтун». Но внимания на её слова я не обратил. Мне не важен уже был он сам по себе, его слова — вот что я мучительно проворачивал у себя в мозгу. Мне стало казаться, что если всё так просто и ничего нет и не нужно, кроме быта, еды, питья, любви (в специфическом смысле слова), службы (и открытий в пределах службы), то лучше не жить, а взять и покончить с собой. Всё это мне виделось как аксиома. Потому что, если всё так, то тогда жить неинтересно и незачем. Любой другой может прожить мою жизнь, потому что она не моя, а такая же как миллион других. Смысл жизни оборачивался бессмыслицей, все было взаимозаменяемым и тем самым необязательным. Первое время после беседы с ним я был не только разбит, уничтожен, подавлен, но и физически чувствовал безумную слабость во всем своем организме.

Я старался забыть и Ужатова, и весь этот разговор, сделать вид, что он ко мне не относится (и забыл, и не вспоминал, пока не перегорело и не смог смотреть со стороны на всё это), хотя ничего не мог противопоставить его словам, кроме безумной, слепой и ни на чем не основанной уверенности, что я зачем-то пришел в этот мир и что-то могу сделать только я, а не кто другой.

Ольга Александровна

Рассказ

Очередь тянулась от прилавка вдоль застекленной витрины, потом вдоль стены, потом снова делала угол и шла уже вдоль окна на улицу, окна во всю стену магазина, и кончалась у самого входа в винный отдел. Невысокая женщина в грязном, давно не бывавшем в прачечной белом халате, завитая и крашенная перекисью под блондинку, отпускала товар.

— Ну, чего лезешь?! — кричала она. — Не видишь, что ли, что я отпускаю. Убери руку! Убери, тебе сказала! Дай человека обслужить! Пива нет, сколько раз повторять! Слепой, что ли! Вон, русскими буквами написано! Ну что тебе? Давай! Ну быстрее!.. Вина? Водки? Одну? Не задерживай! Деньги давай!

— Спасибо, Шур, — сипел здоровый мужик, через головы других захватывая огромной лапой за горлышки пару бутылок портвейна. Крашенная блондинка ссыпала мелочь на железный поднос, смятые бумажки бросала в выдвигавшийся ящик под прилавком и обращалась к следующему, умело чередуя «законных» и «незаконных» потребителей алкоголя, то есть стоявших в очереди и лезших нахрапом.

Борис стоял за краснолицым добродушного вида редкозубым мужичонкой в сером плаще с хлястиком, постоянно с кем-то здоровавшимся, очевидно, что местным, и думал, что очередь пройдет не скорее чем за полчаса и что таким образом небольшой отрезок пространства перетечет в явно не соответствующий ему по масштабам отрезок времени. Но выхода не было, вечером они с женой ждали гостей, их магазин поблизости, как неожиданно выяснилось, закрыт «на учет», а без бутылки как-то неловко принимать людей. «На стол нечего поставить», — сказала жена. Редкозубый оказался необыкновенно суетливым, все время хватал за рукав проходивших мимо, шарил глазами по лезущим нахрапом без очереди, потом сказал, что на минуту отойдет, и действительно отошел метра на два в сторону и препирался с таким же краснолицым человеком: кто-то кому-то был должен стакан, не то водки, не то дешевого портвейна: «бормотухи», которую они почтительно именовали «вином». Очередь двигалась медленно, потому что все время подходили к продавщице знакомые или просто приклатненные нахалы, совавшие деньги через головы остальных.

Возмущенные крики («Не давайте без очереди!», «Не за хлебом небось, чего без очереди прешь!», «Совість имей! Мы тоже стоим! Что мы, не люди?!», «У тебя что, дети голодные плачут? Куда торопишься?!») цели не достигали. Выдав бутылку следующему знакомому, продавщица разводила короткими ручками: «А что я могу поделывать?» Редкозубый мужичонка, крутя головой и улыбаясь, вернулся в очередь. Внезапно один из отлучавшихся куда-то приятелей дернул его за рукав: «Давай сюда, здесь Соляпа». Соляпа, человек в кепке без козырька, с широкими плечами и угреватым лицом, уже протолкавшийся в начало очереди, хрипло спрашивал: «Тебе чего брать?» — «Два вина», — быстро ответил мужичонка, покидая очередь и протягивая Соляпе деньги. Но оказался он существом деликатным, потому что, ухвативши две бутылки портвейна, он вернулся к Борису и на всякий случай пояснил: «Я больше стоять не буду». И показал, за кем ему держаться.

— В спецодежде не обслуживаем, — крикнула продавщица.

Мужчина в спецовке отошел от прилавка и принялся совать деньги то одному, то другому, тихо приговаривая:

— Ну, возьми одну. Здесь без сдачи. А то ребята ждут.

Кто-то взял деньги. Еще кто-то снова полез без очереди. Стоявший впереди Бориса хмурого вида высокий парень с усами тихо выругался. В ногах у него стояла спортивная сумка, набитая бутылками. Борис решил терпеть и наблюдать жизнь. Он был уже два года женат, ему уже исполнилось двадцать пять лет, через пару месяцев он кончал университет и, по всему, чувствовал себя ужасно опытным мужчиной и человеком-наблюдателем людских отношений, знающим жизнь и даже умеющим разговаривать с пьяными на улице и в магазине, не торясь, а совсем как равноправный собеседник. Он и сейчас наблюдал, рассчитывая, что напишет когда-нибудь рассказ или повесть, где все это (а что «все это»? пьяные речи?) будет наконец отражено по всей правде, без прикрас. Он думал, что как же все это странно, ведь все учились в школе, где их учили, что надо жить творчеством, высоким и прекрасным, посещать музеи и концертные залы, читать книжки, а не проводить время в алкогольном отупении, что были же писатели, Толстой, Достоевский, Шекспир, которых почему-то никто не помнит в своей повседневной жизни, хотя на уроках литературы всех нас призывали не забывать классику, но вот все живут, как будто никакой литературы и не было на свете. Он даже на какой-то момент ощутил себя кем-то вроде шекспировского Кориолана, гордого и презирующего толпу за ее бездуховность. Но недолго. Он переступил с ноги на

ногу, кого-то случайно толкнул плечом, кто-то пихнул его, и он успокоился как-то сразу, и сразу же исчезло и книжно-величественное самомнение. «Уж так дивно устроен человек, как сказал бы Гоголь, — вдруг подумалось ему, пока он продвигался по шажку вдоль стенки, медленно, очень медленно приближаясь к прилавку, а литературные реминисценции развлекали в это время его ум, перетекая, порой неожиданно, одна в другую, — что вначале видит соломинку в глазу ближнего своего, а сам в зеркало глядеться не хочет. Ведь сам же за водкой стою. И пить ее буду. Чего ж других судить!»

Но тут же он вообразил своих приятелей, сидящих у них за столом — Леню Гаврилова, Сашку Косицына, Илью Тимашева — и ведущих разговоры, а не просто так пьющих. А потом поющих песню.

...Он сидит за столом, курит крепкий табак,
Мой милейший механик, начальник дорог.
Через час ему биться с плато Расвумчор,
По колено идя впереди тракторов.
Потому что дорога ужасно трудна,
И бульдозеру нужно мужское плечо,
Потому что сюда не приходит весна,
На затылок Хибин, на плато Расвумчор.

В этом словечке, в этом названии — «Расвумчор» — было что-то от «черта», да и вообще песня была мужественная, а дорога воспринималась как жизнь, как страна, которой в трудную минуту может понадобится мужское плечо, то есть плечо его, Бориса, и его друзей. И, глядя в их суровые в момент пения лица, ему нравилось думать, что и они чувствуют примерно то же самое, что и он, и что поэтому дурное прошлое никогда не повторится, а настоящее будет суровым, но честным, как на картине Никонова «Наши будни» — обветренные, суровые лица работяг, в брезентовых плащах сидящих на дне грузовика, но в их глазах уверенность в себе и в своем деле. Он огляделся вокруг и подумал, что, наверно, эти люди на работе таковы же и что не надо о них судить по магазину.

— Я отойду на минутку, — плечистый парень с усами кивнул Борису, вскинул на плечо спортивную сумку с бутылками, растолкав ханыг, пробрался к прилавку, перегородив своей могучей спиной, как плотиной, доступ с «незаконной» стороны.

Отпихнув локтем особо настырного, он гаркнул:

— Все! Хватит! Давай в порядке очереди! Все спешат, у всех дела! Постоят, а то ловчее всех нашлись...

Вид у него был решительный, очередь его поддержала («Вечно одни и те же без очереди, а мы стой! Правильно, парень, не пускай их! Пусть тоже постоят!»), и ханыги, присмирив, рассредоточились вдоль очереди, пихая деньги в руки тем, кто стоял ближе к прилавку и у кого вид был менее решительный.

— И не бери у них! Рабочий день кончился! Некуда им торопиться,— командовал усатый парень.

На некоторое время установился порядок, и дело пошло скорее. Но когда минут через пять парень-распорядитель, а за ним сразу Борис отоварились и перешли в другой отсек магазина, в винном отделе опять воцарился хаос.

Теперь надо было купить закуски. Для вечера народу в продуктовом отделе, когда люди возвращаются с работы, было не так уж много. После давки и криков относительная тишина и спокойствие этого отдела действовали приятно. При этом была и колбаса, и масло, и сыр. Борис направился к кассе, подсчитывая, что всего возьмет граммов по триста, денег как раз хватит, а селедка дома есть, соленые огурцы, лук, хлеб тоже в наличии, так что будет что «поставить на стол». Полно картошки — все нормально.

Человека за три впереди влоботорота к нему стояла пожилая женщина или, скорее, старуха с выбивавшимися из-под черной старомодной шляпки, похожей на капор, седыми бровями, в черном, плотном, не по сезону, пальто. Магазин был, что называется, «дальний», квартала за два от его дома, Борис обычно сюда не ходил. Так что ничего невероятного не было — столкнуться тут с человеком, которого в своем микрорайоне не встречаешь. Но Борису почему-то всегда казались странными, нелепыми встречи в магазине, это как подглядеть в щелку за семейной жизнью — видеть, что люди едят, пьют, на что у них хватает денег, а на что нет: магазин это проявляет, хотя человек, может, и не хотел бы это показать. Но особенно странно увидеть здесь человека, которого по детской инерции привык отождествлять совсем с другой обстановкой. Старушка развернулась от кассы и теперь с чеком в руках двигалась навстречу ему, но то ли не замечала, то ли не узнавала, то ли почему-либо не хотела узнать своего бывшего ученика в этом парне в чешском синем плаще с капюшоном, с прозрачной полиэтиленовой сумкой в руках, внутри которой болтается бутылка водки. Борис подумал, что, быть может, она, напротив, боится, что он теперь, спустя столько лет, не захочет ее признать.

Ольга Александровна Быкова преподавала у него в пятом и шестом классе русский язык и литературу, потом ушла на пенсию, а в

девятом классе Борис брал у нее на дому уроки — подгонял русский. И вот уже лет семь или восемь ни разу не видел ее. А она очень изменилась.

Она уже и семь и десять лет назад была почти совсем седой, рыхлой, крупной и, в силу своей рыхлости, какой-то беззащитной. Борис помнил, что в школе все худощавые, худосочные такие учительницы были злобными и, как правило, пугали учеников, эта же сама своих воспитанников боялась, на каждую очередную выходку содрогаясь всем своим большим неуклюжим телом, одетым в широкое платье. Платья она носила темные, как и все почти учителя, но непременно либо с рисунком, либо цветастые. И они как-то странно не гармонировали с ее полной фигурой, и вместе с тем без них ее невозможно было представить. С тех пор, как видно было с первого взгляда, она ещё больше огрузнела, ее словно пригнуло к полу, словно она даже стала короче, а ноги выгнулись в кривизну.

В руках она несла незастегивавшуюся и набитую, видимо, в других магазинах маленькую хозяйственную сумку с продуктами. Сумка оттягивала ей руку книзу, и как будто из-за этой тяжести она переваливалась с боку на бок, с ноги на ногу, ковыляя как тяжелая утка.

— Здравсьте, Ольга Алексанна, — сказал он громко и немножко развязно, с чувством взрослой независимости и равноправия, которые в эти годы не уставали радовать его по отношению к бывшим своим учителям, и даже некоторого превосходства: поскольку он был студент, он был свободен пока перед будущим, ещё он сам выбирал себе жизнь, а не она выбирала его, а все учителя, казалось, давно определились в своем существовании, прошли уже значительную часть своего пути, а то и кончили его, так что преимущество было явно на стороне Бориса.

Она от неожиданности вздрогнула, напряглась, вскинула на него глаза. Но не узнала его... Или так ему почудилось по растерянному ее взгляду и по тому, что она обратилась к нему не на «ты», а на «вы»?.. — Здравствуйте...

Она поспешно прошла мимо, ускорив шаги.

Борис заплатил деньги и с чеком в руках вернулся к молочному прилавку, где помимо молока торговали ещё сыром, маслом и колбасой. Ольга Александровна по-прежнему стояла на два человека впереди него. Он больше к ней не подходил, потому что говорить им, собственно, было не о чем, а долг вежливости он исполнил, поздоровался, — в конце концов, никаких таких особых неофициальных отношений у них не было. Тут он почувствовал, что не очень-то честен пе-

ред самим собой. Формально-то все так, но в глубине души он в этом сомневался. Она никогда не была любимой учительницей, встретить которую приятно и которая сама обычно расцветает улыбкой навстречу, и перед ней хочется похвастаться, что вот, на филологическом, в МГУ, вашими, так сказать, стопам и прочее. А тут ничего похожего. И все-таки сомнение было не случайно.

И объяснить он это мог только неискупленным чувством вины за то, что ни разу в школе не вступился за нее, а только растерянно смотрел на то, как глумятся над ней ребята из «компании» Герки Кольцова, общепризнанного классного хулигана и «вожака», словечко это Борис употреблял, как и все остальные в классе, после коллективного просмотра «Оптимистической трагедии», где главарь анархистов «вожачок» столкнулся с женщиной-комиссаром. Но энергии и решительности комиссарши Борис в себе не находил, да и как-то нелепо тогда казалось вставать в позу борца по поводу школьных шуток. К тому же шутки эти шутил самый презираемый из компании Кольцова парень по фамилии Авдотин, самый хлипкий, самый низкорослый, с землистым личиком, полным угрей и прыщей. Он вроде бы был совсем как человек, но Борису порой казался как будто другого, не человеческого, а обезьяньего, что ли («бандар-логом», по Киплингу), племени, настолько ему ничего не было жалко и он мог над всем грубо подхихикнуть.

Этот Авдотин навешивал ей на платье тряпки, как хвосты, мазал мелом сиденье стула, и то и вовсе вынимал его, натирал воском классную доску так, что мел по ней даже не царапал, а один раз, раздухарившись, вырвал у «Бычки» (таково было ее незамысловато придуманное прозвище) из рук перо, когда она собиралась ставить ему двойку, и заплясал по классу под одобрителный хохот «ребят из компании» и робкое веселье остального класса. А когда несчастная, не умеющая отвечать на «шутки» и растерявшаяся рыхлая женщина в темном цветастом платье, содрогаясь своим большим неспортивным и потому чувствующим свою незащищенность телом, встала и сказала, что она «вынуждена покинуть...» (дрожащим голосом она не кончила фразы, она почти плакала и сразу вышла за дверь), Авдотин, скача как сумасшедший, вскидывая в воздух ноги, заорал нелепо: «Бычка, вон де ля класс». Они учили французский, и Авдотин из этого языка в состоянии был усвоить только, что предлог «де» означает по-французски «из», а «ля» является необходимым в чуждом этом языке артиклем. Авдотина директор заставил извиниться, но с седьмого класса Ольга Александровна у них уже не преподавала, она ушла на пенсию. Ее сменила одноногая Татьяна Ивановна с красивым лицом

и нервно вздернутой бровью. Эту училку почему-то слушались и побаивались, хотя принципиального отличия в методике ее преподавания, да и в поведении Борис не видел. Но тогда ещё он подумал, что недаром существует пословица про человека, на которого все шишки валятся.

А в девятом классе он, по совету Татьяны Ивановны, подгонял синтаксис с преподавателем на дому, и этим преподавателем оказалась Ольга Александровна. Прозанимался он с ней не больше месяца, и ничего у него в памяти об этих занятиях не сохранилось, кроме обстановки ее комнатки да того, что отнеслась она к нему как к обычному отстающему, плохо понимающему и русский язык и литературу. Борис помнил, что это его задевало и даже злило. Но на занятия он ходил исправно.

Он поражался, насколько тесная у нее комнатка. Она была такая тесная, что, сидя за письменным столом (который, очевидно, был и обеденным), он спиной упирался в дверь. Он не любил сидеть спиной к двери, а тут ещё спина почти в коридор высывалась, так что было совсем неприятно. И комната поэтому казалась такой же незащищенной, как и ее хозяйка. Какая-то зажатость чувствовалась в этой комнате. Справа стоял буфет на ножках, далее, упираясь в стенку, пружинная кровать с никелированными спинками и шишечками на них (кровать была шире буфета и почти соприкасалась задней спинкой со столом — пространство между ними едва пригодно было для прохода), в дальнем углу, за кроватью, — белевик с зеркалом над ним, а слева, в узком простенке меж стеной и дверью, — платяной шкаф с примыкавшим к нему книжным стеллажом, на котором Борис мог различить учебники и школьные издания русской классики. Второй стул, на котором она сидела, заглядывая ему порой через плечо, чтобы видеть, что он пишет, помещался на пространстве, образованном углом буфета и кровати. На подоконнике обычно стояла бутылка кефира и лежал багон белого в полиэтиленовом пакете, вызывая ощущение одинокого быта.

Но Борис тогда над этим не задумывался, гораздо важнее ему казалось доказать этой равнодушной училке, смотревшей на него лишь как на средство для получения дополнительного небольшого дохода, то есть как на туповатого, не очень резвого соображением ученика, и потому весьма отстраненно, что он совсем не дурак, а, напротив, поумнее многих будет. И он вспомнил, как это ему удалось. В первом же сочинении, которое он принес ей для совместной работы над ошибками, были слова, полные, как ему казалось, настоящей глубины и важности: «В нынешнем историческом контексте мы по-новому пытаем-

ся оценить роман» или «В постепенном, диалектическом развитии характер Нагульнова приобретает...» и тому подобное. Он помнил ее робкую, удивленную улыбку, когда она читала эти слова, как бы взвешивая, тянули ли они на интеллигентную солидность. И уважение, засветившееся в ее глазах. Борис помнил и свое удовольствие, от того, что она оценила по достоинству, как ему показалось, его ум и начитанность. Через месяц он подзубрил, что надо было, и больше с ней не встречался, потому что отношения дальше деловых так и не пошли. И все-таки он общался с ней не только как ученик в классе, но и один на один, то есть чисто по-человечески вроде бы, выделившись из толпы себе подобных. Это и вызвало у него сейчас желание подойти и сказать какие-то слова — и удивление, что она сама этого не захотела.

Но она не захотела, и он погрузился в какие-то бессистемные и вялые размышления, испытывая состояние, которое он сам называл «бытовой оцененелостью». Ольга Александровна протянула чек и, задыхаясь, произнесла:

— Пожалуйста, молока два пакета по шестнадцать, сто пятьдесят грамм масла и двести российского сыру.

— Масло будет только мороженое, гражданочка,— не двигаясь с места, пробурчала толстая продавщица, так же как и продавщица винного отдела, крашенная под блондинку. Она мотнула головой так, что забрякали длинные сережки.— Все суют: масла, масла! — И крикнула кассирше: — Клава! Масло не выбивай. Масло все замерзло!

Она, тем не менее, отрезала кусок крошащегося под ножом масла, по дороге, пока она несла, развалившегося на несколько кусков, положила на грубую серо-белую бумагу, бросила на весы, собрала на широкий нож ещё несколько обломков и, подложив их на бумагу, взглянула на стрелку, стрелка показала ровно 150 гр. Продавщица завернула масло, толкнула его по прилавку по направлению к Ольге Александровне, затем выбросила на прилавок из полиэтиленовой тары два треугольных пакета с молоком, мокрые и надорванные.

— А других нельзя? — послышался робкий старушечий голос.

— Все такие. Пожалуйста, — резким движением продавщица сбросила с прилавка два предыдущих пакета и выбросила два новых, действительно в ещё худшем состоянии.

«Почему она сама ходит? Где ее дети, внуки?» — подумал вдруг Борис то, о чем раньше не задумывался.

Продавщица тем временем взвесила кусок сыра.

— Пятнадцать копеек доплатите. Я вам ровно двести свесила.

— А мне двести и надо было.

— Вы сто пятьдесят просили. Где ваш чек? Ну, рубль сорок пять. А надо рубль шестьдесят...

— Но я считала... Вы сами посчитайте.

— Давайте, женщина, платите, не задерживайте людей. Мне за это не платят, чтоб я за всех правильно считала. До старых волос дожила, а считать правильно не научилась!

Тут сразу заволновалась очередь:

— Эти старухи! Нет чтоб с утра ходить, когда люди на работе! Все равно им делать нечего! А все норовят не вовремя влезть! На работе намаешься и здесь ещё стой!

Пока усталые после работы молодые и средних лет женщины с поджатыми губами бранились, а Ольга Александровна рылась в кожаном кошелечке, Борис быстро прикинул, чего стоит ее покупка, и, отчасти в подражание парню со спортивной сумкой из предыдущей очереди, отчасти чувствуя потребность заступиться за бывшую учительницу, громко сказал, при этом мягко улыбнувшись продавщице (и очередь, где он был единственным мужчиной, естественно, прислушалась к его словам):

— Нет, здесь все верно. Посчитайте сами. Двести сыра — шестьдесят копеек, два пакета молока — тридцать две, итого девяносто две копейки, и пятьдесят три копейки за сто пятьдесят масла. Вот в сумме и рубль сорок пять.

— Ну-ка, ну-ка,— продавщица аж шлепнула счета на прилавке и защелкала кругляшками.— Я и не спорю, когда правильно. Мужчина верно посчитал. Берите, гражданочка, и не задерживайте.

Она встряхнула своими длинными сережками, улыбнулась Борису измалеванными красными губами и, взяв следующий чек, довольно ловко принялась орудовать за прилавком, подвижно и сноровисто, несмотря на свое толстое, большое тело. Борису было приятно, что он выступил, как тот, понравившийся ему плечистый парень и столь же успешно. Очередь замолчала и, не желая признаваться в своей неправоте, тихо гудела о чем-то совсем другом, будто этого инцидента и не было вовсе. И в этой наступившей относительной тишине тем слышнее прозвучал старческий, срывающийся от восторга голос «Бычки»:

— Никто не смог сосчитать, а Боря смог! Никто не смог, а Боря смог!

В голосе звучали торжество и даже какая-то гордость за него. «Значит, она меня все же знала»,— подумал Борис.

— Ну что вы, ерунда, — сказал он.

Но «бытовая оцепенелость» уже проходила, и он подумал, что надо быть вежливым до конца и проводить ее до дому, поднести сумки, а по

дороге о чем-нибудь поговорить. «А то, что такое, считаю себя писателем, а ни с кем и поговорить толком не умею о жизни».

Он подумал, что дома могут хватиться, что его долго нет, если он отправится ее провожать, но решил, что ничего, он же не надолго. Ему нравилось чувствовать себя таким художником, свободно располагающим своим временем, таким вольным стрелком. К тому же ему давно хотелось, да и было это модно, сойтись поближе с какой-нибудь такой «старой барыней на вате» и послушать рассказы про прошлое, кем она была и кем стала, ведь годы-то какие были, и революция, и война, а на таких переломах только и начинаешь понимать жизнь. И понять, была ли жизнь прожита так, как могла бы быть по исходным данным прожита, или сломалась; или, напротив, сверкала фейерверком, а потом вдруг потухла, и главное — какое отношение выработалось у человека к прошедшим годам, ведь они как-то, каким-то образом определили ее мироощущение. Увидеть это, понять это — значит постигнуть жизнь не только в ее сегодняшнем, минутном и случайном проявлении, а в процессе, который прошел и претворился в человеческую судьбу. Стоит вспомнить только слова Цицерона из знаменитого чаадаевского письма (о котором так много распинался Илья Тимашев): «Что такое жизнь человека, если память о предшествовавшем не соединяет настоящего с прошедшим». Но почувствовать так жизнь может только тонкий и ранимый человек. А то, что Ольга Александровна и интеллигентна, и ранима, и жалка, и чувствительна, — о, это он знал, и сейчас это подтвердилось, и он почувствовал к ней то родственное чувство и ощущение взаимопонимания, которое один болезненно и самолюбиво ранимый человек может испытывать к другому такому же. И подумал, что они-то друг друга не могут не понять. Особенно теперь, когда он научился наконец владеть своими чувствами и эмоциями, управлять ими и потому в состоянии не испугаться, что ранимость и болезненность другого способны увеличить его собственные фобии.

Борис побросал в сумку продукты и выскочил на улицу вслед за Ольгой Александровной. Дождя не было, но было такое ощущение осенней промозглости от серого затянутого тучами неба, что сейчас вот-вот все-таки пойдет дождь. Он огляделся и довольно быстро догнал с трудом передвигавшуюся на кривых коротких ногах старуху в черном пальто. Издали казалось, что она идет по земле, почти присев на корточки, — так низко был у нее опущен таз: никогда раньше Борис этого не замечал — она словно врастала в землю. Склонившись над ее плечом и невольно — по контрасту с ней — чувствуя себя сильным, ловким, здоровым и уверенным, он проговорил:

— Может, вам помочь?

Она вздрогнула, услышав за спиной чей-то голос.

— Да нет, мне недалеко... А... это Боря. Ну, возьмите. Я ведь тут не-подалеку живу теперь.

Он шел рядом, возвышаясь над ней и стараясь приноровиться к ее одышливой походке. Время от времени она останавливалась и переводила дух и один раз присела на лавочке перед чьим-то чужим подъездом, сказав с трудом:

— Здесь у меня обычно привал.

Он смотрел и удивлялся, то ли он раньше этого не замечал, то ли Ольга Александровна за протекшее время так присела к земле, стала совсем квадратной; широкое тело в черном пальто, почти совсем без ног. Борис подумал, что школьником он не обращал внимания на подробности телосложения учителей (учителя входили в детское сознание не совсем как люди, а как часть школы, и их физический облик казался необходимой частью школьной обстановки: ничто человеческое вроде любви, детей, страстей, казалось, не было им присуще), и только теперь он понял, что она была некрасивой, даже уродливой женщиной. И снова защемило жалостью к ней: а была ли она замужем, были ли у нее дети, или так она и прожила все свое время одиноко и неприятно?

Ольга Александровна тяжело дышала, хотя Борис и старался идти, изо всех сил стесняя свой шаг, предупредительно принаравливаясь к ее скорости и при переходе небольших улочек подхватывая ее под руку. Они свернули во двор небольшого пятиэтажного дома с пятью подъездами, непременно лавочками перед ними и маленькими деревцами вдоль проезжей части: в такие блочные дома, обильно строившиеся в начале шестидесятых,— с низкими потолками, невероятной звукопроводимостью и совмещённым санузлом — переселяли, как правило, людей из бараков, решая таким образом жилищную проблему. Дома эти по архитектурному замыслу имели временный, промежуточный характер (после барака, но до настоящего жилья). Однако люди пока оставались в них навечно. И хотя его друзья архитекторы, вроде Лени Гаврилова, возмущались этим, Борису казалось, что хорошо, что хотя бы так была решена проблема и люди теперь могут существовать хоть в относительной изоляции, жить сами по себе, а не на глазах у соседей.

— Ну вот, пришли, — Ольга Александровна на минутку присела ещё раз на лавочку перед подъездом.

— Разве здесь? — удивился Борис, вспоминая огромный многоквартирный дом-муравейник постройки тридцатых годов, куда, как

ему помнилось, он когда-то ходил.— Мне помнилось совсем другое место.

— Мы с сестрой съехались, она тоже поблизости жила, — задыхаясь, никак не в состоянии нормализовать дыхание, сказала старуха. — Да ну вас, загоняли меня совсем.

— Да я еле-еле шел,— снова с легким оттенком превосходства и самодовольства оправдывался Борис.

— Для вас еле-еле, а для меня просто бег. Просто запыхалась вся.

Ольга Александровна по-прежнему называла его на «вы», и Борис теперь уже не препятствовал, чтобы утвердилось ещё больше чувство равноправия меж ними.

— Ну, спасибо, довели,— сказала она, наконец, вставая на кривые больные ноги, и это «довели» прозвучало для Бориса иронично и двусмысленно.— Давайте сумку, дальше я сама.

— Может, наверх поднять? — Борис не оставлял надежды разговорить ее хотя бы в домашней обстановке, потому что говорить по дороге, разумеется, как он сразу понял, нагнав ее, было бессмысленно, и только по художественному и молодому эгоизму можно было предположить, что ни с того ни с сего человек начнет про себя что-то рассказывать.

— Ну, давайте.

Медленно, с остановками, с передышками, они поднялись на третий этаж. Остановились перед обитой черным дерматином дверью с видневшимся посередине глазком. Ольга Александровна взяла у него из рук сумку, достала из кармашка ключи, отперла дверь.

— Занесите уж тогда продукты на кухню, будьте любезны.

Борис вошел в квартиру, зорко пытаясь схватить глазом всякие важные мелочи. Но ничего особенного. Слева от двери зеркало, под ним низенький деревянный шкафчик, очевидно для обуви, около него скамеечка, справа — вешалка, на которой только и висел что летний серый плащ, такие ещё давно, как помнил Борис, носили родители и который назывался «пыльник». На кухню он прошел через выкрашенную белой масляной краской дверь со стеклом в верхней части и сделанную, очевидно, из прессованных древесных стружек (именуемых древесно-стружечной плитой), поставил на беленькую табуретку сумку около такого же легкого беленького столика из гарнитура, два синевато-белых шкафчика для посуды висели на стенке. Что ещё? Все, что у всех: белая газовая плита с двумя черными конфорками, стол для готовки пищи, раковина у стенки с красным и белым кранами и ещё маленький холодильник «Саратов».

— Поставьте все это на стол, — услышал он запыхавшийся голос из прихожей (очевидно, она меняла обувь на домашнюю). — И откройте там окно. А то дышать нечем.

— Не холодно будет?

— Ничего. Мы ведь ненадолго. Стоит день не открыть, и в квартире как в склепе.

Борис открыл окно. С улицы доносилось далекое карканье городской птицы — вороны. Он шагнул назад, в сторону прихожей. Ольга Александровна все ещё, кряхтя, снимала свои ужасные ботики и влезала в домашние тапки. Опустив глаза, он вдруг увидел на чистом линолеумном полу черные лужицы воды с его башмаков.

— Ой, Ольга Алексанна, я вам наследил!..

— Ничего, я потом уберу. Вы не волнуйтесь.

В этих словах снова почудилась ему какая-то радость от его присутствия и готовность перенести известные неудобства, связанные с этим событием. Борис вернулся в крошечную прихожую. Горела под низким потолком желтым светом электрическая лампочка без абажура. Не зная, что ещё сказать и сделать, чтобы завести разговор, он стоял, опустив руки. И неожиданно услышал:

— Вы, небось, спешите? Или попьете чайку со старухой?

И хотя это было то, что он хотел, он посмотрел на часы, чтобы не выдать своей заинтересованности, да и в самом деле уточнить свой временной лимит. До прихода гостей оставалось часа полтора-два. Но на всякий случай он состорожничал:

— Полчаса или, скажем, минут сорок у меня есть.

— Успеем, успеем чайку попить. Вы пока проходите в комнату, а я чайник поставлю.

— Вам, может, помочь?

— Да нет, не надо. Здесь я сама...

Борис прошел в комнату, слыша за стеной на кухне шум льющейся из-под крана воды, звяканье чайника, чирканье спички, гудение вспыхнувшего газа. Слышимость была просто поразительная. Борис стоял, опираясь рукой на стул, и внимательно оглядывал комнату, стараясь все заметить, все запомнить и понять. Комната, как и кухня, была удивительно чистой, хотя и весьма обширной, неожиданной для малогабаритной квартиры, с линялыми полотняными ковриками на натертом паркетном полу. У стены, почти сразу как входишь в комнату, по правую руку, стоял круглый полированный стол, около него два стула с мягкими сиденьями и выгнутыми спинками, один из них был как раз у него под рукой. В дальнем углу находились рядком две

красные кушетки, усеянные подушками. На белье-вике, расположенном рядом с кушетками, прямо у стены, лежали толстые семейные альбомы — по виду с фотографиями, словно кто-то перебирал, пересматривал их каждый раз, и не один день, перед сном. Но проход к кушеткам перегораживало большое кресло, которое сдвинуть Борис так и не решился, хотя взглянуть на альбомы было ему любопытно. Однако, стоя на месте, он повел глазами дальше. Дверцы знакомого платяного шкафа были раскрыты, виднелись висевшие на плечиках платья, две тяжелые шубы, а на дне почему-то сваленные какие-то вещи, будто кто-то собирался уезжать, да так и бросил все на пол по дороге, а их потом на скоростях запахали в шкаф: то ли не уехал, то ли вещи эти не понадобились. Почему-то брошенные вещи связались у него с альбомами на белье-вике, почему — он не понимал и отвернулся. Да и вообще часть комнаты с кушетками вызывала какую-то тревогу и странным образом дисгармонировала с другой половиной, где стоял круглый стол с двумя стульями, козетка, за ней небольшой телевизор, а сбоку книжный сервант, окно, балконная дверь — светло и тихо. Так что, решил он, не случайно кресло перегораживает эти половины. Борис хотел было шагнуть к книгам, посмотреть корешки, но испугался, вспомнив, какие следы оставляют его башмаки. Приподняв ногу, он глянул вниз: слава Богу, ботинки высохли и уже не следили. Сделав шаг в глубь комнаты, он запустил глаз за стекла книжного серванта: два собрания сочинений — Тургенева и Гончарова, остальные книги, как он успел на скоростях заметить, были самого случайного свойства. Тогда он как бы из центра ещё раз оглядел комнату. На стенах висело несколько фотографий, три пейзажика и два карандашных, слегка стилизованных женских портрета. Один вроде бы напоминал Ольгу Александровну, но другой, другой — скорее Ахматову: так же горделиво вскинута голова римской матроны, такая же полная шея и надменно-властный взгляд. А сделаны портреты одной рукой. Но если это Ахматова, то при чем здесь Ольга Александровна? А если это Ольга Александровна, то при чем здесь Ахматова? И снова в голове зашевелились мыслишки о той тайне, которую скрывает в себе жизнь человека, о ее непредсказуемых встречах, поворотах, изломах, пересечениях, которые связывают человека с человеком и через которые просвечивает сама история. И он порадовался, что зашел сюда.

— Книжки смотрите? — раздался сзади тихий голос. — Книг у меня мало. Племяннице в Ленинград отсылаю, дочке брата. Я теперь больше телевизор смотрю. Чем-то надо день наполнить, а то скучно. Вы видели последний фильм про Уланову?

Она ставила на стол чайную посуду: чашки, сахарницу, молочник, плетеную вазочку с печеньем. Надо сказать, по своей квартире она двигалась гораздо проворнее и увереннее, чем по улице. Толстая уродливо-короткая фигура ее в темном цветастом платье то появлялась в комнате, то снова исчезала на кухне.

— Видели?..

— Урывками,— ответил Борис,— гости были.

— А я до сих пор люблю балет, оперу. Только в Большой теперь не попасть. А раньше мы с сестрой туда часто ходили.

Ничего этого Борис за ней даже и не подозревал — таких пристрастий и интересов. Как же так? Почему? Но ведь и вправду, глядя на нее, этого и подумать было нельзя. Говоря, она продолжала хлопотать: достала ещё вазочку с кусковым быстрорастворимым сахаром в дополнение к сахарнице с песком. Борис ждал, что сейчас в дело пойдут пряники, как обычно угощала его бабушка Настя, но нет, на столе появились две коробки конфет — мармелад и шоколад, коробка изящных ленинградских вафель и при этом непременно у небогатых старушек лимонная карамель. Откуда шоколад? И почему ему? Как дорогому гостю?

— Как вы относитесь к варенью, Борис? Употребляете?

— Конечно, Ольга Алексанна. Да вы не хлопчите так. Ничего мне не надо. Давайте просто посидим. Но она уже полезла, с трудом нагнувшись, почти встав на колени перед платяным шкафом, в его нижние ящички, отомкнула их маленьким ключиком и вытащила нераспечатанную пол-литровую банку; Борис подскочил, помог ей подняться, отнес и сам поставил банку на стол. Она была полна какой-то красноватой массой с зелеными зернышками. Ольга Александровна присела на стул.

— Посижу, пока чай закипит...— Помолчала.— Давно я вас не видела,— и нейтрально, не на «ты», но и не на «вы»: — Вырос, возмужал. Женился?

— Да.

— Дети есть?

— Пока нет.

— Это правильно. Рано ещё. Пока учиться не кончите, не заводите. А где вы учитесь? А то я и не знаю.

— На филологическом.

— Тяжелый факультет, неперспективный. Трудно потом работу найти.

Не зная, что сказать, Борис пожал плечами. Ему захотелось сказать, что пошел он на филологический, чтоб быть поближе к литера-

туре, но что не филологию, а писательство он считает «делом своей жизни». Но не сказал, потому что выглядело бы это, на его взгляд, либо похвальбой, либо нелепостью. Не говоря уж о том, что получалось все совсем наоборот, чем он предполагал: не он ее выспрашивал, а она его. И он примолк, соображая, как бы ему начать самому задавать вопросы, но деликатно, конечно.

Он сидел против нее, придумывая первую фразу, и молчал. Молчала и она, развязывая веревочку, которой была перевязана бумажка, закрывавшая банку с вареньем. Сколько бы ни прошло лет и как бы мы сами ни изменились, тот, с кем мы расстались, представляется нам все таким, каким он был много лет назад. И в памяти Бориса Ольга Александровна до сегодня оставалась пожилой женщиной с сильной проседью в волосах, но нестарым ещё лицом. Сейчас волосы были совсем белые, лицо морщинистое, и, хотя кожа была ещё не дряблая, по обилию пигментационных пятен, по ноздреватости какой-то видно было, что теперь это лицо старухи.

— Крыжовенное, — пояснила Ольга Александровна, указывая на банку. — Вы посидите ещё минутку. Я пойду чай заварю.

Она поднялась и, ковыляя на своих раздутых кривых ногах, вышла на кухню. Сразу стало слышно, что чайник кипит, даже хлопает под напором пара крышка.

Борис встал, прошелся по комнате и громким голосом сквозь дверь «начал разговор»:

— Я смотрю, у вас новая квартира. Неплохая. И комната большая. Я-то помню, что вы в коммуналке жили. Это что, кооператив?

Ольга Александровна появилась на его голос из кухни с полотенцем в одной руке и заварочным чайником в другой, приземистая, с широко расставленными ногами, она стояла в дверном проеме и говорила:

— Это мы с сестрой съехались. У нее была большая — почти тридцать метров — комната, и у меня, вы помните, наверно, какая. Сестра жила через два дома отсюда. А здесь разъезжались. Мы в метраже проиграли, но зато — отдельная квартира. Пять лет мы так прожили, а теперь я снова одна.

— А что с сестрой? — спросил он, уже догадываясь об ответе, но понимая и то, что не спросить нельзя.

— Умерла. Уже два месяца, как умерла. Последний год она очень болела. Исхудала невероятно. А была такая пышная женщина, очень поесть любила. А потом только кашки, соки, ничего другого не могла. Оказалось, рак пищевода. Я целый месяц ни на что и ни на кого смо-

треть не могла. Уже теперь ничего. Может, ещё оживу? Да вы садитесь, чай как раз готов. Я сейчас наливать буду. Вам покрепче?

— Если можно...

Борис хотел сказать «примите мои соболезнования», но не знал, уместно ли это говорить спустя два месяца, решил лучше промолчать и сел, ругая себя, что совершенно не владеет формой жизнеповедения. Но теперь становилась понятной мрачная часть комнаты, где на кушетке, очевидно, болела, а затем умирала сестра Ольги Александровны. И кровати стояли рядом, чтобы быстро прийти на помощь, если нужно. А сваленные вещи — это, видимо, так и осталось от сестры, когда ее обряжали.

Он внутренне как-то замер и окостенел. Даже вообразить ужасно, как две старухи, еле передвигающиеся, тут живут, одни, только их двое, никто к ним не заходит. О чем говорят? Ведь все в прошлом. Только вспоминают? Но ведь нельзя больше растравить себя, чем воспоминаниями. Или — внезапная догадка — беседы у них велись только на бытовые темы: что дают в магазине, где достать хорошего врача или редкое лекарство, у кого что болит... А если не так, если без этой защиты бытовых разговоров, то остается выть, что жизнь прошла, что вот последние дни отщелкивают и каждой как в зеркале видно в сестре, как уходят, укапывают последние капли жизни. Ни мужей, ни детей, ни внуков. Разве что племянница в Ленинграде...

Это было совсем не то, что он ожидал, идя сюда и собираясь найти подкрепление своим собственным домыслам о роли Октября, коллективизации, войны в частной жизни человека. Это было о другом, просто о тяжести жизни. Или не так?

Ольга Александровна принялась разливать чай. Руки ее, толстые, с морщинистыми складками на кисти, слегка тряслись. И Борис ощутил невольное, что чайник что-то весит, и привскочил, чтобы помочь. Но от помощи она отказалась, усадила его и села сама. Началось чаепитие.

— А кто это? — спросил Борис, сызнова затеяв разговор и указывая на предполагаемую Ахматову.

— Это моя сестра. Ее и меня наш сосед-художник рисовал. Правда, похоже? Но сестра удивительно хорошо получилась. Такая она и была. Она ведь была оперной певицей. В Кишиневе пела и в Куйбышеве. А потом прервалась. Муж заставил. Потом они в Москву переехали. Она с мужем разошлась, хотела опять на сцену, а тут у нее дочка умерла. Она года два ничем заниматься не могла. Так и осталась на третьих ролях.

Ничего подобного Борис опять-таки не ожидал. Опера и... Ольга Александровна, училка и таинственная, волшебная опера! А оказывается, существовала такая связь. Сестра и замужем была. А сама Ольга Александровна? Но спросить про это не решился.

— А отчего дочка умерла? — спросил он, все-таки ожидая в ее истории хоть каких-нибудь социальных катаклизмов.

— От гриппа.

— А-а,— не зная, что сказать, сказал он.

— Да вы пейте, Боря, чай. Вафли берите, конфеты.

— Спасибо, я уже взял.

— Берите ещё. Варенье можно вам положить? Это крыжовенное,— снова пояснила почему-то она. — Сама варила. Еще сестра была жива. Мне одной все равно теперь не съесть.

— Спасибо, спасибо.— И, помолчав, задал ловко-провокационный, как ему самому показалось, вопрос: — А вы всегда в Москве жили?

— Я всегда жила в столицах. Родилась в Варшаве, потом мы жили в Минске, потом в Ленинграде, а потом в Москве.

— А почему в Варшаве? В вас, простите за нескромный вопрос, есть польская кровь?

— Четвертушка, я думаю. У меня бабушка была полячка. Во всяком случае, мы с сестрой по-польски говорили свободно.

— А почему меняли столицы? — не отставал он.

— Отцу давали работу, мы и переезжали.

— А можно поинтересоваться, кто был ваш отец? — Вот сейчас и обнаружится этот жизненный слом: отец-профессор, из обедневших дворян, а дочь его, с прекрасным образованием, всю жизнь работает как простая учительница, или она дочь какого-нибудь значительного революционера, репрессированного в тридцать седьмом,— вот вам и романтическая история: на таком переломе от счастливого детства к дальнейшей малообеспеченной, скучной жизни и возникает драма характера.

— Он был рабочий,— но тут же, испугавшись, что принизит отца этими словами, добавила,— но очень квалифицированный рабочий. Очень образованный человек. Мы с сестрой, бывало, все вспоминали, как его боялись. У нас была своя комната, забьемся туда, когда отец не в духе, и не выходим. А квартира была у нас на первом этаже, окна в сад, летом окно откроешь, вздохнешь и забываешь, что кто-то где-то не в духе. Мы с сестрой любили мечтать у этого окна. Прямо как Наташа Ростова с Соней. Помните? Вы не думайте, что, раз я старуха, у меня и молодости не было. Про меня говорят: ровесница века, а

я была молода, хоть сейчас и семьдесят лет, уже семьдесят лет. Вам сколько лет, Борис?

— Двадцать пять. Тоже, знаете, символический возраст: конец войны, и вся моя жизнь падает на мирный период. А вы всего хватили: и войн, и революций. Вдоволь истории насмотрелись, на несколько биографий хватило бы.

— Удивительно, но ничего не вспоминается значительного из этих лет. Все значительное вы и сами знаете, из того, что я помню. Помню, что трудно было. Работать приходилось много. Я ведь в войну на заводе работала. А вот хорошо помню, как девчонкой у окна сидела, даже запах жасмина тот помню. Вот это удивительно, правда? В старости только и вспоминаешь что детство. Я даже мужа своего меньше помню, чем отца.— Увидев вопрос в глазах собеседника, она пояснила: — Муж после войны умер, а отец в двадцать шестом. Отца помню, а мужа нет. Да вы пейте чай, Борис, пейте. И варенье ешьте. Я ещё подложу: Ешьте. Его много.

— Да я и пью, и ем, не волнуйтесь, спасибо. «Конечно, в историю входит только распятый, так говорит Илья Тимашев (Илья Тимашев был его новый знакомый, старше его шестью годами, профессиональный философ, любил говорить, как он это называл, «символами», но Борис гордился и тщеславился таким знакомством, тем, что с ним на равных беседует новый московский Чаадаев, так в свою очередь определял Илью, и что он его понимает и в состоянии с ним полемизировать), что обычным образом человек и знать не хочет, что творится в истории и во вселенной, о борьбе между жизнью и смертью, что инстинкт самосохранения убирает эти конечные вопросы, способствуя спокойному и беспечному существованию, но на свой лад история касается всех, оставляя отпечаток на каждом человеке,— вот что существенно. Но Илья не во всем прав,— говорил он себе, глядя на Ольгу Александровну,— и безо всяких там исторических переломов и изломов жизнь каждого человека трагична. Каждого данного человека хотя бы потому, что он неминуемо умирает. В этом трагедия каждого живого существа. И в конце концов все злые силы в истории как раз тем и заняты, что используют эту величайшую несправедливость мироздания». Мысль показалась ему глубокой, и он решил ее при случае додумать. Пока же он смотрел на тяжелое лицо старухи, все в пигментационных пятнах, на ее толстые морщинистые руки со складками, которые в этот момент придвинули ему чашку с вновь налитым чаем, и по инерции задал ещё один столь же нелепый, как и предыдущие, вопрос: — А квартира у вас в детстве была большая?

— Пять комнат.

— Ого! Если по нынешним временам и меркам, то...

— Да нет, нас же одиннадцать человек было. Дед с бабкой отцовские и бабушка с материнской стороны — трое, отец с матерью — уже пятеро, две маминых сестры, считайте, уже семеро, мы с сестрой и брат — десять, и ещё жила у нас двоюродная сестра, дочка умершего папиного брата. Вот и судите сами — как раз точно одиннадцать. А теперь смотрите: комната для отца с матерью — раз, для теток с кухней — два, для нас с сестрой — три, для деда с бабкой — четыре, для маминой мамы — пять, и брату приходилось ещё у нее ночевать в комнате, пока он в Петербург не уехал. Хорошо хоть, что прислуга у нас была проходящая и ей комната не требовалась. Так что пять комнат не очень-то и хватало...

— А после революции как жили? — спрашивал Борис, чувствуя, что все больше и больше впадает в дурацкую роль интервьюера, задающего дежурные вопросы.

— Обыкновенно. Правда, все разъехались по разным местам, но я оставалась с отцом, я была младшей. А он стал, как тогда говорили, красным командиром производства, был директором фабрики, и мы жили неплохо, а в двадцать шестом умер. Но я к тому времени уже была замужем. Да, вот и прожила жизнь, а вспоминается только детство.

Борис хотел спросить, были ли у нее дети, как фамилия их соседа-художника, который рисовал и ее, и сестру, как вспоминается ей школа и почему она стала преподавать русский язык и литературу, что за институт она кончала, каким образом, будучи, очевидно, филологом, она работала на заводе, что заставило ее туда пойти, кто был ее муж, кем работал, но это походило бы уже на допрос. А спрашивать, не одиноко ли ей живется, было нелепо, и так было видно, что одиноко. Он допил последний глоток чая, подумал, было взять новую конфету, но сладость пришлось бы запивать, а просить ещё чаю не хотелось, чтобы не затягивать посиделок, и он сказал, отодвигая чашку:

— Спасибо большое.

— Не за что. Может, ещё? Да вы не стесняйтесь, Боря.

— Спасибо. Я и не стесняюсь, но и в самом деле хватит. Я, пожалуй, пойду. Мне пора. Было очень приятно.

— Ну что ж. А я тогда телевизор включу. Я и при вас хотела, да боялась, что вам не интересно будет. Там сейчас мультфильмы дают.

Она поднялась и, переваливаясь с боку на бок на своих распухших ногах, подошла к козетке, села спиной к нему, лицом к телевизору,

щелкнула переключателем. Телевизор, нагреваясь, загудел, и через минуту засветился экран, послышалась какая-то детская песенка, а потом появилось и изображение: весело маршировавшие по заснеженному полю лесные животные. Борис подхватил свою сумку с водкой, колбасой, маслом и сыром. Было видно, что старуха так же, как была рада его приходу, рада, что остается одна наконец, в привычной обстановке, и ждет не дождется его ухода. Она сидела в своем темно-синем платье с разводами цветов и, не поворачивая в его сторону головы, смотрела на экран. То ли она просто устала от вторжения в ее жизнь инородного тела, то ли просто очень хотела посмотреть телевизор, с таким же неистовым желанием, какое бывает только у маленьких детей, когда они просят полюбившуюся игрушку, не обращая внимания ни на какие препоны. Как бы то ни объяснять, во всяком случае, он был уже лишний.

— Я пойду, Ольга Александровна...

Она подхватила за ним следом к двери. Не заходя в прихожую, она спросила:

— Дверь сами сумеете открыть?

Ей так по-детски хотелось к экрану, что она даже не говорила обычных в таких случаях слов: «заходите ещё», «была вам рада», «спасибо, что зашли». Не успел он справиться с замком, как она сказала:

— А потом сами дверь захлопните... Ладно, Боря? — и припустила назад к телевизору.

Борис тащился по уже темной улице, перепрыгивая через черные лужи, обходя слякоть. «Ну и что? Хорошо ли я поступил, что влез в ее быт, как естествоиспытатель? Фу, стыдно! Но как будто ничего не было! Ни войн, ни революции, словно не было истории». Он проходил мимо магазина, где покупал водку (магазин был уже закрыт) и где так про себя негодовал на мужиков, не видящих в жизни ничего, кроме водки. «Какое удивительное свойство у человека — все забывать или не обращать внимания на то, что тебя напрямую не касается. Это, конечно, дает возможность с чистой душой начать жизнь заново. Не ей, разумеется, а ее детям, внукам, если б они были, народу, человечеству. Но это и страшно — эта беспмятливость. Значит, все те же ошибки, преступления, злодейства, глупость, которые были в истории, могут сызнова повториться, хотя против них из века в век изо всех сил предупреждают лучшие умы и души человечества. А мы живем так, как будто ни Шекспир, ни Достоевский никогда не существовали на свете!» — вдруг вспомнил он свою мысль, пришедшую ему в магазине в окружении алкашей. И подивился кругу, который прошло

его размышление. А может, лучше, точнее назвать это топтанием на месте? — одернул он себя. «Но это же важно! Не поняв этого, жить нельзя. Вот она говорила, что пока она жива, то и сестра ее жива, потому что есть память о ней, есть в мире сердце, где живет эта не очень удачливая оперная певица. Потом они обе будут живы, пока жива и помнит их племянница. А потом? У кого в памяти? У меня? Допустим. Но и я не вечен, да и за заботами и забыть могу. Как все хрупко! Они обе в общем-то уютно устроились в своем уголке, вне вопросов, вне проблем, вне истории. Но как ты относишься к истории, так и она к тебе. И приходит смерть, и она потрясает. И, спасаясь от памяти, от надвигающегося на тебя, стараешься вообще ни о чем не думать... Глупо, глупо! Во всяком случае, я постараюсь жить иначе, взять историю за горло. — Сумка на длинных ручках моталась и раскачивалась, мешая идти. — Но кто знает, как суждено прожить мне?»

Вечером, как он и предполагал, пили и пели. Больше к ней он не заходил, а через год от случайных знакомых услышал, что Ольга Александровна умерла. Как это произошло, кто был при ней, кто ухаживал, кто хоронил, кто провожал на кладбище и было ли кому этим заняться, он так и не узнал. И от этого было горько, стыдно и страшно. И он не мог об этом думать, но и не думать не мог тоже.

Декабрь 1981 — январь 1982

Прятки

Рассказ

Мы возвращались с отцом с первомайской демонстрации. Шли по Садовому кольцу. День был, как редко бывает, — без облачка, с ярко-синим небом, свежей, полураспустившейся зеленью на деревьях. Звучали обрывки бодрой веселой музыки, они то вспыхивали, то гасли, и очень подходило это оживленно-радостному настроению, которое держалось, несмотря на утомление от долгого пешего хода. Кучки людей то собирались, то распадались, напоминая цветные узоры в калейдоскопе; из кучек доносился смех, голоса, песни. Все было разноцветно и весело: зелень деревьев, красные флаги, синие, желтые, зеленые и красные воздушные шары. Дети несли маленькие красные флажки с надписью «1 Мая», стояли тележки, с которых продавали газированную воду: хочешь — с сиропом, хочешь — просто так, лотки с печеньями, пирожками, бутербродами, фруктовой водой, тележки со странным приспособлением для надувания воздушных шариков летучим газом, поворот какой-то рукоятки — и шарик уже рвется в воздух. А пицалки «уйди-уйди», а «тёщин язык», высовывавшийся почти на длину детской ручки! А мячики, набитые трухой, тяжелые, обклеенные и обшитые разноцветными бумажками, на резинке, мячик отскакивал от земли, а резинкой им управляли. Мне очень хотелось такой мячик, но я уже считался взрослым, а потому и не просил отца. Мы и так выпили по стакану фруктовой воды, съели по бутерброду с бужениной и чувствовали себя прекрасно — свободно, раскованно, переживая то, что нынче называется карнавальным мироощущением.

На углу улицы Воровского мы столкнулись с дядей Лёвой, старинным отцовским приятелем. Он был в расстегнутом пиджаке, пряди волос свешивались по обе стороны его лица, как два собачьих хвоста, нечесаных и грязных, глаза сквозь маленькие очёчки глядели возбужденно. Он куда-то спешил. Но, увидев отца, свернул и подбежал к нам, взмахивая радостно рукой.

— Гриша! Гришенька! Как хорошо, что мы встретились! — почти кричал он, тиская руку отца и исподлобья глядя на меня, как на неожиданную и нежеланную помеху. — Пойдем со мной, с нами! Я к Ред-

жинальду Эвенкову! Там такие сегодня люди! Цвет нашей творческой интеллигенции! Да! Я рад, что и ты будешь.

Отец всегда был не любитель поспешных решений, случайных гостей, вынуждаемых неожиданностью поступков (так, по крайней мере, мне казалось), и я, чтоб поддержать его невысказанные колебания, пробормотал настойчиво:

— Мы маме домой обещали сразу...

— Он же меня не звал, — сопротивлялся, как я и ожидал, отец.

— Да кто же знал, что тебя удастся вытащить! А Реджинальд в торговле от твоей статьи, что идет в том же сборнике, что и его. Честное слово! Он всем это говорит!

— Да я с Борисом, — продолжал упираться отец, потому что больше всего на свете, несмотря на страсть трибуне, к форуму, он любил свои занятия за письменным столом, в окружении книг и рукописей.

Я смотрел на его грустное лицо с высоким лбом, зачесанные назад гладкие черные волосы, худые щеки и орлиный нос, сожалел о его прерванной речи о смысле весеннего праздника и, переводя взгляд на раскрасневшееся, оживленное лицо дяди Лёвы с распатланными, перхотными волосами, тихо негодовал. Он выглядел суетным и поспешным, подло манящим нас с горних вершин бесцельной и мудрой беседы в свои прагматические низины необходимости — куда-то спешить, с кем-то непременно общаться, так сказать, культурно функционировать. Словесно я бы выразить такое свое понимание тогда бы, наверно, не смог, как сейчас, но испытывал, насколько помню, похожие чувства, просто не умея их сформулировать.

— Ну и что, что с Борисом?! — брал нахрапом дядя Лёва. — И он с нами пойдет. Мальчику надо привыкать к интеллектуальному общению, к духовной среде. Тебе сколько лет уже?

— Тринадцать, — угрюмо ответил я, надеясь, что его испугает несчастливое число — чёртова дюжина.

Не тут-то было!

— Пора! Пора! — воскликнул он, обнимая меня за плечи.

И отец сдался по мягкости характера, но нашел объяснение в словах дяди Лёвы, сказав мне, что и в самом деле хорошо бы мне посмотреть на людей, которые живут духовными проблемами.

— Это недалеко отсюда, на Вспольном, — продолжал говорить дядя Лёва, увлекая нас за собой.

Дом был, по-моему, шестиэтажный. Мы вошли в подъезд, прямо перед дверьми находился лифт, справа от него лестница, ведущая наверх, слева — вниз. Дядя Лёва повел нас налево. Но если у лифта и

вверх по лестнице было светло — от двери и от окон, то вниз путь был не освещён, и крутые ступени казались краем обрыва, спуском в пропасть. Снизу долетал гул голосов, грохотала шахта лифта.

— Чёрт! — воскликнул дядя Лёва. — Опять кто-то из хулиганов свет вырубил. Идите за мной, только за перила держитесь. Выключатель, к сожалению, внизу, около Реджинальдовой квартиры.

— Ты, Лёва, прямо Вергилий, — усмехнулся отец. — Надеюсь, что это и в самом деле Лимб, где собрались мудрецы и поэты, а не какое-нибудь зловонное болото, где нас сожрет крокодил.

— Ты что, того? Какой ещё крокодил? — спросил дядя Лёва, уже начавший спуск. — У Данте крокодилов нет.

— Осторожнее, — сказал мне отец. — Держись одной рукой за перила, а другой за мое плечо.

Шахта лифта закрывала доступ всякому свету в этом полуподвальном помещении, так что вскоре я ничего различить не мог. Было жутковато, но интересно. Можно было вообразить, что дядя Лева оказался предателем, хотя назвался связным партизанского отряда, и завёл нас, настоящих партизан, в засаду, где нас поджидают агенты гестапо. Что ж, придется отстреливаться. Я вообразил, как одним прыжком перескочу через несколько ступенек вниз и начну палить из обоих наганов, крикнув отцу, который на самом деле командир партизанского отряда, чтобы он бежал, и приму неравный бой.

Вообще надо сказать, что духовный мир мой представлял странную смесь интересов: я читал Гомера и романы про шпионов, Стендаля и все выходившие тогда партизанские повести («Это было под Ровно», «Подпольный обком действует», «Партизанский край»), Данте (по совету отца) и «Катакомбы» Катаева (сам по себе). В Данте не поиграешь, а чтение военно-приключенческих книг давало, видимо, выход неушедшему детству. И я играл в них, играл отчаянно, но так, чтоб никто не знал. Я был и партизаном, и разведчиком, и барабанщиком из гайдаровской «Судьбы барабанщика», скрывался от немецкого гестапо, а двор наш, дом и квартира были ареной боевых схваток, о которых никто не знал, даже приятели, потому что они тоже уже повзрослели и тоже стеснялись играть «в войну». Книжный мальчик, я и играл «по книгам», то по Гайдару, то по Катаеву, то по Левенцову.

Вот я сижу в своей квартире и выглядываю из-за занавески в окно, вижу людей, идущих вдоль трамвайных путей, бегущих следом за трамваем, выходящих неторопливо из трамвая и дефилирующих мимо, а не то сворачивающих на дорожку к нашему дому: мужчины в шляпах и длинных плащах — это подозрительно, женщины в свет-

лых пыльниках — тоже подозрительно. Я ведь не просто сижу дома и маюсь от безделья, нет, я на конспиративной квартире, в руке у меня наган, в кармане трофейный парабеллум, я жду, когда придет на явку связной из Центра, но может явиться и гестапо. Квартира, как я чувствую, под наблюдением, но уйти я не могу, связной не знает знака опасности — горшка с геранью на подоконнике. И я не могу уйти, не дождавшись нужного человека (мамы), а если гестапо, то что ж, приму бой. Где мой верный пистолет, пристрелянный и безотказный? Да, я держу его и сквозь мушку смотрю на сомнительных прохожих. Наконец я ясно вижу: дом окружили гестаповцы, я жду стука в дверь, я спокоен, живым им не дамся, но ведь есть ещё и другие комнаты, есть пожарная лестница, по которой они тоже могут взобраться, — значит, придется перебегать из комнаты в комнату, стараясь не пропустить врага, буду отстреливаться, уж нескольких-то прихвачу с собой на тот свет (если он есть — тот свет, я знаю только этот). И тут появляется человек, которого я жду (мама), он не подозревает, что дом окружен. Сейчас он войдет в подъезд, и тут его схватят. Надо принимать бой, чтоб дать ему знать об опасности: он должен уйти, у него важные сведения... Хладнокровно прицеливаюсь: бац — падает толстяк в шляпе (он продолжает идти, не подозревая, что убит), кх — за ним другой, кх-кх — третий, вот и шпионка-гестаповка, для конспирации прогуливавшаяся с собачкой, рухнула...

Внезапно внизу загорается свет, это дядя Лёва добрался до выключателя. Теперь видно, что лестница и впрямь крутая и высокая. А внизу за шахтой лифта — просторный холл и выкрашенная в коричневый цвет дверь в квартиру, из которой доносятся голоса.

Дядя Лёва позвонил, и через секунду полная, черноволосая, красивая, улыбающаяся женщина открыла нам дверь.

— А, Лева, — сказала она. — Ну! и Гриша пожаловал! Вот это событие! Реджинальд будет в восторге. Редкий гость!.. А это кто с тобой? Сын?

— Да, Борис.

— Ну, здравствуй, Борис, — она протянула мне мягкую, пухлую ладонь, совсем не похожую на твердую руку моей мамы, но, когда я эту ладонь пожал, она быстро втащила меня в квартиру, приговаривая: — Только не через порог. Давай заходи.

Ее полное тело было одето в нечто розовое, с оборочками и цветочками, от нее пахло душистой свежестью, черные волосы были расчесаны и слегка вились, глаза блестели внутренним жаром. Как я потом узнал, она была гречанка, дочь сбежавшего из застенка греческого коммуниста, но она уже вполне натурализовалась и вышла замуж за

московского философа Реджинальда Эвенкова, вполне русского, несмотря на странное имя и фамилию. Отец ещё раньше рассказывал о нем, хотя и вскользь, восхищался им, говорил, что, пожалуй, он самый талантливый из известных ему людей, много читает, свободно владеет немецким, что для философа очень важно, поклонник Вагнера, а с особенным умилением поминал, что Хрисеида (так звали его жену), когда ездила в Англию (тогда такое случалось ещё крайне редко), то купила не шубу себе, а набор вагнеровских пластинок мужу. «Потому что она понимает его духовные запросы, создает условия для творческой жизни», — говорил отец. Она, как и ее муж, кончила философский факультет, только психологическое отделение, там они и познакомились. А мне тогда казалось, что всех философов имена должны быть необычными (ведь даже у дяди Лёвы полное имя звучало как Леопольд Федорович), такая у них профессия, отсюда Эрихи, Эрики, Эвальды, Эдуарды, Реджинальды, Леопольды, Вилены, Рейнгольды, Ричарды и тому подобные.

Очевидно, приглашение интеллектуалов тоже входило в создание условий для творческой жизни. Уже много позже я понял, что в эти годы все ко всем ездили и со всеми разговаривали. «Всё же на дворе не какой-нибудь, а пятьдесят восьмой», — говорил тогда дядя Лёва. Искали друг у друга новых, свежих идей, чтобы «противостоять косности и догматизму». Впрочем, как я теперь могу предположить, и сами вчерашние догматики искали контакта с «молодыми и творческими», обещая им свою поддержку и надеясь пожить за их счет. Вот на такое интеллектуальное сборище молодых (от двадцати пяти до тридцати пяти или шести) мы с отцом тогда и попали.

Мы вошли в длинную прихожую, слева тянулась вешалка, вся плотно увешанная плащами и пальто, напротив неё висело зеркало. Прихожая переходила в коридор, упирившийся, как я потом выяснил, в ванную, туалет и кухню. Кухня находилась справа, справа же были две жилые комнаты, слева в коридоре стояли застекленные книжные полки. Книги стояли в два ряда, сзади повыше, чтобы их тоже можно было различить. Открылась дверь ближайшей комнаты, и из нее вышел тощий человек в сером твидовом пиджаке, длинноволосый, сутулый, с впалой грудью, в глазах его было безумие. Он протянул навстречу нам обе руки.

— Ужасно рад, ребята! Заходите. Плащи сюда, ещё Женя Евтушенко обещал зайти, его ждем, да вы раздевайтесь, Гриша, хорошо, что наконец зашел, такие люди, как мы, должны быть вместе.

— Да мы ненадолго, Реджинальд Васильевич, — ответил отец.

— К черту отчества, я всего на год старше тебя, на «ты», друг, на «ты», в одном сборнике печатаемся, в одно время живем!

Мне было приятно, что к отцу относятся с таким уважением люди, о которых и сам он отзывался с пиететом. Мы сняли плащи. Отец остался в костюме цвета хаки, под которым была ковбойка в крупную клетку, а я в черном («сон разбойника»), перешитом из дедовского и выдаваемом мне в торжественных случаях. Мы вошли в комнату. Маленькая девочка в белой юбочке, белой кофточке, с красным большим бантом в косе, стоя на стуле, читала стихи, слегка картавя. Увидев нас, она остановилась.

— Продолжай, Леночка, продолжай, — сказал Реджинальд Васильевич. И она, не запнувшись, продолжала:

Погляди в свое окно:
Все на улице красно:
Вьются флаги у ворот,
Пламенем пылая.
Видишь — музыка идет
Там, где шли трамваи.
Вся земля, и млад, и стар,
Празднует свободу!
И летит мой красный шар
Прямо к небосводу!

Она была дочерью усатого кинорежиссера, как я тут же узнал, сидевшего около стола нога на ногу — в рубашке с пальмами, узеньких коротких брючках, ярко-красных носках и черных ботинках на толстой подошве. Все захлопали, кроме ещё одной девочки, примерно моего возраста, скривившей взрослую презрительную гримасу. Я понял, что это она мне показывает, что она большая уже. Серая её юбка была перетянута в талии широким поясом, а поверх цветастой кофточки повязана на шее такая же цветастая косынка.

— Меня зовут Катя. А вас? — бойко бросила она через весь стол.

Все засмеялись, мы представились, и нас усадили за стол. Меня рядом с этой Катей. Стол был вполне праздничный: салат «оливье» под майонезом, салат из крабов, тоже под майонезом, черная икра, красная икра — в хрустальных вазочках, семга, осетрина, буженина, всё нарезано тонкими ломтиками, красиво разложено по красивым тарелкам, так же тонко нарезан хлеб — белый и черный, бутылки сухого вина и минеральной воды. На пианино в углу стоял в кувшине букет

сирени. Хозяйка раскладывала по тарелкам салат «оливье» и ещё каждому по ложке крабового салата. Захотелось есть так, что даже слюна во рту появилась. Кого-то ждали.

Женщины все сидели нарядные, в платьях с треугольным вырезом и большим воротником, платья были яркие. Все эти женщины казались мне изящными, красивыми, узенькие рукавички до локтей оголяли тонкие, холёные руки, все они были не похожи на мою суровую, ширококостную маму. Но, к моему стыду, они мне нравились. Никого из них я не знал, разве что только понял, кто хозяйка. Кроме отца, дяди Лёвы, Реджинальда Васильевича и кинорежиссера с усами мужчин было ещё двое: лысый театровед в вязаной кофточке и плохо выбритый, неряшливо одетый (в мятых брюках и пиджаке с полуоторванным карманом) поэт с женским почему-то именем. Мужчины курили папиросы «Беломорканал». Наконец хозяйка сказала:

— Может, приступим? Женя потом подойдет.

— Давайте, — хозяин поднялся и разлил по бокалам вино, девочкам и мне — минеральную воду.

— Я хочу сказать тост, — вскочил дядя Лёва, всем улыбаясь. — За мир во всем мире! Я думаю, теперь он будет всегда. Теперь дело за нами, творцами и изобретателями, философами, поэтами, искусствоведами, — он посмотрел на отца, — и историками. С появлением водородной бомбы война стала бессмысленной.

— А люди осмысленными? — пробурчал, глядя в пол, поэт.

— Что ты хочешь сказать? — вскинулся дядя Лева.

— А то, что в прошлом веке тоже всякие умники говорили, что война невозможна, потому что появился пулемет, — поэт не говорил, а бурчал себе под нос, но достаточно внятно.

— Война — страшная вещь, и всей правды о ней пока не сказано, — произнес режиссёр, приглаживая усы. — Я был десантником и никогда не забуду, как нас выбросили с парашютами, а внизу горели костры, немцы нас расстреливали из пулеметов. Нас только трое уцелело, а когда мы две недели шли к своим, в одной деревне какая-то баба выдала нашего товарища немцам, когда он пошел попросить еды, и его убили, а мы ничего не могли сделать. Про это надо рассказывать, чтоб все знали. А у нас сидят умники-старперы, и на просмотрах один постоянно вопит: «Я поставлю пулемёт и буду стрелять в каждого, кто в фильмах убивает советских людей». Я думаю, именно на наше поколение возложена миссия рассказать правду обо всём, что с нами было, — и он выпил свой бокал.

Все тоже выпили, а дядя Лёва выкрикнул:

— Правильно!

— Надо только уметь правдиво думать, а не только видеть, — снова пробурчал поэт.

— Да Боже мой, хотя бы рассказать, что мы видели, — сказал низким таким голосом лысый театровед. — У нас все книги о храбрых партизанах и разведчиках, которые даже если жизнью жертвуют, то очень красиво и благопристойно. А я всю войну провел в контрразведке и могу сказать, что там страшно и грязно. У нас было задание — уничтожить гауляйтера, так две наши девушки прошли через немецкий солдатский публичный дом, за красоту были переведены в офицерский, а потом их горничными взял гауляйтер, которого они и убили. Про это разве расскажешь? Да и как? Я всего несколько раз бывал на немецкой территории, по нескольку часов, а страху натерпелся на всю жизнь. Как в бреду там был, ничего не помню, кроме своего безумного страха и того, что с парабеллумом я ни на секунду не расставался и готов был стрелять в каждого, кто попросит у меня документы. А между тем документы у меня были в порядке, да и немецким я вполне прилично владею.

По нарочито небрежному тону, по мужественности жестов я понимал, что он интересничает, рисуется, и всё равно я смотрел на него и на кинорежиссёра во все глаза и с обожанием. Всё-таки как-никак, а это было с ними взаправду. Я уже совсем не жалел, что мы пришли сюда.

— Намазать тебе хлеб маслом? — спросила вдруг меня моя соседка Катя и, не дожидаясь ответа, сделала мне бутерброд с сёмгой.

Заметив наши склонённые друг к другу головы, её мать, та самая гречанка Хрисеида, хозяйка этой полуподвальной квартиры, весело улыбаясь и ничуть не стесняясь, воскликнула:

— Наши-то дети смотри как заворковали. А Катька, когда хочет, и заботливая даже. Как, Гриша, подходит тебе моя в невестки?

— Конечно, Катюша чудесная девочка, — смутился отец.

Я покраснел, знал, что покраснел, от этого краснел ещё больше, и уставился в сторону, как бы рассматривая комнату. Комната меж тем и впрямь была интересной, я таких раньше не видел: стены очень толстые, окна узкие, почти под самым потолком, так что свет падал сверху, наверно, как в катакомбах, думал я, а толщина стен угадывалась по толщине оконного проема. Стены были выкрашены синей масляной краской, которая не скрывала их неровностей и выпуклостей. А все сидевшие здесь словно прятались от кого-то в толстостенном бастионе — во всяком случае, можно было так вообразить.

— Зря краснеешь, — сказал театровед-контрразведчик. — Всё, брат, в порядке. Никто тебя обидеть не хотел.

— Да, Катя у меня музыкантша, — говорила её мать, указывая на коричневое пианино, стоявшее под узким высоким окном. А Катя водила горделиво глазами, упиваясь восхищенными охами и ахами. Волосы у неё были забраны в конский хвост, что после фестиваля стало тогда общей модой *стильных* девиц.

— А Борис чем увлекается? — спросила Катя *взросло и поощрительно*.

Отец немного растеряннo и вопросительно посмотрел на меня, смутившись от такого прямого вопроса.

— Чем увлекается? Книжки читает, книгочей, книгоглотатель, вот, пожалуй, и всё, — добросовестно объяснял отец. — Сейчас в Стендаля впился, читает и перечитывает.

— Ну-у, замечательно, — протянул лысый театровед. — Хотя книги, может, и не по возрасту, но это замечательно. Я тоже поклонник Стендаля и терпеть не могу Бальзака. Он устарел и скучен.

— Так все снобы считают, — снова буркнул небритый поэт. — Им бы только импульсы, только психология, а не *знание*.

— Ну это чушь! — загорячился театровед. — Читателю нужно доверять, ему нужно оставить свободу для воображения и домысливания.

— Мне кажется, есть разные уровни домысливания, — сказал отец. — Один художник о мире всё равно всего не скажет, но чем больше он скажет, тем больше простора для наших размышлений. Борис, правда, со мной не согласен, мы с ним об этом часто спорим. Ему больше по душе стендалевский психологизм, чем бальзаковский объективизм.

— Я, пожалуй, стану тут на сторону Бориса, — сказал вальяжно кинорежиссёр. — Когда я экранизирую, у меня должна быть визуальная свобода, свое видение героев.

— Тем более Бориса поддержку я, — пробасил театровед.

Реджинальд Васильевич и дядя Лёва как люди в изящной литературе не очень начитанные (все-таки философы!) участия в словопрепнии этом не принимали. Зато я ожил, меня как бы сравнивали в правах с Катей и даже отнеслись почти как к взрослому.

— Конечно, — сказал я хамским от напряжения голосом, — сам Стендаль ведь говорил, что проще описать одежду и медный ошейник какого-нибудь средневекового раба, чем движения человеческого сердца. Одежду описать легче, чем душу, а Стендаль описывает душу *мыслящего* человека.

В то время я очень хотел походить на Жюльена Сореля, гордого, скрытного и честолюбивого, и когда не играл в партизан, то ходил с поднятым воротником плаща, воображая себя непонятой натурой.

Впрочем, в те годы многие ходили с поднятыми воротниками: такая была общая мода проявления независимости.

— Не только в этом дело, — перебил меня театровед: его лицо, лысая голова были странной какой-то формы — к затылку его лысый череп расширялся, а ко лбу снижался и сужался, губы были близко от носа, так что эта точка казалась своего рода фокусом, как кончик морды у всё вынюхивающей крысы. — Не только в этом дело, — повторил он, — а в том, что, говоря об исторических деталях, он описывал их с короткостью знающего человека, ему достаточно было детали, чтоб показать сущность персонажа. Там, где Бальзак навёрчивал кучу описаний, Стендалю достаточно было штриха, эпизода. Взять хотя бы Фуше, наполеоновского министра полиции...

— Это насчет гостей? — встрял я, чтобы показать свои познания.

— Ты помнишь? — восхитился шумно он. — Расскажи этим большим дядям. Ведь через этот эпизод видна вся система отношений тех лет, а всего полстраницы текста.

Я растерялся, но отец сказал:

— Расскажи, если помнишь.

— Один полковник наполеоновской армии, я не помню, правда, как его звали, — заговорил я, искоса поглядывая на Катю, чтоб видеть, какое я на неё произвожу впечатление (она сидела, подперев голову рукой, и с любопытством на меня посматривала), — хотел созвать гостей на свой день рождения. Вдруг он испугался, что Фуше будет им недоволен. Он пошел спросить разрешения на гостей. Тот говорит: «Ладно. Но пусть там будет один из моих агентов». Полковник был *человек чести*, он возмутился: «Я зову моих близких друзей, товарищей по оружию. Это оскорбительно». Фуше начал настаивать, полковник отказываться. Вдруг Фуше словно осенило. «Дайте, говорит, список приглашенных». Полковник протягивает список. «Можете приглашать», — говорит Фуше. «Как?» — удивляется полковник. «А так, — отвечает Фуше, — можете, звать. Там больше половины наших». Вот и всё, — закончил я, гордясь наступившей в результате моего рассказа тишиной.

— Потрясающе! — закричал дядя Лева. И замолк.

— Реджинальд, а ты список утверждал? — спросил небритый поэт. — У нас в Караганде утверждали.

Гости зашумели, засмеялись, а хозяин сказал:

— Успокойся. Слава Богу, прошли те времена списков.

Поднялся усатый кинорежиссёр:

— Друзья мои, — он поднял бокал, — налейте вина. Я хочу выпить за наш союз, союз людей творчества, людей науки и искусства. Как бы

остатки мракобесов ни пытались нам помешать, но свет подлинного искусства воссияет, ибо искусство наше коммунистическое в самой своей сути. Не прихлебательское, а настоящее. Главное, что не прихлебательское. Как написал так и не пришедший сюда поэт...

— Еще придёт, — сказал Реджинальд Васильевич.

— Возможно. Но тем не менее я процитирую. Потому что в этих строках наше кредо.

И с таким спокойным пафосом, мне понравившимся и показавшимся очень достойным, прочитал:

Им, кто юлит, усердствуя,
И врёт на собраниях всласть,
Не важно, что власть Советская,
А важно, что это власть.
А мне всё это важно,
И потому тревожно.
Я умер за это бы дважды
И трижды, если бы можно.

Он выпил свой бокал, все тоже выпили, и он сел под одобрительный гул гостей.

Небритый и неряшливый поэт с женским именем, бурча шурил подслеповатые свои глазки, тёр лоб, доставал из кармана рваного пиджака мятые листочки с написанными карандашом словами, видимо хотел тоже что-то прочитать, потом снова прятал их в карман и опять доставал. Его попытку перебил хозяин. Он поднялся — впалая грудь под твидовым пиджаком, вдохновенно рассыпавшиеся длинные волосы — и сказал, что поэт и коммунист — это одно и то же. Затем произнёс речь, это доказывающую:

— Я хочу прочитать вам немного из статьи, которую я написал для сборника, где и блестящая Гришина статья, — говорил он, беря из ящичка полированной тумбочки напечатанные на машинке листочки, перебирая их, и прочитал: — «Развивая, дисциплинируя и оттачивая силу воображения, позволяющую человеку самостоятельно видеть конкретные факты в свете общей перспективы развития, искусство и осуществляет свою важную миссию в общем деле борьбы за коммунизм, за всестороннее развитие индивидуума. Искусство для нас — не ветка сирени, которую можно взять, а можно и не взять с собой в космос. Без искусства и развиваемого им эстетического чувства, связанного с культурой силы воображения, не будет ни ракеты, ни чело-

века, способного на ней лететь. Развитое чувство красоты — это верный компас, указывающий людям верное направление на коммунизм в любой конкретной области жизнедеятельности, могучий союзник партии и марксистско-ленинской теории». Всё!

Он сел, и тут все захлопали, как в театре, а он красивым жестом швырнул листочки статьи на тумбочку и, встряхивая волосами как поэт, добавил:

— Так я кончаю свою статью. В этом и есть специфика искусства, что бы ни говорили ретрограды! Мы должны возродить идеал коммунизма во всей его чистоте и показать людям, как он прекрасен.

Он запахнулся в свой твидовый пиджак и замолк, ожидая спора. И спор-разговор завязался.

— Я полагаю, — сказал тетровед, — что мы должны обратиться к принципам эпического театра Брехта. Сегодня их актуальность несомненна. Ведь Брехта не удовлетворяют страх и сострадание — основные чувства, порождающие древний, аристотелевский ещё катарсис. Он, я говорю о Брехте, а не о катарсисе, считает эти чувства пассивными, не отвечающими духу нашего времени. На их место должны прийти уверенность и радость от познания той истины, что мир не только может, но и должен быть переделан.

Он продул мундштук папиросы, постучал им по столу и закурил.

— Вы знаете, — сказал отец уточняющим голосом, как он всегда говорил с посторонними, — мне кажется, дело не в древности, а в принципе. Просто Брехт наследует платоновскую традицию служебного значения искусства, которую тот изложил в «Государстве». Это великая традиция, и она никогда не умирала.

— Возможно, — в разговор вступил поэт, метнув на отца любопытствующий взгляд (дескать, ты, оказывается, что-то знаешь, а я с тобой не знаком). — Зачем только смешивать, как вот он делает, — он кивнул на театроведа, — сострадание с испугом? Да и вообще — это живые человеческие чувства, — он склонил набок голову, катая одной рукой по столу хлебные шарики, а другой почёсывая щёку и подбородок. — И раз уж тут говорят о принципах, то я не понимаю, как в принципе можно впрягать в одну телегу Стендаля и Брехта?

— Очень просто, — дымя папиросой, лысый склонился к небритому. — Ты вдумайся. Реджинальд же сказал, что всякое истинное искусство влечёт нас в одну сторону — к светлому будущему, оно его прообраз, который должен быть утверждён в реальности.

Реджинальд Васильевич сидел такой вдохновенный, словно не замечал, что он тут как владыка людей и умов находится, как ахейский

вождь Агамемнон, собравший под своим началом славнейших героев, что на него ссылаются и цитируют, а он только подтверждает, вносит коррективы. Дядя Лёва, пивший больше других, бокал за бокалом, раскрасневшись вскочил:

— Так! Должен! Мы должны утверждать трудовую сущность красоты, которая ведёт к творчеству, к активной переделке мира. Историю делают творцы. Гриша, скажи ты! Историческая ответственность лежит на нашем поколении. Пусть нас пока мало, но наше время придёт, оно уже приходит.

Эти речи, их пафос завораживали меня. Я невольно чувствовал себя участником начинающегося обновления мира. Даже говорившим казалось, что оно уже началось, тем более мне, в тринадцать-то лет! А люди эти выглядели и впрямь избранными на *высокое*. И мне льстило, что я среди них. Даже холодок бежал по спине, потому что я чувствовал *приобщённым* (хотя бы через отца) к тем, кто творит новую эпоху в науке и искусстве. Я увидел, что отец тоже хочет говорить. Но в этот момент моя соседка тихо положила мне руку свою на плечо так нежно, что я вздрогнул.

— А по-моему, красота — это свойство женщины, как говорит моя мама, — шепнула она капризно-игривым голосом. Была она, как сегодня мне кажется, хорошенькой, с зелёными большими глазками, раскованной и немного порочной, что влекло и пугало. — Наши мальчики в школе совсем целоваться не умеют, — говорила она, — только тискают. А уж ухаживать — тем более. А женщине приятно, когда за ней ухаживают. А они даже пальто подать не умеют.

«Этакая пижонка», — подумал я, потому что тоже ни разу никому пальто не подавал, но головой кивал, как бы соглашаясь с ее словами, и поддакивал тоже, хотел ей понравиться.

— Пойдем я покажу тебе мою комнату. Хочешь? — спросила она.

— Хочу, — робея, ответил я.

— Я пойду Борису книжки покажу, раз он книгочей, — громко сказала она своей матери, и мы вылезли из-за стола.

Мать кивнула нам головой, на нас уже внимания все мало обращали, увлеченные разговором. Только маленькая Леночка, до этого смиренно сидевшая на своём стуле, заныла, что она хочет с нами, но Катя велела ей сидеть на месте, потому что книги взрослые, маленьким неинтересно.

Мы вышли в прихожую, она прикрыла за нами дверь, но в комнату свою не повела, а предложила погасить в прихожей и коридоре свет и играть в прятки.

— Чур, я первая прячусь, — сказала она. — Если ты меня найдешь, то можешь поцеловать. В ванной, на кухне и в туалете не прятаться, только в коридоре, прихожей и в моей комнате. Я, чур, прячусь в комнате! Гаси свет и отвернись к стене.

Впрочем, она сама повернула выключатель, толкнула меня носом к стене и протопала в свою комнату. Постояв минуты две (честно говоря, я простоял бы больше, потому что боялся идти её искать и найти), я отправился следом за ней. Комната была небольшая, меньше той, где сидели гости, но так же падал свет из верхнего узкого окна, похожего скорее на смотровую щель, чем на окно, стоял под ним школьный письменный стол, на нем валялись учебники и тетрадки, в углу стоял платяной шкаф, между ним и столом находилась узкая тахта, застеленная цветастым покрывалом, над ней какая-то керамика, изображающая нежный девичий профиль и букет цветов, у другой стены стояла полка с книгами, самыми обыкновенными, как я успел краем глаза заметить (учебники и книги по школьной программе). Стены были тоже выкрашены масляной краской, только салатового цвета. Бедно тогда жили.

Но все я разглядеть не успел, потому что из-за шкафа, почти не прячась, смотрела на меня Катя.

— Ну, так нечестно, — сказал я робко, отступая к полке с книгами, почти прижимаясь к ней спиной. — Ты плохо пряталась.

— Это точно, — согласилась она. — А ты все равно боягуз. Испугался целоваться. Ладно, прячься теперь сам. Давай. Я тебе покажу, как это делается.

Она двинулась ко мне, и я выскочил в темный коридор. Куда деваться? Где здесь спрячешься? В ванной нельзя, на кухне нельзя, в туалете нельзя... Из-за двери гостевой комнаты доносился голос отца. Но вслушиваться мне было некогда. Я вдруг вспомнил про вешалку в прихожей у двери, увешанную плащами.

Погода была ещё холодная, хотя и солнечная, поэтому, кроме дяди Левы, похоже, что все пришли в плащах. Плащей было много, висели здесь и осенние хозяйские пальто. Если зарыться среди них, то в темноте есть шанс скрыться... Я полез в самую середину вешалки, подлезая под рукава, полы, обшлага и прочие составные части плащей, задвигая их за и перед собой, как занавес, так чтоб вешалка выглядела естественной. И вдруг в процессе этого прятального обустройства рука моя наткнулась на что-то твердое в кармане одного из плащей. И такое на ощупь (я сквозь карман пощупал) знакомое по кино, книгам и, главное, детским игрушкам, но, кажется, *настоящее*. Признаюсь

спустя уже тридцать лет, что я сунул руку в чужой карман и теперь уже явственно ощутил, что пальцы мои касаются *пистолета*. Взявшись за рукоять, я приподнял его. Пистолет был тяжелый и вполне реальный.

Первая мысль была вбежать с радостным воплем в комнату и крикнуть: «А что я нашел! Чей это?» И показать оружие. Заодно и пряталки прервутся. Но тут же решил, что это нехорошо, — все решат, что я лазил по чужим карманам. Позор на всю жизнь. Потом трусливая мысль: все откажутся, а потом преступник (ибо он вполне мог быть преступником) нас подстережёт (меня, маму, папу) и убьёт. И не так было страшно за себя (ведь я же нашёл, значит, виноват), как за родителей — уж они-то ни при чём. Я себя буквально довёл до ужаса этими размышлениями и картинками, как нас за углом любого дома может подстерегать смерть. Вот ведь дела! Стоит всего лишь *сказать*, произнести *слово*, и всё, как в калейдоскопе изменится — кто-то, считавшийся другом, окажется врагом. А может, все испугаются, будут друг на друга думать, перессорятся. И впрямь, как в калейдоскопе... Маленькое движение, и уже другой узор жизни.

Потом вдруг мелькнуло: а может, выкрасть пистолет, как барабанщик Гайдара, вот тут-то и поиграть в партизан и гестапо, разведку и контрразведку. Но для игры, как мне сразу же стало прозрачно ясно, настоящего пистолета вовсе не требовалось. Достаточно было пугача. В игре всё было не так страшно. То ли мой книжный мир не выдержал столкновения с реальностью, то ли реальность оказалась непонятнее, а потому и страшнее, чем я мог предполагать по книгам. Но я знал, что что-то надо делать, так уж я был воспитан. Но что? Я попытался представить, кто из гостей мог быть хозяином этого пистолета. Папа и я сразу отпадали, дядя Лёва был без плаща. Хозяин дома? Вряд ли он будет держать пистолет в плаще, когда его можно спрятать в стол. Хотя мог и забыть. Но не похоже. Усатый кинорежиссёр? Но он и в самом деле кинорежиссёр, я это знал. И театровед тоже. Про маленького неряшливого поэта и думать так даже не хотелось. И вот они все там сидят такие веселые, разговорчивые, а у кого-то в кармане плаща — смерть. И никто про это не знает.

Тогда я решил подождать, пока все оденутся и пойдут домой, тогда всё прояснится, и я решу, что делать. Успокоившись на этой мысли, я стал размышлять, что может преступник делать в этой квартире и в этой компании. Все довольно бедные, водки нет, а разговоры — для матёрого преступника, наверно, скука. Потом я подумал, что, может быть, это интеллектуальный преступник. В какие-то периоды своего

времени он грабитель, а в другие — его влечёт к людям искусства и науки. Этакий романтический герой.

И тут я вдруг сообразил, что, во-первых, Кати долго нет, а во-вторых, она может сейчас заявиться сюда и тоже нащупать пистолет, сунувшись искать меня. Надо спасти ее. Я быстро вылез из-под плащей, зажёл свет, и тут как раз из своей комнаты вышла Катя. И я сразу понял, почему она задержалась: она ярко-ало покрасила губы. «Чтоб след на щеке мне оставить небось», — подумал я. Сердце заколотилось. Я двинулся ей навстречу. Она увидела меня.

— Вот и нашла!

— Нет, я сам вылез, — ответил я автоматически.

— Эх ты, опять боягуз, боишься, что я тебя поцелую. Не больно и хотелось. — Она отвернулась, открыла дверь и шагнула в комнату к гостям. Я следом за ней.

— Не понимаю вашего исторического герметизма, — бурчал поэт. — Почему именно наше поколение нечто создаст? Что ему за привилегия такая. Нету легких времён. И в истории остается только тот, кто несёт на своих смертных плечах её тяжесть. Несет, порой уносит, прячет. Когда Рим брали гунны, мудрецы бежали. Брюсова помните?

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесём зажженные светы
В катакомбы, пустыни, пещёры, —

провыл он ритмично.

Его остановил хозяин:

— Довольно. Ты прав, старина. Всю культуру, которая спрятана была, мы возродим к новой жизни. Всю великую культуру прошлых веков, потому что именно мы — её наследники, мы, люди коммунистического завтра. Это непросто понять, но это так.

Они все в комнате словно расплывались от сизого папиросного дыма, клубившегося столь густо, что он менял очертания фигур, заставляя думать, что на улице полумрак, а не ясный, синий день. Я закашлялся от дыма. Катина мать повернула к нам голову.

— Ну что, дети, наигрались? — спросила она.

— Да с ним скучно играть, — сказала Катя.

— Катя, так нехорошо говорить, — одернула её резко мать.

— Ну, не буду, — и она стала пробираться на свое место.

Глаза быстро привыкли к дыму, и я, как бы немножко со стороны, принялся рассматривать гостей, вглядываясь незаметно в их лица. Каждый, оказывается, мог быть не тем, за кого он себя выдавал, а таинственным Иксом. Или не совсем тем. Отчасти тем, а по совместительству и другим, чужим. Я искал того, кто, как мне казалось, смотрит «двойным» зрением, «как сквозь прорезь прицела». Красивое это выражение, где-то вычитанное, я тогда про себя повторял, оно мне нравилось. Но таких взглядов и выражений на лицах не было. Все смотрели открыто, дружелюбно, хотя и возбужденно. Как и Катя, я двинулся к своему месту.

— Погоди садиться, — сказал вдруг отец.

И тут я увидел, что отец встал и явно собирается уходить. Он принялся пожимать руки, обещал навещаться, давал кому-то наш телефон и заверял хозяина, что непременно следующую свою статью отдаст в сборник, который будет готовить Реджинальд Васильевич. На мои уговоры ещё побыть отец ответил твердо:

— Нет, пора. Мама будет сердиться, что мы её в праздники одну оставили. С Катей в другой раз поиграешь.

Объяснить, что дело вовсе не в Кате, а в пистолете, я ему не мог. Мы оделись и вышли. За дверью опять была сплошная темнота. Кто-то снова выключил свет. Позади остался шум голосов, споры, оживление, странная тревога. Ощупью мы поднялись по лестнице, так и не найдя выключателя. Солнечный свет на улице буквально ослепил нас, пришлось прикрыть глаза рукой. Небо было синее, пицалки «уйди-уйди» по-прежнему пицали, музыка ещё играла откуда-то, а люди смеялись и пели песни. Это и была настоящая жизнь, а то, что было в полуподвале, моментально показалось мне мороком, невзаправдашним чем-то, во всяком случае вслух непроизносимым.

Мы пошли домой. Дома нас ждала мама, которая уже начала волноваться. И я опять ничего не решился рассказать. Концовки у этой истории — к сожалению или к счастью — так и не было. Эвенковых мы больше не навещали, отец пару раз ходил к ним, но дружбы у него с Реджинальдом Васильевичем, «несмотря близость позиции», как говорил отец, так и не сложилось. Кто это был, что это было, я так и не знаю. Просто чёрная точка «на фоне счастливого детства». А потом, спустя время, я стал думать, что мне всё это привиделось от моих постоянных игр.

Библиофил

Рассказ

Чего, собственно, ждал я от него? Дружбы? Нет, я очень тогда чувствовал *разницу в возрасте*, понимал, что он мне не ровня, что он уже *взрослый*. Хотя, конечно, мне льстило, наше *ты друг другу*. Ведь ему было не меньше двадцати шести — двадцати семи, значит, человек *серьезный и много повидавший*, мне же не больше восемнадцати.

Познакомились мы с ним в букинистическом магазине на Столешниковом, когда-то одном из лучших в Москве. Начало шестидесятых бросило всех мало-мальски рассуждавших к книге, причем к той, с *подлинными, неофициозными ценностями*, ее и достать было труднее, — к *старой, дореволюционной*.

Кажется, именно в этот день я нашел себя в списках *поступивших* и гулял по городу с новым ощущением собственной значительности и взрослости: *поступил!* Как-то даже легко и свободно вступал я в тот день в разговоры с незнакомыми людьми, нечувствительно преодолевая привычное ощущение, что в общении не должно быть мелкого, случайного, не подлинного и что для *подлинного контакта* человек им надо говорить о чем-то значительном.

Помню, я стоял на втором этаже у прилавка, разглядывая корешки выставленных на продажу книг. Рядом также тянули свои шеи другие покупатели: юные девушки, искавшие *современную поэзию* (то есть тогдашнюю троицу лидеров — Е. Евтушенко, А. Вознесенского и Р. Рождественского); молодые спекулянты-перекупщики, хватавшие ходкий товар и продававшие потом эти книги *с рук*, хоронясь от милиции; юноши с изможденными лицами, пытавшиеся найти мудрость в философском идеализме, лучше всего в восточной, практически недоступной в те годы мистике; элитарные *знакомые* продавцов, которым что-то доставалось из-под прилавка уже завернутым в бумагу и недоступным чужим взорам; наконец, *случайные* посетители, попавшие в этот книжный мир руководимые не любовью к книге, а назойливым каким-то любопытством к *непонятному*. Рядом со мной как раз примостился такой дядечка со слезящимися, красными, наверно, конъюктивитными глазками и длинным носиком, который он совал с бесцеремонным любопытством

в каждую книгу, которую я просил для просмотра. Невольно я старался отгородиться от него высоко поднятым плечом, но он все равно, вытянув шею и щурясь, лез к облюбованным мною книгам. Вдруг между нами протиснулся молодой бородатый мужчина. Оперевав свой большой и тяжелый желтокожаный портфель о край прилавка, он снял коричневые кожаные перчатки, сунул их пальцами вверх в карман теплого плаща и заговорил с усталой продавщицей как понимающий толк в книгах. Мужичонка со слезящимися глазами был им так явно и спокойно отодвинут в сторону, что это показалось мне признаком жизненной силы и уверенности в себе. Вновь подошедший смотрел внимательно, книгу листал осторожно, видимо, понимая, что в ней ищет.

Мне невольно захотелось, чтобы он обратил на меня внимание: тщеславное желание выделиться из ряда. Что-то я сказал насчет спрошенной им книги, что — не помню. Но добился: он с интересом и доброжелательно глянул на меня. Затем неспешно, но вежливо ответил: шевеля светло-рыжими усами и, как мне показалось, с трудом пропихивая слова сквозь густую бороду. Фразы он строил гладко и подчеркнуто книжно, что мне, выросшему на окраине, непривычно было слышать от посторонних, не семейных людей. Но, самое главное, он говорил со мной *не как с мальчиком, а как с равным*, будто я и впрямь равен ему.

В магазине было жарко и душно. На полу слякотные разводы, натоптаные мокрыми башмаками. Я даже поскользнулся было в лужице на гладком каменном полу. Но схватившись за прилавок, устоял. Нас ещё плотнее притиснуло друг к другу. Он сдвинул свою кепи с пуговкой на затылок, я снял берет и сунул в карман пальто. Мы стояли рядом, листая книги, перекидываясь репликами. У меня аж дух захватывало, что я как бы между прочим оказался ровней взрослому.

— Спасибо, — произнес он, возвращая продавщице книгу, — мне, очевидно, не подойдет. Извините великодушно, что затруднил вас напрасну.

Не очень молодая или просто очень усталая женщина с большим животом (на последних месяцах беременности), измученным лицом, некрасивой родинкой с волосиками на правой щеке, улыбнулась ему, принимая книгу:

— Заходите в другой раз.

— Непременно, благодарю вас.

Натягивая перчатки, он выбрался из толпы у прилавка. Я последовал за ним. Он подошел к маленькому журнальному столику у окна, поставил на него портфель и сел в низкое глубокое кресло; я — в такое же, напротив него. Из этой ситуации должно было что-то родиться. Закинув

ногу на ногу, он обнаружил толстые тяжелые башмаки и черные шерстяные носки, выглянувшие из-под приподнявшихся брючин. Я сразу же подумал, что на внешнее, на *комильфотность* ему плевать, раз он так просто одевается, что он *сущностно живет*: так ему удобнее — и basta.

Женщина за прилавком что-то устало выговаривала малограмотному покупателю с длинным острым носом и красными глазками. Я почему-то вдруг подумал, что недели через две здесь будет стоять другая, а эта — в декрет уйдет.

— Ну, — поощрительно он мне улыбнулся, — что вам сегодня интересенького удалось достать?

Мне, надо сказать, сильно повезло в тот день. Всего за пятерку я приобрел «Петербург» Белого, сброшированный с «Кузовком» Ремизова и «Барышней Лизой» Сологуба. Я молча вытащил из своего, ещё школьного портфеля толстый том. Он осторожно взял его в руки, сняв предварительно перчатки.

— Ого! — он листал его, поглядывая на меня с явно возраставшим интересом.

— Не хотите уступить? — вдруг спросил он.

— Нет! — я в испуге потянулся к книге.

— А поменять на что-нибудь?..

— Нет-нет!..

— Да вы не бойтесь, — с такой, я бы сейчас сказал, *ласковой насмешливостью* молвил он (из-за окладистой бороды казалось, что он не просто говорит, а *молвит*), — не украду я вашу книжку. Хотите посмотреть, что у меня имеется?

Он раскрыл свой огромный портфель, не портфель, а почти *баул*, и принялся доставать оттуда книги. Ухвативши покрепче *своего Белого*, я рассматривал *его добычу*. Сейчас не могу припомнить в точности те книги, что он вытаскивал из своего желтого бездонного портфеля. Как дьявол купивший душу Петера Шлемиля, он демонстрировал мне одну лучше другой. Были там, кажется, трагедии Еврипида в переводе И. Анненского, что-то по восточной философии, какие-то знакомые мне лишь по названиям романы, сборники стихов... Нет, не помню. Дрожь в руках и зуд зависти охватили меня.

— Где вы это купили, если не секрет? — старался я подделаться и под независимость, и под манеру его разговора.

— Не секрет.

И он принялся называть мне какие-то неизвестные мне имена продавцов и перекупщиков, упоминая при этом такие цены, что реальная потребность в этом знании у меня тут же пропала. Слишком невелика

была родительская дотация. Хотя я продолжал изображать внимание и желание самому завязать все эти связи. При этом, храня собственную значительность, намекал, что и я не без такого рода знакомств. Наконец, он собрал свои книги в портфель, натянул перчатки и поднялся:

— Жаль прерывать беседу, но мне пора.

Встал и я. Проходя мимо прилавка, он ещё раз с милой улыбкой поклонился продавщице, и она улыбнулась ему в ответ. Мы вышли вместе. Мне нравилась его непринужденная вежливость. Хотелось этому подражать.

На улице уже стемнело, и моросил еле заметный, но все же противный дождичек. Мы задержались под навесом у выхода: там ещё было сухо и светло от магазинных окон.

— Вам в какую сторону? — обратился он ко мне.

Я сказал. Выяснилось, что нам не по пути. Тогда он, снова стянув перчатки и засунув их в карман плаща, достал из портфеля записную книжку и ручку:

— У вас телефон есть?

Я развел руками. Телефон у меня, конечно, был, но сообщить его даже понравившемуся мне *незнакомцу* я не осмелился.

— У меня, к моему величайшему сожалению, тоже отсутствует, — промолвил он. — В таком случае давайте хотя бы представимся.

— Борис, — с готовностью сказал я, протягивая руку.

— Викентий, — он задержал мою руку в своей. — Что ж, Борис, будем надеяться, что мы ещё встретимся.

Из дверей выскользнул мужичонка с красными слезящимися глазами и, увидев Викентия, пробурчал что-то раздраженно-нелестное, но негромко. Затем втянув голову в плечи и прикрываясь от дождя маленькой папкой, поспешил направо — к выходу из переулочка и автобусным остановкам. Я указал на него глазами Викентию, улыбаясь *как сообщник* — с чувством превосходства над убегающим. Мой собеседник улыбнулся мне в ответ сквозь усы и бороду. Мы *понимающе* переглянулись и раскланялись.

Так закончилась наша первая встреча.

* * *

Начались занятия в университете. Неожиданно оказалось, что мы с Викентием однокурсники, хотя и в разных группах. Мы друг друга узнали. Завязывались знакомства на скорую руку, и атмосфера была, разумеется, такая, что все сразу стали *на ты*, не обращая внимания на возраст. Хотя, впрочем, почти все оказались одногодками, кроме двух-

трех человек, в том числе и Викентия. Он уже успел где-то поучиться, поработать, жениться и развестись, пока добрался до филологического.

Я Викентию обрадовался.

Он был старше меня, он был взрослый. А мне думалось, что за эти разделявшие нас восемь-девять лет человек может успеть невероятно много в области духа, в понимании принципов жизни и истории. То есть рационально я это не продумывал, просто был уверен, что к этому возрасту я уже Бог знает какие дела успею совершить: времени впереди — неограниченно. *Какие же тайные знания хранил его ум!?* Ибо тогда *тайное* и чудилось самым важным. Я почтительно слушал его, но держался поначалу замкнуто, опасаясь, что ему *моя суть* может показаться неглубокой. Но докапываться до нее он не собирался.

Встречая меня *на психодроме* — во дворике перед университетом (и осенью, и весной все тут торчали: зубрили, флиртовали и просто шалберничали), Викентий всегда поднимался со скамейки, чтобы я его заметил, и взмахивал приветственно рукой:

— Борис!!

А когда я подходил ближе, стараясь держаться независимо и не показывать, что завидую старшекурсникам, запросто болтавшим и сидевшим в полуобнимку с университетскими красотками, он подвигался, снимал свой огромный портфель, чтобы освободить мне место, и гудел сквозь бороду, ласково на меня поглядывая:

— Рад тебя приветствовать.

Я пожимал ему руку и садился рядом. Пусть все видят, что у меня есть взрослый друг, что у нас *дела* и что именно поэтому, а вовсе не потому что стесняюсь, не обращаю я внимания на *красоток*. А тогда все виделись красотками. Но подойти познакомиться я робел. Мне казалось, что *это* слишком серьезно, что *мужское* желание пофлиртовать оскорбительно *для женщины*. Спустя несколько лет одна *из тогда мною отмеченных симпатичных* девиц говорила, слегка в нос и растягивая слова: «Ты на первом курсе ходил та-акой нетро-онутый». А я был серьезен, даже чересчур. И не просто по неопытности, но и по воспитанию, и по натуре.

Викентий тоже был серьезный, *такой же*. Мы беседовали только о книгах. Впрочем, можно ли назвать беседой такой диалог?..

— Достал что-нибудь новенького? — спрашивал я.

— А ты? — отвечал он вопросом на вопрос.

И мы принимались выгружать из портфелей свои находки.

Что ж, таковы были все наши разговоры. Но с ним у меня хоть общая тема нашлась, с другими же я поначалу не мог найти никакой темы,

особенно с девушками. Однако, по правде сказать, такие отношения меня вполне тогда устраивали. Мне казалось, что видимость дружбы с *взрослым* и мне придает облик опытного в жизни человека. На какой-то момент *выглядеть опытным* стало для меня самым важным. Викентий тоже не делал попыток к *подлинному* дружескому сближению. Хотя инициатива, как я думал, должна от него исходить. Ведь он — старший.

Прошла неделя, затем другая. Нас в группе стали называть *дружками, корешами, соседями* (мы и сидели на занятиях рядом). Я сейчас иногда не замечаю, как в пропасти времени исчезают неделя за неделей. Так всегда бывает при налаженном быте, стабильной работе, устоявшейся жизни. А в молодости недели тянутся как годы. В несколько дней складываются дружбы, определяется *отношение к миру, к власти, к любви*, причем *полное и окончательное*...

И через пару недель я решил выяснить с Викентием наши взаимоотношения. И вот почему.

Возникают вдруг в отношениях такие состояния, которые не выговариваются словами, но которые можно *почувствовать*. И вот я почувствовал — по той предупредительности, с какой он протягивал мне сигарету, по тому вниманию, с каким выслушивал мои реплики, — что он меня *уважает*, причем, похоже, *всерьез уважает*. Для подростка, перерастающего в юношу, это и лестно, и удивительно, что взрослый заметил в тебе *Другого*, да ещё и равного себе. Пару раз в аудитории, похлопывая меня по плечу, он гудел сквозь усы в присутствии наших сокурсников: «Ну, старик у нас — выдающийся человек!» Гудел как бы с некоторой иронией, но иронией ласковой, той, которая звучит не издевательски, а подчеркивает *прямой смысл высказывания*. И мне стало хоть и лестно, но одновременно немного неспокойно. *Что* я ему!..

Конечно, самомнение у меня тогда было юношески титаническое, и *духовный свой мир* я ценил весьма высоко. Разумеется, я считал себя *предназначенным* нечто совершить, изо всех сил читал, *вёл записную книжку*, писал рассказы и даже задумал сатирическую повесть о школе. Причем, надо добавить, что *школу я понимал как микромир, в котором отражается все наше общество*...

Но он-то ничего такого про меня не знал. А — уважал.

Года два спустя, уже подначитанный в «самиздате» и «тамиздате», наслушавшись *разговоров*, я мог бы подумать, что он *не случайно* мной интересуется, что вполне может, если и не *служить*, то, во всяком случае, *информировать* о настроениях *кого надо*. Хотя правильно, что не подумал. Какой от меня мог быть интерес и информация! *А завербовать?* Но я был настолько молодой лопух, щенок, что даже и не понял

бы, о чем речь, а, поняв, мог обрушить всю силу молодой порядочности на вербовщика. Нет, такой идиот никому не был нужен.

* * *

Сейчас, когда я восстанавливаю всю последовательность наших встреч и бесед, мне трудно припомнить, что меня подтолкнуло затеять тот нелепый, мучительно неловкий для меня самого разговор. Но тогда, значит, мне казалось это возможным, раз я решился, несмотря на мою скованность и замкнутость.

В университет я пришел минут за пятнадцать-двадцать до занятий, зная, что Викентий обычно приходит пораньше, посидеть на психодромном дворике, благодушно покуривая сигарету и полуприкрыв глаза, *расслабиться и помедитировать*.

Как я и ожидал, Викентий сидел на скамейке, из-за окладистой своей бороды казавшийся мрачноватым, но я готов был *открыть ему душу*, понимая, что мрачноватость — это так, чисто внешнее. Он, конечно, курил. Рядом с ним суетился то садясь, то вскакивая тонконогий и тонкошей поэт с третьего курса (он сам нам представился поэтом; явился к первокурсникам и представился так, а в доказательство развернул рулон стенгазеты и страничку «алый парус» из какой-то молодежной газеты, где было напечатано его стихотворение). Курящих девиц на скамейках не было: все же в начале октября утра уже прохладные. А потому свеженькие и раздумяившиеся красавицы пробегали прямо в здание, чтобы наникотиниться на черной лестнице между вторым и третьим этажом. Двое старшекурсников гоняли по двору вокруг клумбы теннисный мячик, смеясь и отпихивая друг друга руками. Я не стал подходить, ожидая, пока не уйдет поэт, все не решавшийся прервать неторопливую речь Викентия. Наконец, не выдержав, он вскочил и, как-то задом отступая, почему-то хихикнул:

— Ну, мне пора, а то ещё опоздаю!..

Поэт, *несмотря на свою поэтичность*, ходил в отличниках. Провожая взглядом сбежавшего собеседника, Викентий поднял голову, увидел меня, стоящего у ворот в ожидании, приподнялся и помахал рукой. Около него как всегда мостился его огромный желтокожий портфель. Я почему-то инстинктивно сел так, чтобы баул этот нас разделял. Викентий достал пачку «ВТ» — модных тогда болгарских сигарет — и, встряхнув, протянул мне высунувшиеся из пачки белые палочки с коричневатым фильтром. Сигарету я взял, хотя собирался не только *открыть всю душу*, но и *выяснить всю правду*, что по сту-

денческим понятиям могло привести к *разрыву отношений*. И сделать так, чтобы он «не ушел от серьезного разговора».

— Ну, Борис, — приветствовал он меня, добродушно улыбаясь и расстегивая свой портфель, — могу показать кое-что интересное.

Понятно, что надо было как-то обозначить не накатанную, а новую тему разговора, а то обсуждение книг увлечет нас... Поэтому, взяв в руки томик Станислава Лема «Охота на Сэтвава», листая его, но показывая, что листаю машинально и принужденно, что голова *другим* занята, я выдавил из себя заготовленную фразу:

— Вишка! — как можно судить по употребленному мною сокращению его имени, мы уже явно сблизились. — Я хотел бы поговорить с тобой *серьезно и по душам*. Ты не возражаешь?

Удивленный, он глянул на меня исподлобья, недоуменно, приостановив беседу о книгах, как останавливается по окрику тренера спортсменов, уже начавший свой разбег, ему трудно, но он замирает в движении, потому что полностью владеет собой. Так и Викентий молвил с готовностью:

— Безусловно не возражаю. Отчего не поговорить, если тебе это надо?..

Не смотря в его сторону, я с трудом, но отчетливо выговорил:

— Скажи, Вишка, пожалуйста, у нас с тобой нет случайно общих знакомых? Или таких, которых бы я не знал, но которые меня знают? Припомни, пожалуйста.

Когда я перебирал в уме логику наших отношений, одно из предположений было, что он знаком с кем-то из друзей моих родителей, которые и наговорили про меня много лестного. Я поднял голову. Викентий сидел, держа в руках возвращенный мною томик Лема и положив ногу на ногу, покачивал своим тяжелым башмаком. Поглаживая рукой бороду, он щурился, явно не очень понимая, чего я от него жду.

— Нет, безусловно не припоминаю.

Время безжалостно, я с трудом тянул из себя слова, но он терпеливо отвечал на мои вопросы, сам не забегая вперед и контрвопросов не задавая, разве что время от времени с тоской поглядывая на свой открытый и набитый книгами портфель. Но я даже немного разозлился. Ведь книги — не идола, и мы не идолопоклонники, чтоб совершать каждый раз ритуальный танец вокруг них. Ведь книги для того, чтобы мы сами учились думать и *сами писать*... И тогда я спросил последнее:

— Не думаешь ли ты, *что я пишу*?.. Прости за нескромность, но я очень прошу тебя ответить. Для меня это важно. И вовсе не так нелепо, как кажется, — видимо, ждал я реакции удивления, любопытства,

может, жаждал даже расспросов и признания, раз говорил такое, хотя ощущал всю неловкость и нелепость разговора. — Так не думаешь ли ты?.. Конечно, сейчас все пишут. Но я уж во всяком случае не поэт...

Последней фразой попытался я придать шутливость некую и обыденность теме разговора. Но в этом и не было особой нужды. Викентий не собирался воспарять за мной, предпочитая (сознательно или инстинктивно) дружески-нейтральный тон. Благожелательный, но сдержанный, он гудел:

— Безусловно даже не думал об этом.

— Ну а последний вопрос... Как говорят алкаши, ведь ты меня уважаешь? Разве нет?

— Что за нелепый вопрос! Конечно, уважаю. Почему я должен тебя не уважать?

Я посмотрел на часы. Разговор занял не больше десяти минут, хотя сошел с меня не один пот. Я не знал, как себя вести дальше, полагая, что Викентий испытывает ту же неловкость, что и я. Не мог же истинный смысл моих вопросов не дойти до него! Не мог же он просто-напросто, как кибернетическая машина из рассказов Лема, *буквально* сообщать ответы на заданные вопросы, без тени волнения говоря о своем представлении (вернее, *непредставлении*) обо мне? Ласково улыбнувшись, словно почувствовав смуту в моей голове, Викентий внезапно сказал:

— Ну, Борюшка, это все, что ты хотел у меня узнать?

— Все.

— Тогда, — он тоже глянул на часы, — раз у нас пока ещё есть время, позволь показать тебе ещё кое-что.

И он пошире раскрыл желтокожий портфель.

«Что же это? — думал я, не вслушиваясь больше в его слова. — На самом деле, он совсем равнодушен ко мне. Я как Я ему не интересен. Он просто не замечает меня как *личность*... Как того дядечку с красными глазами и длинным острым носиком... Он ведь его бы и вообще не заметил, если б я не указал на него глазами... Что это я *сочинил*, что это мне в ум взбрело насчет *уважения*?

Весь день — на лекциях, после лекций — я все думал, размышлял о нашем разговоре, почему-то всё сравнивая себя с тем дядечкой из магазина. Хотя ведь нельзя сказать, что Викентий отнесся к нам сразу одинаково — напротив. На того он вовсе не обратил внимания, меня же сразу приметил, выделил, захотел познакомиться... Однако что-то общее в его отношении к нам я чувствовал... Но что? Что? И вместе с тем разница очевидна. Мы ведь явно с первого раза заинтересовали друг друга...

Так я тогда и не понял, в чем тут дело, и, решив, что у него ко мне всего-навсего *взрослая* снисходительность, стал отдаляться от Викентия. Потом он перевелся на вечернее отделение, мы стали само собой встречаться реже, и вот уже вскоре раскланивались как люди мало-знакомые и не очень желающие общаться. Похоже, что из-за моей мнительности сошла на нет намечавшаяся дружба.

Задним числом всегда легче понимать. И сейчас мне кажется, что он и вправду уважал меня. *Как библиофил библиофила*. И, право, это не самое плохое, что может быть в жизни.

1969, 2006

Лесной участок

Повесть

Глава 1

Телефонный звонок

Настроение было пасмурное, но ведь не от дождя за окнами, думал я. Хотя и от дождя тоже: наступил ноябрь, кончилась ясная, сухая осень, полили глухие, затяжные дожди. И по асфальту-то не пройдешь, а приходилось работать в грязи да мокроте, среди обсыпавшихся дождевой водой кустов и деревьев. Больше месяцев вкалывал я на лесном участке в Ботаническом саду и даже окреп, поздоровел, помахавши топором и лопатой, а неделю назад слегка простудился. Но бюллетень не печалил, радовал, потому что сидел я в тепле, на тахте, под зеленым шерстяным одеялом, читал книгу, а не топтался в облепленных глиной тяжелых сапогах с топором в руке около окопанного со всех сторон пня, который надо было корчевать, а значит, будут в земле, так что без горячей воды — даже с мылом — их не отмоешь. И так изо дня в день. А вечерами ездил в университет. И когда добирался до асфальта Моховой (хоть и «моховой», но вполне уже каменной), выяснялось, что и башмаки, и манжеты брюк а грязи, мокрой хвое и мелких колючках. А мне хотелось, мне *надо* было выглядеть «цивильным»: в университет я ходил пока *просителем*. Не набрав баллов на филологический дневной, я передал свои документы (так мне посоветовали) на вечерний и теперь ждал, что, быть может, образуют дополнительную группу — для «очников», недотянувших до проходного балла. «Ходите, напоминайте о себе», — советовала мне толстощекая девица-секретарь: похоже, она мне симпатизировала. Я и ходил через день — как на занятия. Во всяком случае, на работе меня считали *студентом*. Но решение все откладывалось, и постепенно я терял веру, что буду в этом году учиться.

За неделю, проведенную дома, я отмылся, отогрелся, рассчитался. И договорился с родителями, что независимо от моего завтрашнего похода в деканат, независимо от того, что мне скажут, я подаю заявление об уходе и буду искать работу «по профилю», где-нибудь в библиотеке.

Я сидел на тахте с ногами, укрывшись зеленым шерстяным одеялом (мама почему-то называла его «солдатским»), слушал заоконное теньканье дождя по стеклу, однообразное и тоскливое, и читал «Исторические корни волшебной сказки» В. Я. Проппа. «Что такое посвящение?.. — читал я. — Обряд этот совершался при наступлении половой зрелости. Этим обрядом юноша вводился в родовое объединение, становился полноправным членом его и приобретал право вступления в брак... Мальчик проходил более или менее длительную и строгую школу. Его обучали приемам охоты, ему сообщались тайны религиозного характера, исторические сведения, правила и требования быта... Обряд посвящения производился всегда именно в лесу. Это — постоянная, непременная черта его по всему миру. Там, где нет леса, детей уводят хотя бы в кустарник...» Все мне было понятно и даже близко, и мне казалось, что я тоже взрослою с тех пор, как пошел работать... Но вот слово «брак» приводило меня в оцепенение, даже думать о женитьбе было страшно.

Ну и не думай, сказал бы я себе сегодня. Но тогда я считал, что *должен*, что *обязан* жениться — так уж сложились мои жизненные обстоятельства. Иного выхода я не видел. А любовь прошла, хотя по-прежнему я считал ее самой лучшей на свете, уж во всяком случае лучше *меня*. Оттого и было пасмурно на душе. Я ждал и боялся телефонного звонка, боялся, что позвонит Кира.

Точнее, позвонить должен был я, так мы прошлый раз договорились. Но я оттягивал звонок, оправдывал себя, что и завтра, в конце концов, могу это сделать... Тем более что обычно звонила она. Она училась на втором курсе ГИТИСа и по своему студенческому билету могла водить в театры и меня. Я, заикаясь, отказывался, ссылаясь последнее время на болезнь. Но Кира была девочка светская, догадывалась о дипломатическом характере моего заболевания (на работу ходить надоело) и то предлагала билеты в кино на «Иваново детство», то в ЦДЛ на обсуждение творчества кого-то нашумевших в начале шестидесятых «лагерных» писателей. И опять я врал что-то жалкое, отбреживался. Она, очевидно, переживала. Раздавался звонок, я снимал трубку, говорил «алё», в ответ было молчание, хотя я знал, что это звонит она. «Алё! — кричал я. — Алё!» В рубке слышалось прерывистое дыхание, но слов не было. Я с облегчением нажимал на рычаг, отдуваясь шел к себе в комнату, пожимая плечами на вопросительные взгляды родителей, а на душе все равно было мутно. И все труднее было говорить, отказываться, что-то врать. Поэтому, когда раздавался телефонный звонок, сердце или, может быть, что-то ещё ухало у меня в желудок, ноги слабели, и до телефона я еле доползал.

Это мое состояние до болезни ещё началось. Я не спал, вертелся, мучился, закурил с тоски, чувствуя себя подонком, на работу выходил с опухшими глазами, а похабник дед Никита говорил: «Опять ночь не спал. Меньше этим делом надо заниматься, а то яички лопнут». Красавец студент Володя Ломакин отводил меня в сторону, как большого, по-приятельски (а был на *четыре* года старше!) и спрашивал: «В самом деле, Боря, познаёшь жизнь?» Я бурчал невнятно, а бригадирша Нинка добродушно-завистливо кричала, хватая меня за руку: «Хорошенькие у тебя барышни, раз про них и рассказать страховито!» А Володя: «Правда, Борь? Хорошенькие или кошмар?» И никто даже не догадывался, что мучаюсь я от того, что не могу заниматься любовью без любви, и даже не от этого, а от того, что *разлюбил* (при этом дикостью показалось бы, если бы я добавил, что с девушкой той у меня ничего не было, что не соблазнил я ее, что не ждет она от меня ребенка: просто целовался, а потом разлюбил). Вот что значит домашнее воспитание. Почти полная изоляция от жизни, как у какой-нибудь принцессы или царевича, которых в сказках до повзреления запирают в темный терем, от людей изолируют, чтобы сглазу не было, зато потом они ничего не знают и не понимают. Я говорил ей, что люблю, а теперь выходило, что обманул, а так был приучен мамой: делать, что сказал. Но не мог.

Правда, пока я болел, все же было ничего, было оправдание. Но завтра-то я уже выходил на работу, и Кира это знала. А стало быть, хотела меня увидеть. Вот я и трепетал. Но звонка не было, и я понемногу успокоился. Лил дождь, ветки деревьев в окне были совсем голые, на них растрепанными, взлохмаченными и растерзанными шапками висели пустые вороны гнезда. Горела у изголовья настольная лампа, за круглым столом темнели рядами книги на стеллажах, окно потихоньку наливалось темнотой, а я читал, стараясь думать только о прочитанном.

Тут-то и достал меня телефон.

Я вскочил, пугаясь в одеяле, книжки, как в кино, полетели на пол, я искал ногами тапочки, не нашел, телефон продолжал звонить, и в одних носках я побежал на кухню, чувствуя в душе тоску и отчаяние. Включил свет и снял трубку.

— Алё.

— Эй, алё. Здорово, Борь. Борь, это ты? — это была не Кира, голос мужской, грубоватый.—Ты чё? Не узнаешь, забыл? Да это я. Ну! Вот елки-палки, лес густой! Недели не прошло! Славка Воронок я, ну, милиционер, да вместе же работаем.

Конечно же после первых слов я его узнал, но сначала надо было перевести дух от радости, что не Кира звонит, затем собраться с мыслями, восстановить в уме иной мир, мир работы, а поскольку сыпал слова Славка — не остановить, то и получилось, что вроде бы я его не узнал. Мне стало стыдно, и не то чтобы стыдно, а как-то неловко: получалось, что я, барич такой, стоило мне вернуться к себе в дом, как не узнавал уже своих собригадников.

— Да я узнал. Просто не успел...

— Лады. Ты на работу когда?.. А то у нас такие тут дела!

— Похоже, завтра.

— Здорово, как раз попадешь. Ты уж придумай что-нибудь, что сказать. А то завтра в главном корпусе общественное разбирательство будет.

— Какое ещё разбирательство?

— Ты чего? Не знаешь разве? По поводу тухловской анонимки. Ты сам говорил, что тебе Данила не симпатичен. Вот и врежь ему.

Славка почему-то помнил все, что я говорил. Теперь-то я понимаю, что он уважал мою образованность, которая ему виделась много большей, чем была на деле. Славка был родом из Космодемьянска, с Волги, пошел после армии в милицию ради прописки, теперь собирался жениться на красотке Светке из планового отдела, чтоб окончательно осесть в Москве, пока же крутил амур с нашей бригадиршей Нинкой. Славка мне нравился, потому что был он лихой парень, разбитной даже, стройный, худощавый и очень ладный. При моей толщине и широкой кости, мне всегда нравились люди стройные и худые, в них виделся мне момент *породы*. Да к тому же Славка знал жизнь, а я, кроме книг, как мне казалось, ничего не знал. Поэтому я, в свою очередь, с робостью и вниманием относился к Славке, понимая, что его опыт мне навсегда уже недоступен. Детство разное.

— Какая такая анонимка? О чем? И почему, если это анонимка, ты знаешь, что ее Тухлов написал?

— Да он же подписался. Он и его преподобная жenuля. Оба подписались. Ты приходи, не бойсь. Все будут, и студенты твои. Гена с Володей, и Степан Разов, и дед Никита, наши милиционеры с Иваном придут нас поддержать. Дело-то уже у Сердюка, зав. производственным отделом. Ты его должен знать. Тухлов всех там подбросил.

— За что? — не понимал я. — Что ему за корысть?

— Зеленый ты, Боря. А он чудак, хотя и сука. Чудак на букву «м», — пояснил Славка. — Гнида. Первую-то он давно уже послал, недели через две, как на работу устроился. Сердюк не среагировал, под

сукно положил, потому что без подписи. Так на прошлой неделе он и забавал анонимку за подписями. И с требованием, чтоб все деньги, которые бригада заработала, поделить между ним и женой.

— То есть как? — не понял я, садясь для удобства разговора на табуретку рядом с телефоном.

— А так. Мы ж на сдельщине.

— Я на окладе, — поправил его я.

— Ну он этого не знал. Поэтому и тебе выдал. Мало, дескать, работают все, кроме пенсянеров (так Славка и произнес): Тухлова Данилы Игнатъича и Тухловой Пелагеи Ниловны. Милиционеры, мол, по полдня, да Иван ещё к жене бегал, у студентов — один день нерабочий, да и на занятия пораньше уходят.

— Да ведь, — возмутился я, стараясь казаться взрослей, — все же взрослые мужики, о себе не говорю. Да они за полдня каждый больше сделает, чем он лопаткой за весь день наковыряет. Да и не утруждался он так уж, все больше с места на место переходил. А его женуля, та и вообще не больно суетилась, только бутерброды своему Даниле раскладывала. Но Степана-то с Никитой за что он приложил?

— Хе. Никиту за безделье, а Степана за осиное гнездо.

— То есть как Степана? Ведь это ж он начал колоду разваливать. Он и нашел ее, и первый камни начал бросать.

— Он-то начал, а развалил Степан. Это ж юридический факт. А колоды эти на охране. Со Степана ещё вычесть могут, если не посадить.

— Это нельзя так оставлять, — загорелся я в духе времени справедливым негодованием. — С этим надо бороться. Только я все равно не пойму, на какие деньги он рассчитывает?

Действительно, я был на окладе — 50 рублей, считался садоводом, мне предлагали на сдельщину, говорили, что там я получу больше — 75 рублей, а работа такая же, потому что набрать в лесную бригаду людей трудно, вот и подбирают тех, кому временно надо подзаработать, своего рода сезонников. Но мне для учебы была нужна трудовая книжка, и от сдельщины на 75 рублей я с сожалением отказался. Иными словами, это была сдельщина без оформления трудовой книжки, по соглашению. Я в этом, правда, не разобрался тогда, тем более не могу толком понять сейчас. Но ясно мне было одно, что Тухлов на 75 рублей не наработал, что его держали из снисходительности, дать пенсионеру немножко подкормиться, а он, сообразив, что у остальных юридические права ещё более сомнительные, решил на этом сыграть.

— Он-то, сука, законник, требует, чтоб на бригаду наряд закрыли, а не каждому в рыло его бумажки, а в бригаде тому, кто больше рабо-

тал, ему то есть. Остальных-то он обосрал. Нинку и вовсе гулящей называл, сказал, что мне, как любовнику, она больше сотни выписывала. А ты же знаешь, Боря, больше семидесяти пяти я не получал. Да и что Нинка за гулящая. Гулящих он не видел, вот что.

Я тоже не видал. Но видел, как Славка, положив ладонь Нинке на широкое бедро и полуобняв ее, уводил ее в лес, в кусты, под ухмылки мужиков и укоризненный взгляд рябой, одноглазой Насти. «Пойдем место для новой делянки разведем, а, бригадирша? — говорил в таких случаях Славка. — Рекогносцировку произведем». Милиционер Иван хрюкал, я смущенно отводил глаза, а чернолицый угрюмый Степан говорил: «Ох, дурак. Доиграется до письма на работу. Тогда ему лететь до родной Волги, не останавливаясь». Зато Тухлов одобрительно смеялся и показывал Славке, когда тот возвращался, большой палец, мол, молодец. Его жена Пелагея Ниловна поджимала тонкие свои губы и глядела сквозь очки в пустоту. А Володя Ломакин, приплясывая, напевал:

Нинка, как картинка, с фраером идет.
Дай мне, керя, финку и пусти вперед.
Поинтересуюсь, что это за кент.
Ноги пусть рисуют. «Нинка! Это мент!»

Либо:

Сегодня жизнь моя решается,
Сегодня Нинка соглашается!

— Ты понял, Борь? Всех заложил, сука. Приходи и скажи. Ты сумеешь. Сколько книг прочитал — будь здоров. Лады? Ну, пока.

Я положил трубку. И хотя загорелся возмущением, стоило мне представить актальный зал, ряды стульев, на которых сидят взрослые люди, сцену, президиум, трибуну, с которой придется мне говорить, я почувствовал растерянность. Надо было бы сказать нечто очень веское, а чтобы было веско, надо все продумать. Я вернулся в комнату и улегся на тахту, руки под голову. Что за чушь — *подписная анонимка!* Определение противоречит определяемому. Но в слове «подписная» слышался мне змеиный шип. А змеи, надо сказать, были моим детским кошмаром. Они чудились мне всюду. И в отличие от младенца Геракла, задушившего двух настоящих змей, заползших к нему в колыбельку, я трепетал змей воображаемых.

Я догадывался, что ничего у Тухлова из этой затеи не выйдет: слишком много народу против, да и не те времена. А если и выйдет,

то катастрофического ни с кем не произойдет: ну потеряют рублей по двадцать, что такого, для всех работа эта случайна, временна. Дело не в конечных последствиях, тут же сказал я сам себе, а в принципе. Как мог человек, который сидел с нами рядом на траве, ел вместе бутерброды, пил чай, играл в «дурака», взять и наклепать на всех? Конечно, я давно понимал, что Тухлов человек не очень хороший, но одно дело понимать, другое — увидеть и удивиться. Из-за чего? Из-за денег? Не может быть, сумма мизерная. Да и в том ли дело? Как будто Тухлов не читал добрых книжек и не знал, что лучше быть хорошим, чем плохим. Словно он какое-то доисторическое чудовище увиденное въявь. Огромная рептилия, затесавшаяся среди людей. Фантазия разыгралась. И вместо того чтоб составлять речь, я утонул в воспоминаниях и подробностях моей работы в лесной бригаде.

Глава II

Бригада

Это был остаток глухой подмосковной чащобы, ныне крошечной почтовой маркой вклеенной в карту Москвы. Лет десять назад неподалеку от этого лесного участка, на расчищенной делянке, рос лендолгунец, над которым проводила опыты мама. Иногда она брала меня с собой. И хотя теперь она в Ботаническом саду не работала, ее там помнили, ее просьбу уважили и меня быстро зачислили в штат. Что ж, знакомого — хоть издали — места боишься меньше, чем совсем незнакомого. А я помнил и деревянный домик, точнее, дощатую будку, где мама и ее сотрудницы переодевались, где мы обедали бутербродами и чаем: пахло нагретым деревом, промасленной бумагой, сыром. С лесного участка доносилось свиристенье птиц, рядом были делянки клубники и малины, куда меня запускали «пасться». Жарило солнце, ярило, работали поливальные установки, брызги разлетались во все стороны, под струями воды плескались загоревшие дочерна люди, и рабочие дни казались мне праздничными. Пару раз мы с мамой возвращались домой через лесной участок, и я сразу вспомнил, когда в первый раз явился на работу, и быструю речушку (или, скорее, ручей) с чистой водой среди глубоких берегов, деревянный мостик, зеленый деревянный домик, в котором держался инструмент и рабочая одежда, сколоченную из досок душевую с огромным деревянным баком сверху, в котором вода нагревалась от солнца.

Короче, вышел работать я на знакомое место. Лесной участок был небольшой, но настоящий. Пробегала сквозь него речушка, маленькие тенистые полянки чередовались с густыми чащами, в которых полно было бурелому: поваленные, а то и вырванные с корнями деревья, лежащие комлями кверху, огромные, жалкие, побежденные стихией более мощной, чем они сами; валялись также сухие и сгнившие ветки, рос мох, в земле виднелись норки кротов и землероек, по деревьям, цокая, скакали белки, кричала кукушка. Конец августа и начало сентября были не только сухие, и жаркие. Поэтому работа топором и лопатой под лучами загарного ещё солнца довольно быстро дала мне необходимый, как я считал, «трудовой» вид. Я загорел, обветрил и даже, как говорила мама спустя две недели моей лесной жизни, раздался в плечах, «заматерел». Больше всего, однако, я боялся, что не иду общего языка с бригадой.

С самых первых дней мне очень не хотелось казаться домашним и неприспособленным к жизни, поэтому я вкалывал изо всех сил, копал лопатой, махал топором, через пару часов такой работы у меня начало звенеть в ушах, охватывала слабость, движения делались вялыми, топор не желал держаться в ладони, она просто разжималась сама по себе. Года два или три назад мой бывший школьный друг Пашка Середин, твердивший, что «надо быть сильным, чтоб никого и ничего не бояться», звал меня работать на Лесную дачу Тимирязевской академии: «мускулы поднакачаешь, народ увидишь, а народ любит сильных мужчин», — говорил он. Я тогда так и не пошел, предпочитая дачно-книжный отдых, но зато теперь старался вовсю. На меня поглядывали, как мне казалось, одобрительно, но молчали. Только Степан Разов на третий день сказал между прочим: «Зачем рвешься? Перетянешься. Нельзя через силу. Должна сноровка прийти». Я постарался выглядеть молодецки, ответил, что мол, ничего, что здоров как бык и молод, хехе, авось да небось выдюжу. Он все так же угрюмо посмотрел на меня: «Видел я и как здоровые надевались, и как молодые. Грыжу в момент наживешь или ещё чего хуже». — «Где видел-то?» — крикнул ему живо на все реагиовавший Володя Ломакин. «В жизни», — ответил Степан, и Володя больше не стал задевать его. А я действительно снизил темп, пока креп и не втянулся, тогда как бы само по себе стало получаться и быстрее, и лучше. И было одно приятное поначалу, возвышавшее меня в собственных глазах: обряд рукопожатия. Я здоровался впервые в жизни за руку со взрослыми — как *взрослый*, как *равный*.

И все же уставал я ужасно. Но говорил себе «закаливающие» слова: «Это будет твой вариант лесоповала. Причем облегченный вариант.

Вот и испытай себя». В те годы возвращались реабилитированные, ходили рассказы о лесоповалах в тайге, о трудностях, о тех, кто выстоял, *не сломался*, и вся эта страшная, лагерная жизнь в глазах книжных подростков вроде меня приобретала романтический оттенок.

На свой лад романтиком был и Володя Ломакин. Я не то чтобы старался подражать ему, но *ориентировался* на него. Он был не просто старше, но ещё из интеллигентной семьи, читал вроде бы те же книги, но при этом был *опытнее, искушеннее*. Вспоминая его, я вижу перед собой высокого, стройного, скорее узкоплечего парня, на котором даже ватник сидел как на него сшитый (ватник за трешку он, кстати, купил у рябой одноглазой Настасьи), лицо было удлинённое, хрящеватое, с тонким носом. В бригаду он попал с однокурсником своим по МИИТу Геной Муругиным. «В преф проиграл три сотни, полторы заплатил, а полторы отрабатываю. Жена на гастролях, она у меня актриса, дочка у тещи. У предков деньги брать не хотелось, и без того на жизнь подкидывают. А тут за пару месяцев как раз сто пятьдесят и набегит» (он, разумеется, был на сдельщине). Так вот, когда по утрам он видел мое невыспатое, мятое лицо, он обнимал меня за плечи и указывал на темневшую сквозь белесоватое утро густоту деревьев:

— Не вешай нос, Боря. Посмотри туда. Тебе сразу покажется, что из леса выйдет какое-нибудь славянское божество. Из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник, а? Покорный Перуну старик одному, заветов грядущего вестник. Вот и к нам сейчас кто-нибудь выйдет. Вдруг Кудеяр—атаман с двенадцатью разбойниками?.. А может, Дажь-бог или Велес, а не то леший или русалка. Или Ярило взойдет. Как ты считаешь, должны мы свои корни знать? Я вообще-то человек городской, даже европейский. Все Ломакины России по дипломатической части служили. Меня предки тоже хотели в МИМО сунуть, я как дурак им наперекор пошел мимо. Ну ничего, год отучусь здесь, благо, на вечернем, родитель репетиторов наймет, пойду, куда семейная традиция ведет. А там атташе в Швецию!.. Но дух леса должен быть у нас в крови, а? Ты как думаешь? Ведь мы же древляне? А? Нам эти распятые слюнтяи ни к чему. Я мог ведь и в другом месте подхалтурить, но как узнал, что из Москвы не уезжать и вроде настоящий *лес*, то колебаний не было. Вот Генка Муругин — он разночинец, ему (то, корней нет, он тебе не то что лес, он и вишневый сад вырубит. А лес так уж точно. Срубит, дороги проложит, всю эту вониючую технику пустит.

— Чем дальше в лес, тем ну ее на фиг, — отвечал ему Гена малопомятой мне пословицей, и они оба смеялись.

Я пропускал, однако, мимо ушей речи Володи Ломакина, решая свои «мужские» задачи: на закалку, выносливость, силу. Ездить к восьми утра было тяжело. Приходилось вставать раньше, чем привычно, в шесть вставать, а в семь уже выходить из дому. Самые сонливые часы. Ехать среди досыпающих свое в транспорте людей с узелками под мышкой или со спортивными сумками через плечо, как я, тесниться и толкаться в автобусе, чувствуя свое тело со сна неповоротливым и одеревенелым (на зарядку времени не хватало, чтобы размять мышцы)... Да ещё утренний холод не холод, но явная прохлада...

Один раз встретил я в автобусе пухленькую Люсю, бывшую свою одноклассницу, напудренную, покрашенную, она училась в МАДИ. Она даже вздрогнула, увидев меня в ватнике, я прямо прочитал ее мысли: «Ну и ну! Тоже мне внук профессора. В рабочие подался. Теперь уж все. Ничего из него не выйдет». А мне все казалось происходящее со мной временным, случайным, словно бы и не ко мне относящимся: и работа, и Кира, и всякие превратности. Все пройдет, минует, как сон, как наваждение, как марево, и я стану Я. Каким я стану, я не знал, но знал, что стану.

Я шел от автобуса к своему лесному участку, когда трава была ещё мокрой от росы, роса лежала и на перилах мостика через речушку. На ее глинистом, обвальном берегу среди кустов непременно торчали один или два рыболова в длинных резиновых сапогах и брезентовых робах. Заметил я тогда, что утром птицы свирестят сильнее, чем днем. К полудню, когда высыхала роса, замолкали и птицы. На работу я приходил всегда пятым или шестым. Первой всегда приходила рябая, одноглазая Настя, в ватнике поверх платья и в резиновых сапогах. Она жила неподалеку, в маленьком, стоявшем на обочине шоссе двухэтажном домике. Была она широколицая и добродушная, лет за пятьдесят. Затем, всплывшая, как всегда, короткими ручками, прибежала похожая на кубышку, с выставленной вперед большой толстой грудью, наша бригадирша Нинка, Нина Павловна. А затем приплетался «похабник дед Никита», как его все называли, плосколицый мужик с густыми бровями и квадратным торсом. Был он говорлив, балагурил постоянно, бессовестен в речах и напоминал мне толстовского Ерощку из «Казачков». Как появлялся Степан Разов — никто не замечал. Вдруг возникал из кустов, будто всегда был тут, только ненадолго отлучался. И принимался пилу править, топоры, лопаты заострять. Наперегонки приходили мы с Генной Муругиным. Володя меньше чем на полчаса не опаздывал.

Первые полчаса Нинка отводила на раскачку: переодеться, встряхнуться, потреться, новостями обменяться. Обычно разговор начи-

нал дед Никита, живший холостяком и потому увивавшийся около кривой и рябой Насти, тоже бобылки.

— И не тяжело тебе, Настя, без мужика?

— А на что он мне? Стирать за ним? Щи ему варить?

Я так понимал, что именно это и хотелось деду Никите, но, улыбаясь небритыми щеками, не открывая щербатого рта, он гундосил шутейно:

— И другие дела есть...

— Другие дела я уже отжила, — в рифму говорила Настя.

— Ой, не говори. Баба до самых старых лет не отживает. Это тебе не мужик.

— А ты чего маешься? Соскучился?

— Без постоянной бабы нельзя, — серьезно объяснял дед Никита, но тут же подхихикивал: — Я как от своей жены сбег, думал, что счастливей меня человека теперь нет. Проводником в вагоне служил, поверишь, но поездки не было, чтобы мне сладкого дела етого не перепало. Хитры ваши сестры. Муж в купе с газетой задремал, а она будто в туалет, а сама ко мне: раз-два и назад. И слов-то не говорит, сама под меня лезет, аж дрожит вся. Теперь вся песня. Старый да корявый для игры не нужен, молодым сучкам — молодые кобели. Потому и в лес пошел: может, дупло какое найду подходящее. Насть, у тебя дупло для меня аль нет? — и хватал ее за плечо, за грудь, а не то хлопал по широкой заднице.

— Старый ты хрыч и дурак, — говорила Настя и отходила в сторону, сердитая и раздосадованная.

Но дед Никита был приставуч и тащился следом.

— От артист! — говорила про деда Нинка.

Почему-то, как я впервые тогда с изумлением заметил, женщинам чаще нравятся бабники и похабники, чем скромники и чистые.

— Давай, Никита, — кричал вдогонку Гена. — Что посмеешь, то и пожмешь!

Гена Муругин разговаривал только пословицами, коих у него было в запасе не так уж и много, не больше пяти: «Чем дальше в лес, тем ну ее на фиг! Что посмеешь, то и пожмешь! Бей в лоб — делай клоуна! Любишь кататься — полезай в кузов! Не плюй в колодец, вылетит — не поймаешь!» А вообще-то был тихий малый, уже имевший двух детей и подрабатывавший где только можно. Он хотел скорее получить диплом, чтобы «стать на ноги», но учился, судя по словам его приятеля, Володи Ломакина, неважно: мешали постоянные подработки и семейные хлопоты.

— Насть, да я шутю, — ныл, прислоняясь к широкостволой сосне, дед Никита, а Настя размягченно махала рукой:

— Да что с тебя, дурака, взять!

— Вот-вот, — радовался дед, — все, что можно, из меня уже другие высосали, — похабник даже чмокал губами.

Суровый Степан, прошлое которого представлялось мне таинственным, потому что — единственный из всех — он ничего не рассказывал о себе, морщился на разговорчики Никиты и бормотал что-то вроде «пустопляс», или «пустобрех», или «пустослов», во всяком случае слово «пусто» звучало явно. Угрюмый, темнолицый Степан был, как и бригадирша Нинка, как и я, — на окладе. Остальные, как я уже понимал, были на сдельщине. Когда я спросил Степана, пользуясь его хорошим ко мне отношением, почему он не на сдельщине, он рассмеялся и шепнул мне:

— Трудовая книжка, мальчонка, должна быть правильно оформлена. А с работы на работу потом всегда можно перейти.

И больше ничего не сказал.

Около девяти приходил Володя Ломакин. Он говорил, что «завел роман» с одной приезжей, «очень красивой женщиной». Пока жена на гастролях, женщина живет у него, а без завтрака она его не отпускает, «потому что любит». «Когда женщина любит, — объяснял он мне, — это великое дело. Она в тебе души не чаёт и все для тебя сделает».

Я это тоже очень чувствовал по отношению ко мне Киры, но мне этого было не надо. А Володя рассказывал: «И ведь случайность свела нас, а? Понимаешь, башлей нет, в преф продулся, я же рассказывал. Пошел все же прошвырнуться по Горьковскому броду, встретил чувака знакомого, тот мигнул извозчику, сели, короче, затащил он меня на халяву в кабак (все эти словечки: башли, кабаки, извозчики — сленг начала шестидесятых — казались мне явлением подлинной жизни, взрослой, не детской, как у меня). А там в глубине сидит одна за столиком *очень красивая женщина*. Я к ней клеюсь, а? Она соглашается, живет она в общежитии, поэтому едем ко мне», — его удлиненное, хрящеватое лицо бледнело, а темные глаза делались масляными.

Почему-то в такие минуты он напоминал мне холеного, удачливого, ловкого черно-бурого лиса — из рассказов Сетон-Томпсона.

«Ох и дураки вы, мужики, кобели проклятые, — говорила слушавшая с вниманием Настя. — Это надо же — на женину постель». — «Помолчи, Настя, раз не понимаешь, — отвечал Володя. — Берет эта женщина бутылку вина, мотор, и мы чалим ко мне. Там я сразу на нее набрасываюсь, она, понимаешь, уступает, а потом мне говорит: «Вы бы

хоть для приличия, сударь, поухаживали сперва». Ну, я так галантно ей подношу бокал вина: «Сударыня, прошу», и прямо в постели пьем. Здорово, а? И я ей говорю: «Я тебя немножко шокировал своим грубым и неприкрытым физическим желанием?» А я ее, как мышь в ведре, гонял. А она: «Ну что ты! Это было так прекрасно». Учись, Боря. Женщины созданы нам на радость, а мы им. И настоящие женщины это понимают, а? Точно, Нинк?»

Нинка смеялась и махала своей короткой ручкой, а Володя щипал ее за бок.

— Эх, Володенька, гуляй, пока молоденький! — пищала она.

— Любишь кататься — полезай в кузов! — поддерживал приятеля и Нинку Гена Муругин и, похоже, не завидовал. Завидовал я, потому что думал, что с моим тяжелым характером, отсутствием легкости в отношениях, обязательностью к словам и тем более поступкам никогда я так не смогу хорошо жить.

Позже всех, с дежурства, приходили милиционеры, Иван и Славка. Иван был ширококостный, медлительней, круглолицый и степенный, хотя силы неожиданно огромной, «медвежьей», когда напрягался. Один раз даже Степана перетянул и на землю повалил. «Тебя бы ко мне в мою старую артель», — сказал Степан, поднимаясь и отряхиваясь. «А у тебя артель была? Когда это?» — любопытствовал Володя.

— Что было, то уплыло, — ответил Степан и принялся, насвистывая, подновлять лезвие топора.

Иван степенно пожимал всем руки, становился на свое место и принимался работать. «Тоску заглушает, — смеялся Славка и добавлял: — Это дело никаким не заменишь».

У Ивана жена была в отпуску, и все подшучивали над ним, только смысл шуток я не всегда улавливал. Мне казалось, что Иван скучает и ревнует, и не понимал, замену *чему* советует ему найти Славка. Иван усмехался добродушно, но работы не прекращал. Славка же, входя в раж, снимал кепку, вытирал лоб, плутовато почему-то всех оглядывал и вдруг как бы неожиданно хватал Нинку за бока, уже терпеливо ждавшую этого ритуала. Он, довольный, смеялся, точно ему удалось то, чего уж совсем не могло получиться, совсем неожиданное. А Нинка, тоже довольная, восклицала: «От баловник!» Нинка мне представлялась странной, хотя и доброй. Станным мне казалось, что ее все тискали, а она не противилась. И однажды, когда я, поддавшись общему блудливому настрою и чувствуя темные позывы собственной плоти, делая вид, что нахально и сильно, сам робко и труся, не касаясь самых влекущих мест, притиснул Нинку, она не отстранилась, а когда отстранился я, по-

казывая, что за кустом кто-то есть, она все же удовлетворенно вздохнула и сказала: «А я думала, Борис, ты меня не уважаешь...».

Ответить я ничего не сумел. Из разговоров, да из книжек, да из сенок я знал, что все бывает, но со мной такого не бывало. И я, например, никак не мог решить, имею ли я право целоваться с Кирой, хотя уже не люблю ее так, как раньше. Уроки жизненной простоты были мне пока не впрок.

— Шабаш! — говорил за пять минут до перерыва на обед Иван, не глядя на часы, словно кожей чувствовал время, и втыкал штык лопаты в землю.

— Ишь ты, Ваня, как ты каждую минутку чуешь, — смеялся Славка. — Измаялся без жены-то. Ничего не поделаешь, терпи. И какой дурак молодую жену одну на отдых пускает? Приедет, такие рога привезет — в дверь не войдешь.

— Она у меня верная, — веско ронял Иван.

— Не бывает таких, — хрюкал дед Никита.

И пихал Настю кулаком в плечо:

— Скажи, Насть!..

Настя отходила в сторону и усаживалась на мох с другой стороны толстого дуба, вокруг которого по утрам собиралась бригада.

— Да двинь ты ему, — посоветовал Иван.

— Бей в лоб — делай клоуна! — орал и Гена-студент.

Но все это было в шутку, в шутку. Да и Настя не всерьез обижалась.

— Чего мне на Никиту обижаться, Боря, — сказала она как-то (мы с ней в конторе ждали начальника, чтоб подписал накладную на новый инструмент — надо было сменить пару сломанных лопат). — Горького-то я в жизни пробовала больше, чем сладкого. Да и не связываюсь я ни с кем. Боюсь. А мужиков, Боря, особенно боюсь. Через вашего брата нрав я и зренья решилась, — так она и сказала — «решилась», хотя неграмотной назвать ее я не мог. — Ты на меня погляди: с личности моей воду не пить. А и я ничего себе была: хороша, правда, не была, а молода была. И ухажер был, замуж брал, в свою семью. А семья справная была. В деревне Сторожихе я жила, за Волгой. Раскулачивать как стали, то Сёмкину семью-то в Сибирь из первых отправили. Он меня с собой стал звать, а расписаться мы не успели, вот мать ехать и не велела: «Тебе, — сказала, — девушка, семнадцать всего, другого найдешь. Эвон куда ехать! В самое Сибирь. А если он тебя там с дитем бросит. Да и не распишется? Может, их, ссыльных-то, не расписывают? Что тогда?» Ну и забоялась я, дура была, а и то подумай: от мамки да тятки не в чужую избу, а в неведомую страну. Отказалась. Он мне кулаком

в глаз, а в кулаке железка. «За подлость твою перед всеми меченой будешь! Никому не достанешься!» — и ушел. А глаз-то и вытек. Так и окривела, что любви не послушалась.

— И вы на него даже не сердитесь?!

— А за что? Прав был. Так и скиталась потом всю жизнь, по сеграм да племянникам. К старости только угол свой появился. А мужика постоянного так и не было. Заклял Сёмка меня. Чего уж мне Никита-охальник!.. Жалко его, тоскует один, пропадает, а уж привыкла я сама, без мужика обходиться. Сама себе хозяйка: хочу — чай пью, хочу — на кровати лежу. — Она вдруг усмехнулась. — А то, глядишь, поноет ещё, пожалею его да приголублю. Дело женское такое, прислониться к кому-то надо.

Вспоминая потом этот разговор, я уже не удивлялся, когда видел, что на приставания деда Никиты она огрызается все меньше и меньше. Хотя, разумеется, житейский смысл происходящего понимал только умом, душой не очень чувствовал: настоящей жалости у молодых мало, сами ещё не биты. Сейчас бы я умилился такому романсовому рассказу, представил бы уютную комнатку, кровать с шпешечками, тюлевые занавески на окне, резной буфет, чай с баранками... А тогда меня больше волновало, как бы так ответить Володе Ломакину, чтоб свою образованность показать, на его рассуждения о лесном славянском язычестве. Чтоб знал, что я не меньше понимаю.

Потому что лес в представлении Володи был какой-то романтический и совсем не походил на тот лес, в котором мы работали. Ни лесных божеств, ни кудесников, ни бортничества, ни тем более разбойников, собиравшихся под заветным дубом во главе с Кудеяр-атаманом, на нашем лесном участке увидеть мне так и не удалось. На человека с разбойным прошлым немного смахивал Степан Разов — своей неразговорчивостью, угрюмостью, какими-то непонятными обмолвками и оговорками, но и он вёл себя более чем законопослушно. Был исполнительен, трудолюбив, за деньгами не гнался. Он, кстати, однажды, совсем неожиданно для меня, срезал Володю, когда тот в очередной раз завел песню о лесном язычестве.

— Чего, не зная, хвалишь?! — вдруг буркнул он. — Вроде грамотный ты малый. И взрослый, большой уже. А все лешие да русалки на уме. Я вот раз Островского пьесу «Лес» видел, а и то понял, что русские писатели лесной жизни не одобряли. Там слуга говорит: «Живем в лесу, молимся пенью, да и то с ленью». В лесу ты, Володя, не живал. Там, кроме как пням да корягам, да зверю лютому, да мошкаре, и молиться некому. Да и то глупые люди это делают.

— Почему глупые? — растерянно спросил Володя.

— Потому что проку нет, — ответил Степан и отошел в сторонку.

К своему стыду, кроме «Грозы» по школьной программе, я Островского не читал и не видел, но больше всего меня поразило, что Степан, который годам к сорока пяти оставался простым разнорабочим, такие пьесы не только смотрит, но и помнит. Немножко не вязалось это знание с его обликом. Но оно и придавало ему налет таинственности. Я поделился своими соображениями с Володей Ломакиным. «Из таких людей, как Степан, в старину небось разбойничьи атаманы как раз и выходили, — говорил я. — Сильный мужик». Но Володя был обижен за свой языческий пантеон и не разделял моего восторга. «Мой предок десяток лет, и не один десяток, в Европе прожил, так там и то нашим язычеством интересуются, ну, ихние дипломаты особенно. Отец с собой даже лапти возил».

Я пересказал эти доводы Степану. «Издали чего не понравится», — сказал он, но больше в прения не вступал, особенно по этому вопросу.

После двадцатиминутного обеда сорок минут играли в карты, в «дурака». Сидя за картами у елового шалашика, со стороны мы, наверно, казались единым лесным организмом (чуть не написал «механизмом», но нет — прямо из земли все мы вырастали, руками взмахивали, бровями шевелили, губами причмокивали, картами по расстеленной холстине шлепали — так же примерно, как дерево колыхало ветками, шелестело листьями и сыпало нам в волосы древесную всевозможную труху). Удачливее прочих были в картах Славка и Нинка-бригадирша, всегда игравшие на пару. «А это тебе на погоны!» — смачно смеялся Славка и припечатывал на плечи проигравшего шестерочные карты. «Это у их ночное, взаимопонимания такая!» — объяснял удачливость Славки и Нинки похабник дед Никита. После карт снова шли работать, но уже с прохладцей, с перекурами, с разговорами, ждали конца рабочего дня и под разными предложениями норовили слинять.

Так бы и прошла, наверно, для меня эта работа случайным и забытым жизненным эпизодом, если бы не пара пенсионеров, Тухлов Данила Игнатьевич и его жена Пелагея Ниловна.

Они попали в бригаду позже всех. Тогда как раз разрешили пенсионерам два месяца в году совмещать полный оклад с пенсией, и они поторопились этим воспользоваться, тем более что на сдельщине трудовая книжка не требовалась. С расчетом, как я нынче понимаю: удастся скрыть эти два месяца, то куда-нибудь устроятся ещё на два месяца. Во всяком случае, шанс такой у них был. Сначала устроился Данила Игнатьевич, а уж затем, дней через пять, его «супружница».

Был Тухлов сравнительно высокого роста, но какой-то извивающийся, с узеньким лицом, широким ртом с тонкими и бесцветными губами, из которых постоянно высовывался красный язычок, эти губы облизывавший. Сразу он стал мне неприятен, напоминал не то вставшего на хвост червя, не то какого-то пресмыкающегося, змея, ходившего на двух ногах. Когда он выяснил, что работа не надрывная, то, умильно улыбаясь, он подошел к Нине Павловне и забормotal: «Супружницу свою старушку приведу. Тоже подработает в семью копейку. Мать все же. Сыну-философу подмогнем, Феликсу нашему. Он у меня аспирант, марксистско-ленинскую философию изучает. И внучка уже есть. А супружница моя здесь и покопать немножко может, и обед разложить, и вещи постеречь, пока мы за молоком ходим». Дело в том, что в обеденный перерыв мы успевали сквозь дырку в заборе, окружавшем с одной стороны наш участок, сбегать в магазин, напоминавший деревенское сельпо, купить по одной или по две — кому сколько хотелось — треугольных пачки молока, что нелишним было к бутербродам всухомятку. «Да приводи, — сказала Нина Павловна, Нинка-бригадирша, — мне жалко, что ли!» Так в бригаде появилась и Пелагея Ниловна, невысокая, плотная старушка, почему-то казавшаяся худой, может, из-за того, что все время приbedнялась. Бутерброды свои, аккуратно завернутые в чайную обертку с фольгой внутри, перехваченную черненькой аптечной резинкой, она доставала последней, когда все уже утоляли первый голод, а недоеденное кем-то, заискивающе улыбаясь и прося разрешения, забирала с собой, объясняя: «Для поросеночка нашего». Но улыбалась она только в этих случаях — просьб, обычно губы ее были брезгливо поджаты, а маленькие глазки из-под круглых очков с оправой, обмотанной изоляционной лентой, глядели на все и на всех осуждающе. Только мужа она ни за что не осуждала, но и на него глядела без обожания и достаточно сурово, хотя ни в чем ему не перечила. Они мне казались не мужем и женой, а скорее братом и сестрой — так были похожи.

Глава III

Споры-разговоры

Вскоре в разговорах бригады появилось что-то непривычное. Оно возникло невольно, и источником его был Тухлов. Мне Данила Игнатевич, как я уже написал, сразу не понравился, но сказать об этом я не решился, да и поводы для моей неприязни казались вполне ничтожными.

Первый случай был вроде бы совсем пустячный, но какую-то недоброкачественность он в нем проявил. Так случилось, что оказался я с ним в одном автобусе. Мы вошли, Пелагея Ниловна села у выхода, он стал у кассы, достал двадцать копеек и стал спрашивать мелочь у входящих. У меня был пятак, который, разумеется, я протянул ему, не бросая в кассу, оторвал себе билет, два ему и сел. Двадцать копеек он не бросил, извиваясь объяснив мне: «Второго пятакча жду». На следующей остановке никто не вошел, а затем, когда автобус остановился в третий раз, Тухлов с женой, не бросив в кассу не то что двадцати копеек, но, прикарманив и мой пятак, выскочили на улицу: «Наша электричка отсюда». Они жили в Лобне и ездили с Окружной. Мне почему-то стало ужасно неприятно. Мальчишки так делали, но и они пятаки знакомых не прикарманивали, мог бы хоть из приличия мой пятак в кассу бросить. «Глупость, Боря», — сказал Володя Ломакин. «Не жалеи пятакча, хочешь, я тебе рупь подарю?» — сказал Славка. А Гена добавил: «Любишь кататься — полезай в кузов!» — что уж совсем ни к чему было. Этот маленький урок я получил, когда мы отошли помочиться за куст. И объяснить, что не пятака мне жалко, я никак не мог.

Другой раз заскрежетало через несколько дней, дней через пять, как Тухлов на работу вышел. Мы находились тогда в молодом осиннике, копая ямы для посадки каких-то новых деревьев.

— Не люблю я этого дерева, — несколько раз произнес Данила Игнатьевич, указывая на осину. И вдруг, внезапно скользнувши меж копавшими ямы, подскочил к тоненькому деревцу и штыком лопаты срубил его под самый корешок. Я тогда впервые увидел, что лопатой можно пользоваться, как топором, как оружием. Срубив, он как-то из-под собственного локтя, из-под собственного плеча обернулся к остальным и выкрикнул, заискивающе улыбаясь:

— Воно как! Знай наших!

— Ты что это, дядя Данила, раздухарился? — спросил Володя.

— Попадет от начальства, — насупясь, сказал милиционер Иван.

— А Нинки-то и нет как раз, — хихикнул Тухлов. — А деревце я поглубже в лес сволоку, никто и не узнает.

— Чем дальше в лес, тем ну ее на фиг! — чему-то радуясь, попытался выразить свои чувства Гена Муругин.

А Славка предложил:

— Давай его хоть для шалаша используем...

— Шиш, — ответил Тухлов. — Ну его. Оно все испортит, да заметно, что свежее. Ну его. Не люблю я этого дерева.

Степан молчал, вылезши из ямы и опираясь на лопату, а дед Никита забормотал:

— Вот это кол, всем колям кол, найти б ещё дуплистый ствол. А, Настасья? Чего это Даниле Игнатьичу деревце не понравилось?! Дерево хорошее: и как кол тоже, ну, не тот, не тот, это я шутю, а против всякой нечисти, колдунов, оборотней, упырей. В грудь его надо вбить. Оно нечисть при себе держит, не отпускает. Июда зря, что ль, на осине удавился?..

— Удивляюсь я тебе, Никита, — говорил узколищый и узкотелый Тухлов, даже приостановившись волочить деревце. — До старости дожил, а ума не нажил. Бабым сказкам веришь. Сколько мы против этого суеверия боролись, а все вам мало наказаний было, все словно и без толку.

— А сам-то чего деревце не любишь? — поддерживая своего приставучего кавалера, деда Никиту, спросила кривая Настя.

— Это мое личное дело, — ответил Данила Игнатьевич. — А вот если б можно было, вот так вот и ваши суеверия повырубить, то хорошо бы было.

И он отволоч деревце в гушину стволов и кустов, засунув под старый валежник. Пришла Нинка с инженером, но никто им про выходку Тухлова не рассказал: нельзя же выдавать товарища по работе, даже если он тебе не товарищ и даже если и не очень симпатичен. Это я ещё со школы усвоил. Да и все где-то эту общинную логику усвоили: один за всех, а все за одного. На нее-то, на эту логику, на эту привычку, Тухлов и понадеялся. Но что-то подлое показалось мне и в его поступке, и в том, как он всех обвел вокруг пальца: хотя всем не понравилось его деяние, но так он его совершил, что никто возразить и укорить не сумел.

И ещё совсем мне не понравилось, с какой легкостью, безо всякого раскаяния, он рассказывал, что в ВОХРе работал, эзков перевозил и охранял. Время было такое, что об этом все говорили и осуждали, а он говорил как о чем-то нормальном. Когда дед Никита в очередной раз принялся повествовать, поглядывая на Настю, как он проводником в поезде работал и как к нему в купе дамочки шныряли, Тухлов вдруг встрял:

— Эх, мне тоже поездить пришлось. Эзков возозить. Тюрьма на колесах. Беспокойная работенка. Это уж, скажу вам, точно беспокоино. Как бы кто стенку или пол не выломал. Ежели дерутся промеж собой, это пускай. Мертвеца и по дороге можно скинуть. Но вот ежели драка для виду, а сами чего замыслили, тут ухо востро держи. Ведь с меня

с первого спросят. Один уйдет — на его место сядешь. Так начконвоя нам говорил.

— Так ты, дядя Данила, типичный продукт культя личности! — воскликнул удивленно Володя. — Небось, и политических возил, а?

— А всяких. И раскулаченных, и политических, и таких вон, как он, — Данила Игнатьевич указал на Степана.

— Это каких же таких, как я? — хрипло вдруг спросил Степан.

— А таких: не плутов, не картежников, а ночных придорожников.

— Дурак ты, Данила Игнатьевич, нашел разбойничка! — криво ухмыльнулся Степан.

— Это точно, Данила Игнатьевич, лучше Степана работника во всем Ботсаду не найдешь, — сказал и Славка.

— Хм, — пробурчал Тухлов (он лежал на траве, опираясь на локоть, а все равно казалось, что его вроде бы неподвижное тело непрестанно извивается), — близ норы лиса на промыслы не ходит.

Милиционер Иван с удивлением посмотрел на Степана, но ничего не произнес, а до всего любопытный Володя Ломакин все же любопытство свое выразил словами:

— Что, Степан, было что-нибудь такое, а?

— Все мое было быльем поросло, — ответил спокойно Степан. — А так если, то кого черт рогами под бока не пырлял!

— Где черт не пахал, там он и сеять не станет, — быстро шелестнул Степану языком Данила Игнатьевич.

В быстроте Степан не отстал, в долгу не остался:

— У кого пропало, а к нам с обыском!

Этот фехтовальный обмен мгновенными словесными ударами поразил меня, да и не только меня. Но если, как я теперь понимаю, Тухлов рассчитывал, что наши милиционеры, Иван и Славка, займутся проверкой прошлого Степана, то он просчитался. Они были простые ребята, и им нравился Степан. Странно только, что в отношении Степана произошла удивившая меня перемена: он с Тухловым стал вроде бы за своего. Что-то сближало их, мне тогда непонятное. Да и сейчас не очень понятно, не брать же всерьез модные рассуждения о возникающей внутренней близости заключенного к тюремщику.

— И долго ты, Данила Игнатьич, в органах служил? — приставал Володя Ломакин.

Указывая своей извивающейся рукой на Славку, лстыиво улыбаясь сыну могущественных родителей — Володе, тот сказал:

— Зеленый ещё был, вон Славки помоложе. Пришел, помню, заниматься, а мне говорят: «Длинный какой-то, и руки небось слабые»,

А тут в комнату заводят такого длинноволосого, морда дрожит, и пеньсьне («пенсне» он выговаривал как «пеньсьне») все с носа валится. Дело летнее, окна открыты, хотя подоконники и высокие. И вот, досель не знаю, проверяли меня иль в самом деле так случилось, а только вдруг и майор и конвоир из комнаты вышли и дверь за собой заперли: дескать, не убегут. А тут этот пеньсьнярик как вскочит, в пеньсьне-то, как вскочит да в момент уже коленками на подоконник взгромоздился. Я заорал, а никто не идет, я его за ноги и ухватил, он лягается, башмаки уж спадают с него, счас вырвется. Ну, вбежали, с подоконника пеньсьнярика сняли, увели, а меня приняли. Долго прослужил, с тридцать первого по пятьдесят третий, а потом просто в ВОХРе при заводе, это уж до пенсии. Далеко, правда, не пошел, так рядовым и остался, хотя сына Феликсом назвал. Да не помогло.

— Не помогло? — ахнул слегка карьерный Славка. — А я выбьюсь. Я на дежурстве недавно одного задержал. Он женщину ограбил на пляже и в кустах бумажник стал чистить. Я к нему, а собака за кустами осталась. Он на меня как шуганет: «Пошел прочь, сопляк, пока цел». Я ещё и без формы был. Тут мой Рекс рыкнул и к нему. Сразу шелковый стал. А здоровый был детина. Покрепче Ивана. Мне сразу грамоту дали.

— У нас тоже грамоты имеются, — разжала губы молчавшая во все время разговора Пелагея Ниловна.

— Грамоты на стенку повесить можно, — сказал степенный Иван.

— Не плюй в колодец, вылетит — не поймашь! — непонятно, осуждая или одобряя грамоты, крикнул Гена Муругин.

Все эти разговоры и разговорчики превращали Тухлова в предмет всеобщего внимания, но не обсуждения. За глаза его почему-то никто не обсуждал. Тем более — не осуждал. Несмотря на его сомнительные поступочки. То он ни с того ни с сего опрокидывал полную тележку с торфом, предназначенным для нескольких ям, в одну, так что торф почти целиком заполнял яму, затем забрасывал ее землей и разравнивал, подхихикивая и подмигивая мужикам. И деревья мы сажали в пустые ямы. То снова, рубил мелкие осинки и сволакивал их в валежник. То вместо того, чтобы, выкорчевывать глубоко сидящий корень, он, напротив, присыпал его землей, чтоб никто не заметил.

Но все же, если по совести, то я пропускал мимо души и эти поступки, и эти разговоры. Так он поступает, ну и пусть. Я, конечно, решил про себя, что Тухлов мне не нравится. Но принимать его близко к сердцу я не собирался. Что меня волновало, о чем я не мог не думать каждую минуту, — это мои отношения с Киной. Точнее сказать, я мог

существовать, что-то читать, о чем-то думать, что-то делать, пока не думал о ней. Как только я вспоминал ее, во мне подымалось тяжкое чувство вины, раскаяния и совершаемого предательства и закутывало всю душу. Я не мог решиться оставить ее. Как же она будет без меня! Я-то не пропаду, хоть я к ней и привык, но она?! Она же не переживет. Ну, руки, положим, на себя не наложит, но все равно — я предал ее. Раз ухожу, оставляю. Результат завышенной самооценки, сказал бы психолог. С психологией я знаком не был, а потому терзался, особенно когда она упрекала меня, что я типичный продукт массового общества, *мидл совет мен*, — она была образованная девочка.

Я вспоминал, как приходил к ней домой, как ее мама, высокая и стройная блондинка, кормила нас обедом или ужином. Мы говорили о чем-то ничтожном вполне. А потом уходили в Кирину комнату, целовались до пьяного головокружения, я ее всюду гладил, но на большее даже в самом воспаленном воображении не покушался. Я был нравственный мальчик и знал, что до брака *этого* нельзя. И к браку все шло. Она надеялась на это, я видел. А мне вдруг даже подумать об этом стало страшно. Не хотел я жениться. Но считал, что уже обязан. Раз мы говорили об этом. Самое же гадкое было то, что, приходя к ней, уже поняв, что не хочу жениться, я не мог себя сдерживать — и все равно мы целовались, и я ее повсюду гладил. В минуты ссор она говорила мне обидные, уязвлявшие меня слова, уязвлявшие, поскольку я считал их справедливыми. Она говорила: «Ты думаешь только о себе. Ты слабый человек, и, как все слабые люди, думаешь только о себе. Ты не в состоянии подумать о другом человеке. Тем более проникнуть в него. Как же ты собираешься стать писателем?! Ты не умеешь жить сердцем, ты живешь только головой. Ты головной человек, который при этом ничего не может решить сам. Ты ни на что не можешь отважиться. Ты добрый, но ты безвольный, у тебя нет центра». Мне казалось, что она проникает в самую мою суть, что я и в самом деле неполноценный человек, не имеющий души и чувств, и очень терзался от этого. В свою очередь, она казалась мне человеком, обладающим всеми теми качествами, которых так недостает мне. И я понимал, что мне невероятно повезло, что я ее встретил. Поэтому я все равно продолжал ходить к ней, и, несмотря на то, что я не хотел жениться, дело вполне могло кончиться женитьбой, потому что она сумела убедить меня, что без нее я пропаду, да к тому же я чувствовал себя связанным поцелуями и оглаживаниями ее тела, которое и вправду было сформовано на славу. Да она и сама это знала, восклицая порой, вроде бы в шутку: «Да я самая красивая женщина на свете!

Где ты ещё такую найдешь?!» А я, глядя на ее стройное тело, широкие бедра, высокую грудь, которую только что держал в руках и целовал, большие голубые глаза, длинные золотистые волосы, всю такую гладкокожую, ухоженную, понимал ее абсолютную правоту. При этом она водила меня в театры и на концерты. И поэтому мои мысли, что я не хочу на ней жениться, что я хочу с ней расстаться, понимались мной как проявление такой внутренней червоточки, о которой даже она не подозревает. Она-то любит меня, хоть я и плохой, и как же она окажется без меня, да ещё с чувством, что он (то есть я) ко всему прочему и предатель. Она этого не заслужила. Она не переживет, что бросают ее, такую хорошую, и даже не ради другой, а просто так, потому что не хотят быть с ней. Мне казалось, что такого подлеца, как я, свет не видывал. До Тухлова ли с его пакостями мне было?!

Впрочем, в один спор-разговор с Тухловым я все же встрял.

Володя Ломакин как-то мурлыкал Окуджаву, бывшего тогда в огромной моде, «ходившего» в основном на пленках и считавшегося потому едва ли не полуподпольным, во всяком случае «не нашим» поэтом. Оказалось, Данила Игнатьевич эту фамилию тоже слышал.

— Не нравится он мне, хотя и грузин. Я вот против него. Есть поэты, которые критикуют наши недостатки, чтобы помочь, как Маяковский, а есть, которые, чтобы очернить, им все тоскливо, им все не по ним. Их не зря враги передают по радио.

— Так ты, дядя Данила, ихнее радио слушаешь? — удивился Володя и даже руки в бока упер.

— Мне можно, — сухо ответил Тухлов. — Я чтобы врага знать. Я слушаю, чтоб с этим бороться.

— Да вы, Данила Игнатьевич, — не выдержал я, поскольку он стал присваивать себе моего семейно любимого поэта, — даже себе представить не можете, как Маяковского ругали за «Прозаседавшихся» или за «Баню». Его и врагом объявляли, и очернителем и писали, что «Баня» — это клевета на старых большевиков!

— Чем дальше в лес, тем ну ее на фиг! — воскликнул Гена.

А Тухлов, извивающийся, словно в клубок скручивался, шипел от неожиданных возражений и из клубка голову поднял:

— Напрасно ты меня путаешь, Боря. Я очень тонко слежу за развитием искусства. Вот и супружница моя скажет. Я и сыну-философу говорю, чтоб он от нашего искусства не отставал, от правильного, которое линию выражает. Но оно у нас теперь отделяется от государства. Возьмите «Грешницу» Евдокимова. Кого он жалеет? Сектантку! Да ее на лесоповал отправить — и всех делов. Да их расстрелять за это мало!

— Кого это? Автор или героев? — возмущался я.

— И героев, и автора, что таких героев выводит. Как мы молодежь будем на таких примерах воспитывать?! Она слушает этого Окуджаву, а не тех, кого надо. А песни у него антисоветские. И напрасно его терпят. И другие нынешние тоже. Один даже против коллективизации в Сибири написал, на Иртыше. Что несправедливо раскулачивали. Вот его точно расстрелять надо. Да если бы не коллективизация, мы бы войну ни за что не выиграли. Спасибо Сталину.

— Как так? — подскочил я, не успев удивиться даже тухловской начитанности. Не производил он впечатления книгочех.

— Потому что все везли на фронт. И солдат не голодал.

— Ну, дядя, — поправил его потомственный дипломат Володя, — это не критерий. Американские солдаты тоже не голодали. А коллективизации там не было. Неужто без коллективизации народ бы фронту хлеб не давал? Ведь война-то была народная, отечественная. Да в военное время в любой стране, помимо всего прочего, контрибуция существует. Вот военачальников крупных Сталин расстрелял, это точно. И с Гитлером заигрывал, верил ему. Да и то не верить! Два сапога пара!

— Ты, Володя, зеленый ещё, молоденький. Мне бы первому против коллективизации выступать! А я за. Потому что своим умом дошел, что так было *надо*. Моя мать с тридцатого по самую войну на трудовни ничего не получала. А я как в начале тридцать первого из армии вернулся, сначала в деревню подался, мать сундучок-то открыла, чтоб тряпки какие посмотреть, меня в штатское одеть, а там только ее платье ветхое, желтое. Мне бы озлобиться, но я понял и мать уговаривал, что так для страны лучше, нужнее. Что мы работаем ради светлого будущего, что в этом историческая необходимость. Прямо как политрук нас в части учил. Я тогда в органы и двинулся. Да и кормили там приличнее, опять же одежда. Еще в деревню приезжал — помогал церковь разваливать. Я бы этих, что в Бога верят, тоже расстреливал.

— Данила Игнатьевич, — хотел я уколоть его посильнее и приветить, как мне казалось, неотразимые аргументы, — в таком случае и Данте, и Достоевского тоже надо к ногтю. Они ведь тоже в Бога верили. Данте самую знаменитую свою поэму как раз и написал про ад, чистилище и рай. Слышали про такого поэта? Он в тринадцатом веке в Италии жил.

— До итальянца мне дела нет. Давно жил и не у нас. Из таких вот фашисты вышли.

Широкоплечий и коротко стриженный Гена, похожий на футболиста, аж шишку уронил, которой он до того играл. Он подкидывал, кру-

жась вокруг разговаривавших, еловую шишку, ловил ее, а потом стал подбивать ее то локтем, то рукой, то кулаком, то ногой — как мяч. Но и уронив шишку, ни слова не сказал, а Володя засмеялся:

— Ты, дядя Данила, не только продукт культа, ты прямо-таки персонаж из «Бани».

— При чем здесь баня? — строго сказала Пелагея Ниловна. — У нас дома ванна.

Она стояла около мужа, словно охраняя его, глядя на всех сквозь маленькие круглые очки подозрительно и настороженно, как маленькая змейка при большой гадине. Было видно, что она готова вцепиться в каждого, кто покусится на ее мужа, одновременно гордясь им и восхищаясь. Но тот отмахнул ее защиту рукой, понимая, что Володя имел в виду другое. Но и Володя не стал распространяться. Его тонкая, слегка удлинненная, хрящеватая физиономия имела выражение высокомерия и иронии, не принимающей слова Тухлова всерьез. Остальные, столпившись вокруг, помалкивали. Похоже, что завелся один лишь я. Милиционеры, Славка с Иваном, сидели на корточках, пересыпая в ладонях песок и камешки. Степан стоял у ствола березы и молча жевал травинку. Дед Никита лег на траву и приложил голову к ноге сидевшей у дуба Насти. Нинка обняла сзади за шею сидевшего на корточках Славку, навалившись на него своей большой грудью, но упасть ему не дала, они застыли в неустойчивом равновесии, а Нинка промывчала что-то вполне бессмысленное:

— Глянь-ка, от спорщики! И Борис туда же!

Надо сказать, что я первый раз в жизни почувствовал себя в центре всеобщего внимания. Это и подогревало, и мешало. Слова из меня выходили глупые, напыщенные. А Тухлов оказался все же грамотнее, чем я ожидал. Потом только я сообразил о причинах этого. Конечно, сын-философ, а самое главное — эков-интеллектуалов возил, вот, небось, разговоров и наслушался. А Тухлов распалился. Даже его привычная искательность пропала. Он раскачивался всем телом, стоя на коленях, и разглагольствовал, поминутно тонким красным своим язычком облизывая бледные губы.

— Ладно, итальянца не надо. А Достоевского твоего не зря запретили. А нынешних, что так пишут, вообще расстреливать надо. Ну хорошо, хорошо, пусть не расстреливать, а изолировать! А то нашлись разоблачители!.. От этих разоблачений только вера пропадает у людей!

— Правды испугался? — интимно так, но громко шепнул Володя.

Гена захохотал:

— Чем дальше в лес, тем ну ее на фиг!

— Какой такой правды? — язвительно спросил Тухлов.

— Про лагеря, про аресты, про культ личности, — самым своим честным, искренним и нравственным голосом сказал я, выразив голосом ещё и возмущение, поскольку все на меня смотрели. Я и в самом деле так чувствовал, как выразил, но оттенок ненатуральности приобвился от посторонних глаз.

— Про лагеря? — переспросил, выбросив по направлению ко мне голову подбородком вперед, Тухлов. — Так я и так про них знал. Я там работал. Ты думаешь, Боря, там одни невинные сидели?.. Ну, конечно, бывали ошибки. Даже в этом деле бывали. А большинство — заклятых врагов, даже и интеллигенты ваши. Они только лучше скрывать умеют, что думают. На то, Боря, человеку язык дан, чтоб скрывать свои мысли. В зоне так один профессор все повторял. Ничего, признался. Едреныть! — добавил он почему-то. — А у меня чутье против таких. Я их чувствую. Я свое чутье не один год развивал. А интеллигенты все хитрые как на подбор. Они Сталина не ругали в лагере, они Ивана Грозного все поносили. А на самом деле это против социализма они свое зло направляли.

— Данила Игнатъевич, да что же вы такое говорите! — почти закричал я, обрадовавшись, что могу возразить по существу. — Современники называли его сыроядцем, а историк Карамзин и декабристы, первые русские революционеры, тираном. Он загубил последние остатки российской воли — новгородскую республику. А бесчисленные казни, доносы родственников друг на друга, детей на родителей, родителей на детей!.. Разве они не понизили уровень нравственности в народе?.. Что ж тут хорошего? Об этом и фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный»...

— Я смотрел, — отрывисто, как плевками, заговорил Тухлов. — Первую серию. Она так и называется «Боярский заговор». Бояре Ивана отравить хотели. Они не хотели единого государства. Они мечтали Россию продать. Татарам или ливонцам. Если б не Иван Грозный, страна бы погибла. А если бы Иван не придавил бояр, то не было бы мощного государства, которое нас с вами защищает. — Подумал и добавил: — А также идеалы социализма. Вот и выходит, что ругать Грозного — значит ругать социализм.

— А разве республиканский путь Новгорода не лучше был? — продолжал я блистать историческими познаниями. — Герцен говорил, что это был вполне возможный альтернативный путь.

Но за мной была неглубокая начитанность, за Тухловым — убеждения всей прожитой жизни.

— Это все пустые слова, — отбросил мои возражения Данила Игнатьевич. — Мягкотелые слова. Иван государство расширил, увеличил и создал сильную власть. Это сейчас все размякли, всё болтать позволено. А я скажу, кто не любит Ивана Грозного, тот не любит и Сталина. А Сталин почти социализм построил!

— Это в лагерях-то?! — закричал я, вскакивая.

— Лагеря социализму не помеха, — афористично ответил Тухлов.

Но тут включился аристократично-насмешливый, знавший, как надо говорить, Володя Ломакин:

— Так ты, дядя Данила, выходит, против линии *двадцатого* и *двадцать второго* партийных съездов! Политику партии не одобряешь, а?

Тухлов аж весь сжался, сморщился, стал прежним искательным, извивающимся существом. Даже жалко стало на него смотреть.

— Да ты что, Володенька! — залебезил он, весь обмяк и заскользил, как уж, куда-то прочь. — Никогда. Я только так сыну и говорю, чтобы делал все, как партия скажет. Выполнял все предписания. А как же иначе, как же иначе. Только мне кажется, построже надо бы, построже.

Все захохотали поражению Тухлова. Даже угрюмый Степан усмехнулся. Только Пелагея Ниловна зыркала на всех сквозь круглые очки злобными глазками, но молчала. От хохота Славка не выдержал сидеть на корточках с навалившейся на него Нинкой и упал на землю. Нинка на него. Они забарахтались. А Володя запел, пританцовывая вокруг Славки с Нинкой, что всегда пел, когда видел их вместе:

Сегодня я со всей охотою
Распоряжусь своей субботою.
А если Нинка не капризная,
Распоряжусь своею жизнью я.
Сегодня жизнь моя решается,
Сегодня Нинка соглашается.

Гена, указывая на барахтавшихся на земле Славку с Нинкой, выкрикнул свою привычную нелепицу:

— Любишь кататься — полезай в кузов!

Этим эпизодом и разрядилась ситуация. Но, очевидно, именно этот мой спор с Тухловым имел в виду Славка, когда, позвонив, просил меня прийти и выступить, уверяя, что я смогу, именно я смогу. А в тот день все работали молча, только Тухлов всем прислуживался (то лопату, упавшую в яму, достанет, то пень отогнет, чтоб удобнее было

корневище перерубать, то ещё что) и искательно улыбался, заглядывая в лицо. Странно мне было, однако, что никто его не сторонился и его услуги охотно принимали.

Вечером после работы, когда я шел к шоссе, Тухловы увязались следом, догнали меня.

— Вот и нам, людям пожилым, на автобус надо. Так мы уж заодно с молодежью, — суетился, извиваясь, Данила Игнатьевич.

Я кое-как поддерживал разговор. Не умел я грубить старшим. И даже к концу пути разговор стал вполне дружелюбным. Тогда мне даже в голову не могло прийти, что «Тухлов затаился», что «он свое возьмет» и т. п. Такое только в книгах бывает, мне казалось.

Глава IV

Осиное гнездо

Когда я в тот день, как рушили осиное гнездо, явился на участок, ещё не все были в сборе — отсутствовали студенты, Степан Разов и Тухловы. Похабник дед Никита вёл рассказ, обращаясь к Насте, но слушали все: рабочий день ещё не начался.

— У-у, я, Настя, настоящий лесовик в младости был. Лес лучше, чем родную жену, знал, — дед Никита морщил щетинистое лицо. — Я и лешего однажды подстрелил.

— Врешь ты, дед, всё, — сказал сидевший на земле Славка.

Нинка, Настя и милиционер Иван сидели на пенках.

— Ну-у, вру! Вот и не вру! Как-то в деревне нашей попова дочка пропала. Да ты не лыбься, слушай. Года три прошло, так и гинула девка. Отец с матерью поревели да забыли. А я все жалел. Сочная была такая, никем не опробованная. Ну, ладно. Вот я пошел раз на охоту. Ничего не подстрелил, словно кто зверя отводит. Совсем в чащу забрел. Гля, сидит на колоде дед, деревяшечкой этак по колоде постукивает и поет тихохонько: «Светит месяц, светит ясный». А уж и впрямь свечерело. Ну прямо как вас его вижу. Совсем седой, власы длинные, борода тоже длинная. И чего-то жуть меня забрала.

Дед Никита рассказывал так убедительно, что я, хотя было утро, посмотрел на небо, нет ли месяца, по спине изморозь прошла. Остальные тоже поежились и внутренне затаились.

— Я и говорю ему: «Ты чего такой седой?» Грубо, конечно, но это от робости так спросил, — продолжал дед Никита. — А седовласый

мне отвечает: «Оттого я сед, что я чертов дед! — И хохотнул громко так, словно бы даже на весь лес: — Хо-хо-хо! Хо-хо-хо!» И пошел куда-то. Долго меня по лесу водил.

— А ты чего за ним поперся? — спросил подошедший Степан.

— Так надо по народным поверьям — за лешим идти, — пояснил Володя Ломакин, оказывается, все время рассказа стоявший за кустом бузины.

— Откуда это все ты про обычаи знаешь? *С народом*, наверно, общаться много приходилось?.. — неожиданно зло сыронизировал Степан.

— Мужики, да хватит вам! — сказала Настя.

— Охота дослушать, — поддержала ее и Нинка. А дед Никита пояснил Володе:

— Насчет поверий, Володенька, не знаю, врать не буду. Это уж когда я проводником работал — там наслушался, это точно. А тогда я и не понял сразу, что это леший. Такой уж я человек — любопытно мне стало. Кружили, кружили, до избушки докружили. У избушки-то я и понял, потому как он молвил: «Избушка, грит, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом». Словно к бабе обращался, хе-хе. А избушка тут и впрямь повернулась. Из ружья-то я быстренько пулю вынул, оловянную пуговицу с гимнастерки содрал и вместо пули затолкал. Он на крыльцо прыг, я за ним, да в спину-то лешему из ружья и пальнул. Он лег и помер. Я перешагнул в помещёние-то, а там девка молодая сидит. Упитанная такая, только что поизносилась у ей одежда вся, ходила как есть голая, ничего не стыдилась. Взял я девицу за руку и за собой в деревню повел. Она подичилась, конечно, поотнекивалась, а потом пошла.

— Так сразу и повел? — воскликнул Славка. — И не приложился?

— Приложился, как не приложиться! Скусная была. Привел домой. Поповой дочкой оказалась. Леший-то ее увел да как с женой три года, стало быть, с ней жил.

— Видали мы этих леших на лесоповале. Небось, зэк какой беглый и был, — это Тухлов подошел.

— Это уж тогда про тебя сказочка была бы, Данила Игнатъич, — ухмыльнулся дед Никита. — А у меня вот — леший.

— Гли, — вдруг оборвал перепалку Славка, — как от Никитовой сказочки Ивана поводит. Аж грудь себе рукой трет да вздыхает. А почему? Сонька егойная сегодня возвращается. Дня три теперь из постели вылезать не будет. Сонька, она и мертвого подымет, говорят, а Ивану она — самый мед.

— А ты откуда знаешь, что она мертвого подымет? — через голову Ивана поинтересовался Володя.

— А Нинка рассказывала, они подружки были, — объяснил Славка.

— Верно, Нинок! Подымет? — Володя обнял Нинку за плечи, но она, против обыкновения, была недовольна, вывернулась, ушла. А Настя угрюмо сказала:

— Вместе гуляли. Да вон Сонька в гулянке мужа оторвала, а Нинке все оскомина от таких гуляк, как Славка этот.

Славка начал что-то отвечать Насте, а я от этих разговоров почувствовал, как грудь у меня сжалась и накатила тоска, потому что вспомнил, *как* я вчера вечером был у Кире.

Накануне вечером я не пошел в университет и отправился к ней. Она просила прийти, родители ее были в театре. Я шел к Кире и чувствовал себя как загнанный, затравленный заяц, добровольно идущий, как уверяет легенда, прямо в пасть к удаву. Ноги у меня дрожали и подгибались. Я не хотел к ней идти, и вместе с тем у меня не хватало духу отказать от визита. Хотя я заранее испытывал тоску от ее веселого, доброжелательного выражения лица, от того, как она будет поить меня в *гостиной* чаем, от полированной мебели, лакированных полов, внешне невинного *светского* разговора, имеющего подтекстом недовольство моей нерешительностью (хотя сейчас, задним числом, я так и не могу понять, что она нашла в своем сверстнике, что вцепилась, словно в выгодную *партию*, разве только я казался ей того же *круга*). Сердце у меня колотилось. Я заранее чувствовал свою беспомощность в грядущем разговоре. С трудом нажал кнопку лифта, напомнив себе, что ее родители в театре, но не понял, радует меня это или огорчает. Похоже, я должен был что-то окончательно сказать. Но что? То, что она хотела, я не мог, а свое выговорить не смел. Почему? Трудно объяснить. Характер, видимо, у нее был сильнее, а я боялся причинить ей боль.

— А, Борька! Заходи, — широко распахнула она входную дверь. Она была, разумеется, в халатике, доходившем ей до колен, и тапках-лодочках. У них была общая входная дверь на три квартиры. Не дожидаясь моего скомканного ответа, она сделала светский взмах рукой и пошла к своей квартире, предоставив мне закрыть дверь, что я и сделал. И поплелся следом, ощущая, словно меня ведут на веревочке. А она была *проста*, как в общем обществе. Родители ее были прилично зарабатывающие журналисты, она — единственная дочка. Так получилось, что с Кирой я познакомился на премьере симоновского «Четвертого», куда отцу дал приглашение его знакомый театральным режиссер Звонский. Отец взял меня с собой. Я помню, что после спектакля (а это был молодой «Современник») мне захотелось немедленно говорить *правду*, словно я ее знал. И похоже было, что все так же

чувствовали. Но я не понимал, что премьера модного спектакля — ещё и светское мероприятие, и это было точкой отсчета в нашем знакомстве для Киры. Я оказался из *круга*. А может, и впрямь понравился...

«Чаю хочешь?!» — крикнула она из кухни. «Хочу». Я тоже делал вид, что все просто, все так и должно быть, что мы взрослые светские люди. Пока я снимал башмаки и надевал тапки, Кира крикнула уже из гостиной: «Борька, тебе с лимоном? Я забыла, как ты любишь!» Все она помнила, но проявляла непринужденность. «С лимоном», — ответил я столь же небрежно. Она доставала из серванта чашки. На столе уже стояли серебряная сахарница, сахарница, блюдо с яблоками, варенье. «Борька, захвати чайник с кухни, ладно?» Это небрежное «Борька» должно было означать одновременно и близость, и отсутствие интимности, а то я был бы «Боренька». Я принес чайник. «Ставь туда», — она мотнула головой, волосы взвились, хорошенькое личико улыбнулось. «Кирка, ты типичная кукла», — сказала как-то при мне ее *старшая подруга*, на самом деле приятельница родителей, журналистка. «Ты что? Я настоящая, живая. Вон, можешь потрогать», — но сказано это было капризно-детским тоном. Конечно, настоящая, но хрупкая — вот что ее тон значил. «Это пусть Борис делает», — засмеялась журналистка. Кира мило покраснела. Что ж, единственная дочь высокоинтеллигентных родителей!.. «Ну давай пей», — сказала она, подвигая мне чашку. Я по привычке попытался обнять ее. «Нет, ты сперва чай пей, а уж потом будешь меня хватать и лапать». Так понимала она простоту, считая, что *это* можно говорить,

А я и не собирался хватать. Движение было инстинктивное, чтоб заглушить в себе то, что я пришел сказать. А сказать я наконец хотел, что мы разные, что, хотя мы говорили с ней о женитьбе, я жениться вовсе не хочу. Надо сказать, что каким-то образом мое невысказанное намерение она поняла. И принялась рассуждать, пока я туповато пил чай, заедая его вареньем, что *современный мужчина* уже не настоящий, каким он должен быть: «Современный мужчина уже и не мужчина вовсе. Он гонит женщину на работу. Он не в состоянии обеспечить ей жизнь. А от этого возникает и его собственная неполноценность и фальшивость семейной жизни. Женщину нужно оберегать и лелеять. Иначе женщина не сможет создать *дом*, придать ему *атмосферу*». Но я хотел учиться, я не хотел работать, зарабатывать деньги «на семью», видеть в себе средство для добывания денег. «Да и какие деньги я могу заработать? — думал я. — Мне ещё годы нужны, чтобы я стал тем, кем хочу стать. Да и тогда будут ли деньги? Не хочу жить ради зарабатывания». Хомут был близко, но она неумело надевала его на меня, а потому я вздергивал голо-

вой, и хомут сваливался. На что она могла рассчитывать? Что нас будут содержать родители? Что мои родители — *со связями*? И куда-нибудь меня запихнут? Но и этого не было. Я казался себе плохим, не настоящим, то есть не таким, каким она меня хотела видеть, но и «настоящим» становиться не хотел. Где-то в тайнике мозга я чувствовал себя (в чем сам себе признаваться не хотел) маленьким зверьком ещё неизвестной породы, которого схватила пушистая роскошная куница и им играет. Я пил чай, стараясь глядеть на нее «с нежностью», что мне мало удавалось, потому что я мечтал о свободе. Но как получить ее, я не знал. Чтобы не молчать, я начал было рассказывать ей о бригаде, о Тухлове, о лесе как символе человеческой жизни. Интересничал. Выдавая за свои рассуждения Володи, важно говорил, что мы все, в сущности, лесные жители, что Москва выросла из леса, что лес даже в названиях улиц сохранился: Полянка, Моховая, Лихоборы, Марьино роца, Лесная, Сивцев Вражек, Болотная площадь и тому подобное. Но ей это явно было неинтересно, хотя она и пыталась слушать. Делала вид, что слушает. Да и я говорил, думая о другом. Отчаяние мое от собственной нерешительности было таково, что я, ведя «интеллигентную беседу», мечтал о чудовищном: чтобы, скажем, неожиданно, вдруг, сейчас взорвался от газа дом и погреб ее и меня под обломками — это мне казалось замечательным разрешением проблемы наших отношений. *Чтоб найти избавление от чувства ответственности.* Чтоб все произошло само. Чтоб не принимать решения. Чтоб как-то само собой все решилось. *Помимо моего участия.* Чтоб все сделалось как мне лучше и как мне хочется, но чтобы я никому не возражал, не причинял горя и обиды. Чтоб не говорить никому: нет. Никого (тем более ее!) не осудить и не обидеть.

Потом мы пошли в ее комнату, «девичью светелку» — с книжными стеллажами во всю стену, письменным столом, комодом, полутораспальной кроватью, на которой мы целовались и обнимались, и балконной дверью, которой я смертельно боялся. Один раз, когда ей показалось, что я хочу «ее оставить», она распахнула эту дверь, выскочила на балкон и крикнула, что если я такой подлец, то она немедленно выпрыгнет с седьмого этажа. А я на коленях (или почти на коленях) умолял ее вернуться в комнату, уверяя, что ей показалось, что, конечно же, я люблю ее по-прежнему. Теперь-то я думаю, что на мне ей удалось отработать весь свой женский орудейный арсенал. Если бы мне тогда это кто-нибудь объяснил!.. А с другой стороны, что толку?.. Все равно бы не поверил. Мы уже лежали на полутораспальной кровати целуясь, халатик Киры был растянут, под ним — по жаркому времени и для красоты — купальник; я гладил ее, целовал плечи, грудь, колени, го-

лова горела, и из нее вылетели все жалкие понятия о свободе. Мы оба были распалены и на грани «падения». Но что-то нас удерживало. Она, очевидно, не решалась выкидывать свою козырную карту, все-таки в глубине себя сомневаясь во мне как в будущем своем супруге и соблюдая свою непочатость для грядущего. А я — ещё хуже, я тоже в той же глубине чувствовал, что уж если я настою, то, значит, взял на себя ответственность, прощай свобода, которой, конечно, в этот момент было не жалко, но охлаждали ее сопротивление и бессвязные слова: «Мы поженимся? Давай пойдем завтра и подадим заявление. И пусть мои родители сердятся. Завтра пойдем в загс и подадим заявление. Тогда можешь со мной делать что угодно, не опасаясь никаких родителей». От случайного прихода ее родителей мы запирали дверь на щеколду. И преувеличенно боялись их, хотя они никогда не заходили в ее комнату, когда я там был. Так ничего мы вчера и не совершили, хотя провалялись на кровати часов до двенадцати. Домой я вернулся после часа ночи, измученный и обалделый, да ещё получил нагоняй от мамы за поздний приход и суровое предупреждение, чтобы я не вздумал (словно она понимала, где я был!) жениться, пока «не встану на свои ноги», чтоб не дал себя «окрутить». Крестьянская практичность мамы, порой меня раздражавшая, в этом случае подтверждала мои сомнения. (Надо сказать, что женился я через два года, так и «не став на ноги», но тогда я уж никого не слушал.) Отец молчал и ничего не говорил. И конечно же проснулся я невыспавший и в полном душевном разброде, поэтому утром на участке я чувствовал себя в некоем ступоре. Я слушал разговоры и даже их воспринимал, но как-то отстраненно. Говорили о пословицах — их пользе или бесполезности. Разговор этот вызвала привычка Гены заменять обычную речь пословицами. Володя рассуждал, что есть острые слова, это-де одно, а есть устойчивые словосочетания, которые не имеют прямого смысла и потому применимы в любых ситуациях.

— Позволь с тобой согласиться, но не совсем, — извиваясь всем телом, лебезил Тухлов. — Пословицы всегда применимы, но не всегда без смысла. Мне сын говорит, что у философов в ходу такая пословица: готовь сани летом, а телегу круглый год.

Володя захохотал:

— Твоя взяла, дядя Данила! Это ко всем применимо, ей-ей, ко всем, и смысл есть.

Тухлов старался скрыть свое торжество, прятал лицо, но само его тело ликовало, то словно сокращаясь, то снова увеличиваясь.

— Ты небось сам сына и научил, — мрачно сказал Степан. Он явно с утра был не в духе.

— Почему я? Почему я? Жизнь научила.

— Какую такую ещё «телегу»? — не поняла Нинка. Я тоже не понял, но спросить не решился.

— Все же ты у нас ужасно наивная, Нинок, — притиснул ее к себе Володя. — Телега — это, ну, донос, что ли. Неодонос. Новая форма, рожденная творчеством бюрократических масс. Как у родителя на службе говорят, когда кто-нибудь в *поездке* проштрафился: на него телега пришла. Это значит, прокололся где-то, погорел. Ну а после телеги ходу тебе не будет. Вот мы в студенческом клубе спектакль ставили, на нас райкомовцы телегу послали. Спасибо папахену, отстоял.

— Эй! — прервал болтовню Иван, вскакивая с пенька, распрямляя плечи и хватая лопату. — Пошли работать. Я сегодня раньше уйду.

— К Соньке торопится, — объявил всем Славка, пихнув Ивана кулаком в плечо.

Тот не обиделся, только улыбнулся широкой, счастливой улыбкой и сам похлопал себя ладонью по могучей груди. Он будто, не скрывая, ликовал, что ляжет в постель с Сонькой.

— Сильнее бабы зверя нет, — хихикнув, сказал дед Никита, щипнув за бок Настю. Она уже на его щипки не отмахивалась.

Все улыбались. Только жена Тухлова ни на секунду не разжала губ, глядя сквозь круглые очки прямо перед собой, да сам Данила Игнатьевич проворчал сквозь зубы:

— А получать, стало быть, как все будет. Вот тебе и сдельщина. Это неправильно, это ложная уравниловка.

— Не ной, — оборвал его вдруг Степан, услышав тухловское бормотанье. — Ты с твоей бабкой в неделю не выработаете, что Иван в день делает. Он уже по вашим меркам на месяц вперед наработал. Так что ковырайся с лопатой да молчи в тряпочку.

— Данила Игнатьич говорил об аккуратности в работе, — тут же выскочила на защиту мужа Пелагея Ниловна, резко обернувшись.

— На чужом хребте легко работать, — отшил ее резко Степан.

— Да ладно тебе, Степан, не злись на мою супружницу, она спроста, меня защищает. Человек глуп, да отходчив.

— А что есть человек вроде тебя, знаешь?

— Не, не знаю.

— А я те скажу. Стоят два кола, на колях бочка, на бочке кочка, на кочке дремучий лес, а в лесу бес. Вот ты каков.

Преираясь, они двигались вместе со всеми к делянке. Степан в тот день был раздражен и не только не был стоворчив, как все предыдущие дни, но явно шел на скандал с Тухловым, на ссору, возможно, и на дра-

ку. Я это почувствовал, а Тухлов не только почувствовал, но и понял, что Степан *бунтует*. Что-то было не по нему. А может, время пришло, может, слишком долго был он послушным да стоворчивым. Больше всего его, как я видел, раздражали «потомственный дипломат» Володя Ломакин и Тухлов. Но если Володя от нападков Степана отделялся великолепным презрительным равнодушием, словно не замечая Степанова раздражения, то Данила Игнатьевич поступил много хитрее, направив агрессивную энергию Степана в другую сторону.

— Да я чего. Я так просто. Ты что, Степанушка, — заизвивался, заскользил словами Тухлов. — Я против Ивана ничего не имею. Я про что думал, что, может, Ивану тоже интересно будет глянуть, что я видел. Прежде чем он уйдет. Я, как сюда шел, гнездо осиное, колоду ихнюю на сосне видел. Камешком их шуганул слегка, они и закружились. Большие, злые. Я испугался и к вам скорей. Показать хотел, да за разговором подзабыл. А то айда смотреть.

То, что Тухлов не любил работать и пользовался любым предлогом, чтоб от работы ускользнуть, я давно заметил. И сейчас, как мне показалось, его приманка на осиное гнездо того же сорта. И я думал, что Степан ему что-нибудь такое и скажет. Но он остановился, злобно поглядел на Тухлова и спросил:

— А не врешь? Берегись, если соврал.

— Чего мне врать? — сделал обиженное лицо Данила Игнатьевич. — Мужики! Осиную колоду хотите глянуть? — обратился он ко всем.

И опять, к моему удивлению, все остановились и загорелись, как дети, желанием немедленно поглядеть осиное гнездо, несмотря на слабые укоры и возражения Нины Павловны.

— Веди, показывай! — был общий клич.

— Глазастый ты, дядя Данила, сукин сын! — воскликнул Славка и тут же, поворотившись к Пелагее Ниловне, извиняясь, добавил: — Я без обиды. Дядя Данила прямо как разбойник: все зырит, что плохо лежит.

Я во всю мою жизнь (хотя и много подобного потом навидался) не мог понять причины, по которой взрослые люди могут бросить все свои дела и дружным стадом мчаться бог знает куда, будто и в самом деле ничего нет важнее, как увидеть осиное гнездо или что-нибудь в этом духе. Следом за мужиками зачепали и женщины. Следом за ними потащился и я.

— Да тут рядом, недалёко, — суетился Тухлов. Пошли мы не по дорожке, даже не по тропиночке, а прямо меж невысоких кустов крас-

ноягодной бузины и густых, разросшихся, с обломанными ветками кустов орешника; листья уже начали вянуть и облетать, но ещё их оставалось вполне достаточно, чтоб скрывались из глаз ушедшие вперед. Ноги утопали в желто-зеленом хвойно-листовом насте, там, где была земля, покрытая только хвоей, можно было даже поскользнуться. Тухлов вёл довольно быстро, так что приходилось спотыкаться о невидные под листьями выступающие из земли корни. «Где бы ни работать, лишь бы не работать — вот принцип социализма. Попробовали бы у капиталиста так пофилонить!.. Конечно, лучше гнездо смотреть, чем землю копать», — ворчал я про себя, но втайне был доволен случившейся оттяжкой работы.

На высокой толстой коричневой сосне, на высоте в три, а то и четыре человеческих роста, и впрямь висела перпендикулярно к земле толстая цилиндрическая колода. Она была прибита прямо к стволу дерева за верхнюю и нижнюю планки, которые в свою очередь были прибиты к колоде. Ясно было, что колода — дело рукотворное, что кто-то не случайно ее сюда привесил. Из колоды шел мощный негромкий гул. Кто-то, видимо, ее выдолбил из дерева, оборудовал и повесил. «Кто бы это мог быть?» — гадали мужики. Они остановились перед сосной, задрав головы. Надо сказать, что в этот момент, одетые в одинаковые ватники, в одинаковых рукавицах, они мало отличались друг от друга — скажем, «потомственный дипломат» Володя от милиционера-лимитчика Славки. Одинаковое любопытство изображалось на всех лицах. В середине колоды виднелась дырка — вход. Перед этим входом, жужжа, сутились две или три осы. Они то втягивались в дырку, то вылетали обратно, словно наблюдая за нами, словно часовые, заметившие неприятеля или нечто подозрительное, собиравшие наблюдения непосредственному начальству и посланные продолжать наблюдения.

— Гли, не соврал Игнатич-то, — сказал Славка.

— А если камнем фигануть? — предложил вдруг Тухлов.

— Тебе бы все фигачить что ни попадя, — огрызнулся Степан.

— А ты у нас праведник!..

— Да нет, куда уж там.

— Ну и я нет. Интересно же, что будет.

— Интересно, — неожиданно согласился Степан.

А дед Никита вдруг подхватил два кома земли и пульнул вверх, но не то что не попал, даже не добросил.

— Слабовато, старый ты хрыч, — сказал Степан, шаря глазами по земле. Я понял, что он искал камень.

Вернулся бегавший куда-то Славка с пригоршней камней, за ним не спеша шел Иван, тоже держа в горстях камни. Я сразу догадался, откуда они: такие камни были насыпаны по бокам дорожки — для крепости, чтоб ее не размывало.

— Там ещё дополна, — сказал Иван, ссыпая камни на землю.

Гена с Володей сразу нырнули в кусты по направлению к дорожке.

— Ну, мужики раздухарились, — сказала рябая одноглазая Настя, обращаясь к Нинке. — Пойдем в сторонку, посидим.

— Вы бы, бабоньки, — залихватски вдруг так выкрикнул Тухлов, — на атасе бы постояли, чтобы кто не попутал.

Явились Володя с Геной, но их камни били мимо колоды, раз только Володя попал в ствол сосны, так что она загудела, и из колоды вылетело, недовольно жужжа, ещё с пяток ос. Иван со Славкой мазали непрерывно. Тухлов своим камнем чиркнул по боку колоды, а Степан, выбрав большой самый камень, все примеривался. Только и слышалось:

— Дай-ка мне!

— Нет, дай-ка я!

— А если с двух сторон разом?!

— Дай и я фигану!

— А-ах!

— Бряк!

— Кряк!

— Трюх!

— Брюх!

Мужики, почти ни на минуту не останавливаясь, швыряли камни. Чаще всех попадал Степан. От его ударов колода гудела, трещала, вылетали стайки ос, но тут же скрывались обратно, словно жители осажденной крепости, решившие отсидеться за укрепленными стенами, а не встречать бой в чистом поле. Милиционеры, забыв, что они представители правопорядка, в общем экстазе не отставали от других.

— И-эх! — восклицал каждый раз Тухлов, когда камень попадал в колоду, а осы вылетали, злобно жужжа. — Злые они, эти осы, как ээки, не приведи господь столкнуться!

На эти слова Степан зыркал на Данилу Игнатьевича, но ничего не говорил, увлеченный камнеметанием.

— А если вдруг все да вылетят на нас? — опасливо спросил дед Никита после очередного мощного Степанова попадания. — Их же тут много, налетят, как татары на Русь, заедят нас.

— Не бойсь, дед. Бояться потом будешь. Да и то — какой русский татарина не бивал! — подначивал Володя. Его явно все это забавляло, но сам он уже отошел в сторону, не принимая участия в разрушении.

Рядом с ним стал Гена Муругин, восклицая при промахе:

— Чем дальше в лес, тем ну ее на фиг!

А при попадании:

— Бей в лоб — делай клоуна!

Я подошел к ним, всем своим видом выражая растерянность.

— Народ, Боря, веселится, — улыбнулся мне Володя, — а ты не робей. — Он стоял у куста орешника. Отломив ветку, он неторопливо очищал ее от листьев и коры. — Древние говорили: есть время собирать камни, а есть время их бросать. Препятствовать этому невозможно, особенно бросанию. Потому что в этот момент происходит полное единение всех слоев народа. — Он полуобнял меня за плечи, как в тот раз, когда говорил, что вот из лесу выйдет Дажь-бог или Велес. — К тому же постарайся увидеть в этом нечто светлое, праздничное, карнавальное. Раскрепощение природных инстинктов. Безо всяких, старик, запретов и догм. Все-таки хорошо, что рабское христианство не задавило наши натуры. Ты погляди на Степана: языческая стихия в нем играет.

Я поглядел, но мне Степан показался страшен. Он совсем не подходил на себя обычного, угрюмого, но спокойного. Волосы его трепались, лицо налито красным цветом, плечи, руки, корпус были в непрерывном движении: он наклонялся, хватал камень и мощной рукой посылал его в колоду. Он почти никого не видел вокруг себя. Я почему-то сразу вспомнил, что как-то на вопрос Володи Ломакина, пьет ли он, Степан отвечал отрицательно, а когда все на него недолго посмотрели, пояснил: «Меры не знаю». И сейчас Степан казался во хмелю, буйном и тяжелом.

— Нет, так дело не пойдет, — сказал Тухлов после очередного бесплодного удара камнем по колоде. — Этак мы их оттуда не выкурим. Нужно их чем-нибудь покрепче фигануть.

— Это точно, — подтвердил Степан, вытирая лоб.

— Оглоблей бы их, — заметил Славка, — да где ее взять?

Все уже забыли, что шли лишь с желанием посмотреть. Казалось, что затем и пришли, чтоб разрушить. Тайный зачинщик всего этого безобразия, Данила Игнатьевич, воскликнул:

— Кажись, я догадался, где взять. Обождите меня, мужики, — и скользнул в кусты. Оттуда послышался стук топора.

— От гад, — сказал восхищенно Славка, — опять осину рубит.

Действительно, минуты через три или четыре Данила Игнатьевич выполз из кустов, причмокивая и держа в руках уже очищенный от веток ствол довольно толстой и молодой осинки.

— Вот те и оглобля. На, Степанушка, тебе сподручнее, ты у нас всех здоровше будешь, — умильно и заискивающе улыбнулся он Степану, извиваясь всем телом.

— Мели, Емеля, — сказал грубо Степан. — Давай сюда, пособи только. — Он подошел к сосне, постучал деревцем, как палицей, по стволу. Жужжащий и гудящий шум усилился. — Берись, Данила, за другой конец и начинай ты, — сказал он.

— Ты что, Степан, — отступил Тухлов. — Мне не совладать.

— Ну и хрен с тобой! — отмахнул его тогда Степан. — Боишься, гнида?! Ну, мужики, — крикнул он голосом старшины из кино. — За-алегай! Начал! Товьсь!

И с силой ударил деревцем в днище колоды. Оно вдруг подалось, вошло внутрь колоды, но тут же стало падать вниз. За ним следом вывалился какой-то темный ком. Колода разваливалась медленно, — очевидно, держали клейкие соты. Степан ещё ударил. Отвалилась доска. Еще удар.

— Давай! — орал Славка, как в припадке. — Ломать — не строить!

Из колоды стали вываливаться и другие темные комки. И в этот момент первый ком разлепился, за ним второй, третий, и сотни, а может, тысячи ос со страшным гудом ринулись на нас.

— Ложись! — снова завопил Степан.

И тут я увидел, как, позабыв всякое стеснение (первого призыва Степана никто не послушался) и стыд мужества, необходимый, на мой тогдашний взгляд, взрослым людям, все стали бросаться плашмя на землю, укрывая головы ватниками и выставив к небу зады. И милиционеры, и студенты, и дед Никита, и Степан, и женщины в дальних кустах — все попадали. А Тухлов не только упал, укрывшись, как все, ватником, но ещё и пополз, извиваясь, под корягу, словно видел ее сквозь ватник. Я стоял в растерянности, мне казалось неловким падать на землю. На меня из-под ватника глянул Степан.

— Ложись, Борька, ложись, — приказал он.

Я в оцепенении продолжал стоять. На меня как пули неслись две или три осы. Как всадники с копьями-жалами наперевес. Сейчас ударят. Я замахал руками и пригнулся. Они пронеслись мимо.

— Ложись, дурак! — снова крикнул мне Степан.

Я все не понимал опасности. Осы развернулись и снова устремились на меня. К ним на помощь мчались другие. Я уже не мог избе-

жать ударов. Но тут вдруг вскочил Степан, подхватив с земли лопату, как меч, и начал бешено крутить ею над моей головой. Слышно было, как осы ударялись о штык лопаты. Он швырнул меня на землю, натянув мне на голову мою же куртку. Затем я услышал, как он сам шмякнулся рядом.

Над нами стоял осиный стон.

Как мы оттуда выбрались, я уже не помню. Быть может, попластунски, трудно сказать. В тот день уж конечно больше не работали, обсуждали баталию, кто и как себя вёл. Нинка боялась, что узнает начальство, потому что колоды все меченые, и ей попадет. Ее успокаивали. Меня удивило, что Володя и Гена принимают участие в переживаниях с такой же страстью, как остальные. Тухлов все восхищался мощным ударом Степана, утверждая, что честь разрушения колоды принадлежит Степану. Иван и Славка вскоре переоделись и ушли — Славка на службу, а Иван к приехавшей жене. Сам Степан вернулся в прежнее состояние и угрюмо отмалчивался.

— Сразу надо было эту колоду под дыхалу бить, — сказал, уходя, Славка.

— Резонно, камнем ее не взять было, — подтвердил Володя.

— С палкой Степан здорово управился, — сказал Тухлов.

— Таковую бы палку да вставить кой-кому, — пхнул рябую Настю охальник дед Никита.

— Тебе в зад вместо свечки, — отозвалась сердито Настя. — Чтoб черти тебя сразу заприметили. Леший этакий! — но тут же сама пожалела Никиту и провела ладонью по его небритой физиономии. — Тебя-то не покусали?

— У меня своя жала есть, — ответил дед Никита.

Володя Ломакин захохотал. Причем, как я заметил, вполне искренно. Его и в самом деле веселил дед Никита с его шуточками.

Я подошел к нему:

— Володь, тебе правда это интересно?

— Что именно, мой юный друг?

— Ну, колода, обсуждение, разговоры все эти?

— Ох, Борис, твоя беда, наверно, в высокомерии, которого ты сам в себе не сознаешь, — пояснил он на мое негодующее мотание головой. — Будь проще. Интеллигенция всегда должна быть с народом. Вот мои предки из дворян были, а в восемнадцатом тут остались, с народом. И не проиграли, уверяю тебя.

— Да я не о том. То, что ты говоришь, я понимаю. Я сам за народ, как же иначе!..

— Любишь кататься — полезай в кузов, — глубокомысленно заметил Гена Муругин и похлопал меня по плечу.

— Муругин тебе точно сказал, — засмеялся Володя.

Я не умел выразить свою растерянность происшедшим. И отчего и какого рода была эта растерянность. Через час я уже ехал в автобусе по направлению к центру. На душе было пасмурно. И пусто. Я вспомнил Киру, перед которой считал себя грешным. И в конечном счете осиная колода была забыта. Никому из нас и в голову не пришло, что осы из разоренного гнезда должны погибнуть. Это почему-то даже не обсуждалось.

Глава V

Ужасное рукопожатие

Я поднялся с тахты, сел за стол и принялся смотреть в окно. Дождь уже не лил прямыми, неостановимыми струями, только моросил, но все равно пасмурно было на дворе. В Славкин рассказ об анонимке я как-то сразу поверил. Вспоминая Тухлова, я говорил себе, что и не могло быть иначе. Настоящий Змей Горыныч. Гад. Как он обманул Степана! Сам подбил его разрушить гнездо, а теперь сам на него же валит!.. Гад ползучий. Мне-то бояться было нечего. Мало того, что я на окладе, а не на сдельщине, мало того, что он наверняка все про меня наврал, я и вообще-то за эту работу не держусь, собираюсь уходить. Впрочем, а что другим он мог сделать? Тоже, пожалуй, ничего. Но им в этой *системе* надо было и дальше работать, а я собирался перейти в другое *измерение*, так я сам себе говорил. Значит, мне и в самом деле надо будет выступить и сказать все за всех. Произвести напоследок *эффект*, показать, что я не мальчик уже, что я-то и есть по-настоящему *взрослый*. Да им и трудно будет защищаться: ведь осиное гнездо они все-таки разрушили! Я же в их бесновании участия не принимал, а выступил и рассудил зато мудро и принципиально, нашел *критерий*, который может определить степень вины.

«Надо для начала вообще определить, что такое анонимка как *явление*. Кто писал анонимки? Булгарин? Еще кто? Из известных? Как мне это поможет? И чем? Что с доносчиками стало? Что им говорили другие люди? Просто не уважали. А они все равно писали. И с ними здоровались? Продолжали общаться? Уж этого-то я ни за что не сделаю! Я с ним демонстративно не поздравляюсь». Я, размышляя, хо-

дил от дивана к окну, глядел на темнеющую улицу, на перепутанные, почерневшие от дождя голые ветки деревьев с редкими, мокрыми листьями, на лохматые шапки вороньих гнезд и сочинял речь, которую скажу завтра. Громовую, яркую. Я чувствовал, что прямо наэлектризую зал завтра. Кровь во мне от воображения будущей речи кипела.

Почему в юности так пламенно сочиняется будущее? И не в том дело, что пламенно, а в том, что неопределенно. Зрелость и старость конкретны. Юности, в сущности, наплевать на конечный результат, если этот результат не есть коренная переделка мира. Что могло измениться от моей речи? Выгнали бы Тухлова с работы? Да он и так уходил, кончались два пенсионных месяца. Но мне казалось, что я по меньшей мере изменю какое-то соотношение мировых сил своей речью, что после нее люди станут — не все, так многие — жить по-другому.

Я думал, что выйду на трибуну и скажу: «Это прежде всего подло. Такой поступок — это подлость». Мне казалось, что это слово не может не подействовать на людей, потому что хуже подлости ничего на свете не бывает, и все это знают. «Подло вообще писать анонимки, — продолжал я свою речь. — Даже на врагов, тем более на тех, кто работал рядом с тобой. Подписанный донос не становится лучше, потому что он все равно заглазный. Надо говорить прямо в глаза, что думаешь. Этому ведь с самого детства всех учат. А если *он* нам улыбался, извивался перед нами, заискивал, а втайне готовил удар, то это совсем уж гнусно. Улыбался, а в душе таил крокодилию подлость. Крокодил, говорят, плачет, когда поедает свою жертву. А этот человек (именно так я скажу, думал я, «этот человек» — с указующим перстом), да и можно ли его назвать человеком, — он хуже крокодила. Он даже не плачет, когда губит или пытается погубить других людей. У нас в бригаде, — распаялся я далее, воображая себя на трибуне, — разные люди, самые различные, непохожие друг на друга, с разными характерами и судьбами (употребив это слово, я вдруг обрадовался его вескости и важности, не очень-то тогда понимая глубину и трагичность слова *судьба*, для меня ещё это было только слово, реальности за ним я пока не осознавал), но никто из нас, ручаюсь, не донесет на товарища!» Вот он — критерий!

Я лег на тахту, чтоб лучше думалось. За окном снова полил дождь, сильно, неостановимо. «Как его только хватает? Как небо не иссякнет?! Ведь весь день льет!» Стемнело. Струи дождя, пасмурность неба словно добавляли темноты. Я зажег настольную лампу, стоявшую на деревянной тумбочке — продолжении деревянной спинки, отделявшей тахту от стены. Самое бы время — под шум дождя и при свете

лампы — почитать хорошую и умную книгу. Было уже после девяти, скоро должны были вернуться из гостей родители. Надо было скорей додумать речь.

Я вообразил большой продолговатый зал, высокую сцену, на ней стол для президиума, слева — трибуну, там я буду стоять, туда пригласит меня Сердюк, зав производственным отделом, напоминавший мне бывшего моряка: широкоплечий, косолапивший, из-под рубахи всегда виднелась тельняшка. И я говорю, звонко, громко, рассказываю, как мы работали, а Тухлов бездельничал, все портил, а теперь... а сам... Мне аплодируют, я вижу, как громко бьет в ладоши Славка, хлопают Володя и Гена, Нинка, даже Степан Разов хлопает и кивает мне головой, усмехаясь угрюмо. Но обобщений в моей речи не получалось, как обычно получались они у отца, которому я мысленно подражал всегда, сравнивал себя с ним. Я это и в полудреме чувствовал, и мне хотелось сказать что-то мощное, крупное, не мелкое. «Это вам не тридцать седьмой год! — вот что я скажу. — Прошли времена доносов». Да, вот это будет сильно сказано. «Даже лесные звери гуманнее, человечнее. Слово «человечный» значит добрый, хороший. А вы его, Данила Игнатьевич, позорите, позорите это слово! К вам оно неприменимо, хоть внешне вы и похожи на человека!» Я воодушевился, видя себя говорящим такие смелые речи. «Прошли те времена! И мы все должны это понять и не допустить их повторения. И не в том дело, что он солгал. Главное — другое. Чтоб не было больше доносов. Чем недоволен, говори честно, прямо, в глаза. Только так можно быть человеком! Но, — восклицал я про себя, хотя как бы вслух, — все равно мне непонятно, как из-за такой мелочи, как лишние пятьдесят или сто рублей, можно так запачкать себя и других!»

Я сел, достал блокнот и ручку, решив, что неплохо бы мне записать тезисы своего завтрашнего выступления, зная, что иначе я смешаюсь и все забуду, знал уже я такую свою особенность. Если меня что перебьет, то я уже не соберусь. Но не успел я и слова написать, как зазвонил телефон. Это был тот самый телефонный звонок, которого я ждал, которого боялся, но о котором как-то вдруг забыл. Звонила Кира.

И снова я вспоминаю и пытаюсь понять, чего я так боялся. Почему не мог решиться ей сказать честно, что не хочу с ней встречаться больше? Чего я так боялся в ее голосе? Почему не было защитной брони против ее слов? Только ли потому, что боялся причинить ей боль? Пожалуй, прежде всего это. Но только ли это? Ведь что-то и в остаток выпадало? Так вот что? Значит, что-то самому нужно было? Ее тело? И да, и нет. Ведь отказывался же я от него. Хотя и желал. Быть может,

то, что другой человек, не родители, не младший брат, почувствовал нужду во мне. Что я ощутил свою независимую от родства ценность. Кому-то я оказался нужен. Кто-то без меня вроде бы даже жить не может. А это накладывало непреодолимые обязательства.

— Ах, это ты! Привет, Кира, — сказал я, стараясь не терять себя, своей независимости.

Но сердце застучало гулко и трусливо. Не хотел я быть с ней, а она держала меня как удав кролика, словно гипнотизировала. Чем? Словами? Тем, что она вроде бы и не видела другого варианта, кроме нашей совместной жизни? Тем, что она вроде бы знала, что я без нее непременно, ну непременно пропаду? И мне тоже начинало так казаться, но вместе с тем хотелось и по своей глупой воле пожить. Пусть неправильно, но сам по себе.

— Ты завтра зайдешь ко мне? — голос ее был немного напряжен, хотя одновременно и завлекающ. — Борька! Как хорошо, что ты дома. Я бы тебе ни за что не позвонила. Да не удержалась. Я так боялась тебя не застать! Родители уезжают завтра на дачу. Там и ночевать останутся. Если тебя это, конечно, интересует.

— Конечно, интересует, — принужденно бормотал я, — но я, я не знаю, смогу ли (жалко, видно, было упустить случай, потерять *шанс*, но и грядущей, которая может возникнуть, ответственности тоже боялся). У меня завтра собрание. Там одного доносчика разбирать будут. А может, нас всех. Он на всю бригаду анонимку написал.

— Какую такую анонимку?

— Подписную.

— Ох, Борька, ну и смешняк ты. Раз подписную, значит, не анонимку, — засмеялась она. — Да и не весь же день вы там просидите. Сколько собрание может тянуться? Часа два — не больше.

— Это как пойдет, — не сдавался я. — А потом, может, мне с бригадой посидеть надо будет.

— Что-то ты темнишь, Борька, — сказала Кира голосом взрослой женщины. — Ты же не собираешься там работать всю жизнь. Ты же уходить оттуда хотел. Разве не так? Ты ведешь себя как типичный мидл совет мен с коммунальной психологией. Что тебе до их дрызг? Тебе ж в деканат надо. После и приходи. Или ты не хочешь? Так прямо и скажи, — голос ее стал твердым и жестким.

— Я постараюсь, то есть приду, — испугался я.

— Интересно тебя слушать, — не удержалась от сарказма Кира, — до чего же ты в себе не уверен. Ты определенное что-нибудь и когда-нибудь можешь сказать и сделать? А? Ответь.

Имела она в виду, конечно, не только завтрашний вечер, а мою неопределенность в наших с ней отношениях. Связь вечера завтрашнего с нашими отношениями и ее надеждами была очевидна.

— Могу ответить, — угрюмо сказал я, боясь ее обидеть. — Приду.

— Что-что? Куда придишь?

— К тебе приду, — ответил я, чувствуя себя загнанным, но в этот момент в дверь позвонили, на мое счастье. — Кирка, все. Звонят родители в дверь. Кладу трубку. До завтра.

И быстро, не дожидаясь ответа, трусливо так хлопнул трубку на рычаг и пошел к двери.

Это и в самом деле были родители. Пришли они оживленные, и в довольно-таки хорошем настроении, что бывало не часто. Маме не нравились папины друзья, отец скучал с мамиными.

— Ты чего такой встrepанный? — спросил отец.

— Не заболел? — сразу потянулась мама губами к моему лбу.

В коридоре уже горел свет, от родителей пахло гостевым настроением, моя пасмурность принялась улетучиваться и, чтобы не волновать родителей своими любовными душетерзаниями (о которых они наверняка догадывались, но ничего не спрашивали из деликатности), я быстренько рассказал о завтрашнем собрании. Мы уже сидели на кухне. Я пил чай, мама готовила какую-то еду (она уходила на работу раньше всех и утром готовить не успевала), папа листал невнимательно книгу, внимательно слушая мой рассказ.

— Нечего тебе в эти дела встrevать! — решительно повернулась ко мне от плиты мама. Ее лицо от жара плиты было красным. — Без тебя разберутся. Там что ни год, так непременно чепе. Тебе учиться надо. Это — главное.

Отец молчал, пока мама говорила. Не перебивал, не возражал. Но когда мама ушла спать (ложилась она раньше), а мы ещё остались на кухне беседовать, он сказал:

— Мама, конечно, права. Учиться нужно. Это важнее всего. Человек через книги приобщается к духу, к тому, что делает его человеком. Но это твое событие — тоже учеба на свой лад. Сможешь ли ты выступить?

Отец любую жизненную мелочь желал (и, как мне казалось, умел, в чем и я хотел ему подражать) рассматривать с точки зрения вечных тем и проблем, с точки зрения исторической. Мы сидели на кухне, пили чай, висели беленькие шкафчики с посудой, стоял дурацкий комод, настенная лампочка светила, чашки были старые, все домашнее, уютное. А в разговорах с отцом передвигались миры, становясь ча-

стью моей жизни: античность и варвары, средневековые и Возрождение, Киевская Русь и татаро-монгольское нашествие. И все это как-то оказывалось имеющим отношение к нашему сегодня. И мне тоже хотелось говорить с высоты величия вечных тем, движения истории. Но говорил отец, а я внимал:

— Рецидивы варварства, дикости, бесчеловечности не раз вставляли на пути людей. И надо отстаивать человеческое достоинство. Надо сознавать свою позицию. Тогда ты твердо сможешь говорить в любой ситуации. У тебя будет точка отсчета.

«...какая точка? — мучительно размышлял я, шагая утром по аллеям Ботанического сада по направлению к главному корпусу, загребая башмаками охапки мокрых листьев, нанесенных на дорожки вчерашним дождем, поеживаясь от сырого воздуха и внутреннего озноба. — Что же, я про цивилизацию объяснять, что ли, буду? Про античность и варварство?» Все, что вчера виделось ясно и красиво в моих мечтаниях и тем более в словах отца, стало при утреннем свете размываться и казаться донельзя нелепым. Да ещё томил вечерний визит к Кире, который сегодня предстал осязаемой реальностью: надо уже было что-то решать. «Какая точка? Кому я буду рассказывать об античной цивилизации? Славке? Степану? Сердюку? Насте? Да ещё по поводу Тухлова! Им, может, и было бы интересно. Но просто так, а не сегодня. А, скажу, что скажется. Про подлость скажу и про тридцать седьмой, если к слову придется». Я махнул рукой, потому что уже вышел к пруду, по которому даже глубокой осенью плавали лебеди. А пруд был как раз перед главным корпусом.

Я вошел в вестибюль. Все уже толпились вниз, у слабо заполненных вешалок гардероба, вся бригада. Все были чистые, бритые, мытые и глаженные. Будто не они неделю назад — красные и потные — крушили осиное гнездо. Я снял плащ, повесил его и подошел к мужикам, чувствуя неловкость, что один одет не парадно — свитер и брюки. Славка с Иваном были в новенькой, во всяком случае отутюженной форме. Длиннолицый и большеглазый Володя Ломакин пришел в темно-сером элегантном, как мне показалось, костюме, в галстук. Гена был одет попроще: черный костюм и белая рубашка с расстегнутым воротом. Дед Никита в галифе, черных смазных сапогах, ужасно пахших чем-то, в синем кителе проводника, впервые без щетины, выбритый и напуганный, имел глуповатый вид, но все равно не отходил от Насти. Настя в чистом ситцевом платье выглядела опрятно и нарядно, я бы сказал, женственно, несмотря на глаз, заклеенный, как всегда, чистой марлей. Даже Степан явился в костюме коричне-

вого цвета, кое-где заштопанном грубовато, но чистом. Все держались дружно, только Нинка стояла немного в стороне и в синем платье с цветастым бантом у левого плеча выглядела почему-то нелепо и жалко. Я сначала подумал, что она стоит в стороне, потому что бригадирша, но минуты через три, после общих разговоров, Володя наклонился ко мне и, улыбаясь, шепнул:

— Замечаешь, Боря, как Нинка мается? Ей сегодня хуже всех придется: гулящей ее Тухлов назвал. А всякой бабе это неприятно, какая бы она ни была. Вот она — се ля ви.

— Но мы ее защитим, — шепнул я в ответ.

— Защитить-то, может, и защитим, а слава пойдет.

А Гена пояснил:

— Любишь кататься — полезай в кузов.

Но начался разговор не с Нинки. Сняв плащ и повесив его в гардероб, я принялся пожимать руки. Рукопожатия были неторопливые, продленные, так сказать, со смыслом. Мол, «надо держаться друг друга», мол, «один за всех, а все за одного». Все как бы сливались в единое целое: опасность же общая.

— А где эти? — преувеличенно деловито, чтоб казаться взрослым и готовым к борьбе, спросил я.

Словами никто не ответил, показали глазами. Тухловы стояли, рука об руку, на площадке между первым и вторым этажом, рядом с мраморным бюстом вождя. Это читалось как символический жест: мы верные, мы настоящие, а вы там, внизу, погань, шушера, враги. Тухлов тоже был в костюме, в очках, в руках держал, прижимая к коленям, большой портфель, которого я раньше не видел. На работу он всегда ходил с маленьким портфельчиком. Он стоял прямой как палка, тощий, слегка сутулый и больше, чем когда-либо, напоминал змея, вставшего на хвост. Он и она иногда взглядывали поверх наших голов на входную дверь.

— Сердюка ещё нет, — объяснил Славка, наблюдавший меня.

— Да ты не дрейфь, — сказал и Иван, улыбаясь во все свое широкое лицо. — Сладим.

— Я и не дрейфлю, — хриловато ответил я.

— Правильно, Боря. Темной ночи бояться — в лес не ходить, — угрюмо подбодрил меня Степан. Видно было, что его белая рубашка очень старая, аж воротничок пожелтел от долгого хранения. В костюме он казался ещё более широкоплечим, чем всегда.

— Ой, леший он. Как заманул! — сокрушался дед Никита, притворяясь чуть более испуганным, чем был на самом деле.

— Все обойдется, — гладила его по плечу Настя. — Вместе с милицией не засудят.

— Это точно, — усмехнулся Степан. — Первый раз по одному делу вместе с мусорами иду.

Иван тоже ухмыльнулся и дружелюбно пихнул Степана в плечо, а Володя полюбопытствовал:

— А много дел-то было, а, Степан?

— Все мои, — отрезал, но не зло, Степан. Но я перебил их «морально-этическим вопросом»:

— Как же они нам всем в глаза смотрели? разговаривали? А сами в этот момент доносы писали? Я не понимаю. Как они после собрания нам всем в глаза посмотрят?

— А они не посмотрят, мимо пройдут, — встрял быстроглазый Славка, — если только Сердюк их за клевету не привлечет. Он мне говорил, что припугнет их этим.

— Так Сердюк за нас? — как-то по-детски спросил я.

— За нас, Боря, за нас, — улыбнулся мне Володя. — За нас и против них.

— Не плюй в колодец, вылетит — не поймашь, — сказал Гена, мотнув головой на стоявших недвижимыми изваяниями Тухловых.

— Такой тихий был, я-то думал, он просто мелкий пакостник, а кто бы мог подумать, что он на такое пойдет, — продолжал я свои «взрослые» рассуждения. Мне почему-то ужасно хотелось, чтоб все обсуждали Тухловых, хотелось слушать чужие мнения, чтобы высказать потом веское свое.

— А он и есть мелкий, Боря, он совсем не крупный, — похлопал меня по плечу Володя.

— Копеечная душа, — рыкнул, улыбаясь, Иван. — Да я б ему эту сотню в зубы сунул. Катись! Пусть подавится.

— От Соньки, вишь, его это собрание оторвало, — ухмыльнулся Славка и блудливо подморгнул Нинке. Но та только передернула плечами, не принимая подмаргивания.

Я в растерянности посмотрел на всех, испытывая нечто похожее на обиду. Мне вдруг стало ясно, что все уже *без меня* обговорено, более того, моя речь, о которой вчера просил Славка, вроде бы и не нужна. Уже им понятно, как вести дело, а я остаюсь в стороне.

— Значит, так, — говорил хищно Славка, — первым Иван, затем Володя, потом я вякну. Борис, ты как хочешь. Только много не говори. А Сердюк подведет черту. Лады? Ну?

— Лады, лады. Не суетись, — лениво сказал Володя. — Главное — не суетиться под клиентом.

Мне даже почудилось, что они и на Тухлова как будто не злились. Словно бы понимали его. Во всяком случае, с ним все было ясно, он уже вне игры. Просто по всем правилам общаться с ним нельзя. Они, думал я, были с ним вместе, а когда он попытался их укусить, объединились. И теперь он не опасен. Так что со своим негодованием я мог только помешать.

Появился Сердюк, высокий, крепкий, прямой, с зачесанными назад волосами, с выглядывавшей из-под рубахи тельняшкой.

— Пошли, братишки. Быстро проведем.

С лестничной площадки послышался свистяще-шипящий голос Тухлова:

— Почему быстро. Надо как следует. По закону.

— А мы и быстро, и по закону, — ответил Сердюк, и мы потянулись за ним.

Мы были единой шайкой, и Тухлов, кажется, понял, что ничего у него не выгорит.

— Это не по-советски, — снова шипнул он.—Я же вам рассказывал. Вы же сами сказали: изложи письменно. Я и изложил. А выходит, вы теперь с ними стакнулись!..

Сердюк ничего ему не ответил, только зубом цыкнул раздраженно. Видно было, что слова Тухлова его озлили.

И вот мы уже сидим в зале. Только наша бригада, больше почему-то никого не помню. В президиуме — Сердюк, Нинка и ещё одна женщина, кажется, парторг. Тухловы сидели в стороне от всех, рука об руку, спутники жизни, прямые и настороженные, но вместе с тем словно бы удивленные, словно бы ожидали, что их должны пригласить в президиум.

Поднялась женщина-парторг, пышноволосяя, с родинкой на кончике носа, постучала карандашом по пустому графину и сказала:

— Товарищи! У нас у всех стоит работа. Поэтому давайте не отвлекаться, по-деловому. Собрание объявляю открытым и предоставляю слово товарищу Сердюку.

Она казалась усталой, но миловидной. Я сидел замерши. Мне вчера думалось, что я буду присутствовать при великой мистерии (так я был напичкан в том году мифологическими сюжетами): разоблачение негодяя, предателя, доносчика, иуды. Но даже Степан, на которого я все время краем глаза поглядывал и от которого ждал какого-нибудь решительного, если не кровавого, *поступка*, только и сделал, что про бурчал недовольно:

— Один в грехе, а все в ответе.

Сердюк поднялся за столом, но к трибуне не пошел.

— Сидайте поближе. Чтоб мне горло попусту не драть, — он улыбнулся собранию, и я увидел у него во рту металлические коронки. — Дело такое, я мыслю, что зубов мы об него не обломаем. Понятное дело.

Но поведем его согласно закону. И ни-ни по-другому. Думаете, хорошо это учреждению, когда в нем чепе? Это всем нам минус за недоработку, так я мыслю, — он снова оскалился, показав металлические зубы. Глаза его блеснули, и он мне стал нравиться, хоть видел его я, наверно, второй или третий раз в жизни. — Неделю назад пришла нам анонимка. Я вам ее счас зачту, хотя есть негласное указание нам на анонимки не реагировать. Читаю для ознакомления.

И он прочитал. Там и в самом деле говорилось, что все мы на работу опаздываем, работаем кое-как, студенты (то есть Гена, Володя и я) уходят раньше времени, милиционеры и вообще часто по полдня на работе — отсутствуют, более того, милиционер Воронок и бригадир Селезнева часто в рабочее время удаляются в кусты с похабной целью, затронуты были в анонимке и дед Никита с Настей, которые вместо работы ведут морально недостойные разговоры, чем отвлекают от работы остальную бригаду.

Анонимка не обошла и Степана. Зато было сказано, что выполняю и перевыполняют свою норму пенсионеры Тухловы и если в Ботаническом саду и в самом деле сдельщина, а не филькина грамота, то надо сдельщину сделать настоящей сдельщиной и выплатить пенсионерам Тухловым больше, без ложной уравниловки, отобрав от каждого члена бригады в их пользу по крайней мере по тридцать рублей.

По залу прошел гул, смех. А Степан громко сказал:

— Продал душу не за овсяный блин.

— Тише, товарищи, — сказала женщина-парторг. Нинка сидела вся красная и молчала.

— А дальше пришло письмо за подписями, — продолжил, скаля металлические зубы, Сердюк. — Его мы и должны сегодня разобрать.

Привожу это письмо, как запомнил. Было оно длинное и довольно занудное. Какие-то выражения и обороты речи мне пришлось встречать впоследствии. Но что поразило меня, так это простодушие, с каким возводились обвинения. Самые нелепые и чудовищные — самым простодушным манером. Начиналось письмо с обращения:

«Товарищи дирекция и партийный комитет! Убедительно просим вас лично прочесть наше заявление, обратив главное внимание

на суть нашей идейно-мировоззренческой позиции. Нравственные и идейно-порочные блуждения, которые имеют последнее время место в среде незрелых людей, проникли и на территорию Ботанического сада. Они заключаются в разговорах, которые ведутся в бригаде т. Селезневой, где происходит осуждение нашей действительности под видом борьбы с ее недостатками. Это происходит, в частности, путем восхваления чуждых нам по духу писателей и художников. Так, приведем пример: студент Владимир Ломакин, не знаем его отчества, хотя происходит, видимо, из уважаемой семьи, но тем хуже для бдительности его родителей, постоянно напеваает песенки с неприемлемыми для нас эстетическими и идейно-нравственными вкусами, а также содержанием. Это песни блатного настроения, сочиняемые сомнительными певцами, которые не выражают в своих песнях сочувствия к тем, одевшим милицейскую форму людям из народа, которые часто рискуют жизнью и даже отдают ее ради того, чтобы оградить народ от действий воров и преступников. В отличие от стихов Маяковского, в которых эти люди называются «моя милиция», здесь они, в песенках, которые исполняет студент Владимир Ломакин, презрительно именуется «ментами», «легалыми», «мусорами» и другими позорными кличками. Моральное разложение, проникшее в бригаду, сказывается в том, что никто не остановил Владимира Ломакина, а милиционеры Святослав Воронок и Иван Тюрин даже посмеиваются, когда слышат эти песни, в которых ведется огонь по нашей действительности. То же самое мы можем сказать и о песнях грузина Окуджавы, в которых усматривают многие намек на критику культа личности товарища Сталина. Но эти горе-песенники не критикуют в своих произведениях с доброжелательных для нашего общества позиций негативные порождения культа личности товарища Сталина, а вклиниваются в русло его критики как непрошенные помощники с неблагоприятной целью подрыва авторитета наших свершений за последние сорок пять лет. Эти песни разлагающе действуют на подрастающее поколение в лице студента Бориса Кузьмина, который слушает их подрывное содержание вместо того, чтобы работать как подобает полезному члену нашего общества. Анархистский протест против всякой власти и управления замечен и в действиях и словах человека с подозрительным и пока ещё не проверенным прошлым, который живет под именем и фамилией Степан Разов, но хорошо осведомлен о жизни и работе наших лагерей и на лесоповале. Его анархистский образ действия сказался, в частности, в разбитии колоды с осиным гнездом, охраняемым государством с научной целью. Причем, надо отметить, разбитие произошло в рабочее время и в него были вовлечены члены бригады: Святослав Воронок, Иван Тюрин, Владимир Ломакин, Геннадий Муругин, Борис Кузьмин и Никита Балмашев. Супруги Тухловы пытались остановить разошедшегося Степана Разова, указывая ему, что его пример воспитывает нашу молодежь в духе анархистского свободомыслия, вздорности и строптивости, неподчинения старшим и властям, порождает у некоторых молодых

людей склонность к аморальным поступкам и к преступлениям, различным формам борьбы со старшими и обществом. Их увещания ни к чему не привели, и колода с осиным гнездом была разрушена Степаном Разовым ударом срубленного им же молодого деревца. Аморальное поведение членов бригады проявляется в похабных разговорах и похабных поступках бригадира Селезневой, которая, как самая подлинная гулящая, уходит в кусты с милиционером Воронком с целью совершения там аморальных действий. Член бригады Настасья Бузеева покрывает бригадира Селезневу, защищая ее в разговорах, хотя сама, как стало известно, являлась кулацкой невестой, находилась в преступных сношениях с сыном кулака и лишилась глаза при невыясненных обстоятельствах в период раскулачивания, возможно, в стычке с представителями власти и закона. Все это результат идейной неразборчивости при приеме на работу, которая ведется в результате так плохо, что только пенсионеры и отдают ей все свои силы. Просим разобраться в сложившейся ситуации. Члены КПСС с 1937 года Тухлов Д.И. и Тухлова П.Н. Тухлов Д.И. является персональным пенсионером».

Обсуждения я не помню. Оно как-то смазалось в памяти, смутные пятна остались. Выкрики, широколицый массивный Иван стоит около трибуны и машет правой рукой, тон возмущенный, плавные движения Володи Ломакина на трибуне, быстрая скороговорка Славки. Но вот что они говорили — так и забылось. Не помню даже, выступал ли я сам. Хотя мама до сих пор уверяет, что я ей рассказывал о своем выступлении, хвалился, что оно произвело эффект. Не помню. Помню, что обвинения Тухлова были признаны неосновательными, а Сердюк, скаля металлические зубы, предложил бригаде (как и обещал это Славке) подать на Тухлова в суд за клевету.

Тухлов, который был сначала напряжен, потом видно, что раздосадован и даже разозлен (он держал правую руку у правого же уха, слегка оттопыривая его навстречу говорившим, а пальцы руки при этом у него шевелились, как маленькие змейки, когда же он поворачивался к сидевшим нам, я видел, как красный его язычок облизывает сухие тонкие губы; его жена поворачивалась всегда вместе с ним, как сторожевая змея глядела в круглые очки, что обеспокоило ее господина и повелителя, не грозит ли ему опасность), стал постепенно вянуть и никнуть. И после предложения Сердюка вышел на сцену и, извиваясь всем телом, заглядывая в лицо Сердюку, пышноволосой женщине-парторгу и даже Нинке, которая от удивления открыла рот, показывая не то сточенные, не то просто короткие верхние два резца, бормотал, что он сгоряча, что дает себя знать контузия, полученная на специальной работе, что он и на пенсию по состоянию здоровья ушел

раньше времени, благо, что пенсия у него из-за сложной службы — персональная, и что, конечно, проявляя бдительность, он, может, перегнул палку, ему это и сын-философ говорил, когда он ему рассказал; что, конечно, они, Тухловы, забирают заявление и просят собрание зла на них не держать, а, напротив, как-нибудь прийти к ним домой, где все смогут славно посидеть и поесть, а также выпить что Бог послал, и простить эту ошибку, в которой он искренне раскаивается.

Я не раз потом встречался с легкостью покаяния определенного сорта людей. Казалось, они совершали действие, определенный ритуал, правила которого знали не только хорошо, но и наперед. После раскаяния или покаяния (в зависимости от степени указанной им вины или проступка) непременно наступало прощение, во всяком случае недавно возмущавшиеся как-то стихали, не наталкиваясь на сопротивление. Так и тогда случилось. Женщина-парторг с родинкой на кончике носа и пышными волосами закрыла собрание, и вся наша бригада, ворча, но довольная победой, я бы сказал, успокоенная победой, выкатилась из зала. Тухлов был побит: он весь съезжился, одежда висела на нем, как пустая кожа на сильно отощавшей змее, — складками. Он был жалок; пробираясь между стульев, пытался всем улыбаться, но мужики отворачивались, хмыкали. А Пелагея Ниловна шла следом, держась за его руку, злобно-настороженно зыряка сквозь очки по сторонам и не глядя себе под ноги, так что Данила Игнатьевич раза два ей сказал: «Осторожнее, мать! Что ж под ноги не смотришь? Упадешь!»

Мы столпились у мраморной балюстрады, и я все ждал, как выйдет Тухлов, как осмелится пройти мимо бригады, какие слова скажет, как поглядит на нас. Но он все не выходил. А мужики перешучивались. Они его переиграли и были довольны.

— Может, Тухлова с нами позовем — пива попить? — осклабился Славка. Победу предполагалось отметить в пивной.

— Ну его, ну его! — испуганно отмахнулся дед Никита.

Славка захохотал:

— Да ты не бойсь. Он теперь безвредный.

— А отчего бы с ним и не выпить? Это даже интересно. — Хрящеватое, породистое лицо Володи порозовело, с победоносной удалью он откинул назад голову. Все-то было ему любопытно, этакий Долохов, подумал я.

— Да ну вас, мужики!.. — поддержала Настя деда Никиту. — Лучше вон Бориса с собой возьмите.

— А разве Борис не идет? — удивился добродушный Иван.

— Я не могу. Мне сегодня в деканат надо, — покраснел я, ибо никто меня не звал, напрашиваться же не хотел. Но не позвали, разумеется, случайно и тут же принялись уговаривать.

— Отрывной, что ли, взять? — спросил Володя.

— Да нет, одну вещь узнать, — темнил я, не желая раскрываться, что я ещё не студент.

— Позвони из канцелярии — очень это просто! — и Володя сделал какой-то широкий, свободный, раскованный жест, отмечающий мои сомнения и колебания.

Чтобы пойти в канцелярию, мне надо было отлучиться, отпасть от единого тела бригады, остаться одному. И с каждым шагом, удалявшим меня от остальных, возбуждение мое проходило. Мне уже не очень-то хотелось и в пивную идти. Гораздо лучше поехать самому в университет... Но поскольку я обещал, я все же дотащился до телефона и набрал номер.

— К сожалению, дополнительную группу пока не разрешили. Когда решится? Не раньше чем недели через две.

Я вышел совершенно подавленный. Надежда оставила меня. А дальше произошло самое ужасное в тот день, то, что я запомнил на всю жизнь и до сих пор вспоминаю.

Вышедшие из дверей Тухловы неожиданно отрезали мне дорогу к бригаде, а Данила Игнатъевич оказался прямо передо мной лицом к лицу. Он облизывал свои сухие губы и дрожал всеми своими морщинами, улыбался искательно, заглядывал мне в глаза.

— Как дела, Боря? — ласково улыбнулся он мне, как будто не его письмо, где и про меня говорилось, полчаса назад зачитывали. Он скользнул как-то, оставив жену у себя за спиной, и, говоря, прямо в глаза мне глядя, протянул руку.

Я уже поминал, что все эти два с половиной месяца работы рукопожатия взрослых после детского бесправия школы мне ужасно льстили, *уравнивали в правах*. И вот, несмотря на все мои рассуждения о подлости Тухлова, о том, что я знаю ему цену и прочее, я автоматически протянул ему руку, не сумел не протянуть, *побоялся обидеть человека*, оказался в плену его жалкого взгляда, заискивающей улыбки... Он буквально вцепился в мою руку. Его рука была влажная, холодная, но твердая.

— Ты, Боря, меня осуждаешь, наверное, — забормотал он. — Ну, я был неправ. Я раскаиваюсь. Ты же видишь. Ты же слышал, что я говорил. Но ведь и они не по закону, они стакнулись между собой. И Сердюка подговорили.

— Но вы же сами напали на всех, — говорил я, выдирая бессильно руку, стараясь не смотреть ему в лицо (мне было неловко смотреть ему в лицо, *за него стыдно*), затравленно глядя поверх его плеча на мужиков, ожидая помощи, чувствуя унижительность своего положения. Но мужики усмехались, переговаривались между собой, только Иван громко сказал:

— Ишь как дрожит, в Бориса вцепился!..

— Ну и напал, — говорил Тухлов. — Но я же признал свои ошибки. Я же не знал, что вас начальство поддержит.

Мне все-таки удалось выдернуть свою руку, и, не отвечая, боком, я стал отходить к коллективу, к толпе, оставляя его в одиночестве, испытывая при этом странную, но вполне, как я теперь понимаю, интеллигентскую жалость к человеку, оставшемуся в одиночестве, против всех. Тем более что я сам был не такой уж общительный человек, не человек компании. Хотя и тогда уже я догадывался, что мое одиночество — другого рода, догадывался, но к одинокому человеку все равно испытывал тайное сочувствие.

— Ну, спасибо, Боря, что не побрезговал, что по душам со мной поговорил, понял старичка, — бросил он мне вдогонку камень. — Как-нибудь приходи к нам домой, погутарим, мать чайком напоит.

Я аж вздрогнул, словно камень мне между лопаток попал: как теперь к мужикам подойти, ведь я получаюсь как бы *предатель*. Я обернулся, чтоб возразить, что-то резкое сказать, но Тухловы уже соскользнули с лестницы и выскользнули за дверь. Я подбежал к выходу. И тупо смотрел им вслед, смотрел, как они рука об руку по песчаной дорожке обогнули пруд с лебедями и скрылись в лесу. Как две змеи, думал я тогда, нераздавленные, только потревоженные, впустую растратившие свой яд, а потому бессильные в борьбе, они ускользнули, никем не преследуемые, чтобы скрыться в зарослях жизни. Под какую колоду они снова заползут? Кого ещё попытаются ужалить? Когда? И сколько их рассеяно — в кустах, траве, среди корней деревьев, в ямках и норах, в болотах, этих змей, этих драконьих зубов, разбросанных в эпоху черного посева щедрой рукой? Словно они и в самом деле не люди. Словно их не учили в школе, что нельзя врать, что нехорошо отбирать чужое, незаработанное, что главное — это духовность, а она может быть, только когда душа чиста, что надо быть нравственным, честным человеком, или, как говорил Чехов, порядочным.

Я повернулся и пошел к бригаде, чувствуя, что на меня уставлены все глаза. Я попытался улыбнуться — не получилось. Но никто не стал меня осуждать больше, чем осудил себя я.

— Да ладно, плюнь, не расстраивайся, — сказал быстроглазый Славка, уже, как мне показалось, забывший или, во всяком случае, отодвинувший в прошлое Тухловых, уже жизнелюбовиво подмаргивавший Нинке, которая тоже ему улыбалась, хотя ещё неуверенно.

— Не будешь в другой раз рукосуем, — грубовато-добродушно сказал Степан.

— Да ты что, Степан, — заступилась за меня вдруг Настя. — Боря так хорошо говорил. А тут растерялся, молодой ещё.

— Да я что? — сказал Степан. — Уже быльем поросло.

— Эх, Борис Григорьевич, — обнял меня за плечи Володя Ломакин. — Трудно мужчиной быть. Да ты забудь. Еще столько в своей жизни рук пожмешь много погрязней. Такова се ля ви.

— Чем дальше в лес, тем ну ее на фиг, — пояснил слова приятеля Гена Муругин.

«Как легко они все преодолели эту историю! — думал я. — Безо всяких мучений и громких слов. С Сердюком сговорились — и порядок. И верно, чего на Тухлова энергию тратить! А я? Воображал, речь сочинял, а сам так опозорился!»

Дед Никита пристроился возле Насти. Славка возле Нинки. Все выглядели торжественно и глуповато. Мы вышли из здания и пошли к микрорайону, где жили Иван и Славка. Они сбегали домой переодеться в штатское, быстро вернулись, и мы отправились в пивную. Это был мой последний день в бригаде. Я пил пиво, которое тогда казалось мне горьким и невкусным. Пил и давился, но уговаривал себя, что надо быть *взрослым*, быть как все. Мне страшно было остаться одному. Хотелось слушать глупые, дурацкие разговоры и не переживать *по пустякам*. «Ну что страшного произошло? — спрашивал я себя. — Я пожал ему руку. Все говорят, что это пустое. В самом деле, пустое. Но почему вообще есть такие люди, как Тухловы? Откуда они? Неужели что-то подлое есть в самой природе человека? Негодяй спровоцировал всех на гадкие поступки, потом это использовал, донес... Его не наказали, отпустили, потому-де, что и пострашнее происходят события, погрязнее бывают руки. Но зачем ему надо было мне руку пожимать? Самоутвердиться? А я, как же я ему руку подал?...»

На душе было пасмурно и тоскливо. Я вышел из пивной. Был уже вечер. Наступал час ехать к Кире. Ехать мне не хотелось. Не хотелось снова, в какой уже раз ощущать неподлинность себя и своих действий. Лучше *позвонить*. Как в деканат. Два автомата не работали (у одного вообще была трубка оторвана, болтался одиноко витой шнур), из третьего мне удалось дозвониться. Я сказал Кире, что звоню из автома-

та (не хотел из дома, при родителях, с ней говорить и не хотел, чтобы она могла перезвонить), что не приеду, не люблю и больше с ней встречаться не хочу. Выпалил все это сразу, чтоб не замешкаться, как в воду с вышки прыгнул, выпалил, обливаясь холодным потом ужаса от того, что я делаю. Воображая при этом, какая она синеглазая, светлая, стройная, красивая, а я дубина, осел и подлец.

— Попробуй только ещё раз мне позвонить! Трус! Тряпка! — прошипела она в ответ. — Я всегда знала, что ты дерьмо, Борька. Только я тебя и делала человеком, и без меня ты пропадешь. Спутался с какой-нибудь мешаночкой. Но туда тебе и дорога. Ты грубое бесчувственное быдло. Мидл совет мен. Духовности в тебе ни на грош! Что из тебя со временем выйдет — страшно подумать!..

Я повесил трубку. Мне казалось, что она права, так убедительно звучали ее слова. Рукопожатие Тухлова, проклятия Киры шевелились у меня в душе, как две змеи, заползшие в колыбельку к маленькому Гераклу. Но я был не Геракл, и не было у меня сил их задушить. «Того змия воспоминаний, того раскаянье грызет...»

«Считай, что ничего не было, — уговаривал я себя, чтоб не свихнуться. — Ни рукопожатия Тухлова, ни крика Киры. Забудь! Забудь! Забудь!» Но забыть я не мог. И тот вечный вопрос, который в минуты отчаяния и тоски задает себе человек: «А смогу ли я быть собой?» — посетил и долго не покидал меня.

Январь — февраль 1987

Часть третья

Взрослый



Фазанова

Рассказ

Из цикла «Столкновения»

Э то был какой-то дурной вечер. Даша к шести должна была пойти в гости к Фазановой. Та предложила поговорить по поводу Дашкиной статьи. И Даша очень радовалась и даже гордилась, что сама Фазанова уделяет ей целый вечер. «Она по-настоящему живет наукой», — восхищенно говорила Даша. А Галахов весь день мотался. Днем делал доклад на какой-то российско-британской конференции в Академии наук на Ленинском проспекте. Затем читал лекцию студентам. А уже к семи отправился на презентацию книги приятеля. Конечно, к девяти уже хотел домой, но надо было ещё выпить за здоровье героя дня. Во время фуршета разговорился с бывшим однокурсником, которого не видел уже лет восемь-девять. Однокурсник работал, как выяснилось, в ГИЛИСТе — Главном институте литературы и истории. «Где твоя молодая жена? — спросил однокурсник. — Наслышан. Скрываешь от общества?» «Нет, ни в коем случае. Просто она задружилась с Фазановой и сегодня к ней поехала — свою статью обсудить. Знаешь такую?». «Да ещё бы! Я с ней работаю. Так это про твою жену Фазанова говорила?» «Что говорила?» «Да нет, ничего особенного, в обычном фазановском духе. Только учти и жену предупреди, что с этой бабой дружить нельзя. Помимо всего прочего, она считает, что она есть реинкарнация Лихачева, Лотмана и Леви-Стросса». «Да что случилось? что говорила?» «Старик, не мастер я сплетни передавать».

Павел вернулся домой уже сильно после десяти, и настроение его было весьма смутное. С Фазановой он познакомился раньше, чем Даша. Дважды или трижды пересекались на международных конференциях. Фазанова везде ездила со своим князем Вертухаевым, благо архив его был огромен, а сам князь, счастливо избежав гибели в опричнину, выучил латынь и польский и переписывался с разнообразными западными персонажами. В Баден-Бадене она делала доклад: «Князь Вертухаев и русский путь к цивилизации». Ее все слушали, поскольку материалы были неизвестные, а она умела их хорошо преподнести. И черт его дернул тогда переспать с Фазановой. Был заключительный вечер после конференции в Баден-Бадене. Несколько

человек шли вместе вечерним летним теплым городом, поднимались маленькой горбатой улочкой, и вдруг Ада Никифоровна оперлась о его руку и сжала ему пальцы, сама на него при этом не глядела. Маленький лифт поднял их на четвертый этаж, семейная пара из Германии (тоже с их конференции) поехала дальше, впрочем немецкая женщина что-то заподозрила, открыла было рот, но муж сурово ей что-то сказал, и она смолкла. Прямо у лифта он принялся целовать ее шею и мять грудь. Она слегка пьяно млела, руки его не отталкивала, но и в номер к нему идти не соглашалась. Нацеловавшись вдоволь, она сказала: «Не пойду. I am sorry». И оторвавшись от него, стала подниматься по лестнице, где полуэтажом, пролетом выше был ее номер. Павел шагнул было следом. Но она обернувшись, выставила ладонь, останавливая его, сладко и маняще улыбнулась, но не позволила идти за ней: «Не надо». Он пошел в свой номер. Скинул куртку и тут понял, что надо идти к ней, что ее отказ и не отказ вовсе, а скорее, игра, что если сейчас не поднимется, то завтра будет поздно. Все же выкурил сигарету в колебании, но надо, надо... И он выскочил из номера и рванулся в ее комнату, постучал. Она открыла, не очень удивленная. Она была уже после душа, одета в короткий махровый халатик, под которым — теплое и распаренное тело. Он притянул ее к себе. Она припала к его груди. И вдруг сама принялась расстегивать его брюки. Он опрокинул ее в расстеленную уже постель. Но через час ушел, она не возражала. Фазанова была уже не юная женщина, очень давно замужем, поэтому понимала, что надо вовремя остановиться. Да и муж ее приходился сыном знаменитому археологу Бобинсону, как раз и открывшему бумаги князя Вертухаева, целый подвал семнадцатого века, набитый рукописями, на удивление сохранившимися.

Галахов любил Дашу, но, как многие мужчины, во время поездок он чувствовал себя отчасти Одиссеем, и все встреченные женщины казались нимфами с вновь открытых островов. Даша к тому же была не первой его женой, хотя и любимой, и, как он думал, последней, но он привык к вольным отношениям с женщинами и не считал изменой случайные связи. Но тут он вдруг подумал, как бы его кобеляж не вышел боком Даше. Хотя почему?.. Что Ада, дура что ли, о таком рассказывать! Но кто ее знает! И тут ему вспомнилась сегодняшняя случайная встреча с фазановским мужем, Тишей Бобинсоном, на громоздких ступеньках пред входом в Академию наук. Галахов, сделавши доклад, вышел, а Тиша, напротив, бежал на работу. Они столкнулись лицом к лицу. И хотя Тиша почему-то явно хотел пробежать мимо, но вынужден был остановиться и, смотря поверх плеча Галахова, пожать

ему руку. «Даша к вам сегодня вечером собиралась», — автоматически сказал Галахов. «К нам, к нам! — воскликнул Тиша, приплясывая на одном месте, словно рвался в туалет «по малой нужде», — поговорить надо, поговорить!» И рвался вверх по ступеням, не решаясь сам оторваться от Павла. Тот сказал: «Только допоздна не задерживайте Дашу, ладно? А то с Адой она готова хоть до полночи сидеть». «Конечно, конечно. Не задержим, поговорим только, поговорим. Там есть кое-какие соображения по ее статье», — всё приплясывал Бобинсон, напоминая чертика, который выскакивает из коробочки при нажатии пружинки и скачет и кривляется на этой пружинке. Но чертик не самостоятельный, игрушечный. Они расстались. Бобинсон побежал вверх по ступенькам, а Галахов, двигаясь на лекцию, подумал, что Тиша вёл себя как-то странно. Но, не додумав, тут же из головы эту мысль выбросил.

Теперь же он ходил из угла в угол по кухне, закуривая одну сигарету за другой, чего Даша не любила, но он все рано курил, когда нервничал. Окурки он тушил о единственную в доме пепельницу, тут же выбрасывал их в туалет, мыл пепельницу, как будто не будет больше курить, и все же снова закуривал. Ругал себя, что не поехал с Дашей. Но уж очень она хотела независимой поездки. Это было ее научное открытие, и она хотела, как настоящий ученый разговора со специалистом без поддержки мужа. Несколько раз он порывался снять трубку и позвонить, но удерживал себя. Фазанова жила в том самом Чертанове, в котором их когда-то чуть не убила шпана, но которое Даша любила, потому что именно там Павел сделал ей предложение. Галахов же терпеть не мог этот район. Его темноту, его ещё более темных обитателей. Людей поприличнее сюда заносила жилищная московская неурядица. Как занесло в свое время его приятеля Леню Гаврилова, как занесло и Фазанову, которая купила здесь кооператив много лет назад — с первых своих относительно больших гонораров. Знать бы хотя бы, вышла она или нет. Если не вышла, то просить подождать и нестись ее встречать. Сколько может длиться ученый разговор!..

Наконец, не выдержал, позвонил.

— Не волнуйтесь, Павел, — сказал в трубку жестковатый голос Ады, — Даша только что вышла. Наверно, едва до метро добралась. Посчитайте, сколько ей на метро ехать, и выходите встречать ваше сокровище.

Он вообразил себе ее, как уже видел, при муже надменное лицо, от которого Тиша терялся, и повесил трубку.

И тут же телефон зазвонил. Звучал Дашин голос, но как бы и не Дашин, такого он никогда не слышал. Она не всхлипывала, нет, она

словно захлебывалась не то словами, не то шумно заглатываемым воздухом, не то какой-то горловой дрожью. Прерывающимся голосом она бормотала, что ей уже почти тридцать и жизнь прошла попусту, что все, что она делала, на что надеялась, пустяк, подражание, ничего самостоятельного, и что она переквалифицируется отныне в поломойки.

— Ты что?! Откуда ты звонишь? — обомлел Галахов.

— Я уже у метро... Из автомата... Фазанова права... Она настоящей исследователь. Я ей сказала: «Вы как исследовательница...» А она меня так жестко оборвала: «Я не исследовательница, милочка, а исследователь. Я вам уже это говорила. Как Ахматова была не поэтессой, а поэтом!»... Она исследователь, а я... я даже не никто, а ничто!.. Она была груба, но я это заслужила... Она камня на камне от моей статьи не оставила... И этот Тиша ей все время поддакивал... Я даже думаю, он ее и подзуживал... Она мне говорит: «Вы, наверно, хорошая жена, вот и будьте женой, а в науку не лезьте, раз Бог способностей не дал...» Я, кажется, даже начала там плакать. Она все возмущалась, что я писала свою статью по его изданному сборнику, а на нее сослалась только три раза... Но не в этом дело... Не думай... Не тщеславие ее... Это я полная дура. Она мне доказала, что моя идея насчет Софии Премудрости в этой рукописи Вертухаева — чистая натяжка... А Тиша все тяжеленные альбомы таскал с иллюстрациями и мне в нос тыкал... И за Адой каждое ее последнее слово дважды повторял... Знаешь, под конец вдруг смешно получилось... Уже у двери она мне на прощанье говорит: «Я вам, наверно, кажусь монстром». А Тиша подхватил: «Да, да, монстром, монстром!» Это был какой-то ад! Ты знаешь, Галахов, я не хочу домой ехать. Я ещё где-нибудь погуляю. Мне надо в себя придти.

— Что за бред! — почти закричал Галахов, ломая в пальцах сигарету.

Но Даша каким-то чужим отчаянным голосом снова твердила, что она поняла, что ничего из себя не представляет, что Фазанова правду сказала, что ей не место в науке, поскольку ничего своего у нее за душой нет, что она повторяет чужое, то, что наработала, к примеру, сама Фазанова, что она верит ей, поскольку она большой настоящий ученый, автор пяти книг, а у нее, Даши, едва двадцать статей наберется. Что ей надо понять, как жить дальше, что домой ей возвращаться не хочется. «Мне надо идти преподавать, учить детей, ни на что больше я не гожусь. И то, если возьмут».

— Не сходи с ума! — нервно сказал Галахов. — Уже очень поздно. Я выхожу к метро тебя встречать. И буду стоять, пока ты не приедешь. Ты меня знаешь. Как сказал, так и сделаю.

— Хорошо, я еду. Но это ничего не меняет, — всхлипнула вдруг она, и разговор оборвался. В трубке звучали гудки. Павел вылетел на улицу. Мобильного у Даши не было. Звонить некуда. Ехать в Чертаново бессмысленно. Они разминутся. Оставалось нервно вышагивать в фонарной полутьме туда-сюда по дороге, ведущей к метро, и снова курить.

«Что случилось? Из-за меня? Мечь ревнивой женщины? Но вот в ревности Аду не заподозришь. Тем более, что вообще она почти феминистка, считает себя выше любого мужчины. Да и во время нашего тогдашнего визита даже черточки не проскользнуло. А потом ей явно Даша понравилась». Фазанова приглашала ее в имение князя Вертухаева, куда возила западных славистов, они ездили по монастырям, Ада приобщала Дашу к кругу мировых специалистов, куда сама была давно вхожа. Более того, несколько раз приглашала в финскую баню, где обещала ей научный симпозион, но как-то не получалось. Приходила только Даша, и Фазанова, как рассказывала простодушно Даша, восхищалась ее телом, говорила, что завидует Галахову, который может это тело ласкать и обнимать. «Да, может, она просто тайная лесбиянка?! — вдруг ударил себя в лоб Павел. — И мстит Даше за то, что у нее сорвалось, что Даша не поняла, что не дала ей. Нет, невероятно. Или, наоборот, очень вероятно?»

Под фонарем он остановился и посмотрел на часы. Ходил он всего двадцать минут. Еще минут сорок оставалось. Неслись, блестя фарами, по шоссе машины. По тротуару, навстречу и обгоняя его, проходили запоздавшие парочки. Брели какие-то нешумные, хотя и явно подвыпившие компании. Павел сжимал зубы и уговаривал себя, что с Дашей ничего не случилось, что она просто промахнулась трубкой мимо рычага, а поднимать ее на место не стала, поспешила в метро. Так трубка и висела себе, издавая нервные гудки. А что если?.. Перепуганное воображение рисовало одну за другой жутковатые картины, как Дашу вытаскивают из телефонной будки и куда-то волокут местные дикари.

Тогда они шли к Фазановой в Чертаново, и Павел вспоминал ту роковую семилетней давности их поездку к другу его детства сюда же, когда поздним вечером их чуть не убила шпана, но обошлось. Странно, тогда он сказал себе, что если выберутся, то непременно поженятся. Они выбрались, поженились, жили уже семь лет, и Галахов ни дня не жалел об этом. Даша тогда твердо сказала на его бормотание, не пожениться ли им: «Мы с тобой хорошо будем жить, Галахов». И не обманула. Сменив уже трех жен, он мог сказать, что более нежной, мягкой, умной и совсем нескандальной женщины он в жизни своей не

знал. И как тогда от шпаны ему хотелось защищать ее от всего мира. А тут чувствовал собственную вину. И черт его дернул тогда переспать с Фазановой! Что она Даше наговорила! Конечно, не был он специалистом по князю Вертухаеву, но все-таки достаточно профессиональным филологом и мог оценить новый поворот темы. Фазановой после работы в архивах издала три тома сочинений князя Вертухаева, писателя и одного из ранних русских философов эпохи барокко. И Даша все время говорила, что она идет по следам Ады Никифоровны, и единственная возможность для нее — найти в этих текстах то, что не заметила *сама* А.Н. Ведь любой текст неисчерпаем, и Галахов с ней соглашался. Действительно, любой текст зависит от читателя. И, наконец, Даше показалось, что в одной из работ князя она углядела своеобразную антропологию, которую предлагал князь, изображая разделенные части человеческого тела. Но, если их сложить, то получалось единое тело во главе с умом, что имел князь в виду облик Софии Премудрости, нахально отождествляя себя с ней, поэтому и человеческое лицо на его рисунке как бы двоилось, являя и мужские, и женские черты. А тем самым князь как бы оказывался одним из первых софиологов в России. Можно было даже предположить, что это автопортрет в облике Софии, чего Фазанова не заметила, о чем не подумала. Это явно не было повтором. Журнал принял статью, Даша, однако, решила до публикации показать текст мэтру Фазановой, со щенячьей доверчивостью надеясь на ее советы.

Дорога к Фазановой была, вдруг подумал Галахов, как дорога к бабе Яге. Петух вдруг закукарекал не вовремя, ворона орала что-то неприятное, ведро упало с сарая и покатило им под ноги, пронзительно мяукал перед подъездом кот, смотрел на них желтыми глазами, но в подъезд не шел. А путь шел среди и мимо гаражей, которые всегда создавали своего рода барьер перед окраинными новостройками. Но там же стояло и несколько допотопных сараев, даже высокая голубятня. У подъезда их очень мило так поджидали Тиша и Ада в шляпке. На шляпке своей она носила фазанье перо, дома был веер из фазаньих перьев, и улыбаясь своей жесткой улыбкой, она кокетничала: «Фамилия обязывает».

Квартира — прямо пряничный домик, везде леденцы, горки шоколада, орехов, коробки конфет. А Павел с Дашей — как Ганс и Гретель. У хозяев, конечно, два компьютера, ведь каждый — самостоятельный ученый. Они жили одни, детей не было, да Фазанова, похоже, в детях не нуждалась, забота о них мешала бы заботе о собственном величии. Черноволосая, с естественно завивавшимися жесткими волосами, отдаленно напоминавшая еврейку, но всегда при знакомстве, начинав-

шая с того, что она ни в коем случае не еврейка, она смутно намекала, что занялась этой эпохой, потому что именно туда уходит ее родословная. Но подробнее поинтересоваться об этом не решалась. Зато Тиша, не стесняясь, спустился по своему родословному древу до шотландских корней шестнадцатого века, тоже начав рассказ с того, что, несмотря на фамилию, он отнюдь не еврей. Судя по всему, оба говорили правду и к великому народу отношения не имели. Правда, Ада тут же добавила, что у них много коллег-евреев, особенно на Западе, и они с ними дружат. Про происхождение Бобинсона Павел не знал, но Фазанова в ту баденскую ночь сама ему рассказала, как волжская девчонка, наполовину чувашка, она рвалась в московский университет, выучила польский, латынь, французский, могла читать по-немецки, потом случился Тиша Бобинсон и архивы князя Вертухаева. Поперла везуха, кандидатская, докторская. Тесть тоже был к ней равнодушен, но, как она уверяла, рукам воли не давал, воспитание не позволяло.

Они заодно отмечали «трехлетнюю годовщину кухни». Тиша бормотал, что время от времени он кое-что ещё доделывает. Видно было, как усердно работал он столярным делом на кухне, все отделал, отшкурил, лаком покрыл, чтоб заслужить благосклонность, видимо, неудовлетворенной им повелительницы. Павел, глядя на всю эту кухню, деревянную, стильную, лакированную, сделанную собственными руками Тиши Бобинсона «в свободное от работы время», думал, что у него не хватило бы усердия таким образом выказывать любовь жене, что Даше свою любовь он выказывал совсем другим способом. И он жадными глазами посмотрел на так привлекавшую его фигурку все ещё молодой жены. И какой черт толкнул его, походя, влезть в постель к Фазановой? — снова подумал он тогда. И желания-то особого не было, так, подвыпил, и удалась молодецкая. А она почему так легко согласилась? Ведь видела его всего на второй конференции с промежутком в два года... Конечно, лестно думать о себе как о покорителе женских туш и душ. Но души он ее не задел, это очевидно. Имя научное было, да и блистал он на обеих конференциях, женское внимание тем самым и в самом деле привлек. Но почему так легко? Или ласки мужской давно не было? Может, Тиша давно уже ласку реальную заменяет древообделочной работой? Не умея отстоять свое достоинство ни в постели, ни в науке, он занимался поделками по дому, выпиливал лобзиком, сам отремонтировал кухню, обшив ее деревом. Впрочем, Галахов с Адой даже и не думали *эти свои* отношения продолжать. Все же уважающие себя и друг друга ученые. И если бы не интеллектуальная влюбленность Даши в работы Фазановой, он бы и не подумал ей

даже звонить, тем более напрашиваться на встречу, причем семейную. После защиты кандидатской Даша продолжала искать тексты на свою тему: взаимоотношения души и тела в русской культуре. Пока не наткнулась на груды рукописей из архива князя Вертухаева. Но везде она видела, что кто-то шел в работе с этими текстами впереди нее. Этот кто-то и была Ада Никифоровна Фазанова. Она взялась за ее книжки, и с того момента дома только и было разговору, что Фазанова считает, что Фазанова об этом пишет, что по Фазановой получается так-то. Она даже стала ходить на ее лекции, которые Ада с неохотой, по обязательке, читала в Педагогическом университете. И теперь была счастлива сидеть у нее дома и слушать ее умные речи. Но молчала, не решаясь открыть рот.

Их принимали по первому классу. Всяческие салаты, многие сама Ада делала, хотя бы салат «Нежность» из мелко нарубленной капусты и крабовых палочек, греческий — с разнообразной зеленью, сухими кусочками черного хлеба, оливками, оливковым маслом залитый. Белая и красная рыба, уложенная красивыми ломтиками на тарелках, сухая колбаса, буженина. Что-то явно грелось в духовке: сидели они на кухне, тщательно сотворенной собственными руками Тиши. Поэтому первый тост Ада предложила за кухню, за ее трехлетний юбилей. Они выпили. Фазанова чуть пригубила.

«Три года, значит, по крайней мере, мужской ласки она не видела, — цинично решил тогда Галахов, вспомнив ее страсть в баден-баденскую ночь. — Отсюда, наверно, и мужские ухватки появились». Сейчас он, правда, думал, что мужские ухватки ни с того, ни с сего не появляются. Сколько неженской энергии должно было быть у девочки из Ижевска, чтобы выбиться в первый ряд московских филологов.

Но она и в самом деле считала, что мужчины ничего не умеют. Тиша — показатель. С Галаховым ей показалось неплохо. Но одна ночь — не в счет. Она сама себя начинала чувствовать мужчиной. Какие-то другие, неженские гормоны стали в ней вырабатываться. Тиша готовил обед и подавал на стол, а она сидела, как хозяйин дома, и ждала. И чего-то стало ее тянуть к нежным девичьим телам. Она понимала мужиков. Так приятно гладить и ласкать молодые тела, когда они стонут в твоих объятьях. Не все ли равно как получать удовлетворение, лишь бы получать!

— Откуда у вас имя такое? Давно хотел спросить. Такого имени в святцах нет, — так в тот вечер начал Павел светский разговор после первого бокала очень расхваленного Фазановой сухого вина, которое она «открыла на Кипре». Та на вопрос отреагировала довольно спо-

койно, хотя иронически на него посмотрела, мол, никакого другого получше вопроса придумать не смог.

— Что делать — родители назвали: авиация дальнего действия, сокращенно АДД или АД. Отец летчиком был, но так девочку не назовешь, вот и стала я Адой, — рассмеялась она. — Вначале они в Челябинске базировались, потом их в Ижевск перевели. Там он мою мать и подцепил. Когда-то москвичам завидовала, да, было такое. Казалось, что самые счастливые люди в Москве живут.

— Да, самые, самые, именно, что живут, — подхватил Тиша.

— А теперь?

— Теперь? Теперь мне все завидуют. Знаете, столько, сколько я по миру езжу, вряд ли у нас кому-то удастся. Недели три, как вернулась из Женевы. Полугодовой грант был. На мою удачу, там князь Вертухаев две недели с русским посольством провел. Его следы искала. Все дуются. Зав сектором грозитесь не зачесть мои публикации за этот год, поскольку-де это всё западные публикации. Хочу быстренько конференцию провести, а то придется в другой сектор переходить. Я просто не умею не быть первой. Вы знаете такое понятие — перфекционизм? Так вот, я перфекционистка.

— Именно, что перфекционистка. Ада у меня везде первая, — добавил Тиша.

Надо сказать, через месяц она и перешла в другой сектор, где не было заведующего. Она завоём как раз и стала.

— Там, где я прошла, другому делать нечего. Я, как правило, в своей области ничего после себя не оставляю. Все подбираю дочиста. Вы, Дашенька, уже взрослая женщина, хотя и очень красивая и сохранившаяся. Видно, что муж вас любит. Попробуйте, конечно. Чем могу, — помогу. Вы мне нравитесь независимо от Вашего мужа.

— Даша вас обожает, — улыбаясь ей достаточно скромной улыбкой, стараясь сгладить неловкость ее последней фразы, произнес Галахов, но невольно тоном, словно часть себя снова отдавал.

Это были своего рода смотрины Даши. Но в ещё большей степени показ высокого интеллектуализма семейства Фазановой-Бобинсона. Показывались перед ужином книги свои и чужие с дарственными надписями, статьи в зарубежных книгах и даже одна книга Ады на английском языке. Галахов сунул глаз и в библиотеку. Он помнил ещё из школы знаменитый ответ Маркса на вопрос анкеты, какое его любимое занятие, — «рыться в книгах». В этом смысле Галахов был марксистом. Он тоже любил рыться в книгах, особенно в книгах чужой библиотеки. Библиотека в этом доме была хорошо, подобрана со

вкусом и очень профессиональная. Кроме избранных общеобязательных романов русской классики — Толстого, Достоевского, Булгакова, стояли тома архивных изданий древнерусских текстов, тома архивных документов, альбомы художников Возрождения и древнерусской иконописи. Да, все было по высшему классу.

Потом Ада достала из духовки мясо с грибами. Тиша предложил Павлу выпить по рюмке водки.

— Только для мужчин, да, для мужчин. Хотя какие мы мужчины! Мы же интеллектуалы.

— То есть как!? — воскликнула неожиданно с недоумением Даша, смутилась, покраснела. И, чтобы скрыть смущение, спросила хозяйку: — Как вы так вкусно мясо запекаете? Что за мясо? Это вроде бы не говядина и не свинина...

Смущение ее Фазанова заметила и оценила. И ответила, в лет сбивая:

— Не бойтесь ко мне в ученицы идти? Говорят, я — баба-Яга и людоедка. Сегодня — на ужин мясо моих оппонентов, а вместо вина — соки, которые я выжимаю из моих врагов. Не бойтесь меня, Даша?

Но Даша смотрела на нее замороженными глазами.

— Что вы, Ада Никифоровна! Если признаться, я вами просто восхищаюсь. Я ещё никогда не видела человека, так поглощенного наукой! Вы такая классная исследовательница!.. допустила Даша прокол, который повторила и сегодня, хотя уже и в тот вечер Фазанова резко ответила и почти теми же словами:

— Не надо меня так называть. Я не исследовательница, а исследователь. Наука не знает пола.

— Вот так, Дашенька, — выступил со своим рефреном Бобинсон. — Пола наука не знает. Никакого пола.

— А потолок? — не удержался Галахов.

— Что потолок? — не понял Тиша.

— Знает наука потолок? — разъярил свою шутку Павел, чувствуя, как она на ходу теряет свой смысл. И точно: ему никто не ответил.

А Даша даже и не слышала его, она во всём соглашалась с Бобинсоном и Фазановой.

«Она ее заморозила», — вдруг испугался тогда Галахов.

Такой замороженной Даша и проходила следующие месяцы своего общения с Фазановой. Павел только и слышал: «Ее нельзя не уважать». «Она настоящий ученый». «Я очень много от нее узнала». «Она в совершенстве владеет своим предметом». «Конечно, рядом некого поставить». «Я теперь поняла, что такое настоящая наука». И все в таком духе.

Вечером хозяева проводили их до метро. Тихая, теплая осенняя погода навевала благость. Они шли мимо гаражей, куда ставили свои машины возвращавшиеся из поздних гостей люди. А им ещё предстояло больше часа добираться. Тиша вскидывал руками и восхищался тем, как много Ада сделала для понимания князя Вертухаева. Фазанова скромно молчала. При прощании на освещённой площадке перед входом в метро они расцеловались. Поцелуй Ады был вполне дружеский, даже холодноватый, будто ничего и не было. Павел почувствовал, что его отпустило напряжение, которое он все же, как выяснилось, испытывал всю их встречу. А Даша, поцеловав Аду, отведя руку Галахова, чтобы он не мешал, что-то шептала ей радостно-обожаящее. Даже слезы на глазах у нее выступили. Иронизировать на обратном пути над ее чувствами Павел не стал, уж очень ей Фазанова понравилась.

Он посмотрел на часы. Пора было кончать гулянье и спешить к метро. Но пришел он раньше, Даша ещё не приехала. Он стоял, прислонившись плечом к закрытому уже киоску, и курил. Улица, по которой он гулял, была почти пустынна, зато перед метро толпился кое-какой народ. Работал магазин «24 часа», такая же аптека, много встречающих, маленькие компании, лохотронщики, правда, уже удалились. Не их время. Обычно с десяток крупногабаритных парней и девиц с грубыми лицами прогуливались перед метро с большими полиэтиленовыми сумками, в которых лежали какие-то фирменные, перевязанные ленточкой коробки. Вроде бы магнитофоны, видаки, кофеварки и прочее. Они представлялись как агенты фирменного отдела РТР, и провинциалы доверчиво их слушали. Павел никогда не видел результатов этих переговоров, но раз лохотронщики продолжали здесь собираться, прок для них был. Милиция же просто их не замечала. Галахов курил, наблюдая, как поток за потоком изливался из хлопающих дверей стеклянного павильона метро. Новый поезд — новый поток людей с промежутком примерно в три минуты. Вздрагивал, когда мелькала женская куртка знакомого цвета, но лица над этими куртками были чужие.

Наконец, появилась рыжая вязаная шапочка и темно-красная куртка, волосы из-под шапочки выбились и повисли какими-то собачьими клоками, глаза потухшие и совершенно несчастные, взгляд оцепенелый. У Павла вдруг возникло ощущение съеденного человека. Даша была съедена, а, судя по тому, как шла, даже косточки были надломлены или надкусаны.

— Ты зачем куришь? — автоматически спросила, автоматически заботясь о нем.

Он не ответил, бросил недокуренную сигарету и, взяв ее под руку, повел домой. Она шла, опустив голову, глядя себе под ноги. Павел хотел что-то спросить, но Даша прервала его:

— Только не говори мне ничего. Ладно? Пойдем молча.

Дома, бросив куртку на сундучок под вешалкой, прошла в комнату и села на диван. И тут ее прорвало. Рыдала, всхлипывала, хлопала, замолкала и смотрела несчастными глазами в угол комнаты. Отмахивалась от него, не желала слушать его растерянных и успокаивающих слов:

— Ты же муж. Что ты ещё можешь сказать? Конечно, меня поддерживать. А она специалистка. И Тиша Бобинсон ещё резче говорил. Я просто бездарность. И зачем я полезла в эту науку?

— Давай подойдем к вашему разговору рационально. Какие конкретно ее претензии. Вычлени рациональное ядро.

— Я не умею мыслить рационально. Это прерогатива Фазановой, потому что она ученый, а я обыкновенная тетка. У нее вместо душевных качеств и состояний — правила и принципы, нахождение ошибок и их исправление, уличение в ошибках и наказание... Вспомни, как они нас принимали в своем доме. Это была функциональная экскурсия. Здесь мы едим, это наш холодильник, это — плита, это — туалет, это — ванная, здесь — мой рабочий стол, здесь — Тишин кабинет, здесь — мы спим и так далее. Я теперь готовлю то-то, потому что это полезно и экономит время. По отношению и к самим себе сплошной функционализм. Впрочем, может быть, я и не права. Но, как я думаю, ничего не может быть противоположнее меня. Я сомневаюсь всегда и во всем, опираюсь на интуицию. Но, возможно, — да это так и есть! — в науке, как и в спорте, побеждают именно такие «хорошо организованные материи». Теперь она ещё и сплетню обо мне пустит. С милой улыбкой и видом научной объективности она всякие гадости о других говорила, да обо всех почти, а я ей верила. А теперь мне она сказала: «Вы же у меня почти все списали». Она теперь себе руки развязала, у-у, как теперь сплетня загуляет!..

Павел вспомнил смутные слова университетского приятеля и подумал, что уже загуляла, уже пробный шар заброшен. Попытался, тем не менее, говорить и предполагать нечто рациональное:

— Может, потому, что ты на ее делянку залезла? И теперь ей с тобой делиться придется.

— Что ты! Она была сначала очень рада. Потом я же по ее работам иду, то есть ее пропагандирую. Я не понимаю, ничего не понимаю.

Она дрожала, зубы стучали. Он попытался дать ей воды, но глоток воды исчез в ней, как капли на раскаленной сковороде.

— Выпей коньяку, — просил он. — Тоже просто глоток. Знаешь, тот, кто списывает, свой плагиат первопроходчику не показывает.

Он сам произнес это страшное слово — плагиат. И испугался реакции. Она посмотрела на него совершенно бешеными глазами. Но тон был спокоен, даже слишком спокоен:

— Ты тоже так считаешь? Тогда мне остается...

— Что остается?

— Не знаю. Умереть, наверно.

Галахов, видя, как она загибается, решил свалить на лесбиянство.

— Она же в тебя влюблена была, как в женщину. Ну, как женщина в женщину. Тиша-то уже неспособен, видимо. А — прокололась. Ты не поняла ее дамских деликатных лесбийских ухаживаний. Потому и в сауну тебя водила.

— Нет, — помотала Даша головой. — Не похоже. Она ни разу не решилась по моему телу даже рукой провести, ни разу не поцеловала. Может, запрещала себе. Но дело в другом. Я уже тебе говорила. Просто она *хорошо* организованная для науки материя, а я *плохо*.

Она рыдала и стучала кулачками в стенку.

Тогда Павел, боясь за ее рассудок, рассказал о том эпизоде в Баден-Бадене. За что получил по физиономии. Даше поманила его пальцем и, когда он к ней склонился, с размаху ударила его по щеке.

— Она меня с дерьмом смешала, а ты к ней в постель залез. Ты — предатель.

Удивительно, что не вообще обиделась, а что в *такой* момент. Сообразив это, Павел с трудом, но убедил ее, что момент был совсем другой, несколько лет назад, что и знакомы они семейно не были, что он себя клянет, что пьян был и прочие слова, которые говорят в таких случаях.

Но Даше уже было все равно. Она отвернулась к стене и не отвечала больше ему весь вечер и всю ночь. Раздеться и лечь в постель она тоже не пожелала. Галахов почти всю ночь промаялся на кухне, курил и сам пил коньяк.

Дальше все развивалось ужасно, по неостановимо ухудшающейся схеме. Утром Даша не встала, хотя согласилась перелечь в разобранную постель. От еды отказывалась. И с мужем говорить не хотела. О том, чтоб на работу пойти, и речи быть не могло. Отзвонил свою лекцию и Галахов, остался с ней. Врач ничего толком сказать не мог, предложил сходить к невропатологу, поскольку тот на дом не выезжает. Павел нашел врача-частника из платной больницы. Невропатолог постукал Даше по локтям и по коленкам молоточком, надел на голову

зеркальце на ленте, велел водить из стороны в сторону глазами, затем закрыть глаза и дотронуться указательным пальцем до кончика носа, потом прописал успокаивающие лекарства, взял много денег и ушел.

Но ничего не помогало. На работу Даша ходить перестала. Боялась слухов и сплетен, ее трясло при упоминании ее филологического факультета. Павлу она разрешила спать с ней в одной постели, иногда разрешала и большее, и тогда ему казалось, что она хочет в любви спрятаться от мучающей ее дурной идеи. Слишком она духовно отдалась Фазановой. Да, думал Павел, это и было своего рода духовное лесбиянство. Он даже боялся ее любить, обнимать ее худеющее изо дня в день тело.

Фазанова больше ни разу не позвонила. Только раз позвонила какая-то комивояжерша, предлагая современный суперпылесос, сказав, что номер телефона ей дала Ада Никифировна.

Продолжались врачи-неврологи, больничные листы, статью свою из журнала Даша сразу сняла. Кто-то из доброжелателей написал ей письмо, мол, Фазанова всем говорит, что «жена Галахова у нее все списала». С Адой Галахов не перекинулся больше даже словом, чувствуя бессмысленность их разговора и свою беспомощность. Конечно, муж и не может жену не защищать. Он отправил Дашу в санаторий, куда ездил через день. Он-то не мог оставить работу, и на конференции по привычке и обязанности ходил. Месяца через четыре после начала Дашиной болезни он был на конференции в ГИЛИСТе, и бывший однокурсник опять просветил его:

— Слышал, как Фазанова развернула своего Вертухаева? Он у нее теперь стал первый русский софиолог, что он якобы себя в образе Софии Премудрости изобразил. Да ты выйди в фойе, там сборник ее сектора продается.

С этим сборником Павел и поехал в санаторий, всю дорогу пребывая в растерянности, то ли показывать жене статью Ады, то ли умолчать. Но все же показал. И вдруг Даша засмеялась, не нервно, а очень спокойно:

— Так просто? — выговорила она. — И для этого надо было меня почти уничтожить? Поехали домой. Я ребенка от тебя хочу. Хватит с меня науки.

New York, январь 2005

Случайные заботы и смерть

Рассказ

Он посмотрел на будильник, стоявший перед ним на коричневом ящике для постельного белья. Четверть девятого. Надо вставать. Утро было пасмурное, затянутое какими-то серо-белыми облаками, света в комнате не хватало, поэтому он включил настенную лампу над диваном. Проснулся он рано, в начале шестого, как всегда бывало с ним после сильной выпивки, но голова не болела, только чувствовалась похмельная разбитость во всем теле да сердце стучало сильнее и прерывистее. И часа три лежал в полудреме, пытаясь уснуть, но не получалось, и он отважился наконец зажечь свет. Лаки, большой, черный, давно не стриженный пудель, лежавший ковриком у стола и вроде бы спавший, словно ощутив, что хозяин надумал вставать, поднял голову и приветливо, на всякий случай, качнул туда-сюда хвостом, а увидев, что хозяин смотрит на него, подошел к дивану и сел напротив, тяжело дыша, высунув красный язык и напряженно-выжидающе следя за его движениями. Псу давно уже хотелось на улицу, потому что вечером прогулка была непродолжительной, но Михаил Никифорович так и решил, что до начала девятого он постарается если уж не удастся уснуть, то хоть подремать, прежде чем начать длинный день. Да к тому же он хотел, чтобы прошли школьники, бежавшие в это время в школу: пес всегда рвался за бегущими, изо всех сил тащил за собой хозяина, а сил у него было немало — зимой он даже катал его на лыжах. Михаил Никифорович протянул руку, и Лаки сразу подsunул свою лохматую голову, всячески ластясь и в свою очередь прося ласки.

Вчера, после заседания сектора, он, по случаю, попал к приятелю, которому бывшая его подруга прислала из Абхазии большую плетеную корзину фруктов и две бутылки марочного коньяка. Кроме огромных груш и персиков в корзине лежали ещё свежие грецкие орехи, настолько непохожие на высушенные магазинные, что поначалу он подумал, что орехи незрелые, но нет, они поспели, как объяснил приятель, а влажными были от свежести. Коньяк с такой закуской казался вкуснее и изысканнее, и они выпили много лишнего, потому что у приятеля оказалась дома ещё и третья бутылка. И Михаил Никифорович подзадержался, поскольку жена вторую неделю лежала

в больнице на обследовании, а Лаки, когда оставался дома один, вёл себя спокойно. Зато сегодня, с того самого момента как проснулся, Михаил Никифорович мрачно мычал, ругал себя за вчерашнюю податливость на выпивку, выходил на кухню, пил холодную воду и на всякий случай валокордин, потому что чувствовал спросонья слабость в сердце, на душе было мутно и противно самого себя, и наступающий день представлялся потерянным из-за вчерашней случайной встречи и собственной неводержанности. Где-то около семи ему уже звонил приятель, тоже мучимый похмельной утренней бессонницей, приглашал к себе опохмелиться и продолжить; правда, приглашал не очень настойчиво: все его друзья и приятели знали, что «на следующий день» он не пьет, а терзается по поводу «бессмысленно потраченного времени» и «пытается работать». Хотя, конечно, работать не получалось, разве что читать; а он несколько раз уже ловил себя на том, что просто читать, только для интереса, как в детстве, как в школе, было уже скучно, казалось пустым времяпровождением, если читаемая книга не годилась как материал для научной работы или хотя бы для рецензии. И только в дни болезни или похмельные дни он позволял себе расслабиться и почитать не утилитарно.

Но сегодня он решил потратить день на всяческие хозяйственные нужды — благо, библиотечный, — ведь все равно не работалось, а уж лучше тратить на эти нужды время, которое все равно пропало для работы. К тому же он обещал жене, что к ее возвращению батарея в туалете будет установлена и он постарается, чтобы это произошло до начала октября, то есть до того, как начнут топить. Но сегодня было четвертое, и от стены в ветреные дни уже несло в спину холодом, а он по-прежнему ещё не был уверен, что эта история будет иметь благополучный конец. Он аж вздрогнул, вспомнив ощущение бессилия, беспомощности и униженности, которое он испытывал весь этот месяц, добиваясь прихода слесарей. Чувство ярости и злобы, которое невозможно реализовать, если каким-либо образом не наказать виновников твоих неприятностей, заставило его наконец дернуться и сесть на постели. Лаки тоже вскочил и потянулся, выдвинув далеко вперед передние лапы и отключив кверху зад с вытянутым в струнку коротким нечесаным хвостом.

После писем, заявлений и звонков в ЖЭК, в которых он пытался, изнывая от бессилия слов, доказать, что жить без батареи в туалете невозможно, особенно зимой, что батарею эту сняли ещё весной (когда лопнула от ветхости труба и залило всю квартиру) и обещали поставить ее в конце лета и что назначенное время уже прошло, — он ис-

пытывал желание оставить все, как есть, плюнуть, и лучше мерзнуть зимой, чем довести себя до нервного приступа. Его ещё мучило, что ни в каком письме, ни в каком заявлении он не смог бы описать — не позволяя жанр — бесцеремонность и хамство этих, как говорила жена, «с позволения сказать» мастеров, снимавших батарею. Его самого не было дома, когда случилась авария, но, по рассказу жены, он представлял себе, как это происходило после того, как она наконец с тряпкой в одной руке и телефонной, трубкой в другой дозвонилась до ЖЭКа. Как описать в заявлении двух полупьяных слесарюг, первым делом попросивших стакан и пригрозивших, что если не будет стакана, то они пойдут и включат снова воду и живи как хочешь, а потом просто-напросто отпиливших батарею, сидя по очереди орлом на унитазах: чемоданчик для инструментов у них был набит пивом, и лишь пилу они захватили с собой. Конечно, за весьма приличную мзду они готовы были тут же поставить краденую батарею, но денег тогда не было, да и слишком они были наглы и бесцеремонны. И вот теперь этих слесарей ждал и не мог дожидаться Михаил Никифорович. Но желание пойти куда-нибудь пожаловаться, хоть в газету написать, чтобы найти на них управу, наталкивалось на слова главного инженера, полные безысходной, отчаянной и тоскливой дерзости: «А я что могу сделать? Может, вы мне посоветуете? Нет? Тогда зачем говорить?! Я вхожу в ваше положение... Войдите и вы в мое. А где я других возьму? Уж какие есть... Людей нету! Все нынче хотят чистенькой работы...» И слесаря эти прекрасно понимали свою полную безнаказанность, понимали, что любой ЖЭК примет их с радостью. Это ему, кандидату филологических наук, куда-либо устроиться затруднительно. Не много даже в столице таких учреждений, где так уж нужна его профессия. Хотя, конечно, на работу он ходил всего два раза в неделю: день заседания сектора и день дежурства, — а это, надо признаться, весьма неплохо. Впрочем, подумал он тут же с яростью, эти работнички только называется, что ходят на работу: для них работа — это клуб, где можно выпить водки, побалдеть, потреться и проявить лихость, сшибив у жильца ни за что тройяк, а то и пятерку.

Позавчера эти давно жданные специалисты явились опять вдвоем, протопали по коридору и, склонившись над торчащим отрезком трубы за унитазом, произносили непонятные Михаилу Никифоровичу слова о резьбе, коленях, продувке и сливке. Потом, выйдя из туалета (который, казалось, от их неловких движений должен был быть разнесен и уцелел только по какой-то случайности), стояли у стены и рассуждали; правда, один, посумрачнее, с вытянутым и резким, бо-

лее породистым или, точнее, более человеческим лицом, как раз тот, что сидел на корточках и рассуждал о резьбе и пробках, теперь молчал, а второй, в шапке-ушанке, надвинутой на брови, чесал в затылке и, моргая глазами, говорил: «Да, дела. Снять-то легко было. Это точно. Ломать — не строить. Я помню, мы и снимали. А как к ней теперь подойдешь, когда отпил есть, тут надо резьбу насаживать. А что было делать, когда у вас тогда трубу прорвало?.. Хозяйка тут ещё была, она нам стакан давала, приветливая такая». — «Да помолчи ты. — прервал его молчаливый, глядя в пол. — Ну мы пошли, хозяин. Потом зайдем». — «Когда?» — переспросил Михаил Никифорович. «Да когда?.. — ответил мужик в ушанке. — Надо подготовить все. Может, сегодня. А то ставить — тут с отпилом и не подберешься. У тебя тут, гля, какая пробка поставлена!.. Это, даже чтобы вдвоем работать, дня два надо, не меньше. Да, не меньше. Да и унитаза как бы нам не попортить. Ну это мы для тебя постараемся. Для хорошего хозяина чего не постараться! Грязи мы, конечно, тебе за два дня много развезем. Да и собачку тебе придется запертой держать, а то вить как лает».

Лаки бывал очень изыщен после стрижки, по лохматым становился похож на черного терьера, и не разбирающиеся в собачьих породах люди, видя большую черную и лохматую, злобно и басисто надрывающуюся от лая собаку, в квартиру заходить боялись, пока собака не убиралась. К знакомым, надо сказать, Лаки ластился, прыгал, кладя на грудь лапы, и не успокаивался, пока ему не удавалось лизнуть вошедшего в физиономию, но на посторонних рычал, и сейчас, запертый в одной из комнат, гавкал время от времени из-за двери.

«Стало быть, мы пойдем щас обедать, — продолжал упорно мужичонка в шапке, продвигаясь к выходу, — уже как-нито двенадцать. А после обеда придем. Как справимся, так и придем. Но работы дня на два, не меньше». Он явно набивался на предобеденную пятерку, но, не получив таковой, затопал следом за напарником вниз по лестнице, и больше они в тот день не появлялись.

Он ещё раз взглянул на часы и увидел, что пронежился и промечтал, задумавшись, в постели на четверть часа больше, чем собирался. Он встал и, стараясь не делать резких и лишних движений, принялся собирать постельное белье и складывать его в предназначенный для этого коричневый полированный ящик, на котором стоял будильник, чашка с водой и транзистор с выдвинутой ещё с вечера антенной. Заломило виски и затылок, но больше всего он чувствовал тяжесть и слабость в сердце и усталость, как будто его собственное тело было грузом, который надо тащить. Лаки сразу отскочил от постели, как

только он поднялся, и теперь юлил вокруг него, изгибаясь всем телом от радости и норовя пронырнуть между ног хозяина. Хвостиком он вилял из стороны в сторону весьма энергично. Михаил Никифорович прошел на кухню, наполнил водой чайник, поставил его на плиту, затем сходил в туалет и ванную. Хотел было принять душ, но на улице, судя по всему, было ветрено и холодно, и он побоялся простыть и ко всем своим неладам добавить ещё и простуду. Поэтому он только умылся и почистил зубы; вернувшись в комнату, надел халат, купленный в Эстонии, и отправился пить чай. Чайник уже кипел, но, прежде чем налить себе, он взял Лакину миску, насыпал туда геркулеса, бросил для вкуса и запаха кость и, залив все это кипятком, поставил на край плиты, чтобы к их возвращению собачья еда была уже готова. Выпил чаю, съел бутерброд с сыром, вернулся в комнату, скинул халат и принялся одеваться для улицы. Увидев, что хозяин натягивает на себя лыжные брюки, пес задышал ещё сильнее, начал путаться под ногами, двигаясь туда же, куда шел хозяин, а потом вдруг закрутился по комнате, стараясь не то ухватить себя за хвост, не то просто полизать под хвостом. И вот, улегшись на пол перед самой дверцей шкафа, он действительно принялся яростно выкусывать и вылизывать что-то под хвостом. Михаил Никифорович все так же спокойно, стараясь не растревожить лишний раз сердце, которое то начинало колотиться, то словно прокалывалось болью, продолжал одеваться. И хотя он был уверен, что это не настоящая, а всего-навсего невралгическая боль, лучше уж было не спешить. Натянув на себя свитер, теплую куртку из старой, потрепанной псевдозамши и сапоги, Михаил Никифорович взял в руки поводок, и тут, окончательно убедившись, что хозяин оделся, чтобы идти с ним. Лаки, как всегда, запрыгал от радости, не давая нацепить поводок на ошейник. И хозяин говорил ему ласково: «Ах ты лохматая тварь, ах ты рожа, это чья такая наглая рожа лохматая!» И пес терся головой о его ноги.

* * *

Неподалеку от двора проходило шоссе, небольшое, так себе, проезд, соединявший две больших магистрали, а сразу за ним был огороженный забором пустырь, принадлежавший институту, в котором работало большинство жителей дома (или когда-то их родители). Это был скорее даже не пустырь, а целое поле, с пересекавшим его посередине оврагом, вдоль которого любили гулять собачники. Обычно, выгуливая Лаки, Михаил Никифорович не только сам выгуливался, но и обдумывал очередную работу, которой он занимался. Поэтому он

любил гулять один. Сегодня же мозги явно не варили, и он шел, надеясь, что холодный воздух и ветер выдуют из него вчерашний хмель и сегодняшние его остатки.

Трава на поле уже пожухла и пожелтела и была прибита ночным дождем, но человек в резиновых сапогах старался все же идти по мокрой траве, а не по вытоптанной тропинке, поскольку тропка раскисла и скользила под ногами. Лаки умчался куда-то в сторону и вот уже сидел орлом, весь напрягшись, подняв голову и вздрагивая ушами. Михаил Никифорович, не обращая на него внимания, шел, заложив руки за спину, и вялые, тусклые мысли едва-едва шевелились у него в голове.

Он думал о том, что ему уже пятьдесят один год, что он выпустил две книжки, напечатал статей ещё, в сущности, на одну книжку и вот теперь сдал в издательство небольшую монографию, листов на десять, о Достоевском. Последнее воспоминание было ему неприятно, поскольку редакторше книжка очевидно не понравилась, она требовала, чтобы он высказывал «более общепринятые положения» (так она выражалась), поскольку в противном случае она отдаст рукопись начальству, чтобы то решало само, что делать дальше, а она никакой ответственности за книгу нести не хочет. Он размышлял уже о каком-нибудь компромиссном варианте, но сейчас про это вспоминать не хотелось. Он говорил себе, что вообще-то в его жизни все складывается неплохо, во всяком случае с точки зрения профессиональной, что лет ему ещё не так много и ещё есть время создать нечто, чтобы стать человеком, который не только пишет о людях, сказавших новое, но и сам говорит это новое, свое. Постараться не писать больше о частных, а сказать нечто глобальное о литературе, об истории, о мироздании и о самом себе, наконец. Все то, что, как ему казалось, в нем сидит и пока выплескивается капельно в работах по частным вопросам. Известно же, что и Дефо, и Сервантес, и Аристотель принялись за свои основные работы, выразившие самую сущность их миропонимания, уже в возрасте за пятьдесят. Так что время ещё есть, успокаивал он себя, только надо перестать поддаваться случайным слабостям, вроде выпивки и женщин. Впрочем, последнее Михаил Никифорович прибавил для красного словца, потому что сидение в библиотеках и над собственными рукописями не оставляло времени на серьезные любовные приключения и романы. Проще было выпить, что он и позволял себе время от времени.

Сделавший все свои дела. Лаки, дважды уже присаживавшийся, поднимавший ногу у всех нанюханных им кустиков травы и даже

лихорадочно выкопавший в какой-то момент передними лапами довольно глубокую яму в тщетной надежде поймать полевую мышку, подбежал к нему, ткнулся кожаным носом в руку и повилил хвостом, открывши пасть и заглядывая в глаза. Таким манером он звал домой, потому что после гулянья вторым постоянным удовольствием у бедного пуделя была еда, и он уже, очевидно, проголодался. Действительно, пора пришла двигаться домой, гуляли они уже больше получаса, и ноги у Михаила Никифоровича в резиновых сапогах, несмотря на войлочные стельки и шерстяные носки, заledenели. Они двинулись к дырке в проволочном заборе, ограждавшем поле.

Подходя к дому; он увидел маячившую женскую фигуру в сером, возможно, шерстяном платке и длинном, старом, темно-зеленом пальто — их домоуправшу Ефросинью Ивановну. Он хотел было пройти мимо, только кивнув, не ожидая чего-либо нового в разрешении вопроса о батареях, но не удержался и подошел. Было ей уже за шестьдесят, скрюченная, старая, изможденная не то болезнью, не то возрастом, она напоминала долго пожившую бабу-ягу: нос, загибавшийся к заостренному и торчавшему вверх подбородку, кустики волосков на подбородке, глаза, постоянно слезившиеся из-под старых очков, особенно когда она начинала говорить, на всех жалуюсь, довершали это не очень оригинальное сходство. Она посмотрела на него, подшмыгнула носом в ответ на приветствие, помолчала минуту и потом, как бы «переходя в наступление в порядке защиты», принялась жаловаться обиженно-плаксивым голосом:

— Вы думаете, я старая бреховка? А я здесь с девяти дежурю, их жду, специально приехала. А что мне делать, они меня не слушают! Говорят: а пошла ты! Представляете, я им говорю, а они меня посылают. А сами с одиннадцати часов уже пьяные. И откуда деньги берут? Воруют, а работать не хотят. Я все ваши заявления Федоруку передала с сопроводилкой. Он обещал послать, но на них управы нет. Сидят, ждут одиннадцати, а потом пьют. И меня не слушают «Вот Федорук как скажет, мы и пойдем, а ты иди» — вот что говорят.

Михаил Никифорович стоял, терпеливо слушал ее жалующиеся слова, но так и не понял, придут слесаря сегодня или нет. А слабость во всем организме была такая, что вступать в более подробные выяснения не было сил, оставалось махнуть рукой. Однако для очистки совести он задал ещё один вопрос, который задавал чуть ли не в течение года, да и жена просила это выяснить к ее возвращению, — будет все же в доме капитальный ремонт или нет: если нет, надо самим заняться — побелить потолки, поклеить обои и отциклевать пол; если же

будет, то надо обождать, а то, ремонтируя, все разворотят, и придется начинать все по новой.

— Ну черт с ними, — сказал он, с трудом удерживая на поводке Лаки, вдруг ринувшегося что-то понюхать у края газона; все же пес подтащил его, куда хотел, и он продолжал говорить, стоя уже вполборота к домоуправше. — А что слышно насчет капитального ремонта? Ведь дом же с тридцатых годов не ремонтировался, все трубы давно прогнили. Батарею-то у нас не случайно прорвало.

Дом был старый, крепкой постройки, пятиэтажный, с высокими потолками и хорошей планировкой квартир, но действительно не ремонтировавшийся уже лет сорок. Ожидая ремонта, переезжать оттуда они, однако, не хотели. Но и опять он толкового ответа не получил.

— Вот что я вам скажу, Михаил Никифорович, — собеседница подмигнула опять носом и, подойдя поближе и приблизив свои слезящиеся словно от обиды глаза к его лицу, сказала, будто давая тайный и действенный совет, — вы напишите заявление, а я передам Федоруку, пусть там сами решают. Мне они своих планов не докладывают, — окончила она решительно.

Лаки тем временем поднял ногу, покапав на нанюханное местечко. И Ефросинья Ивановна, глянув на него, перескочила на другую тему.

— Вы все с собакой, — проговорила она теперь осуждающе-доверительно, как могла бы сказать пожилая дальняя родственница или старая ворчливая соседка, — а от них власоглавы. Вы ее небось и в морду целуете? Очень напрасно. Вон как Пискавиной из-за этих глистов даже желудок вырезали. А у нее тоже была собака, она ее все в морду целовала. Тьфу, не могу понять, это же противно — целовать животное в морду, оно же не человек...

Лаки потянул к подъезду, и это было вовремя, во всяком случае Михаил Никифорович мог сделать вид, что прекращает разговор не сам по себе, а просто будучи уже не в силах удерживать рвущегося домой кобеля. Поднимаясь по лестнице, он почувствовал, что свежий воздух и гулянье не принесли ожидаемого результата: сердце ужасно колотилось, и это колоченье сопровождалось слабостью такой сильной, что по спине проступала испарина. Он пару раз останавливался, держась за перила и жалея, что не взял с собой валидола. Но, придя домой, он все же не лег, потому что всегда мелкие заботы спасали его от подобного рода болей гораздо лучше, нежели покой. Он поставил миску с Лакиной уже готовой едой на скамейку, зажег под чайником огонь, чтобы с холода выпить ещё чашку горячего чая, и после этого накапал себе около двадцати капель валокордина и выпил их, запив водой.

В таком состоянии за дела, даже за чтение, приниматься не хотелось. Он подумал было позвонить в райком или райисполком, чтобы пожаловаться наконец кому-то на хамскую нерадивость слесарей, но, ощутив вдруг, что стоит ему об этом заговорить не так, как с домоуправшей, а всерьез добиваясь и качая права, у него сразу подскочит давление и поднимется неудержимая и неуправляемая злость, с которой он потом не сразу справится, он отложил свое намерение до того момента, когда будет себя лучше чувствовать. Оказалось, что правильно сделал, что отложил. Лаки ещё лежал на полу перед миской (будучи благородным пуделем, он не бросался сразу на еду, а долго сидел или лежал перед миской и, только выждав лишь ему известный ритуальный срок, подходил и принимался хлебать из миски; надо сказать, никто его этому не учил, — очевидно, работала наследственная память породы), а в дверь позвонили. С громким лаем первым к двери добежал Лаки. Ухватив его за ошейник, Михаил Никифорович открыл дверь. На площадке стоял Давешний молчаливый слесарь в ватнике, синих, заправленных в кирзовые сапоги галифе, одной рукой он придерживал три принесенных им секции батареи, в другой держал чемоданчик с инструментом.

— Собаку убрat надо, хозяин, — сказал он, не входя, и Михаил Никифорович (вспомнив филологический курс диалектологии и романы «про Сибирь») отметил, что он кончает слова на твердое «т», иными словами — сибиряк, а сибиряки, известно, настоящие работяги, но заговаривать про это не стал, считая такие разговоры проявлением высокомерно-подхалимствующего псевдодемократизма. Заперев Лаки в комнате, он спросил, не нужна ли помощь и придет ли его напарник. На это неразговорчивый мастер ответил, что его напарник «уже нажрался»:

— И где они, черти, до одиннадцати водку берут! Ни ногу, ни руку поднять не может.

После чего, пока слесарь работал, отказавшись от всякой помощи, Михаил Никифорович, потративший накануне все деньги в ожидании близкой зарплаты, звонил по соседям, в надежде перехватить у кого-нибудь до завтра трояк, но все тоже подошли ко дню зарплаты, и только у соседей напротив он стрельнул рублевку. Закончив работу, вместо обещанных и угрожающих двух дней, через два часа, слесарь молча взял рубль и ушел. Михаилу Никифоровичу было неловко за малую сумму, которую он дал, — после столь быстрого и счастливого разрешения ситуации, казавшейся уже безнадежно безысходной, — но оправдывал себя тем, что ничто не предвещало этого визита и такой оперативности действий.

Он открыл дверь и выпустил Лаки, который с грозным рыком пронесся по квартире, вынюхивая следы ушедшего чужака. Было уже начало первого, и, заглянув в холодильник, хозяин увидел, что для него и для собаки еды на сегодня хватит, так что тратить время на готовку обеда вроде бы ни к чему. Хотя, надо сказать, он и вообще предпочитал обедать дома, нежели ехать куда-нибудь в ВТО или ЦДЛ, где время не сэкономишь, а проэкономишь, да и отвлекает от реальной работы и раздумий эта рассеянная обстановка со светскими сплетнями и мелькающими литературными девочками.

Значит, до обеда у него есть свободное время, и можно хоть что-то почитать, с одной стороны, чтобы нужное, с другой — не очень уютное. Он сел за стол, отодвинул машинку в сторону и немного вперед, чтобы расчистить место для книги... Но сидеть было трудно: ко всем неприятным ощущениям прибавилась ещё непонятно откуда взявшаяся боль под правой лопаткой, отдающая и налево. «Наверно, невралгическая», — решил он, однако все же прилег на диван, прихватив с собой первый попавшийся под руку том Достоевского. Оказалось «Преступление и наказание». Книгу он знал почти наизусть, поэтому даже не мог сообразить, на какой странице открыть и что, собственно, он хочет в ней ещё раз продумать. Ведь можно продумывать и не открывая текста. Поэтому он положил книгу рядом и позволил себе расслабиться и задуматься. Скрипнула дверь, это Лаки, просунув морду в щель, начал протискиваться в комнату к хозяину, открыл, прошел под стол и тоже улегся.

Поначалу он вспомнил, однако, о неотложном и перечислил про себя — с твердой установкой запомнить — те вещи, которые он собирался завтра захватить с собой, чтобы отнести жене в больницу. Завтра к тому же была зарплата, так что он сможет после работы купить ещё и фруктов, и шоколад, и что-нибудь ещё в этом роде. Потом он задумался над тем, что к пятидесяти годам они остались практически одни: сын женился и появлялся не чаще раза в неделю, а друзья превратились в светских знакомых и о старой дружбе вспоминали только для оживления застольной беседы — все стали люди деловые и о шутках и проказах прежних лет только говорили. Он вдруг вспомнил, сколько они друг про друга сплетничали и говорили за глаза гадостей и насмешек, и подумал, что если бы существовал тот свет и все узнали, кто что про кого говорил или, тем более, думал, то это было бы ужасно, даже самые добрые люди ведь позволяют себе, тайно или явно, позлословить насчет другого, а то и порадоваться его неуспехам. Неужели тот свет можно представить как место, где все стыдятся друг

друга?.. А как же обещанная милость Господня? Но милость надо заслужить — сказано же, что воздается каждому по делам его да по вере его, кто что заслужил, тот то и получит, кто во что верил, тот то и обретет на том свете. Эта мысль в применении к Достоевскому вдруг заинтересовала его. Он даже подумал, что отчасти она была навеяна самим писателем. Взятая в руки книга почти сама раскрылась на нужном месте—первом разговоре Раскольников со Свидригайловым.

«— Я не верю в будущую жизнь, — сказал Раскольников.

Свидригайлов сидел в задумчивости.

— А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде, — сказал он вдруг.

— Это помешанный, — подумал Раскольников.

— Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.

— И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! — с болезненным чувством вскрикнул Раскольников.

— Справедливее? А почему знать, может быть, это и есть справедливое, и знаете, я бы так непременно нарочно сделал! — ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь.

Каким-то холодом охватило вдруг Раскольника при этом безобразном ответе».

Каким-то холодом охватило вдруг и Михаила Никифоровича, и, закрыв книгу, он отложил ее. Он сопоставил огромную бесконечную вечность и свою размеренную жизнь в маленькой двухкомнатной квартирке; и его жизнь показалась ему закинутой, заброшенной в эту вечность, крошечной ее частицей в череде уходивших и приходивших народов и людей. Ему захотелось как-то выразить это захватившее все его существо чувство, передать его, но он не знал как и продолжал лежать, размышляя. «Конечно, — думал он, — Достоевский хотел сказать, что Свидригайлов заслужил именно такую вечность. Но если отбросить мистику, то... как я соприкасаюсь с этой вечностью, что есть моя вечность? Вот эта вот маленькая квартирка, книги, лежанье на диване, писание ученых статей, которые будут забыты и сменены новейшими исследованиями лет через десять, и это в лучшем случае, вся эта суeta мелких повседневных забот — это и было бы мне предназначено, если бы существовала вечность и загробное воздаяние? Это же

ужас!..» Он пошевелился от усиливающегося озноба, особенно вдруг замерзли ноги — он лежал не укрывшись пледом, а в неотопливаемой ещё комнате было холодно. Михаил Никифорович подумал, что, быть может, именно оттого, что он не знает, как выразить подобные собственные рассуждения о жизни и смерти, ставшие приходиться к нему в голову, он и запихивает их в свои литературоведческие работы, неосознанно для себя запихивает, а это не может не смущать редакторов. От справедливости этой мысли, вдруг прояснившей ему многое и поразившей его, он резко пошевелился и, чтобы успокоить себя, принялся оглядываться в поисках пледа. Но тут зазвонил телефон, пришлось встать и пройти на кухню: телефон стоял на холодильнике.

Звонила из больницы жена, просила завтра привезти тушь для ресниц, голубой свитер и колготки, рассказывала больничные истории и сплетни, спрашивала, звонит ли сын и не собирается ли он все же наконец навестить в больнице мать. Пока она говорила, он почувствовал, что стоять ему тяжело, и сел перед холодильником на табуретку. Кончив разговор, посмотрел на часы и в комнату возвращаться не стал: пора было обедать. Да и похмельный голод наступил, а точнее, он знал, что должен наступить похмельный голод и его надо непременно утолить.

* * *

Обед был скудный, и потому он съел все до последней крошки, оставив себе только хлеба с сыром на ужин и три яйца для утренней яичницы. Потом аккуратно вымыл за собой посуду: это тоже было дело, не требующее напряжения и потому сегодня вполне доступное. Лаки тоже перекочевал на кухню и теперь лежал у плиты, ожидающе и мрачно глядя на хозяина. Пришлось дать ему сухарь. Лаки подержал его в пасти, потом положил между передними лапами, расположился поудобнее и принялся его грызть. Было уже начало четвертого.

Он подумал, что, в сущности, день прошел, и ничего не сделано, и, быть может, и вправду было лучше поехать к приятелю, посидеть в тепле и уютных разговорах, выпить немного вина, немного, но выпить, а с завтрашнего утра уже здоровым начать снова жизнь и работу. То есть у приятеля он бы тоже ничего не делал, но хоть пообщался бы, а не выглядел ещё раз перед всеми таким бирюком. Он вспомнил, как мать его однажды сказала, что прожила жизнь «обыденкой». Мать у него была химик и часто употребляла слова, почерпнутые ею в лаборатории, полупростонародные, а он, филолог, даже не задумался тогда, какой смысл вкладывается в это слово, каково его происхождение. Но сей-

час он подумал, что, каково бы ни было это происхождение — от выражения ли «абы день прошел» или от слова «обыденность» (московский выговор матери не различал «а» от «о»), — смысл этого слова был очень грустный, и он как-то очень отчетливо вдруг понял это.

Он поднялся с табурета: болела спина и ещё какое-то странное ощущение уже несколько раз посещало его — вдруг начинала ломить, или болеть, или неметь (он не мог точно определить это состояние) вся правая сторона тела: нога, рука и правая часть головы. Он несколько раз спрашивал врачей, но ему прописывали успокаивающее, от нервов, или какой-то набор витаминов. И сейчас снова это же ощущение. Почувствовав это, он сказал себе, что в конце концов имеет полное право хоть раз в неделю полностью отдохнуть, то есть совсем-совсем расслабиться и ни о чем не думать, потому что ведь его работа состоит в думании, а стало быть, и отдых — в прекращении оного, насколько это возможно. Надо просто пойти лечь и почитать какой-нибудь самый дурацкий детективный роман, чтобы просто отвлечься, а потом заснуть, решил он.

Звонок у них был проведен на кухню, и, когда он задремал прямо у него над головой, Михаил Никифорович почему-то почти испугался неожиданности этого звонка, но пошел к двери. «Кто это может быть? — думал он. — Вроде никого не должно быть». А Лаки снова был уже у двери впереди него, злобно лаял и скреб передними лапами пол, как бы подрываясь под дверь.

— Уберите собаку. Это Мосгаз. Уберите собаку, — раздался голос.

И Михаил Никифорович с обреченностью снова запер Лаки и впустил посетителя. Это был толстый мужчина в черном старом костюме, карманы брюк полувывернуты и обтрепаны, брюхо выпирало над ремнем, а отвислая нижняя губа довершала картину расхристанного, распадающегося человека, как показалось Михаилу Никифоровичу. «Мосгаз» прошел на кухню, что-то там проверил, потом в ванную, где, дернув за ручку газовой колонки, проверяя, выдернул ее. Но несколько не смутился, просто в его непрестанно льющуюся речь вплелась и эта тема (а надо сказать, он с порога не закрывал рта, чему Михаил Никифорович был отчасти рад, раздумывая, где ему ещё достать рубливку или чем ее заменить: вроде и не обязан, а как-то принято):

— Да, этого у нас нет. Придется так пользоваться. Просто вставлять и пользоваться. Московские колонки, они хорошие, только их с производства сняли. Так что теперь если радиатор полетит, то каюк. Отключаем. Люди вон по три месяца сидят без газа. А тут всего-то резьба полетела. Я ленку намотаю, и привет, полный порядок, — при

этом он открыл свой чемодан, достал пучок растрепанной пеньки и, оторвав кусочек, быстро намотал на резьбу выпавшей ручки и вставил ее обратно. — Ох, погода опять нехорошая в октябре: август, июль — дожди, сентябрь — одно наше удовольствие, а октябрь никуда. Да, а нагар оттого, что свеча запылилась, сажа там. Надо крышку снять и продуть — хитрости никакой. А воду горячую обязательно сливать надо, а то радиатор разорвет. Сегодня у меня смена после обеда, и я к вам ко вторым.

Михаил Никифорович понимал, что весь этот душевный разговор ведется к рублевке, чтобы после таких долгих объяснений хозяину стало бы совестно не дать рубля. Но рубля не было, и он был в растерянности, но тут пришла в голову идея спасения. «Мосгаз», закончив работу, долго упихивал пеньку в чемодан, где среди каких-то инструментов лежала ещё свернутая болонья, долго мыл руки, пока стоявший в дверях Михаил Никифорович не предложил:

— Может, рюмку водки? — и, пропуская его на кухню, добавил: — Вы уж извините, денег нет ни копейки перед получкой. Так что водочки, чем богаты, тем и рады...

— С удовольствием, — громадная туша, нисколько не стесняясь и потирая руки, проследовала на кухню. — А то за весь день набегаешься. Я чемоданчик пока в ванной оставил, чтоб он не мешал. Я к вам ко вторым. Был в Дубках — на одиннадцатом этаже, а там лифт отключен. Представляете? Там мембрана полетела. А мембрана полетит, и все, каюк. Это как человек: полетела на сердце мембрана, и помер, — рассуждая, он присел за стол, пока хозяин доставал полграфинчика водки, сыр, хлеб, масло, ливерную колбасу, которой он питался напополам с Лаки. — А эти ленинградские, — говорил мастер, — делают с кнопками, вначале на трубе делали, теперь на корпусе. Только они все хуже и хуже работают. Мы, мастера, как слышим, что где-то старую колонку выкидывают, сразу туда. Детали свинтишь, и порядок, можно работать. Запчастей к московским-то нет, их теперь вообще не выпускают. А людям ведь надо. Я семь поставил уже так. Мне что, жалко, что ли? Мне не жалко. Там, на Усыкинской, снимать будут ещё десять колонок, вот поеду возьму. Пять да ещё там пять, да, будет десять. Ну, ваше здоровье, будем здоровы! — Он опрокинул в себя аккуратно, прямо-таки вылил в глотку полный лафитничек водки, взял кусок хлеба, осторожно положил на него кусочек ливерной колбасы и принялся есть. — А вы что же? — обратился он к Михаилу Никифоровичу.

— Пожалуй, — и, налив себе полрюмки, он тоже выпил, а затем налил ещё гостю. А тот ел и похваливал:

— Это я люблю. Если ее с вермишелью перемешать и сварить, то это как паштет получается, и никакого мяса не надо. Только сразу целую кастрюлю съесть, а то холодное оно не вкусно, надо на сковородке разогреть. Это за шестьдесят четыре копейки? Я как раз такую люблю, а диетическую, из настоящего ливеру, не люблю, она мне не вкусная. За шестьдесят четыре копейки тоже бывает плохая, вся сухая совсем, а бывает жирная — шкурку снимешь, так все пальцы обмажешь...

Он так аппетитно все это расписывал, сразу видно, настоящий гастроном, что Михаилу Никифоровичу пришло в голову, как только мастер уйдет, приготовить себе что-нибудь в этом роде. И «Мосгаз» уже казался обыкновенным добродушным, немного болтливым дядечкой, каким он, наверно, на самом деле и был. Только уж чересчур болтливым. Острая, колющая, незатиhaющая и ровная, словно держащая уверенно одну ноту, боль вдруг проникла ему в сердце, так, что он испугался, но почему-то при постороннем постеснялся встать и накапать себе валокордина, чтобы это не выглядело намеком на предложение покинуть дом и не дало новой пищи для его безостановочной речи. «Авось само пройдет, отпустит». А тот, доливая остатки из графинчика уже сам, все продолжал говорить, теперь придав теме новый поворот:

— А я немного получаю, и жена тоже. Вот она поехала отдыхать в Пятигорск по путевке, а мне оставила пятнадцать рублей. До аванса ещё восемнадцать дней, вот и прикинь. Ну она там шей сварила, яйца оставила, колбасу... Она же знает, что я не пьяница, мне пятнадцати рублей хватит. Ну, она уехала, я вышел, мне много не надо, купил четвертиночку за два двадцать девять, а на следующий день опять ее же, четвертиночку, или красного за два двадцать две. То есть деньги надо. Ну, будем здоровы!.. И я тогда покупаю ливерную колбасу. Очень вкусно и можно от пуза наесться. Ну ладно, я, пожалуй, пойду. Спасибо вам за угощение. Если что надо, звоните, мигом придем. — Он встал, дожевывая хлеб с ливерной колбасой.

А сердце и вправду само отпустило. И Михаил Никифорович пошел проводить мастера в переднюю. Из-за запертой двери опять залаял Лаки.

— А чем собачку кормите?

— Геркулесом. Бульоном завариваю, а если бульона нет, то тогда просто кипятком.

— А знаете, здесь, ну через два квартала, у двадцать пятого дома геркулес дают, сам видел, честное слово.

— Спасибо, а то у нас уже кончился.

— Не за что. Бывайте здоровы.

Проводив мастера, Михаил Никифорович подумал, что ему и вправду нужен геркулес и что рано или поздно придется идти его куда-нибудь покупать, да, ещё искать придется, где дают, а сейчас очень удобный случай, раз все равно придется на это тратить время. Но прежде он вернулся на кухню, достал из шкафчика валокордин, накапал в рюмку, разбавил водой, выпил и тут же запил эту горечь. Потом начал одеваться. Пес решил, что его берут с собой, и заволновался, начал дневать, потягиваться и прохаживаться по коридору. Но после строгого и твердого «нет» улегся в прихожей, выразительно и обиженно поглядывая на хозяина. Но прежде чем выйти, Михаил Никифорович вовремя вдруг вспомнил, что денег-то нет и что все покупки надо отложить на завтра. Тогда он твердо решил полежать и почитать, но не детектив на сей раз, а какую-нибудь статью Аверинцева, чтобы было в мозгу ощущение интеллектуальной работы. Но, разумеется, ещё не начавши читать, уснул крепким, тяжелым сном.

* * *

Когда он проснулся, было уже темно. Михаил Никифорович включил настенную лампу в изголовье и посмотрел на будильник. Без четверти одиннадцать. Он выключил свет, резавший ему ещё сонные глаза. Наступившая темнота воспринялась как облегчение. Но только для глаз, на душе, несмотря на долгий сон, было почему-то пасмурно и тоскиво. Он приподнял голову и неожиданно почувствовал, что она слегка кружится и его немного тошнит. Он снова лег, темнота и спокойствие пустой квартиры всегда располагали его к размышлениям, но не серьезным, а скорее мечтательным, когда одна мысль бесцельно сменяется другой, а чаще даже видишь себя в картинках, в действии, кому-то чего-то говоришь, что-то делаешь, кого-то обнимаешь, а нечто тебе всегда непременно удастся, то, что хотелось. Но сейчас мысли были мрачны и сводились к тому, что он попусту проживает свою жизнь, что сегодняшний день, в сущности, не исключение, что день проходит за днем в суете и необязательных работах и заботах — в визитах в институт, в писании статей для бесчисленных коллективных монографий, где от него требовалось только знание фактов, потому что концепции сборников, как правило, бывали общесекторские, то есть заведующего, а то и в домашних заботах, в ссорах и примирениях с женой, в случайных пьянках — и все это его жизнь? Да он-то здесь при чем? Все это мог проделывать кто угодно другой. Он никак не мог понять, что он хотел бы понимать

под своей подлинной жизнью, той, какой ему хотелось бы жить, но, во всяком случае, какой-то другой. Наступала похмельная депрессия, он это даже сознавал, потому что всегда на следующий день *после* (вот как сегодня) хотелось жить чище, лучше, по-иному. Он также заставил себя припомнить, что кажущееся сейчас ужасом и бессмыслицей воспринималось в другие дни как удача и хорошо живущаяся жизнь. Но он словно нарочно дал уйти пришедшей здраво-медицинской мысли и принялся на все лады перебирать пустоту и бессмыслицу своего сегодняшнего дня, когда в очередной раз он так и не сумел ни за что настоящее приняться. А ещё все равно надо идти с собакой, хочет он того или нет, вместо того чтобы сесть за стол и заняться напропалую, хоть два или три часа без перерыва — хоть не писать, но хоть читать и конспектировать. И отчаяние охватило его, потому что он знал, что выйдет сейчас с пуделем, прогуляет полчаса, а то и минут сорок, вернется, поставит ему еду, с вечернего холоду и сам выпьет чаю, а там уж и сил не будет, когда на самом деле надо ловить часы такого душевного рабочего подъема. Но он, как раб, прикованный к тачке (откуда-то вылез этот банальный образ, хотя чувство мрака и тоски от своей рабской жизни, прикованной к быту, было вполне искренним), будет вынужден все же все это сделать, потому что так *надо*, а он с детства усвоил, что вначале нужно делать то, что надо, и лишь потом то, что хочется.

Михаил Никифорович снова зажжет свет. Лаки лежал у шкафа, но не спал, а, вытянув передние лапы и подняв голову, смотрел на него. Тогда Михаил Никифорович подумал, что, может быть, и неплохо, что он выводит собаку так поздно. Во дворе уже никого не будет, темно, только свет от окон и фонарей, машины на соседнем шоссе ходят редко, и можно будет выпустить собаку прямо во двор, к тому же заодно он сможет захватить и помойное ведро, выкинуть мусор в бак на краю двора, а потом, поставив пустое ведро у подъезда, погулять по двору и по аллейке, разделяющей два газона, пока пес набегается и вернется к нему. Все это обдумывал он лежа, чтобы потом не терять времени, хотя, как ему одновременно казалось, обдумывание житейских мелочей на самом деле отнимало время у чего-то более важного. Он с раздражением сел, чувствуя во всем теле сонную ломоту, какая бывает после вечернего сна, когда с досадой говоришь себе: «Кой черт угораздил меня вечером заснуть!» Сердце заколотилось снова, да и дурнота не проходила. Лаки вскочил.

— Ну что, лохматый тварь! Поди сюда.

Пес подошел, присел рядом, смешно вывернув задние лапы, и притиснул голову к ноге хозяина. Михаил Никифорович принялся меха-

нически чесать ему за ухом и шею под мордой, потом отнял руку, но пес снова поддел головой его руку, тыкаясь кожаным носом и прося у хозяина доброты, расположения и ласки.

— Ах ты псина!.. — Михаил Никифорович забрал в обе пригоршни шерсть вместе со шкурой на морде пса и потряс его из стороны в сторону. — Конечно, ты здесь ни при чем. Это твой хозяин бестолковый никак свою жизнь организовать и устроить не может...

Он встал и, почувствовав слабость, охватившую его, ещё раз подумал, что хорошо, что он выходит во двор вечером, — можно не брать Лаки на поводок, а просто открыть дверь квартиры и выпустить его и не придется лететь за ним вниз по ступеням, с трудом сдерживая рвущегося пуделя и едва сохраняя устойчивость и равновесие. «Ф-фу, это уж точно в последний раз, больше никаких случайных пьянок, не тот уже возраст. Скорей бы завтра, высплюсь, и все будет в порядке». Он одевался, а Лаки кружился вокруг него. На душе было тускло, ярость, которая была утром обращена на мастеров, все не приходивших чинить батарею, теперь обратилась на него самого, очень хотелось предаться отчаянию, махнуть на все, в том числе и на себя, рукой, снова лечь, выключить свет и лежа предаваться мрачным мыслям. Лелеать свое одиночество и хандру. Но надо было двигаться и существовать.

Он вышел в темный коридор и включил свет. Пудель выскочил следом, боком отираясь около входной двери и вопросительно виляя хвостом. Темнота подступала из кухни и из открытой настежь ванной комнаты. Михаил Никифорович подумал было пройти на кухню и ещё раз для профилактики принять валокордину, но махнул рукой, осуждая себя за перестраховку. На кухню все же пришлось идти за мусорным ведром. Лаки всюду следовал за ним по пятам. А когда хозяин останавливался, останавливался тоже и, раскрыв пасть, тяжело дышал.

Зато когда наконец открылась дверь, пес быстро выскочил на площадку, но, не поверив свободе, тут же и остановился, поглядывая на хозяина. И только после того, как Михаил Никифорович вышел следом за ним и захлопнул дверь, помчался вниз по ступеням. Держа в одной руке ведро, а другую с зажатым в ней поводком засунув в карман пальто, человек медленно спускался по лестнице.

Все как обычно. Он глядел на вытопанные каменные ступени с прожилками в камне, на витые деревянные, окрашенные в коричневую краску поручни перил, и вдруг ни с того ни с сего сердце подскочило к самому горлу, а дыхание прервалось; и он представил, точнее, даже не представил, просто ему стало совершенно отчетливо и ясно видно, что это вдруг произойдет, что его не будет, и это уже реально, это всерьез,

всамделишно произойдет; это не воображаемая с интересом идея, как в детстве, что, дескать, будет, если меня не будет, и, наверно, не страх за жизнь, как на войне, нет, это ощущение надвигающейся неизбежности, о которой не задумывался и с которой не боролся в свое время. Вот, все будет, а меня не будет. Просто не будет, и все. Даже ступени останутся, а я исчезну. В никуда, в пропасть, в черный провал. Но самое даже страшное, что это и не пропасть, и не провал, где хоть что-то, может, есть, а просто черное ничто. Ничто. Понятие, страшнее которого человечество не выдумывало. Вот, только что тут был и вдруг пропал. И на это место заступит другой. Почему? Родился — не по своему желанию, учился, потому что было так надо, затем надо было поступить в университет — поступил, в аспирантуру, защитил кандидатскую, потому что стало это входить в некий негласный образовательный ценз — все кандидаты, а лет тридцать назад успокоился бы просто на дипломе, зато докторскую защищать не стал — не было этой общей обязательности. Выпустил пару книжек: диссертацию и одну плановую монографию. Ни разу не пытался выступить от себя, навязать миру свою волю, чтобы жизнь обратилась в судьбу.

Вот так же будут входить и выходить в подъезд и из подъезда люди, будут подниматься по лестницам, какие-то парни будут курить и флиртовать с девушками у батарей. Вот ведь от дворян (которые подлетали в каретах к своим особнякам и взлетали по лестнице, быть может, брэнча при этом шпорами, а как их дамы поднимались — и не представить!) ничего не осталось, кроме этих особняков и мраморных лестниц. Может, они и думали, что умрут, но что их образ жизни всего через каких-то сто лет будет казаться сказкой и небывальщиной, вряд ли им в голову приходило. А его образ жизни — в чем он, каков? Но мысль как-то засуетилась между мраморными дворянскими лестницами и их подъездом с разбитой электрической лампочкой при входе и ни до чего толкового не добралась.

Голова кружилась, и почему-то стало жарко, до звона в ушах, и жаром заломило затылок и шею. И снова испарина страха и слабости покрыла спину. Ему оставалось спуститься последний лестничный пролет до выхода (Лаки то спускался к двери, то взбегал к нему навстречу, не в силах сам открыть дверь подъезда), но снова острая режущая боль прошла через сердце. Однако, сказав себе: «Надо встряхнуться и преодолеть. Так *«это»* не бывает», он толкнул ногой дверь и следом за Лаки вышел на улицу. Пес сразу ринулся в кусты, в середину газона, а Михаил Никифорович остановился и поставил ведро на асфальт, вдыхая всей грудью сырой вечерний воздух. Лаки вернул-

ся, подбежал к хозяину и опять рванул в темноту. Домашняя собака, думал Михаил Никифорович, бегают кругами, но приходит, а он сам даже кругами не бегал. Один раз, правда, чуть было не ушел. Но там была бы такая же точно семья, никакой, в сущности, разницы. А к чему повторять? Сердце забилося ровнее и спокойнее, только жар в затылке не проходил. Он думал, что ему всегда было интересно, как *она* придет к нему. Случай, казалось, какой-то должен как намек произойти, чтобы он понял, вот это уже *она*, пора готовиться, ведь что-то должно произойти или в нем, или в окружении перед приходом смерти, не шутка же. Но сейчас ему показалось, что, скорее всего, ничего и не произойдет. Это сейчас ему было ясно, хотя немного странно и обидно. Просто его не будет. И он даже сам не поймет, что в этот-то момент и происходит умирание, наступает смерть. Он вздохнул, поднял ведро и пошел, взбрызгивая резиновыми сапогами лужи, накопившиеся в выбоинах и покатосях асфальта перед домом. Дождь, видимо, ещё раз прошел часа два назад, пока он спал.

Но, тяжелый и неотвязный, этот вопрос привязался к нему, хотя, как и все подобные метафизические вопросы, разрешения не имел, только подолгу занимал воображение: «Так как же *это* происходит? Как *она* приходит? Если не так, то, быть может, эдак?» Его бесплодные размышления были прерваны пожилой соседкой, каждый вечер выходившей в одиннадцать для получасового моциона, — худой и поджарой дамой, преподававшей в институте английский язык.

— Добрый вечер. Вы слышите? Прислушайтесь! — она энергично ткнула рукой по направлению к подвалу.

Он прислушался. Действительно, слышался звук сильно льющей на землю тяжелой струи воды, тяжелой как обвал. В голове мелькнули полуапокалипсические видения гибели дома, пожарных почему-то машин, толпящихся испуганных обывателей, сонных и плохо одетых, засуетились мысли о своей библиотеке, которая может пропасть, — ведь ясно, что произошла. Какая-то серьезная авария, а они случайные свидетели. Надо срочно бежать вызывать «аварийку»...

— Что это, трубу прорвало? — испуганно спросил он.

— Да нет, — она была даже раздосадована его испугом, направленным не в ту сторону. — Это Котолеевы новую ванну себе поставили, а сток с трубой плохо подсоединили, вот и льет прямо в подвал, как только они моются или душ принимают.

— А мастеров небось не дозовешься, — посочувствовал он.

— Если бы они звали! Им-то наплевать, что в подвале делается! — соседка говорила, стоя прямо под окнами Котолеевых, и потому, не-

смотря на поздний вечер нарочито громко, чтобы те слышали и почувствовали.

Михаил Никифорович, вообще-то соседей зная не очень хорошо — скорее здоровался с ними, нежели общался, — Лену Кротову, которая вышла замуж за Федю Котолеева, знал прекрасно: она была младше его лет на пять, но они вместе учились на филологическом факультете. И хотя даже и в университете они не общались, что называется, по существу, ограничиваясь общим трепом, ее широкая и действительно добрая улыбка, длинная и сутулая, неуклюжая фигура в обвисшем пальто и тяжелых немодных сапогах, по-мужски стоптанные каблуки и высовывавшиеся из коротких рукавов натруженные руки, да ещё беззащитность какая-то, — все это было ему близко, и было неприятно, что на нее нападают, да ещё, по видимости, и справедливо. Он сразу подумал, что Лена, быть может, и хотела бы пойти починить ванну по просьбе соседей, и мастеров бы добилась, потому что семья Кротовых всегда, ещё при жизни ее родителей, была без показухи артельной, готовой на помощь любому, но сейчас, наверно, уперся Федор, а перечить ему она боялась. Он был здоровый и пьющий мужик, а она некрасивая и рано постаревшая женщина.

— Мы с Анной Павловной к ним два раза ходили, — продолжала соседка, — больше это никого не интересует, — добавила она шпильку в адрес собеседника. — Они ни в какую. А в подвале уже стены зеленою покрылись и слякоть непролазная на полу. А им хоть бы что! — снова возвысила она голос. — Я уж велела Марусе-дворничихе лампочку в подвал ввернуть, чтоб хоть видеть, куда ступаешь.

— Да, наверно, все же мастеров трудно дозваться, — пытался выродить Лену Михаил Никифорович.

— Ванну себе частным образом ставить за пятьдесят рублей — они нашли мастеров! А теперь на пол у них не течет, ванна новая, так, значит, все в порядке! — Соседка возмущенно издала носовой звук, средний между чиханьем и фырканием, и, не сказав ему даже «до свиданья», двинулась к своему подъезду. Подбежавший Лаки обнюхал ее и как старую знакомую пропустил в подъезд молча.

Михаил Никифорович выбросил мусор, вернулся к своему подъезду, оставил там у стенки пустое ведро и пошел погулять туда-сюда по средней, так называемой «липовой аллейке», пока Лаки бегают по газонам. Когда ему приходилось таким образом поздно выходить во двор и он бродил взад-вперед по аллейке, он, как правило, предавался благодушным размышлениям о себе и своих делах, наподобие Манилова. Как он напишет очередную статью, как ее напечатают и какие

на нее будут положительные и хвалебные отзывы. Но нынче, как бы в подтверждение и закрепление всего дня, плохого самочувствия, моральных терзаний и сумрачного настроения, размышления были несветлые, полные тоски и самоистязательства.

...Проблема избранности, избранничества, размышлял он, скорее всего, это просто-напросто иллюзия. Он почему-то был всегда уверен раньше, что он не может умереть, не совершив предназначенного, заложенного в нем. Даже в мелочах, даже в периоды неудач, когда более везучие его приятели защищали диссертации, а он валялся на диване и читал сыну книжки про индейцев, он был уверен, что все это временно. И действительно, и диссертацию защитил, и две книжки выпустил, не говоря уже об опубликованных статьях— около сотни (считая, разумеется, и рецензии). Но, делая все это, он знал, что все это пока не «то», что «то» ещё придет, и он поймет и возьмется за настоящее дело, и наконец это будет *его* дело, которое никто, кроме него, совершить не может. И хотя жена утешала его, говоря, что и в диссертации, и в своих книгах, и в статьях он написал то, что хотел, но он-то сам знал, что писал их не потому, что не мог не писать, а потому, что так надо было по работе, по институтскому плану. А когда придет его час, его тема? Он настолько раньше был уверен, что не умрет, пока не создаст то, для чего призван на свет, что не только не боялся тратить время на мелкие халтуры, но и не боялся летать на самолетах.

А тут он вдруг почувствовал, что, быть может, пропустил свой час, что умрет до срока именно потому, что, ничего ещё даже не начал такого, что побуждало бы его экономить время и жить, чтобы успеть доделать начатое. Тем более что, думал он, сколько нелепостей случается даже с явно великими людьми, и ничего — мир, вселенная это допускают и не содрогаются, все так же зима сменяет осень, весна зиму, идут дожди, падает снег, греет солнце. Кто же содрогнется, если умрет Михаил Никифорович Клепшин, мало кому известный, кроме весьма небольшого круга специалистов! А уж они-то явно не содрогнутся. А ведь надо, чтобы каждый человек был событием на этой земле и чтобы все чувствовали некоторую свою неполноту, когда кто-то из людей уходит, умирает.

Он сел на скамейку, размеренно дыша, чтобы успокоить сердцебиение; было темно, и шумели деревья, время от времени отряхивая на асфальт капли дневного дождя. Подбежал Лаки, вскочил на скамейку и сел рядом, привалившись. Так было всегда: пока хозяин ходил, он бегал где-то в сторонке, но стоило присесть, как он тут же объявлялся. Пора было идти домой.

Поднявшись на свой четвертый этаж, Михаил Никифорович снова почувствовал, как нахлынул жар в затылок, заболела спина и появилась необычная слабость в ногах. Но он, по счастью, был уже дома.

Накормив пса, он быстро разобрал постель и лег. Было уже без десяти двенадцать. «Слава Богу, уже в постели. Теперь выспаться, главное, выспаться, отоспаться. Это от усталости все. Завтра утром буду бодр, и все сегодняшнее покажется дурным сном. А там обдумаем все заново. Быть может, и вправду пора уже отрешиться от суеты и собраться духовно, пора».

В глубине души он, правда, надеялся, что на следующий день все мрачные мысли уйдут и в здоровом теле проснется здоровый дух и снова ещё некоторое время можно будет заниматься столь важными для текущего его положения делами, и статьями, и книгами. Внезапно он почувствовал сильный толчок в сердце, будто оно рванулось за какую-то преграду, и он всем телом, успев ещё удивиться этому странному ощущению, но, не успев испугаться, рванулся за ним вверх, чтобы облегчить сердцу этот переход, и перешел. В сердце что-то словно порвалось, и он упал на подушку уже мертвый.

Лаки ткнулся носом ему в руку, потом подбежал к входной двери, стал скулить, плакать и скрестись, не то прося, чтоб его выпустили, не то зовя на помощь к хозяину, который лежал холодный и неживой.

Поезд «Кёльн — Москва»

Повесть

Не уважаю я наших писателей, которые Русью клянутся, о ее особом пути говорят, призывают нас стать самими собою, а сами на Западе сидят, в Мюнхене или в Париже; пищу, трижды проверенную каким-нибудь доктором Эткером (о чем фирменный знак извещает), едят; в магазины, где все есть, кроме очередей, так что у русского человека глаза разбегаются, ходят; чистым воздухом, без гари и выхлопных газов, — ибо там изо всех сил за экологию борются, — дышат. И всюду ухоженные сады и парки. А у меня сценка в глазах, — не такая уж и давняя, — как у нас в универсаме ждала толпа колбасу; и вот ее в колясочной тележке, нарубленную и запакованную, выкатили; толпа *урвать свое* так неистово бросилась, что стоявшую первой женщину в эту коляску опрокинули; и из-под нее куски колбасы выхватывали, внимания на ее печальное положение не обращая. И что это значит — стать самим собою? Мы и без того сами по себе и ни на кого другого не похожи.

Прожил я три месяца в Германии, получив за свой последний роман стипендию немецкого литературного фонда. В тот год ещё только обещали наполнить наши магазины импортным изобилием. А здесь передо мной — сто сортов колбасы, сто сортов сыра, фрукты, о каких мы тогда и в Москве не слышали, рыба, мясо и т.п. Да что говорить! Хочу — такую сметану куплю, хочу — этакую, шоколадки разных сортов покупаю, орешки очищенные: то миндаль, то арахис, то фундук. И стипендия была по их, по немецким понятиям, небольшая, а всё же мог себе это позволить. Забыл и слова такие: «Сегодня в магазин пока сметану и молоко не завозили, зайдите после обеда». Даже стыдно мне было — перед родителями, перед женой, перед дочкой маленькой — за свою сладкую жизнь. Вроде как изменял им.

Тут один кагебешник остался, никак его выдворить не удавалось, в суд потащили, а он говорит, что если его выгонят, то его как бывшего сотрудника секретных органов лишат в России работы. Не смогли немцы на такое пойти. Все-таки права человека... Ну, отложили на полгода разбирательство, а он за это время немочку себе завел, женился, и уж теперь хрен выгонишь.

А взять хотя бы такого выдающегося деятеля и политического писателя, как Б. Марфутьев. Думаю теперь, что он всё просто врет. Призывает всех нас на баррикады, а сам в отдельном домике в Мюнхене свежую немецкую пищу ест и в Россию уже не хочет, хотя Запад ему «противен», да и «Россия в сытое мещанство тоже катится», но, чтоб спастись, ей надо снова под твердую руку попасть и коллективным русским духом задышать. Иного, де, нет у нас пути, всегда у нас была в руках винтовка, потому и уважал нас весь мир и боялся. А теперь никому мы, русские, не интересны, в том числе и вчерашние диссиденты и изгнанники. Пока Советского Союза, то бишь России, боялись, то и к беглецам из нее уважительно относились, деньги платили, приглашали выступать, за деньги, конечно, а теперь... Империи нет, и на изгнанников стало наплевать.

Богаты мы, едва из колыбели, писал Лермонтов, ошибками отцов и поздним их умом. Я бы сказал, что *мы богаты всеми недостатками цивилизации — без ее достоинств*. Как-то мы с женой ехали в Иркутск, на ее родину, поездом. Она считала, что писателю надо хотя бы из окна вагона обозреть бескрайние просторы своего Отечества. И пошли леса, поля, перелески, леса, поля перелески... Все — неухоженное, дикое, а жильё — бедное, редкое и словно бы случайное... Грустное, надо сказать, было зрелище; особенно несколько десятков километров меня поразили: где раньше, видимо, были березовые рощи, стволы остались, а листва среди лета исчезла, и белые березы напоминали своими голыми стволами и ветвями по чьей-то макабрической прихоти врытые в землю скелеты. Спросил у случайного попутчика. «Химия», — ответил он, словно бы это слово все объясняло. Понимающему, однако, объясняет. Завод где-то тут химический, и его отходы уничтожили окрестные леса.

Мы никогда не станем Западом, думал я в тоске.

И не потому, что Запад хуже. Иначе почему толпы не бегут в Россию, в Азию, в Африку? Напротив, сотни тысяч африканцев, корейцев, китайцев, славян — черных, желтых и белых неевропейцев и полеевропейцев стремятся перебраться в Европу и США. В Германии мне говорили, что ежегодно десятки тысяч остаются в стране. Мыслимо ли такое выдержать? В сущности, это новое переселение народов. Так варвары бежали в благоустроенные области Римской империи. А следом за ними пошли военные орды. Может, и сейчас ещё пойдут.

А кто же мы?.. Словно из другого времени и пространства. Помню даже момент, когда я вдруг болезненно почувствовал себя жильцом иного мира. Это была моя прогулка вдоль Рейна. Накануне меня

предупредили, что завтра праздник — День Тела Христова, магазины будут закрыты, учреждения тоже. И, правда, город затих, немцы устремились к Рейну. Пошел и я. Вдоль реки гуляли пары, совершали свой шпацирен семьи, иногда заходили в гастхофы, пили пиво, ели вкусные сардельки или жареных кур, шли дальше. Очень много было велосипедистов. Лучше прочих выглядели старики и старушки на велосипедах, аккуратно одетые, со свежими раскрасневшимися лицами. И все чинно, спокойно, без пьяни и драк. Зелень, солнце, река, лужайки, на которых росли толстые, ухоженные дубы и вязы. Прямо Эдем какой-то. И Россия показалась мне из этого сказочного далека одним из департаментов ада. Я уговаривал себя: «Не принимай быта за бытие. И у них была тридцатилетняя война, когда было уничтожено две трети Германии. У них ещё был и Гитлер, который мир кровью залил и которого немцы обожествляли, чудовищная разруха, которую они сами устроили...»

Ну тут же возражал себе: «Они тоже не совладели с бытием. Но загордились от него бытом. Замечательным бытом. Здесь человек строит, строит, строит, пытается отгородиться от бед и ужасов бытия бытом. И, кажется, в Европе это почти удалось. Мы переводим слово «бауэр» как «крестьянин». Но это слово производное от «бауэн» — «строить», то есть земледелец у них ещё и «строитель». В деревнях прочные каменные дома. У нас безнадежно деревянные, иными словами, недолговечные. Мы назвались «крестьянами — христианами», чтобы отгородиться *хотя бы словом* от насильников из варварской Степи, отличиться от них. Слишком открытым было соприкосновение человеческой жизни с нечеловеческой, с той, где жизнь человека совсем не имеет цены. И мы по-прежнему пытаемся защититься от страхов и смертельной опасности не бытом, он беспомощен, а либо Высоким Словом, либо пьянством, хамством, толстокожестью, попыткой уверить себя, что человеческая жизнь и впрямь ничего не стоит. Они тоже не проникли в суть бытия, но бытом овладели вполне. Однако прав ли я? У них же ещё Кант, Гете, Томас Манн... Уж они-то увидели, поняли, проникли... *Как возможно только изнутри культуры...* Пора домой».

Я был их бытом и образом жизни, чистотой, упорядоченностью, вежливостью почти раздавлен. Надо как-то пережить, переварить, переработать. Как?.. Уйти в себя, лечь на дно, затихнуть, затаиться? Где найти место, чтоб *ты никто и звать никак*, чтоб спрятаться в никуда, вроде как в могилу, но только на время, оставляя шанс на воскресение, однако уже с новым мироощущением? Таким убежищем, та-

кой захоронкой показался мне поезд на Россию, не самолет, а именно поезд — смотреть по сторонам, самому не высовываться: двое суток сплошной медитации. Поэтому и был мной приобретен билет на путешествие из Кёльна в Москву.

* * *

Был слякотный конец ноября. Даже на чистых немецких тротуарах кое-где стояли лужи. Капал мелкий дождь. Выходя из машин, люди раскрывали зонты. Кстати, оказавшись в Германии, я убедился, что она вовсе не такая уж северная («германцы — северные варвары», но не для нас, а для южан, для римлян), как я воображал. Она много теплее России. И так, шел дождь. Но внутри кельнского хауптбанхофа, вплотную примыкающего к Кёльнскому собору, было сухо. Маленький вокзальный городок под крышей — с очень высоким потолком, большой воздушной кубатурой — был светел, оживлен, полон людей: белых, желтых, черных... Никто не спал в углу на мешках, не было небритых, сумрачных личностей, слоняющихся меж пассажиров, никто не закусывал припасенными из дому бутербродами, запивая их чаем из термоса... Все говорили по-немецки, все чувствовали себя спокойно и уверенно, не опасаясь, что чего-то не хватит или они не смогут купить... Переезд от дома к другому немецкому дому должен быть незаметен и не отнимать сил и энергии... Никаких приключений... Ларьки, магазинчики, газетные и книжные киоски, светлые двери туалетов — для дам и для господ, закусочные, лотки с фруктами, лотки со сладостями, соками и водами, сбоку — зал, где продавали билеты, на компьютере печатая весь ваш путь. Я медленно брел с тележкой, груженной многими чемоданами отъезжающего русского, с чувством некоторой ущербности замечая, что все другие больше одного чемодана с собой в дорогу не берут. Все, что им нужно, они могут купить и там, куда приедут... Я чувствовал с уже просыпающейся ностальгией, что прощаюсь с немецкой порядливостью большого вокзала и двигаюсь к нашему хаосу и неразберихе. Потом не удержался и ещё раз подкатил свою тележку назад к выходу из вокзала — ещё раз взглянуть на двухбашенный собор, который стоял как символ непрерывности европейской истории: начатый в XIII веке он был закончен в XIX. И одно чувство: он не миф, но скоро снова станет сном, мифом, сказкой. Первое, что я увидел в Германии, был собор в Кёльне, и вот он — последнее, что я вижу, уезжая отсюда. Изящное замыкание круга.

По эскалатору поднялся на перрон. Народа, ожидавшего русский поезд, было не так много: больше всего там, где должны останавли-

ваться задние вагоны — на Москву. У набравшихся цивилизованных привычек соотечественников и чемоданы, и баулы были импортного производства, то есть удобные и вместительные. Правда, такая поклажа требовала и иного, не нашего железнодорожного сервиса. Ожидать такого не приходилось. Жена беспокоилась, писала, что поезда, которые из-за рубежа идут, не только грязны, как всегда, но ещё и для жизни стали опасны. Не поезд, а гроб на колесах. Вагоны малоисправны, проводники бесчинствуют, устраивают поборы в валюте, за каждый пустяк надо платить в марках, да ещё сталкиваются они с грабителями, *наводят*. Русские приятели-эмигранты подбавляли: «Будем за тебя молиться. В прошлом месяце наша знакомая этим поездом ехала, так там вначале их вагон чуть с рельс не сошел, а потом под дверь усыпляющий газ пустили, а когда все заснули, тихонько все вещи вынесли. Разумеется, не без помощи проводников».

Последний раз вдыхаю немецкий воздух, на вокзале он смешан с осязаемым запахом дыма, машинного масла, легкой гари, хотя непонятно откуда: поезда электрические. Последний раз гляжу на удобные, большие немецкие щиты с расписанием и графическим изображением порядка остановки вагонов вдоль платформы, баночное пиво в небольшом киоске, горячие колбаски: все аккуратно, все чисто. Вот и время для нашего поезда, вот он подходит. Открываются двери, на перрон выскакивают разудалые молодцы-проводники, и тут же требуют с каждого по десять марок за провоз багажа. Чтобы переплыть Стикс, ты должен уплатить Харону, только тогда попадешь в Аид. И вот ты уже не уважаемый господин такой-то, которого защищает закон, а безропотная и зависимая тень себя прежнего.

Отечественные спекулянты (или то были деловые люди, бизнесмены?) уверенно совали в руки проводникам деньги, и проводники ловко и холуйски подхватывали их красивые, с металлическими углами чемоданы и едва ли не под ручку провожали спекулянтов в вагон. Похоже, что спекулянты ездили не раз и ничего не боялись. Впрочем, они садились в соседний вагон, расположенный перед моим. Около моего оставалось человек шесть или семь. Несколько русских женщин с твердой решимостью на лицах — сражаться за свои чемоданы и пакеты. И ещё один человек, на которого я обратил внимание, не мог не обратить: было видно, что он чувствует себя центром мироздания. Он ходил по перрону взад-вперед, пока не показался поезд, нервно курил сигарету за сигаретой, гася большие недокурки о висевшую на столбе мусорницу, иногда же просто бросая их себе под ноги и давя каблуком. Был этот мужчина одет в длинное поношенное пальто темно-серого

цвета, шея обмотана шерстяным шарфом, концы которого торчали между первой и второй пуговицами пальто. На голове сидела кепка с коротким козырьком и пуговкой в центре, которую он то и дело снимал, мял в руке, засовывал в карман пальто, затем снова натягивал на голову. Щеки его выглядели впалыми, но не от недоедания, а от общей интеллигентской одухотворенности. На лбу две резкие морщины.

Выражение неудовлетворенности, досады, раскаяния и ещё чего-то в этом духе сквозило в его жестах, взглядах и непрерывном нервном курении. Я понял, что он не знает, как себя вести с провожавшими его мужчиной и женщиной. Мужчина, полноватый, лысоватый, невысокорослый, с брюшком и хитрым самодовольством успешно сделавшего карьеру интеллектуала, явно раздражал нервного человека. А с женщиной его связывали, скорее всего, интимные отношения, и женщина эта в светлой куртке, высокая, длинноногая, с коротко стриженными волосами и нежным тоскливым взглядом, обращенным на курившего человека, была безусловно немкой. Глаза ее опухли, покраснели от недавней заплаканности, она сдерживала себя, но тоже не знала, что сказать дорогому ей человеку. А ходивший по перрону мужчина иногда бросал отрывистые фразы, обращаясь при этом не к женщине, а к мужчине. Расслышать я их не мог, но вот, когда мы скупились около дверей вагона, расслышал.

— Почему я должен платить? Я вовсе не столько, сколько ты заработал, — обратился он вроде бы иронически и вместе возмущенно к хитроватому толстяку. — Они же здесь жулики и больше меня получают. Что я говорю — получают! Грабят. Я, может, первый раз за границей. И вообще это все не из моей жизни. И к тому же я заплатил за билет. Он больше стоит, чем весь их вагон.

— Не волнуйся, дорогой, я плачу, — успокаивала его женщина.

— В самом деле, — поддержал ее пузатенький провожающий. — Гертруд платит, могу и я заплатить. Мне не жалко.

— Ну, у тебя денег куры не клюют, — похамливал отъезжающий раздраженно, но будто бы в шутку. — Я и сам могу заплатить. Я из принципа не хочу. На каком основании это взимается?

— А на том, — ответил молодой проводник, — что не повезем твои чемоданы — и всё. Беги вон к начальнику поезда, жалуйся. Только учти, что через пять минут отправление.

У отъезжающего задрожали руки, он, видимо, вообразил достаточно живо, как выбрасывают его вещи, а он, беспомощный, бегаёт по перрону. Он растерянно поглядел на женщину. Но она, отстранив его, уже совала в руки проводникам деньги.

— Вот, здесь хватит, — и обращаясь к своему возлюбленному, давшему каблуком очередную сигарету, с нежностью, неожиданной в такой крупной женщине, проговорила: — Я все уладила, либлинг. Не нервничай. Но ты вернешься в апреле? Я буду ждать. Возвращайся, дорогой. Если захочешь, здесь будет твой дом.

Нервный мужчина поверх ее плеча, не отвечая, посмотрел на толстячка в дорогом пальто, потом по сторонам.

— Ну что ты переживаешь? — ухмылялся, подтрунивал толстяк. — Всё с тобой нормально, всё хорошо! Вон какую женщину завоевал! И для дома денег подзаработал.

Тут отъезжающий сделал страшные глаза и кивнул на проводников. Говоривший спохватился.

— Ну, гроши, конечно. Но всё же. Я остаюсь здесь. Здесь о тебе помнят, лекции твои понравились. Мы с Гертруд постараемся тебя снова вытащить сюда. Гертруд, сам понимаешь, заинтересована.

— Да ну тебя, ты циник, тебе бы все только опошлить! — захохотал вдруг громко неловким смехом курильщик, будто удачно сострил.

— Так уж сразу и циник, — отозвался толстяк. — Ты на себя посмотри. Ты бы хоть с Гертруд простился, хоть бы поцеловал ее. Я уж на вас и не смотрю.

— Да-да, — отрывисто отвечал обмотанный шарфом, смущаясь при этом, что его уличили в неджентльменстве. — Но у меня голова совсем другим занята. Ты прости, дорогая, я боюсь этой поездки. — Снова нервно затянулся сигаретным дымом, словно курение создавало некоторую преграду между ним и внешним миром. — Но ты не переживай, я непременно вернусь, вот если этот не обманет, — пальцем ткнул он в сторону толстяка. — От него все зависит.

Я перестал наблюдать за прощающимися любовниками и их приятелем и, пробормотав проводнику, что, де, грешно отбирать почти *последний обол* у человека, далекого от купеческой деятельности, заплатил требуемое, влез в вагон и с трудом протиснулся по его продолговатому гробоподобному пространству со своими тремя чемоданами и сумкой с бумагами и книгами до своего купе. Мне, впрочем, помог второй, более симпатичный проводник, даже отчасти вежливый, а не только услужливый. Он умело пристроил чемоданы по периметру купе чуть повыше моей верхней полки, повынимав из этого периметра матрасы и подушки и объяснив мне, что верхняя полка — это по нынешним временам самое лучшее место в купе, что я это ещё пойму. Я сказал тогда, отметив его приветливость, что «буду очень ему благодарен» (эвфемизм выражения: «дам на лапу») если он оставит

купе для меня одного. Он сказал, что постарается, но обещать ничего не может: поезд обычно идет переполненный. Я все же просил его постараться, если представится возможность: хотелось возможно более полной изоляции от внешнего мира. Он покивал головой, пожал плечами, развел руками, взглянул на потолок, показывая, что на все есть высшее предопределение и ничего заранее рассчитать нельзя. И вышел. А я сел у окна.

Уже ты на российской территории, где свои обычаи и порядки, где ты во власти мелких бесов, мелкого начальства, почти в полной власти, ограниченной какой-то призрачной преградой, которую, как ты знаешь, русскому человеку очень легко переступить. Поезд — как пролог, как длительная прихожая. *Как* преддверие, предбанник своего рода. Но зато здесь ты и впрямь *никто и звать никак*. Медитируй на здоровье!

— Я с тобой драться буду в следующий раз, — услышал я голос нервного мужчины с впалыми щеками, все ещё обмотанного шарфом. Он обращался к помогавшему ему тащить чемоданы спутнику (дверь моего купе была открыта, и я мог все слышать и видеть). — Моя жена — это святое, не надо ее задевать!

— Чудак-человек, да кто ее задевает! — пыхтел в ответ толстяк. — Я же только сказал, что Гертруд тебя не меньше любит.

— Не тебе об этом судить! — огрызнулся нервный.

Женщина-немка, видимо, осталась на перроне.

А курильщик со впалыми щеками разместился через одно купе от меня ближе к туалету. Вскоре толстяк пробежал к выходу, и вот уже, как всегда неожиданно, дернулись и поплыли назад, оставаясь, перронные стенды, будочки, ожидающие другого поезда люди... Лязгнула, закрываясь, дверь вагона и по купе пошли проводники, ещё раз проверяя билеты и взимая плату за постельное белье, говоря, что насчет чая они пока не знают, потому что котел барахлит и будет ли работать — Бог весть! И вот уже вокзал скрылся, исчез навсегда и начался путь в мою далекую сумрачную страну Россию. Пока я размышлял об этом не то печальном, не то радостном обстоятельстве, из соседнего с моим купе, но по другую сторону от нервного джентльмена, вышли одна за другой три русских женщины, в общем-то скорее дамы, с полотенцами и косметичками и прошествовали мимо меня к туалету. Очевидно, это было надолго.

Я продолжал сидеть у окна. Уже свечерело. За окном мелькала, уходя в прошлое, Германия. Как прошедший сон, пережитое и исчезнувшее наваждение. Ну и пусть, ну и ладно, не больно и хотелось-то. Конечно, Рейн и Лорелей, конечно, Кёльн — Колонь, о-дэ-колонь,

бывшая колония и окраина Римской империи, конечно, все это отпечатывается в сознании даже и не помышляющих о том немцев. А что отпечатывается в нашем сознании? Бесконечные поборы и сборы дани, какая-то бесконечная бедность: даже дворян наших, да что дворян — даже царей! — поражали бытовые удобства средней бюргерской Германии. На удобствах «Немецкой слободы», ее чистоте и уюте, и свихнулся Петр Великий, царь-преобразователь. Захотелось ему, чтоб так же чисто, уютно и удобно жили и его подданные, чтобы они тоже могли поначалу пользоваться, а потом и сами производить все эти «Варен» — товарен, короче, товары. Но для этого, оказалось, много чего недоставало. И начал Петр Россию перестраивать. С тех пор все, кто как умеет, ее и перестраивают: то так, а то совсем даже эдак. Все с Европой сравняться хотят. Но можно ли совместить тот свет и этот? Не случайно мы по-прежнему ихние товары лучше своих считаем, да так оно и есть, и счастливы, когда детям нашим достаются от зарубежных друзей импортные обноски — крепкие, красивые и удобные. Вот и сейчас господин писатель, который должен бы быть честью и совестью своей страны, везет для своей семьи целый чемодан поношенных вещей, доставшихся ему «за так», в подарок, и счастлив этим.

Так в дурацкой медитации просидел я у окна до следующей остановки. И тут же у меня образовался первый сосед-попутчик. Немец, высокий, нескладный, в дешевом костюме и с одним небольшим чемоданчиком. По виду среднего толка инженер. Таковым он и оказался. Ехал на две недели делиться опытом с русскими коллегами куда-то за Урал. Я сказал ему, что там холодно, и в той куртке, которая на нем поверх костюма, он замерзнет. Немец поехал, но не совсем мне поверил, объяснив, что его встретят и что он будет жить со всеми удобствами в общежитии. Последнее слово он произнес по-русски. Живо вообразив его будущее жилье, пугать его я, тем не менее, не стал: сам все увидит, авось за две недели не помрет. У него была нижняя полка, на которую он тут же уселся, чувствуя себя немножко виноватым, потому что я засуетился, предлагая ему место у окна, говоря, что могу и на свою верхнюю уже влезть, но все равно надо дожидаться третьего попутчика, место которого на средней полке, а пока ее не разложишь, спать нельзя. Немец просил меня остаться у окна, улыбался неловкой и робкой улыбкой помешавшего человека и сидел у противоположной от окна стенки, обняв колени.

Глядя на него, я в очередной раз задал себе вопрос, который задавал себе за эти месяцы многожды: как случилось, что эти тихие, приветливые, вежливые, любезные немцы поддержали такого крокодила,

как Гитлер, пошли за ним, стали нацией убийц, устроившей самый чудовищный геноцид, который знала Европа, нацией преступников, построивших лагеря уничтожения, *так что Генрих Бёлль хотел бы не быть немцем*, сожалея, что это невозможно. Когда я смотрю на пьяные и преступные морды, уже с утра сбившиеся в кучки у нашей местной будки с пивом и готовые совершить всяческие противоправные действия, на этих постоянных обитателей наших городов и деревень, мне понятно, что эти существа не видят в другом — человека, что за лишнюю пайку хлеба или бутылку водки они готовы снова стать стукачами, охранниками, палачами. Говорили же, что, когда начали поднимать архивы сталинских судов, чтоб обнародовать имена доносчиков, с ужасом убедились, что писали все на всех, сгорая по отношению друг к другу звериной ненавистью и завистью: за лишние метры жилой площади (которые можно *только получить* у хозяев страны, а не купить, не снять), ради продвижения по службе, по пьяни, по злобе, по дури, за просто так... Причин миллион. Но они понятны, потому что *наши* не привыкли к самостоятельности, не привыкли к ответственности — умению самим строить свою жизнь. Немецкие бауэры-строители создавали кирпичные дома-крепости, быт внутренний, рассчитанный на семейный уют и семейные добродетели, вечерами бауэры и бюргеры — в семье, если не требует какая-либо необходимость, а мы — где угодно, но только не дома. Поэтому мне понятно, как мы смогли дойти до сталинизма, а вот как немцы в гитлеризм ударились — не пойму, уж очень вежливые, добродушные и терпимые. Или то, что у них дьяволово искушение, у нас норма жизни? А норме противостоять труднее. Да, разница культур, но в результате и мы, и немцы весь мир злодействами изумили.

Мимо проезжали немецкие поезда, проплывали немецкие городки и деревушки, кирпичные, с черепичными крышами, следовали ещё остановки на немецких вокзалах, где все объяснено, каждый шаг просчитан, а для неграмотных, дебилов и иностранцев ещё и картинки разъясняющие. Не торопясь входят в вагоны люди, с чемоданами и сумками, хорошо одетые, не нервные, знающие, что в вагоне им будет тепло и удобно... Даже в туалете. В этот туалет в немецком поезде русского человека можно как в музей водить. Во-первых, чисто, во-вторых, непременно туалетная бумага, невероятный запас бумажных полотенец, в-третьих, духовитое мыло-порошок, после которого приятно собственные руки понюхать. В вагоне лампочка указывает, занят туалет или свободен. А у нас?.. Я все же успел зайти в туалет, пока он был ещё отчасти чистым, во всяком случае не омерзительно грязным.

Хотя на полу уже растекались непонятные лужицы, но можно ещё было надеяться, что это брызги из умывальника. Остатки рулона туалетной бумаги были затиснуты в железный карман, на умывальнике лежал небольшой обмылок, полотенца, конечно, не было. Но во всяком случае пробираться на цыпочках, чтоб в лужу, весь пол покрывающую, не вляпаться, и нос зажимать было пока не надо. И на том спасибо. Справив нужду, вернулся в купе, перед этим заглянув к проводнику, узнать насчет чая. Тот сказал, что чаю не будет, нет горячей воды, кипятильник все же сломался, но можно зайти в соседний вагон, там поклянчить, а то через пять вагонов — ресторан. Но как идти, когда вещи тут без присмотра? Каждый из соотечественников наверняка сидит в своем углу, из своего кулька жуёт.

Тем временем, пока я выходил, немец пересел к окну и грустно смотрел в него, прощаясь на две недели со своим Фатерландом. Заметив меня, он начал вставать, уступая место, но по длине своей и неловкости стукнулся башкой о мою верхнюю полку, и я замахал руками, что, мол, не надо, ни в коем случае, мне и отсюда все видно. И мы уселись рядом, уставясь в окно.

* * *

Было почти десять вечера. Уже больше двух часов ехали мы по Германии, но до границы было ещё далеко, даже в бывшую ГДР ещё не въехали. И вдруг на очередном вокзале, очередном хауптбанхофе, возле нашего вагона возник вполне российский гомон, шум и крики. Толпа, судя по всему, родственников и приятелей провожала кого-то, усаживая именно в наш поезд, с криками: «Витёк, так ты давай. Ты пиши! Не забывай нас. А мы поможем. Бабулю, бабулю на прощанье поцелуй! Ты что, его к молодой все больше тянет. Ишь, как с золовкой целуется! Смотри, все жене напишем! Ладно, шуткуем. Бутылку, смотри, не разбей. Давай двигай, где твой вагон?.. А то придется машинисту на бутылку нести, чтоб задержался! Ха-ха! Счас, поможем. Кирюха, ты Витьку помогай, взад чемодан занеси, тогда легче пойдет. И тюки, сказал, заноси. Проворнее шевелитесь. А то уедет Витёк пустой, потом снова и не придет. Ты ещё приезжай. С женой давай, с детьми!.. Вали всех сюда!» Перегнувшись через своего немца, я глянул в окно: да, типичная российская семейственность — братья, сестры, свояки и свояченицы, шурины, девери, золовки, бабки и деды, приятели и соседи — все собрались. Лица красивые, оживленные, ясно, что после поддачи, голоса и движения резкие, не привыкшие к сдержанности. А уж тюков!.. Господи помилуй! Ведь с таким количеством ни

в одно купе не войдешь, особенно в эти международные крохотулечки. И конечно, поначалу все эти тюки и чемоданы были расставлены вдоль коридора, а сам Витёк как-то растерянно, потерянно, нелепо и недоумевающе улыбался то вежливо-хищным оскалам проводников, помогавшим ему втаскивать чемоданы, то старался заглянуть почему-то именно в наше купе, чтобы помахать провожающим. «Ну дают, ну, молодцы! Все собрались», — сообщил он радостно. Поезд поплыл-поехал, а наиболее ретивые и молодые побежали ему вслед и долго ещё махали руками. «С душой приняли, — объяснил нам Витёк, — с душой и проводили».

Он вышел, посмотрел на номер нашего купе, снова заглянул:

— А я здесь, оказывается. Ну что ж, давайте располагаться.

Я сразу поднялся и вышел. Немец, ничего не понимая, продолжал сидеть, глядя в окно и думая, наверно, свою сентиментальную немецкую думу. Он дома оставил жену и детей.

— Надо и товарища побеспокоить. Что уж поделаешь, — сказал Витёк.

Не успел я обратиться к немцу, как подтаскивавший Витьковы тюки проводник помоложе, с менее хамским выражением лица, на сносном немецком попросил у нашего стеснительного соседа извинения за беспокойство и предложил ему на время из купе выйти. Немец тут же послушно вскочил, ещё раз обнаружив свою долговязость, и тоже встал у окна в коридоре. Казалось, что невозможно все это разместить, но нет — тюк на тюк, чемодан на столик у окна, два тюка под столик, и ещё, и ещё куда-то, оставляя проходы и пролазы для обитателей купе. Пожелав нам спокойного отдыха, проводник ушел. А Витёк, подойдя к верхнему баулу, вытащил из него три банки пива и предложил по банке мне и немцу. Немец отказался. Я отхлебнул. Мы снова вышли в коридор. Мой попутчик с красноватым грубым лицом, вполне простонародно-российским видом, из тех мужиков, о которых говорят — «жилистый», был мил и симпатичен, во всяком случае добродушен и полон счастливых переживаний и воспоминаний. Воспоминания эти прямо стояли у него в глазах, это видно было. И видно было, что тяжело ему теперь без этой жизни жить будет — невозможно, изведется. А в ушах у меня ещё звучали зазывно-поощрительные крики его родни: «Фигля там оставаться! Вали всех сюда! Соображай, а мы поможем!» Задали ему задачу!

Мы отхлебнули ещё по глотку, и тогда он протянул руку:

— Виктор, между прочим, — представился попутчик.

— Иннокентий, — протянул и я руку.

— Кеша, значит, — среагировал «между прочим Виктор».

Я пожал плечами. Пусть «Кеша». Мы были уже в родимой российской клетке, где отношения в пути просты и непритязательны, где шофер говорит профессору «ты», и они пьют из одного стакана. И беды нет, что представлялся он, глядя как бы исподлобья, и руку протягивал для рукопожатия как бы вниз, словно бутылку или стакан под столом, незаметно для начальства (буфетчицы, проводника, милиционера) передавал. Это всё были родные жесты.

— Проводник нам вроде бы неплохой попался, — нейтрально начал я разговор. — Тот, который вам помогал. Старательный, вежливый.

— Хороший, — согласился, отхлебывая ещё пивка, «между прочим Виктор» и пояснил, без злости, констатировал, скорее. — Дядька мой двоюродный ему не то двадцать, не то тридцать марок сунул, а может, и сорок — две бумажки я видел, а сколько — не разглядел. Ну это всегда надо, человека подмазать, подсобить ему то есть.

Мы перешли в тамбур, где лязг колес был громче, холод острее, зато можно было курить, и стояло в стороне от прохода пустое ведро — то ли от угля, то ли от ещё чего-то черного, с покрывавшей дно водичей: для окурков. Там и лежало уже штук пять размокших.

— Я, вообще-то, шахтер, из-под Тулы, сюда к родне выбрался, — сообщил Виктор.

— Разве под Тулой шахты есть? — невольно спросил я, хотя интересовало меня совсем другое: как такая типично русская семейка оказалась во всем составе в Германии.

— Есть, небольшие, но есть. Здесь вот не знаю, кому моя профессия может сгодиться. А надо бы сюда мотать, — задумчиво отвечал он, затагиваясь и глядя в окно.

— А родня насовсем здесь?

Он кивнул головой.

— Насовсем.

— А по какой линии? — не выдержал я, хотя начинал догадываться: конечно, «русские немцы»...

— Немцы мы, — подтвердил и он. — Вообще-то, из Казахстана, из ссыльных. Под Тулу я один перебрался. Женился, и к жене переехал. На русской женился. И фамилию себе женину взял. Чтоб все было как лучше. И даже в милиции паспортистку уговорил, когда паспорт потерял, нарочно потерял, сами понимаете, чтобы она мне в национальность поставила — русский. Поди теперь кому докажи, что ты немец.

— А почему не остались? Вам бы здесь родственники помогли. Потом и жену с детьми вызвали бы, — поддержал я тему.

— Боязно как-то. Непривычно. И языка я ихнего не знаю. Да и вряд ли уже выучу, ни бельмеса не понимаю. У них, конечно, богато, я вижу, но у нас все свое, привычное.

Он колебался, Германия ему нравилась, но все в ней было — «иначе», не «свое». «У них» — постоянный рефрен его рассказа, как он провел целый месяц в Неметчине.

— А родственники хорошо устроились? — не отставал я, хотя мне всё уже было с ним понятно, но вежливость требовала вопросов.

— Да почти все по профессии. Кто шоферит, кто чего. Денег много. Каждая семья, ну, муж с женой и детьми то есть, дома себе в рассрочку купили. Ну, с родителями, конечно. Не могу сказать, что богато живут, но лучше нас, — он почему-то смущенно посмотрел в сторону, — все у них есть. По-нашему если, то богато. Мы ходили на карусели кататься, там столько игр и игрушек, лакомств всяких!.. Если б мои дети это видели! Детям, вот кому хорошо у них пожить, они бы тут обустроились, а мы уж как-нибудь так. Вот везу гостинцы. Насовали мне чего-то, ну, как полагается.

— А в Москве кто-нибудь встретит? Столько вещей все же! С поезда на поезд перебираться — трудно. Да и небезопасно одному сейчас приезжать, как говорят, — поинтересовался я, словно мне было дело до его вещей, помочь я все равно не мог, мне бы со своими управиться...

У него снова стал почему-то застенчивый, смущенный вид, словно неловко ему было, что все у него так хорошо, удачно и складно получается. Он отмахнул рукой:

— Да встретят меня! Куда денутся! Такая же гопкомпания, как провозжала. А по дороге как-нибудь доедем. Все же наш поезд, русский. А разбойников, если вы о них, деньги только интересуют. А денег у меня нет. Да и кому мы нужны? Они же по наводке работают.

«Работают!» — это чисто российское представление о разбое, как о работе, просто другого рода. И при том явно начиналась у мужика полная потеря самоидентитета. Как и у всех, кто там больше месяца хотя бы прожил.

Мы загасили сигареты — он поплевал на кончик своей, я машинально и по привычке притушил о каблук — бросили окурки в грязно-черное ведро и двинулись к нашему купе. Навстречу нам, придерживаясь за поручни от толчков поезда, шел нервный высокий мужчина, уже без пальто, в пиджаке поверх свитера, но шея по-прежнему обмотана шарфом.

— Там курить можно? Не вымерзну? — спросил он нас и громко засмеялся, словно смехом снимал возможную грубость с нашей стороны, как бы уничтожал препоны к общению.

— Подходяще, — ответил Виктор.

Я тоже кивнул подтверждающе. Мы вошли в наше купе. Вошли — не то слово! Пробрались. Немец уже дремал, а то и спал, головой к дверям, сняв пиджак, но так и не сняв брюк, пристроив ноги в щели между тюками и узлами Виктора.

— Надо бы его поднять. Полку мне свою приходится ставить, все одно беспокоить. Вы ведь по-ихнему говорите?

Немец беспрекословно поднялся, протирая глаза, накиннул пиджак и, поеживаясь со сна, вышел следом за мной в коридор, встал спиной к окну, лицом к проходящим, всем добродушно и сонно улыбаясь, пока наш сосед укреплял свою среднюю полку. Я пошел курить в тамбур. Там стояли и курили обмотанный шарфом джентльмен и красивая средних лет женщина в теплой юбке и пуховой кофте. В лице ее явно была примесь восточной красоты. Затягиваясь «Мальборо», она рассказывала мужчине историю своей поездки в Германию: типично поездные излияния души случайным попутчикам.

— А дочка осталась, — говорила женщина. — Она у меня красавица, и сначала от Вальтера нос воротила — нескладный, угловатый, лицо топорное. Но мы пожили там несколько дней: у него свой дом, две машины, свой участок земли, работа хорошая. Она подумала и решилась, сказала ему, что согласна выйти за него. Он так обрадовался! Повез нас в магазин, мне говорит: «Мама, все себе новое покупайте, я плачу». А уж Фатиму мою одел как куколку. Она мне вечером призналась, что, мол, поживу, посмотрю, а там, может, и другого себе найду. Но назад возвращаться в Баку не захотела. Такого мужа там не найдешь. Положительный, и дочку просто обожает. Не зря я ее немецкому учила. Но все равно на душе тревожно. Матери всегда тревожно, когда дочь замуж выдает, даже в хорошие руки.

— Ну в этом случае вам можно не беспокоиться, — невольно встрял и я в разговор.

— Я понимаю, — согласилась она, — но все-таки... — хотя по лицу было видно, что она довольна дочкиной участью. Докурив, она кивнула нам и вышла из тамбура в свое купе.

— Врет. На самом деле счастлива, — желчно подтвердил мои мысли мужчина. Под глазами у него были большие мешки, то ли от недосыпа, то ли от излишней нервозности и нездоровья. Морщины на лбу и две складки от крыльев носа к углам рта. Он бросил недокурок в ведро и зажег новую сигарету. Он курил «Кэмел». — Все равно дешевле тут нет, а мои московские кончились, — почему-то решил он оправдаться передо мной и добавил: — Бегут. Все бегут. Никто оставаться

в России не хочет, даже те, кто остается. Вопрос в одном, есть ли во всем этом какой-то исторический смысл? Или это временно? Или взаправду ушла из России скреплявшая ее идея? Я думаю, такой идеей последние семьдесят лет был коммунизм. Его теперь все поносят, обличают, а он Россию держал. Вы как к коммунизму относитесь?..

Я пожал плечами:

— Как к идее — нормально. Да, в сущности нормально.

— На мой-то взгляд, не только в сущности, но и в своем явлении для России это было то, что надо. Мы ещё пожалеем и не раз пожалеем, что так дешево на западную приманку купились... — он вдруг быстро глянул на меня, рассмеялся своим громким, не очень натуральным смехом. — Вы не подумайте, меня всегда вольнодумцем звали, и среди марксистов, ну, дубов марксистских, я всегда либералом считался, если не прямо ревизионистом. В каком-то смысле это было мое амплуа — писать о подлинном значении марксизма, бороться за адекватное его понимание.

Он вопросительно посмотрел на меня, нервно рассмеялся, ожидая — как актер аплодисментов, как женщина комплимента — моего ответа, но я не успел открыть рта: поезд затормозил и остановился. Мы невольно поглядели в окно. Что за новый хауптбанхоф? Что за город? Табличка сообщала: Билефельд. На перроне было светло, вечерние сумерки остались снаружи вокзала. Народу вроде бы немного, стоял поезд там по расписанию не больше трех минут. Однако увидели мы у нашего вагона такое, что превзошло раз в десять, если не в сто все витьковы узлы и чемоданы. Правда, на сей раз весь груз был упакован с немецкой аккуратностью: ящики, хорошо зашитые плотные мешки. Высокий мужчина с «пивным брюхом», как говорят немцы, и миловидная женщина, тоже «уемая», как говорят *о сытых*. Но немцы не должны вести с собой столько вещей! Наверное, наши, прожив не один здесь годик, скопили добришко, а теперь на родину тянут, решил я. Было видно, как суетятся проводники, потеют и напрягаются, втаскивая поклажу: очевидно, за немалую мзду. Мы вернулись из тамбура в вагон, и здесь расслышали, что вежливый проводник ведет с новыми пассажирами разговор по-немецки. Затем с напарником он принялся носить вещи, как-то устанавливая их в последнее перед тамбуром купе. Но все равно места не хватило. Тогда остальные — ящик на ящик, тюк на тюк — они уложили в тамбуре, заняв почти половину пространства и отгородив груз фанерным щитом, умудрились проложить через щит засовы, скрепив их замком. И все это без препирательств, вежливо, тактично: чего деньги с человеком делают! Вошед-

шим пассажирам было где-то около сорока, скорее за сорок, и ему, и ей. Но лица были свежие, упитанные, здоровые: на своих-то свежих продуктах, да к ним ещё регулярно «витамины и минералы». Переодевшись, они в теплых и красивых спортивных костюмах вышли сначала в коридор, а потом и в тамбур — покурить, тоже люди.

И Виктор, и немец между тем, кое-как скрючившись, по-русски, то есть *со всеми неудобствами*, все же заснули. Мне не спалось, я вышел в коридор постоять у окна. Завтра уже Польша, и возврата в Германию больше нет. Скажем, мог Бухарин на Западе остаться, мог... Давал ему Сталин такую возможность, а он все равно вернулся. И сдох, как собака. Может, и сейчас такой же эксперимент проводится, только в большем масштабе. Вернетесь ли вы, голубчики, на свою законную, родимую плаху, которая давно вас поджидает за то, что слишком много Запада нагляделись? Кое-кто, разумеется, останется: что же, в игре всегда есть риск. Зато остальные вернутся, потянутся к хозяину все эти *вольноотпущенники*. И вот на их-то примере всему народу будет показано, как вредоносен Запад и что всякая попытка пожить там карается смертью, ибо Запад развращает русского человека, превращает его если и не в *прямого шпиона* (хотя народу и так тоже скажут), то уж во всяком случае *во внутреннего врага России*. «Почему же едем?..»

Из своего купе выглянул мой, как я, понимал, собеседник на ближайшие сутки, бывший либеральный марксист. Углядев меня, он подошел, разминая в руках сигарету и жестом предлагая пойти покурить. При этом полюбозыблился, указывая на пару, курившую в тамбуре:

— Интересно, кто это? Вы ведь понимаете по-немецки? Можете спросить? Неужели кто-то решил к нам эмигрировать!

Мой немецкий был, конечно, на живую нитку, но объясняться я мог, наострил за три месяца. А до этого ни одного слова, кроме «хальт» и «хенде хох!» — из советских романов про войну. Но когда хочешь, всему научиться возможно.

— Спросим. Отчего не спросить, — согласился я.

— Если бы я знал язык, — вдруг пожаловался мой собеседник, пока мы шли к тамбуру, — я бы сейчас ох кем был! Уж никак не хуже этого сволочуги, что меня провожал. Только у него и преимуществ, что немецкий знает и Гегеля с Марксом в подлиннике читал. А кто суть дела понимает лучше, он или я? Вот в том-то и дело! У него, конечно, ещё и свояк будь здоров! Дочка его умудрилась подцепить сынка одного из тех, что всегда при власти. А тот темный, дикий, но — влиятельный до ужаса. Вот по родственной части ему и помогает ездить: все же в семью валюта, деньги, одним словом!

Немцы вежливо посторонились, когда мы зашли в тамбур и пожела-ли доброго вечера. Я ответил тем же и поинтересовался, далеко ли они едут. Оказалось, что до Москвы. Выяснив, что мы попутчики и что я сам из Москвы, при том могу говорить с ними по-немецки, они обрадо-вались, и женщина тут же подарила мне зажигалку, на которую завистливо скосился мой соотечественник, потом не удержался и буркнул:

— Могли бы и для меня попросить. Я ведь тоже курильщик. А ей это, наверно, пустяк.

Немцы спросили, о чем речь. Я пояснил, что мой соплеменник всю жизнь мечтал точно о такой же зажигалке, каковая тотчас же была ему подарена. Выяснилось, что никуда, конечно же, ни в какую Рос-сию эти муж и жена не эмигрируют, что живут они неподалеку от Би-лефельда в собственном доме из десяти комнат, которые очень тяжело жене убирать (объяснить ей при этом, что я живу в коммуналке, что такое коммуналка и почему у русских такие странные привычки жить с чужим человеком в одном жилище, пользуясь общей ванной и туалетом, я оказался не в состоянии). Далее они сообщили, что детей у них нет, и они занимаются поэтому благотворительностью. И вот, много раз читая, что Россия *на грани голодной смерти*, списались с каким-то детским домом в Москве и везут теперь туда продукты и вещи, которые на свои деньги купили.

Мы желали им удачи и успеха, и на этом, распрощавшись с нами, немцы залезли в свое купе, ещё больше напоминавшее склад, чем мое — после вселения туда Витька.

— И чего везут! Все равно разворуют, детдомовцам какие-нибудь крошки достанутся. Там и директор, и зам, и воспитатели, им ведь всем хочется зарубежную вещичку получить, — с уверенностью ска-зал мой попутчик и захохотал, будто опять удачно пошутил. — И за-чем они это делают? Неужели от чистого сердца? Ведь они ничего в этой России не понимают! Даже мы с вами не понимаем, а уж им-то куда! Хотя это не их вина. Никто не понимает. Сами запутались и весь мир запутали. Разве так надо было эту перестройку проводить! Сперва все развалили, а теперь думаем западными подачками дело поправить. Раньше надо было соображать, да умных людей слушать. А то рубанули сплеча! Всё перед Европой хотели лучше выглядеть!

— Сделали так, как свойственно делать русским. Коль рубить, так уж сплеча. Это ещё Пушкин сказал. Очевидно, по-другому не умеем. Иначе мы были бы не русскими, — возразил я.

Смешно получалось. Стучали колеса. За окном темнота и начи-нало протягивать холодком. Пахло вонючим табаком от множества

окурков в ведре, присесть было некуда, а мы, как и в раньшие времена на московской кухне, с сигаретами в зубах, в привычном интеллигентском раздражье и неуюте, опять говорим все о том же — о России. Вообще-то теперь, как водится, полагалось по-свойски обнюхать друг друга, *поручкаться* и поискать общих знакомых, общие симпатии и антипатии. Понять наше интеллигентское сродство, почувствовать друг к другу расположение, увидеть в другом свое «alter ego», а потому тут же ощутить к нему и неприязнь, ибо кого же можно ещё больше ненавидеть, чем самого себя, особенно если твое «я» персонафицировано в собрате-интеллигенте. Но прежде надо показать возвышенность своих идей.

— Нет, но вы представьте — разрушить все работавшие системы: это надо уметь! Ломать колхозы, запрещать партию — ведь это уничтожать всякую легитимность в стране и без того по природе незаконной. Мы тут проводили конференцию с американцами. О проблемах демократии. Они нам все объясняли, какая у них замечательная демократия, и удивлялись, почему мы сомневаемся в ее пригодности для России. Да потому!.. *Попробовали бы они свою цивилизацию и демократию с индейцами построить!* Фига! Они сперва их в резервации загнали, а потом уже свою демократию строили. А в Латинской Америки, где скрестились, так там до сих пор ни черта не получается. А нас, как индейцев, ничему научить нельзя. Уж сколько столетий с Петра учат, а все без толку. Мы по-другому думаем, чувствуем, дышим! А на Западе этого понимать не хотят. Нам нужна палка, а не демократия. Мы не способны к цивилизации этнически, на уровне этноса! А Запад и наши демократы этого в ум не берут, — махал он в воздухе сигаретой. — Впрочем, чего говорить о наших демократах! Такие же воры, как и все остальные.

Он громко засмеялся, и тут я понял, почему меня так удивлял его смех: глаза у него оставались тоскливыми и печальными, словно он ждал от жизни самого плохого. И снова я угадал.

— Я ничего уже хорошего не жду, — продолжал мой визави. — Мы ещё пожалеем и о партии, и о Сталине. Да-да, даже о Сталине. Поверьте, это не эмоции, а результат холодных наблюдений. Хотя я, конечно, человек эмоциональный и в душе продолжаю чувствовать себя тридцатилетним, пусть мне за пятьдесят, и я знаю, что уже многого не прочту, не узнаю, не увижу. Но кое-что я все-таки научился понимать. Приведу ближайший к нам пример. Мы с вами едем в государственном поезде, законопослушные граждане, а чувствуем ли мы себя в безопасности?! Конечно же нет. Ибо не можем не знать, что проводники

на самом деле преступники, что кругом жулье... И все безнаказны сейчас, потому что поняли, что правит нами не закон, а доллар, валюта. Вот реальный победитель в перестройке.

Он бросил сигарету в ведро, где она, зашипев, затлела, противно запахло мокрым чадящим табаком, а он вытащил новую и снова закурил.

— Хорошая зажигалочка! — он положил зажигалку в карман. — Впрочем, извините, как-то глупо все это выглядит. Мы с вами уже полчаса говорим, а до сих пор не представились. — Он протянул не сильную, узкую и вялую ладонь. — Я вообще-то, философ, доктор философских наук, к тому же профессор. Может слышали про меня: Тарас Башмачкин, — представляясь, он наклонил голову: засветилась лысина меж волос на темени, скрываемая высоко вздернутой головой. — Несу в себе, как видите, гоголевскую антиномичность, дуальность. Для иных — я героический Тарас, а для других — страдающий Башмачкин, маленький человек...

Я сказал ему, что меня зовут Иннокентий (хорошее, кстати, имя и для интеллигентского уха, и для простонародного — Кеша! — звучит), что я прозаик, автор нескольких книг, но свою фамилию мне называть не хочется. Он все же настаивал.

— Вообще-то, я кое с кем из писателей знаком, — голос его стал немного гнусавым, отчасти даже барственным. — С самим Фазилом раз беседовал. И к Василию Белову в Вологду ездил. Мы два часа проговорили — о смысле жизни, о России. Так-то, мой друг. Но с рядовым писателем первый раз общаюсь. Потому и интересно с вами познакомиться.

Тогда я, сам не знаю почему, назвал первую попавшуюся фамилию, что-то вроде «Носоглотов». Хотел было сначала назваться «Живоглотовым», но тут же решил, что прозвучит слишком уж ненатурально. И хотя собирался на время пути *быть никем и чтобы звать никак*, все равно его слова о «рядовом писателе» меня задели. Проклятое российское чиновничество!..

Тарас покачал головой:

— Нет, в самом деле ни вас, ни о вас не читал. Извините. Но, может, это и к лучшему, что мы не пересекались нигде. А то боюсь я вас, литераторов, — опять громко и нервно засмеялся он. — Еще в каком-нибудь романе пропечатаете, изобразите, поди потом отмойся! А тут у меня надежда есть, что вы незначительный, и, значит, даже если опишете, никто не заметит!

Что можно было ответить на такое открытое детское хамство?! Я промолчал. Потянулся, зевнул, мол, хочу спать.

— Думаю, что на знакомстве нам сегодняшний вечер можно закончить, — пробормотал я эти слова, чтобы не выглядеть невежливым. — Уже поздно, вон в коридоре синий свет зажгли. А ещё с пионерлагеря для меня синий свет — знак того, что наступил, как там говорили, «мертвый час».

— Как хотите, — с неохотой отозвался он, — только разговорились!.. Я все равно не усну. Не могу спать в поездах. Очень нервно, да и попутчики, как правило, случайные, не моего уровня. Так что, кроме как с вами, мне здесь побеседовать не с кем. И ещё у меня на нижней полке дед едет, так храпит, что ни минуты покоя. Уж лучше поболтать... Может, ещё по сигареточке, а потом на боковую?.. — с бабской навязчивостью уговаривал он.

— Нет-нет, я уже сегодня перекурил. Сверх нормы. Спокойной ночи. Храп — это признак жизни, — попытался я ответить нейтрально, иронически и независимо.

И отправился в свое купе. Закрыл дверь. В полной темноте, ибо не горел даже ночник, вскарабкался на свою верхнюю полку, свободную от витьковых вещей, оценил слова проводника о преимуществах своего спального места и, несмотря на пованивающую духоту от двух мужских тел, тут же глубоко и тяжело заснул.

* * *

Снилось мне, видимо, уже под утро, ужасно много говна. Будто я сижу орлом в ужасном пристанционном сортире какого-то мелкого российского городка, из очка доносится нестерпимая вонь, а вокруг — и при подходе, да и на помосте вокруг очка — навалены кучи разной формы и разной консистенции, и не могу взять в толк, как это я пробрался мимо этих куч на свободное место, боюсь пошевелиться, чтобы не запачкаться, но вот неловкий поворот, я поскальзываюсь и, силясь не упасть, опираюсь на правую руку, попадая в кучу противного, разбрызгивающегося под ладонью дерьма. Во сне все же соображаю, что на этой автобусной станции я и умывальника не найду, и непонятно, как быть дальше. Вскакиваю, задеваю головой потолок и понимаю с облегчением, что все это сон. Но тут возникает ужасное чувство запертости в тесном пространстве без выхода, словно замурован. Голова тяжелая, чумная, будто с угару, да и воздух в купе такой, что не продохнуть. Вполне могло говно присниться. Мои попутчики ещё спят. Тихо сползаю с полки, соображая при этом, к чему бы по примете сон о говне, и вспоминаю, что к деньгам. Откуда бы в этом поезде взяться деньгам? Свои бы не потерять — вот задача.

Натянув брюки, отворяю дверь и выскальзываю в коридор. Уже светло, но, похоже, вагон ещё спит. В коридоре пусто. Я прислоняюсь лбом к оконному стеклу. Еще мелькают дома и домики европейского типа: порой кирпичные, порой деревянные, однако под черепичной кровлей и довольно-таки ухоженные. Но на земле видна изморозь. Осенняя немецкая влажность переходила в славянскую морозную заиндевелость.

Сколько сейчас времени — я понять не мог, потому что оставил часы в купе. Но глупо было не воспользоваться пустотой и отсутствием очереди в клозет. Вернулся, достал полотенце, мыло, зубную щетку и зубную пасту. Помывшись, почистившись, колебался, идти ли опять в купе или уже так стоять у окна — тут хотя бы свежее, дышать можно. Но все-таки недосып чувствовался: значит, ещё рано. И я вскарабкался обратно на свою верхотуру, пытаюсь скорее привыкнуть к смрадности воздуха.

Голова слегка кружилась от духоты и запахов. Вот в такую Россию мы и возвращаемся — смрадную, неухоженную... — думал я своей мутной головой и скисшими от вони мозгами. Вспомнил позавчерашний телефонный разговор с женой. Задавал ей дурацкие вопросы о выборах — за какую партию голосовать, первые свободные выборы, наверно, за партию Гайдара. Жена воскликнула: «Ты о чем?! Какие выборы! Здесь такое зреет!.. Выборы пройдут, но они ничего не решают». Я вполне доверял наблюдательности жены. Что-то зреет... Такое зреет... Что же будет? А все, что угодно. Вплоть до апокалипсиса. Уж такие мы. С этими дикими мыслями заснул.

Можно вообразить глубину и отдохновенность этого сна!.. Ко всему прочему разбудил меня польский паспортный контроль — пограничники и таможенники. Перед этим мне снился Игорь Губерман. Но не нынешний, хохмящий и читающий свои хулиганские дацзыбао с эстрады, а старый, кухонный (я раз был у него дома), за бутылкой водки, хотя с тем же выражением бесконечного цинического юмора висельника на своей длинной физиономии. Он читал старые свои строчки, слегка переиначив их:

В России снова что-то зреет,
И, зная творчество ее,
Уже бывалые евреи
Готовят теплое белье.

Сидевшие за столом хохотали, но поживались: в большинстве это были неухавшие евреи или полукровки, или ещё как-то замаранные

родственными отношениями с проклятым племенем. Тут-то меня и дернул за ногу польский пограничник без всякого уважения к моей интеллигентской сущности, к тому, что я не кто-нибудь, а писатель, то есть в данный момент в этом поезде представляю то лучшее, что дала Россия миру. Пока искал паспорт, слышал из коридора шепоток испуганных пассажирок, будто тех, у кого нет польской визы, будут в Польше высаживать, и возражения, но тоже нервным и испуганным голосом моего вчерашнего знакомого-философа Тараса Башмачкина, что мы едем транзитом, и они не имеют права, да и вообще, как нас можно держать без польской визы в Польше. При этом из тона его было ясно, что возможно все. Польский пограничник довольно поверхностно просмотрел мой паспорт, таможенник задал какой-то вопрос, на который я не ответил, потому что не понял, но он махнул рукой и ушел. Мы их не интересовали. Немец и Виктор, взяв полотенца и другие принадлежности для умывания и туалета, выползли из купе. Впрочем, немец сейчас же вернулся, вспомнив свое вчерашнее посещение вагонного сортира, и, смущаясь, спросил, нет ли у меня «клопапир», то есть туалетной бумаги. Я протянул ему рулон, припасенный для дороги, и тоже вышел снова в коридор. К туалету уже была очередь. С полотенцами через шею люди переминались с ноги на ногу: кто разговаривал, кто смотрел в окно. Обидевший меня вчера собрат-интеллигент Тарас Башмачкин стоял среди прочих и жевал сигаретный мундштук. Но он-то, конечно же, даже не догадывался о моей вчерашней уязвленности и, расплывшись в улыбке мне навстречу, сказал стоящему сзади него толстому мужчине в трениках, что сейчас вернется, только пойдет сигарету выкурит. Однако и меня тянуло к беседе с ним. Когда с тобой говорят *как с никем* — это хорошо, душа в прострации, она отдыхает... Мы двинулись в тамбур. Там уже стоял Виктор, по-прежнему, как и вчера, задумчивый, дымил и сплевывал в грязное ведро. Подмигнув мне, сказал:

— Решил обождать. Ну его! Помыться и попозже можно, а мочевой пузырь у меня крепкий, выдержит.

Тарас поморщился:

— Все равно — это безобразие. Могли бы и второй туалет открыть! Почему я должен терпеть, как заключенный?!

— А вы говорите, что структуры сейчас меняются, — поддел слегка я говорившего: почему-то — отчасти в отместку — он вызывал у меня сегодня желание иронизировать над ним. — Все, как было при царе Горохе, так и осталось.

Возразил ему и Виктор:

— Да чего, проводникам лишней работы надо, что ли? А мы уж как-нибудь перебьемся.

Мешки под глазами Тараса ещё больше набрякли (словно он совсем не спал ночью... или так вагонная духота и вонь на него действовали?), а глухая тоска, самовлюбленность и мировая скорбь по-прежнему мерцали в его глазах — прямо как вечный огонь у могилы Неизвестного солдата. И в каждой его фразе виделась мне смесь воспетого нашими патриотами героического Тараса и уязвленного, униженного и слабого Башмачкина.

— А я ничего такого и не говорил, — отмахнулся Тарас. — Я как раз и говорил, что нашему родному российскому чиновнику палка нужна, чтобы прилично себя вести. А без палки стадо всегда разбредется, кто куда горазд. Пастуха хорошего надо. Тогда мы снова весьма многого сможем добиться. Говорят, при Кагановиче на железных дорогах был железный порядок, — он сам захохотал неожиданному каламбуру, будто сказал опять нечто очень удачное, и добавил: — Да и я помню в моем детстве — мне с родителями приходилось много ездить по стране — поезда нормальные и чистые были. Туалетной бумаги, правда, не было, так ее и нигде не было, и с мылом везде было туго. Зато чай с сахаром и печеньем — всегда извольте.

— Ну не знаю, — туманно и осторожно снова поперечил Виктор, поразив меня упорством своих, очевидно уже твердых, внутренних выводов и решений, — у них, у немцев, то есть, порядок всегда был, и поезда нормальные ходят, и чистые, и удобные, безо всяких Кагановичей, и без Гитлера с Герингом, — проявил он вдруг неожиданные познания.

— Они в себе каждый носят и Кагановича, и Гитлера, и Геринга, внутренняя организация для немца превыше всего. Так их ещё Лютер выучил: церковь должна быть не вне человека, а внутри него, — ответил Тарас. — Вот это вам не мешало бы знать, — менторски добавил он: как высший низшему.

— Заменял попов по должности попами по убеждению, — вспомнил неожиданно я. — Нас этому в институте учили. Но это не Лютер, это его Маркс так характеризовал.

— Во-во, Кеша, скажи, как там на самом деле, — обрадовался Виктор моей поддержке. — Я в этих делах собаку не ел, — он плюнул на кончик сигареты, прислушался, как она зашипела, и выбросил ее в ведро. — Пойду постою все же, — сказал он, оставляя нас в тамбуре.

Забегая вперед, хочу сказать, что слова эти у него означали решение больше в наши разговоры не вступать, потому что ясно, что мы с

Тарасом — «свои», а он — нет. Иногда, если мы оказывались вместе в тамбуре, он прислушивался к нашим разговорам, но сам молчал.

— «Народ» в прениях решил не участвовать, — усмехнулся Тарас, скорее меня догадавший о причине ухода Виктора. — А кто он? — но тут же прервал сам себя: — А впрочем, какая разница! Мне-то вообще до этого дела нет. Скажите, — перескочил он на другую тему, — а поляки вроде бы не очень-то нас и досматривали, ни вещи не смотрели, ни про валюту не спрашивали...

— А мы не по их ведомству. Транзитники. Так, на всякий случай, зайцев ловят, мелких контрабандистов. Мы их не интересуем.

Сколько замечал, что уверенно ни про что говорить не надо — сглазишь! Так и на этот раз. Открылась дверь, и из соседнего вагона вошла к нам в тамбур тощая, костлявая, рябая, да ещё и со здоровой косиной какая-то курва лет тридцати, а может, и нет, того неопределенного возраста, который бывает у несимпатичных, никого не любящих женщин, — одетая в форму польской железнодорожницы. Жестом она приказала нам посторониться и долго выстукивала фанерный щит, отгородивший от посторонних глаз немецкую гуманитарную помощь.

— Панове ведают, — обратилась она к нам на русско-польской смеси, — о том, цо там ховається?

— Хуманитарна помога до Москвы, до России, — старался я коверкать язык ближе к польскому.

— Да не встревайте вы, — прервал меня Тарас, — это дело проводников, они разберутся, — и обратился к этой рябой и плоскогрудой чиновнице. — Видите ли мы не знаем. Проводники...

Но она отстранила нас рукой:

— То я сама вем, — и вошла в вагон.

— Что ей надо? Кто такая? — недоумевал тревожно Тарас.

Я, правда, слышал, но не очень отчетливо, что есть такая манера у польских то ли таможенников, то ли железнодорожников взимать плату за провоз «излишнего веса» багажа по польской территории. Но не верил, ибо кому какое дело, сколько и чего я везу в своем российском поезде, ведь наверняка Россия платит что-то Польше за проезд по ее территории, и вряд ли пассажирский поезд везет груз больший, чем какой-нибудь товарняк. Поэтому я ничего не ответил, решив понаблюдать. Мы продолжали курить, глядя в окошко дверки, отделявшей тамбур от вагона.

Ближайшим к тамбуру было как раз купе немцев, думавших благодетельствовать голодных или, по крайней мере, недоедающих московских детдомовцев. Тюков с продуктами они везли столько, что

лишь маленькое местечко на полу оставалось свободным, где и спали они на надувных матрасах, на них же сидели, когда ели. Перед ними то и встала, уперев правую руку в бок, а в левой держа книжечку каких-то квитанций, рябая морда, так портившая все мои представления о польских красавицах.

— Зи мюссен бецален, — повторяла она выученную немецкую фразу, тыкая пальцем в их тюки, а затем в свою квитанцию.

Немецкая семейная пара разволновалась, муж порывлся в портмоне и тоже достал какую-то квитанцию, в которой, как я понял из его слов, говорилось, что они везут гуманитарную помощь и все, что нужно, уже уплатили. Но польская чиновница не отступала и упорно продолжала требовать с них пятьсот дойче марок. Немцы спорили и махали руками, она же, перейдя на свой русско-польский, твердила:

— Вы не могли просто так в подарок купить на свои деньги столько товаров. Вы должны платить.

Не выдержав такого беспредельного хамства, я решил вмешаться, хотя Тарас и останавливал меня, говоря, что это все бесполезно и что надо о себе подумать, что сейчас она и до нас доберется. Все же я встрял и снова глупо повторил о гуманитарной помощи, напомнил, что везут эту помощь не кому-нибудь, а братьям-славянам, но она только с неприязнью бросала на меня злые взгляды и продолжала твердить свое. Тогда я двинулся за проводником, Тарас же, шепнув мне, что мой пыл нелеп, что все они в сговоре и в доле, вернулся в свою очередь к туалету. Тем не менее проводник посимпатичнее и помоложе, знавший немецкий, пошел со мной и принялся что-то говорить мегере, урезонивая ее. В конце концов мегера согласилась на шестьдесят дойче марок. Немцы, обрадованные столь резким снижением требований, тут же выдали ей требуемые шестьдесят марок, а она им выписала квитанцию, где фигурировала цифра 6 и ещё несколько нулей.

Потом было купе русских женщин. Чемоданов там тоже стояло изрядно. Тут рябая требовала по тридцать дойче марок с каждой. Я видел испуганное лицо Тараса, тревожно прислушивавшегося к препирательствам. Но русские женщины всегда были не только надежнее, но и крепче русских мужчин. Они отстаивали свои семьи, свою жизнь. И их оборона была прочна и бескомпромиссна. «Нет» — и все тут! А полурусская женщина из Баку добавила, разглядев вымогательницу:

— Да ей самой цена не больше десяти марок со всеми ее потрохами и престеями.

Очевидно, последнее мегера поняла, обиделась и закричала, что она запишет номер их купе (и записала), что в Варшаве войдет глав-

ный начальник, вот ему-то они отказать не посмеют, а то он просто-напросто ссадит их с поезда.

— Ах так, — дружно взвыли соотечественницы, — значит, в Варшаве явится главный вор, а мы тут этой шмакодявке плати! Уж если платить, то главному! Но мы и с ним разберемся!

Потерпевшая поражение что-то бормотала угрожающее, но в результате так разволновалась, что прошла дальше по вагону, не совершив больше нападения ни на одно купе. Что ж, слава русским женщинам!

Уже после Варшавы, когда, конечно, никакого главного и в поmine не оказалось, я спросил у молодого проводника, какая корысть была бабе брать эти марки, раз она все равно выписывала квитанцию. Он пояснил, что она, скажем, выписала им квитанцию на шесть тысяч злотых, немцы видят цифру и нули рядом и радуются, а курс-то марки против злотых ох как высок, может — одна марка больше, чем шесть тысяч злотых, значит, она практически всю сумму кладет себе в карман.

Вот он сон, который к деньгам!.. Правда, к чужим и действительно нечистым. Но втайне я понимал эту стерву. Для немцев шестьдесят марок — это пустяк, а для нее, может, месяц жизни. Просто сама она была очень противной.

Помывшийся Тарас заглянул в свое купе, вышел с цветастой немецкой кружкой:

— Вы уже завтракали?

Я кивнул.

— А где вы кипяток брали?

— В соседнем вагоне.

— Спасибо. Еще кофейку не хотите? У меня растворимый. А потом покурим.

От кофе я отказался, но согласился покурить, когда он покончит с завтраком. Я ждал его, прислонившись лбом к оконному стеклу, вполне бездумно глядя на пробегавшие виды, слушая стук колес на стыках, в душе повторяя этот перестук и торопя, торопя поезд: скорее бы уж Москва, скорее бы дом, какой-никакой, а свой. Потихоньку надоедало быть никем. Наконец, появился Тарас, вытирая рот салфеткой, и мы отправились в тамбур.

* * *

Как передать этот наш дурацкий разговор?! Бесконечный, как была бесконечна дорога от Кёльна до Москвы, в заплеванном тамбуре, где пахло углем, вонючим размокшим табаком, застоявшимся сигаретным дымом и даже мочой: кто-то не выдержал стояния в оче-

реди и выплеснул свое содержимое куда-то в угол или, может, перед дверью, ведущей в другой вагон... Менялись сокурильщики, было зябко — приближалась морозная Россия, но мы все стояли и, меняя только позы, чтоб не затекали члены тела, курили и болтали. Хотя я и писатель, но трудно передать смысл полубессмыслицы, связность бессвязности, перепрыгивание с темы на тему при сохранении общего настроения беседы — тут большое искусство надо. Конечно, разговор наш был вполне российский: отчасти историсофский, отчасти «противу властей предрержащих», отчасти эксгибиционистский.

Надо ли все это сообщать читателю? Но тогда другой вопрос: а надо ли вообще писать? Если такой вопрос возникает, то я прошу читателя поверить мне на слово, что писательство — это болезнь, причём такая, излечиться от которой больной не в состоянии да и не хочет, и единственная радость — это выплескивать свои беды и неприятности на бумагу, тем самым находя хоть какое-то облегчение, патологическое удовольствие и психическую разрядку. Быть может, с этого автообъяснения стоило начать сей опус, но воспользуюсь словами Пушкина: «хоть поздно, а вступленье есть!»

Впрочем, это меня в сторону занесло. Поэтому возвращаюсь к нашему почти полуторачасовому стоянию в тамбуре, курению до сухости в горле и разговору. В купе идти не хотелось, делать там нечего — только лежать, а когда лежишь, но не спишь — время тянется бесконечно. Кажется, что так оно будет тянуться всегда. Понимаю Гоголя, который боялся впасть в летаргию и вдруг очнуться в гробу... Тарас курил как-то срывисто, жуя сигаретный фильтр и далеко относя в сторону руку с сигаретой после каждой затяжки. Я уже не говорю, что он докуривал сигареты только до половины. Глядя на его лицо с впалыми щеками аскета, мешки под глазами, уже обозначившиеся легкие пигментационные — возрастные — пятна на висках и вокруг глаз, небольшой подбородок, который он, тем не менее, упрямо выставлял вперед, можно было и впрямь подумать, что перед тобой философ, *один из диогенов*, мыслитель, забывающий о собственном благополучии и думающий лишь о судьбах мира.

Тарас почему-то начал с поношения бравого солдата Швейка:

— Вы посмотрите, что получается: мы не можем противостоять немцам, если нас не скрепляет железная государственная воля, как было при Петре, как было при Сталине. А в таком случае, если нет сил, то ответ славянства прост — прикинуться идиотами, как Швейк: привыкшие верить на слово немцы примут эту игру всерьез, а мы под маской идиотов сумеем сохранить свою как бы независимость,

остаться самими собой. Такова после этой гнусной перестройки будет и наша судьба, если мы отправимся на выучку к немцам, превратиться если не в Швейков, — нет, у нас есть свой образ, — то в Петрушек, в клоунов.

— Ну уж Петрушка — какая тут самобытность! — не мог я его не подразнить, уж очень он трагически выглядел. — И Петрушку, и наш знаменитый лубок, и даже гармошку, — все это мы переняли у немцев. Обидно, конечно... Еще, сколько помнится, Герцен в середине прошлого века писал, что русскую деревенскую балалайку вытесняет пошлая немецкая гармонь. А теперь гармошка — национальный русский инструмент, гармонист — первый парень на деревне, и никто не поверит, что эта музыкальная машинка иноземного, тем более немецкого происхождения. Да и клоун — исходно именно европеец. Не случайно он стал героем немецкого романа. Вспомните Бёлля!.. А Петрушка — это немецкий Хампельман, или Касперль: его по-разному называют, перекочевал к нам вместе с немецким театром из Немецкой слободы. Но, знаете, что больше всего меня почему-то задело? Что наша раздольная русская ярмарка тоже немецкого происхождения...

Он удивленно взглянул на меня.

— Ну да, — подтвердил я. — Происходит из двух немецких слов: яр — год, и маркт — рынок. То есть ежегодный рынок, если вместе.

— А что же у нас тогда свое? — почему-то сразу поверил он мне (хотя я и правду говорил, но кто знает!..), однако непонятно было, огорчен он или втайне этим обстоятельством доволен.

— Достоевский уверял, *что братство*, которое на Западе лишь ищут, у нас — это суть жизни.

— Слышал я это, слышал, — досадливо отмахнулся он, да так резко, что горящий табак с сигареты посыпался на пол. Тарас закурил новую. — Как же, славянское братство! А почему же эта польская бабенка не постеснялась ограбить немцев, которые везли помощь братьям-славянам в Москву?

— Так то полячка, это понятно, — протянул я. — А Достоевский писал о нашем русском братстве, о России...

Он немного по-актерски нахмурился, запечалился, но и искренне одновременно, мешки под глазами ещё больше набрякли:

— Может, так было. Я никогда специально русской истории не изучал, но прочитано по этой теме достаточно, а связывать и обобщать я все же профессионально умею. Впрочем, о прошлом говорить не буду, хотя, мне кажется, что братство возможно, у нас во всяком случае, когда есть отец, желательно — грозный отец. Он умирает, уходит

и братство. А сейчас ко всему наше братство ещё и рухнуло в долларовую яму. Я знаю, о чем говорю, — остановил он, вытянув вперед ладонь, мои возражения. — Это, так сказать, обобщения личного опыта. На Западе все введено в рамки закона: у каждого брата своя доля наследства и так далее. У нас братство никогда не связывалось с меркантильными вопросами, братья друзьями были, когда не каждому можно было доверяться. А уж брат не заложит, ты в этом уверен. Росли с чувством единства: дескать, всё пополам, мы одно целое. И выросши, несмотря на разные профессии, мы с братом — вы уже поняли, что я о себе говорю? — встречались, он старше меня всего на два года, почти ровесники, обсуждали всякое: от политики до наших проблем с разными женщинами. И вдруг — жизнь меняется. Начинается перестройка, начинаются экономические вопросы, у меня брат экономист, его приглашают на международные конференции, поначалу он со мной советуется, что-то обсуждает, а потом постепенно я начинаю замечать, что мешаю ему, раздражаю его.

Он перевел дух, сменил сигарету. Его благородно-вытянутое лицо с впалыми щеками подергивалось, словно слезы подступили к глазам, и он с трудом их сдерживает. Голос стал глуше:

— Его приглашают на Запад, он пропадает там месяцами, возвращается, конечно же, с валютой, но при этом доллары ругает, живя на доллары. Впрочем, это его дело. Хуже другое. Он практически перестал мне звонить. Если звоню ему я, всегда один и тот же ответ: «У тебя что-нибудь срочное? Нет? Тогда, извини, я занят. Я тебе перезвоню через два часа». Вначале я как дурак ждал этих перезвонов, потом понял, что это вежливая фигура речи, когда не хочешь с кем-то говорить. Этому он в Европе научился. Не встречаемся по полгода, по десять месяцев... Это мы-то! Которые раньше раз в три, а то и в два дня непременно виделись. Живем ведь в одном городе. Ко мне он заходить перестал, к себе не зовет, встречаемся только у родителей. Если все же достаивает меня разговором, а я на что-то начинаю жаловаться — у него один припев: «Но, Тарас, это же правильная мысль, что каждый отвечает за себя. Я же тебе не навешиваю свои проблемы, а у меня их немало». Если я его спрашиваю, видел ли он свою старую возлюбленную, он отвечает: «Нет, ты знаешь, совершенно некогда, но я послал ей много денег». А я так, простите, не могу. У меня достаточно впечатлительная душа. Я ведь актером хотел стать, так что художественной эмоциональности с избытком. Я поэтому, наверно, и пишу мало. Больше люблю выступать. Многие считают, что я один из лучших докладчиков. Меня хотят слушать, это правда. Но что делать! Мне хочется

нравиться другим — и левым, и, кстати, правым. Наплевать. И когда вдруг чувствуешь, что ты не нравишься собственному родному брату, раздражаешь его — помилуйте, это чересчур!

Он поперхнулся дымом, долго кашлял, потом снова закурил. Я не прерывал его, я ему сочувствовал. Нечто подобное я пережил, когда мой бывший лучший приятель Шурик Пустоват, всегда раньше искавший моего общества и моих идей, вдруг, с помощью суетных своих связей получив американскую профессуру, настолько стал важным, что перестал мне звонить, хотя и достаивал коротких разговоров по телефону, но при случайных встречах смотрел поверх меня и тут же старался отойти к более значительному человеку. Но о Шурике — это другая история! От брата такое больнее.

— Вот и сейчас, — продолжал Тарас, — он был вместе со мной, не вместе, разумеется, а параллельно, в Германии. Я ему раз позвонил, он обещал через пару дней сам перезвонить, телефон здесь дорог, вы знаете. Конечно, не звонит. «Извини, говорит, у меня столько дел, что я бумажку с твоим телефоном куда-то потерял». Вот вы Достоевского помянули. Так мне иногда кажется, что мы с братом, как господин Голядкин-старший и господин Голядкин-младший. Он — это тот, кто в выигрыше. Нашим нынешним правителям именно такие нужны, они и сами Западу продались, хотя, думаю, Запад их за дикость все равно презирает. Ну, черт с ними. А ведь брату я до этого своего второго звонка ещё раз звонил, он не ответил, ответил автомат, я сказал, кто звонил и на всякий случай номер свой продиктовал. Но как будто этого и не было. Ладно. Спрашиваю его, для меня это важно, я первый раз из-за рубежа еду, а с кем ещё посоветоваться, как не с братом, короче, спрашиваю, объявлять ли на таможне валюту или схоронить, спрятать ее. А он в ответ так искренне недоумевает: «Тарас, но ты же уже большой. Хочешь — объявляй, не хочешь — прячь. И в том и в другом случае есть свой интерес, и свой недостаток. Решай». Я говорю: «А ты как делаешь?» Он отвечает: «Когда как». Но ему-то что! Он по сто раз туда-сюда катается.

Тарас вдруг настороженно и немного испуганно глянул на меня, ведь проговорился, что деньги везет, но я совсем не напоминал грабителя, и он успокоился. Он был у меня как на ладошке, прозрачен. Казалось даже что видны его и кровеносная и пищеварительная системы. Я тоже в прошлый первый приезд дико нервничал из-за валюты, хотя вез, разумеется, гроши. Во всем нужен опыт. И я ответил ему, как отвечали в тот раз мне:

— Если вы собираетесь возвращаться в Германию, то лучше объявить. Тогда сколько ввезли, столько сможете вывезти. А сколько вы

ввозите валюты, таможене наплевать. Ее задача не выпустить валюту из страны. Конечно, выезжая, вы можете что-то скрыть, но тогда, если обнаружат, могут быть неприятности, во всяком случае, вывезти не дадут. А если есть квиток о ввозе, то будьте любезны.

— Возвращаться? — он вздрогнул. — К кому мне возвращаться?..

— Да это я так, к примеру, — не понял я поначалу его вздрога. Но тут же последовала довольно бессвязная речь, кое-что прояснившая. Но не всё.

— Мне деньги нужны для образования сына, — забормотал он, стряхивая пепел, которого уже давно не было на кончике сигареты, но он все равно стряхивал, не замечая этого. — Я вообще-то человек небогатый. А теперь образование денег стоит. Да и не хотят современные молодые люди образование получать. Оно им только помеха для нынешней жизни. Пока мы жили в стабильном обществе, то сомневаться в образовании не приходилось: оно годилось и для пути наверх, и для того, чтобы жить вполне достаточно, отгородившись от мира музыкой, живописью, книгами, ходить в концерты, на выставки, а монстров не замечать. Теперь почему-то это лекарство не действует. Все хотят денег, а не образования. У меня с сыном из-за этого постоянно конфликты. Европа, небось, своего образованного класса не губит, а нам подсовывает модель для слаборазвитых стран. Их наш интеллектуальный потенциал не интересует, вернее, интересует — в смысле выкачки мозгов: всяких там физиков, математиков, художников. Этих Европа покупает. А нормальным людям — шиш! Нас поддерживало прежнее государство своими штыками. Мы этого не понимали, бранили его. Штыки опустили, влез доллар, и все рухнуло.

И тогда мне показалось, что я почувствовал его больную точку, вокруг которой он наплел столько слов. А потому и сказал ему будто бы ни к селу ни к городу:

— Вот вы говорите — брат, братство. С детьми ещё сложнее. Растись, вкладываешь в них всю душу, всю жизнь, живешь их болями и бедами, а они вырастают, и выясняется, что у них своя жизнь, а ты в лучшем случае — на обочине их жизни.

Он даже курить перестал, уставился на меня:

— У вас, наверно, у самого есть дети...

— Конечно, есть, — согласился я.

— Тогда вы понимаете, что это за удовольствие быть отцом великовозрастного детины, у которого на уме ничего, кроме прикидов и герлушек, а на тебя с твоей философией он смотрит как на динозавра, — он засмеялся, но не обычным своим смехом, а как-то вяло, сла-

бо. — Ему, конечно, мои марки пригодятся, только он будет просить их не на образование, а на то, что он называет жизнью. Жена во всем его поддерживает, говоря, что у мальчика должна быть своя жизнь и не надо ему навязывать готовых образцов.

— Но вы же философ, — отчасти простодушно заметил я, — живите отдельно. Денег вам наверняка хватит пока что. А то найдите женщину, которая будет о вас заботиться, всю себя вам посвятит. Наверняка есть такие...

Он замедлил с ответом, хотя вначале ринулся было что-то сказать. Я отвернулся, глядя в окно. Вдоль дороги тянулась славянская Европа, беднее, грязнее, неухоженнее. Лязг и гроыханье российского состава все больше и больше сливались в своей тональности с законным пейзажем, становились все естественнее.

Тарас тронул меня за рукав, я повернулся. Смущенный, даже слегка покрасневший, он заговорил, часто затягиваясь дымом:

— В конце концов мы оба мужчины. Почему не сказать? Да вы и сами видели... ее... на вокзале, — он снова смешался, но продолжил, — мою Гертруд. Ну что, я смею так сказать! Она сама себя так называла — твоя Гертруд! — даже выкрикнул он, хотя я не возражал. — Она Россией интересуется, русский знает, да ещё и философ притом, доктор наук — по нашему это вроде кандидата. Но не в том дело. Хотя и это важно, — он неожиданно хмыкнул смущенно. — В общем, она заботливая. И молода ещё. Детей нет. Надо сказать, темпераментная, я от немок такого не ожидал. Тридцать пять лет, детей, видимо, и не может иметь. Ни разу не беременела. Я для нее и как ребенок был, и как мужчина. Мне, конечно, с ней было хорошо и уютно. Целый месяц спокойствия и любви. Поздно, жалко, я с ней сошелся. Я ведь в Германии два месяца на стипендии пробыл. А с ней только месяц. Но она меня любит, полюбила. Это точно. Я это знаю, вижу, когда женщина не лжет, а вправду любит. Все-таки опыт у меня есть, поездил по конференциям по всему Союзу, — он захохотал, громко и самодовольно, как смеются в таких случаях считающие себя опытными в любовных делах мужчины. — Квартира у нее небольшая, всего две комнаты, зато своя. На двоих достаточно.

Он вопросительно посмотрел на меня. А что я?.. Что говорить ему, я совсем не знал. Какие уж тут советы!.. Страна советов впереди, ещё насоветуют ему, как поступить.

И тут, слава Богу, на мое счастье выскочили к нам в тамбур из предыдущего вагона два разгоряченных выпивкой и разговором русских парня лет двадцати двух — двадцати пяти: в кожаных куртках, с бу-

тылками пива в руках и сигаретами в зубах. На кёльнском перроне я их не видел, значит, вошли позже. Сразу запахло кислым, давно немелким телом, потом, алкоголем, да ещё, видимо, нечищенными зубами.

— Это какой вагон? — спросил покрупнее и помордастее.

— Последний, — сухо ответил Тарас.

— Черт, значит, спьяну проскочили! — хохотнул спрашивавший. — Ладно уж постоим, пивка попьём. Мы компанию вам не нарушаем? — он сделал из бутылки большой глоток, вытер горлышко и протянул Тарасу. — На, приложись.

— Спасибо, не буду, — вертя головой в разные стороны, чтобы не встретиться взглядом с парнем, не принял приглашения Тарас.

— Да что вы, прямо, как нерусские! — обиделся парень. — Пойдем отсюда, Толь, они, небось, либо евреи, либо интеллигенты.

Второй, более складного сложения, с ещё чистым лицом, синими глазами, и помоложе, остановил приятеля:

— Да брось ты, Виталик, сразу людей обижать! Может, они просто пива не хотят, может, они его уже до горла набузырились. Верно?

— Ага, — согласился я.

Похоже, что Тарасу хотелось уйти, но некоторая трусоватость сковывала его: как бы не нарваться на неприятность. Поэтому он только молча и мрачно закурил новую сигарету. И далее насуплено молчал. Помимо боязни был он раздражен, что ему помешали чесать то место, которое чешется.

— Мы недолго постоим, — утешил нас молодой. — По бутылочке пивка допьём, не бросать же так, все же немецкое. А потом все равно пойдем ребят менять, которые пока вещи сторожат.

— В командировке были? — поинтересовался я: надо что-то говорить, раз рядом стоим.

— Ну, — утвердительно кивнул молодой синеглазый. — От босса.

— От какого босса? — не понял я, хотя тут же почувствовал, что лучше бы не спрашивать. А Тараса аж перекосило.

— Помолчи! — резко сказал напарнику более крупный.

— А чего? Они-то кому скажут! Да и вообще это всем сейчас до еньки. Челночим мы, понятнo? За товаром ездим: сигареты, барахло кое-какое на блошиных рынках скупаем. Босс все платит: и билеты, и визы, и покупки. А мы возим. Ты думаешь, мне хочется спекулянтom быть? Нет. Но одеться бы я иначе не смог — это раз, — от ткнул пальцем в свою кожаную куртку, шикарный свитер под ней. — А потом отца-старика как кормить? Он раньше, знаешь, почетным рабочим был, хорошо жил. Он, как бы тебе это пояснее сказать, был средним

классом, понимаешь? А теперь средний класс у нас уничтожили. Он и живет на пенсионные гроши, вот и кручусь. А Германия мне знакома...

— Как?

— Служил я здесь. В ГДР. Жалею, что вернулся. Дружок мой, ко-реш, одним словом, по военке, задержался, на немочке женился. Теперь полицейским работает. Ничего живет. Был я у него. Все путем. И фрау, и киндеры, и дом свой. А я-то думал, что ГДР и СССР — никакой разницы! А он вот раз — и в ФРГ попал, с места не сдвигаясь. Вовремя башкой подумал — вот что!

Вошедший среди разговора Виктор молча курил, сплевывая изредка в ведро, но слушал очень внимательно: это были *его* «свои». У меня же в голове толпились не очень светлые и не шибко мудрые мысли. О том, что хорошо тому, кто живет ради быта. Все ясно, цель ясна, жизнь ясна. Женился, устроился, дом купил, зарплата неплохая, дом уютный, дети подрастают, надо ещё вторую машину для фрау приобрести, или хотя бы одну (если ты в России), дачу строить. А с какими-то духовными запросами все вышеозначенное кажется пошлостью, мешанством, не хочется на это время тратить, тем более жизнь, хочется самореализации, но ведь одновременно и уюта хочется, и спокойствия.

— Так вы все время ездите в Германию? — спросил вдруг Виктор.

— А тебе что? — огрызнулся мордатый.

— Да так, интересуюсь я. Потому я русский немец, а в Германии первый раз, к родне ездил.

— А у тебя родня здесь есть? — залюбопытствовал молодой. — В Западной или Восточной?

— В Западной, — кивнул головой Виктор.

— А чо? Тогда, может, поговорить надо?.. Ты как, Виталик? Что скажешь? — у молодого мозга, видимо, были поворотистее. Но тут и мордатый Виталик сообразил:

— Айда с нами, поговорим.

И Виктор, пожимая плечами, с видом человека, получившего неожиданно шанс на удачу, двинулся за ними.

Тарас во время разговора стоял какой-то пришибленный. Но когда незванные собеседники ушли, ткнул им вслед рукой с сигаретой:

— Вот такие всегда будут жить хорошо!

И даже распрямился. А мне стало себя и его жалко. Ведь это про него да про меня великая русская литература писала, как про «униженных и оскорбленных», а казалось, что о меньшом брате, о народе старается, за него страдает. Хотя у нас все — крепостные. Но крепостные из «простого люда» и в рабстве устраиваются, находят смысл жиз-

ни в самой жизни. А мы, хотя свою рабскую природу в себе несем, все хотим свободными выглядеть, потому и говорю я, что мы *вольнотрущенники*, вчерашние рабы, которых, если надо, можно всегда в рабство вернуть. Ух какая на этой почве вырастает дикая психология! Отсюда и постоянная уязвленность, и тайный страх перед всеми, и чувство собственной сверхценности и неполноценности одновременно.

— И навоняли при этом, не продохнуть, — Тарас беспомощно обернулся, словно искал форточки для проветривания, а потом открыл все же дверь в переход к другому вагону, в холод, в лязг и грохот буферов — авось разрядится спертый воздух.

— Да ну вас, закройте, околеем от холода.

— Пусть протянет немножко, — упорствовал Тарас.

— А что вы, собственно, против русского духа имеете?

— Какого такого русского духа? — не понял философ, полагая в моих словах искать некую метафизику.

— Такого. *Жилого*. Помните гоголевского Петрушку, который за собой носил свой особенный запах, а Чичиков его уговаривал: «Ты, брат, черт тебя знает, потеешь, что ли. Сходил бы ты хоть в баню». Но Петрушка в баню не шел. Вот и в народных сказках Баба-Яга всегда этот русский дух чувствует, хотя герой непременно так спрячется, что найти его невозможно, но вот русский дух, как ни прячься, выдает. Впрочем, конечно, это метафора.

— Вот именно, — облегченно вздохнул Тарас. — Все-таки у нас большинство уже давно привыкло к личной гигиене.

Меня прямо поразило это словосочетание «личная гигиена», как из сталинского детства выпрыгнуло. Поэтому ответил резче, словно бы даже желая уколоть собеседника:

— Но если это метафора, то это, может, ещё хуже. Стоит нам покопаться в наших интеллигентских русских душах, то от их немытости, невычищенности жутко станет. Достоевский попытался, так весь мир до сих пор от ужаса замирает, что он такого в русском интеллигенте понаоткрывал, какую такую карамазовщину, которая Россию в крови потом десятки лет топила. Разумеется, в данном случае народ оказался не чище интеллигенции.

— Мне, например, себя упрекнуть не в чем, — откинул назад голову Тарас, но тут же смешался, покраснел, вспомнив, видимо, свою Гертруд, а, может, и ещё что. — По большому счету — не в чем, — добавил он. — А вы, — вдруг с каким-то тайным проблеском в глазах спросил он, — раз так о русском духе думаете, почему не остались? Или не получились?

— Куда я от самого себя денусь? Я же не немец. А вы?..

— Я?.. Я как-то всерьез... не думал, что ли, об этом? Да и кому я там нужен с моей профессией? Я бы ещё там побыл, конечно, но виза кончилась. Нет, ещё раз я бы съездил... — он махнул рукой, повернулся, словно хотел уйти или, по крайней мере, походить взад-вперед, но, вспомнив, что места в тамбуре нет, не находишься, снова махнул рукой, повернулся ко мне лицом и отрывисто бросил. — Наверно, вы правы. Вообще-то, возвращаться в Россию вот так навсегда, теперь, когда видел другое, страшно. Да и жить у нас страшно. Эта баба из Баку правильно свою дочку за немца пристроила. Все-таки у нас сейчас очень дико. Я вообще-то жалею, что не жил в начале девятнадцатого века, в пушкинскую эпоху. Наверно, самое светлое для России время. Тогда хоть среди дворянской интеллигенции были нормальные отношения. Не то, что сейчас.

Пока я молчал, думая, что ему ответить, я вспомнил, как сам и первая моя жена бредили пушкинским временем все семидесятые годы, да и в начале восьмидесятых, до самой до «перестройки». Бывало, за бутылкой водки на чьей-нибудь кухне все воображали, что не просто пьянствуем, а как лихие гусары под песни Окуджавы приобщаемся к свободе. Я потом много размышлял об этом.

— Думаете, — возразил я ему, — тогда было по-другому? Пушкин все видел и знал Россию, как никто. Чего стоит одна фраза из «Капитанской дочки», когда урядник докладывает капитанше, что капрал Прохоров подрался в бане из-за шайки горячей воды с Устиньей Негулиной. Да в этой фразе, мимоходом, о русском быте тех лет всё сказано. И что бани общие были, а теперь нам это кажется порождением развратного западного образа жизни, и чудовищные отношения мужчин и женщин! Ведь вдумайтесь! Мужчина дерется с женщиной за шайку горячей воды, дерется, то есть *бьет ее, а она его*, гольшом, в маленькой парной баньке. И с кем дерется! С Негулиной, то есть *негуляной*, необъезженной, очевидно, девицей, к которой, возможно, он не только за водой полез. Но это сказано мимоходом, по-европейски, не заостряя внимания. Пушкин преодолевал в себе, гармонизировал своим словом, самим собой всю русскую нелепицу, чушь и бестолочь, бессмыслице придавал смысл, заключая ее, запирая в бастион точнейших слов, не требующих пояснений, тем самым европеизировал Россию, находя каждому в ней предмету, жесту, событию необходимое, приличествующее место. Создавал вместо Хаоса Космос. Дав России язык, он дал ей и нормы поведения. Но следовать этим нормам могли только те, кто овладевали его языком. А много ли было таких среди

русских мужчин, которые, по замыслу Бога должны бы строить жизнь и мир, ибо они мужчины?.. Что Пушкину удалось воистину угадать, так это русскую женщину образованного сословия: идеал ли ставший реальностью? реальность ли, возведенную до идеала? — не знаю. Книга помогает русским женщинам себя достроить, превратить угадку в *идеальную реальность*, душу воспитать по книге, как, впрочем, воспитывали себя и пушкинские барышни, и та, «с которой образован Татьяна милый идеал», и Маша Миронова, и Маша Троекурова — все они душа и надежда России и русской культуры. «Я буду век ему верна». Я, именно Я, без принуждения. Женщина способная совершить выбор и хранить честь, чего русские мужчины никогда не умели... Во всяком случае ни одного сильного и хорошего мужчины из образованного сословия вы ни у Пушкина, ни во всей русской литературе не найдете. Ни Гамлета, ни Карла Моора, в лучшем случае Гриневы и Онегины, либо туповатые Левины, либо вообще Карамазовы...

Поезд внезапно замедлил ход, потом остановился. Я прервал уже самого меня утомившую речь. Мы невольно вместе глянули в окно. Виднелся небольшой полустанок, какие-то столбы и пограничники с автоматами. Мы уже въехали на территорию бывшей России, бывшего Советского Союза, все ещё охраняемую русскими солдатами в советской пограничной форме. Мы уже были за границей Европы, в нашей родной отечественной неразберихе. Было видно, как, потолкавшись у задней площадки нашего вагона, на нее взобралось несколько человек в форме. Начиналась проверка паспортов и таможенный досмотр.

— Всё. Пора по купе, — нервно сказал Тарас, подытоживая наш разговор, так и не услышав от меня совета. — Уже Брест, там, говорят, ещё настоимся.

— Часа два не меньше, — подтвердил и я. — Пока колеса менять будут. Сначала вагон отцепят, отвезут в док, поднимут, поменяют колеса, потом опять прицепят к составу.

— А вы не знаете, почему у нас железнодорожная колея шире? — упавшим почему-то голосом спросил Тарас. — Впрочем, все равно, какая теперь разница? Пойдемте в купе.

Я присел на край нижнего сиденья рядом с немцем, тоже уже ждавшим, упершим свои высокие колени почти себе в подбородок. Но раньше пограничников явился Виктор, почти бегом прибежал. Понятно было, что он изрядно напододался. Глаза его блестели.

— Проверятьльщики не заходили ещё? — спросил он.

Я отрицательно помотал головой и спросил, как ему посиделось у новых знакомцев.

— Дельные ребята они, Кеша. Не то, что мы с тобой, — ответил Виктор не очень понятно, но о самом разговоре ни гугу.

Внезапно в купе наше заглянул Тарас. Был он бледен и взволнован, кивком попросил меня выйти.

— У вас пограничники уже были? Нет? Сейчас будут. Когда они пройдут, вы на минутку в тамбур ко мне не выйдете? Перед таможенниками. Они чуть позже будут.

— Хорошо, — согласился я, потому что понимал причину его бледности и какие у него снова вопросы.

С паспортами действительно возни было немного. Пограничник быстро их просмотрел, пробормотал, что у нашего соседа-немца что-то не в порядке, но тут же махнул рукой и попросил нас покинуть купе — «на предмет осмотра»: не прячется ли кто у нас. В проходе высокий мужчина, который, как вчера я понял из курения в тамбуре, был из казахстанских немцев, спорил, разводя руками, с пограничным начальником. Краем уха прислушавшись, я понял, что он ехал в Казахстан с женой и двумя детьми, ночью в Польше жену сняли с поезда с приступом аппендицита, он не мог за ней следовать из-за детей, а теперь выяснилось, что дети записаны в паспорте у матери, и они стали как бы безвизовые зайцы.

— Будем ссаживать, — грозил толстолицый начальник, видимо, ожидая мзды. Но высокий мужчина только разводил руками и шел за ним по пятам, бормоча жалостливые слова. Был он и впрямь растерян. В конце концов, начальнику стало ясно, что мзды не будет, а ссаживать — себе больше хлопот, и он смилостивился.

Я вошел в тамбур. Тарас курил там один, затяжки были длинные и нервные, впалые щеки ещё больше втягивались при каждой затяжке.

— Вы будете валюту объявлять? — быстро и полупшепотом спросил он.

Ох уж эта наша потребность в постоянном советчике, в поводе, чтобы точно сказал, *что делать*, да ещё переспросить не раз, да не у одного человека! Но брать на себя ответственность и говорить точно, что делать, я не решался. А вопрос о моих действиях предполагал, по сути дела, рекомендацию. О своих же деньгах я говорить не хотел, приученный опытом к молчанию на сей предмет. Хоть вез я и не так много денег, но все же два-три месяца жизни в Москве мне с семьей были гарантированы. Поэтому ответил я уклончиво:

— Да мне и объявлять-то особенно нечего. Стипендия была нищенская. И практически всю ее я на барахло спустил. Да на подарки.

Тарас досадливо поморщился.

— А я прямо не знаю, как быть, — сказал он.

Но уже по вагону шел тощий таможенник с одутловатым лицом и бегающими глазками, раздавая по купе таможенные декларации.

— Надо идти заполнять, — заметил я.

И мы пошли.

В моем купе уже и немец, и Виктор сопели над бумажками. Виктор протянул мой листок. Я быстро написал, что хотел, в графе о деньгах не написав ни цифирки. «Не будет же он меня обыскивать», — думал я, надеясь на русский авось. Поезд между тем то замедлял ход, то все останавливался, то снова двигался. Мы маневрировали где-то поблизости от Брестского вокзала. Прошел таможенник, собрал наши бумажки, невнятно пробурчав, что вернет их после, когда поезд переставят на русские колеса, уже в Бресте.

Только я, перекусив, собирался забраться на свою верхнюю полку, расслабиться и, как полагается при переезде через Стикс в гробовой ладье, думать о своей жизни или обо всем на свете, просто подремать на худой конец, как произошло нечто, насторожившее и даже испугавшее весь вагон. Войдя каким-то образом с задней площадки, хотя она была закрыта после ухода пограничников, по вагону шли двое рослых парней, причем головы у них были по-волчьи втянуты в плечи, проходя, они распахивали дверь каждого купе и профессионально быстро осматривали его, почище любого таможенника. Мы, пассажиры, люди, их не интересовали, они оценивали вещи. Было понятно, что если им что-то понадобится, то их не остановит ничто и меньше всего наши жизни. Глаза их абсолютно не отражали ответного человеческого взгляда, просто не встречали взгляда *Другого*, были напряженно пустые по отношению к нам и осмысленные насчет наших вещей. Мы для них были мертвецы, мы не существовали. Пройдя наш вагон, они отправились в следующий, а мы так и не поняли, заинтересовал их наш багаж или нет. И неясно также было, кто их пустил: очевидно, проводники. Значит, либо боятся их, либо в стоворе.

— Вы видели? — заглянул к нам встревоженный Тарас.

— Да, — сказал Виктор, — надо нам, Кеша, на эту ночь купе как следует припереть, это уже *наши* пошли.

Надо сказать, что прошлую ночь мы ехали с незапертой дверью.

— Хорошо сказано — *наши!* — трагически-госкливо усмехнулся Тарас. — Пойдем покурим, — предложил он мне.

— Нет, отдохнуть от курения надо, — сказал я. — Хочу полежать немного. Может, подремлю.

— А мне не лежится что-то, — отозвался Тарас и длинным шагом театрального героя отправился в тамбур.

— Пойду и я подымлю, — сообщил Виктор.

А я отправился на свою верхотуру. И растянулся там — в надежде, что бесцельное мыслеложение позволит скоротать время лучше, чем курение в тамбуре. Вагон между тем потихоньку двигался вперед, потом встал, послышался лязг и скрежет расцепляемых буферов и мы покатали в обратную сторону. Потом мы снова остановились, за окном раздались голоса рабочих и родной русский мат, и я почувствовал, как весь наш вагон плавно плывет вверх: готовились менять колеса. Я лежал и вспоминал чью-то байку, отчего у нас железнодорожная колея шире. Говорят, что когда был готов проект первой железной дороги «Петербург — Москва», его подали на утверждение Николаю Первому с вопросом, надо ли делать колею шире, чем в Европе, или оставить такую же. И будто бы на полях проекта Николай начертил: «На фуй шире». Так на длину императорского члена и стала в России шире колея, чем в Европе. Впрочем, это вряд ли, думал я. Скорее всего, ширина колеи есть вариант все того же железного (в данном случае железнодорожного) занавеса, отделявшего Россию от Европы. Чтобы проклятые европейцы со своими идеями и подрывными книжками не могли уж так быстро проскочить на нашу территорию. А ещё вернее, что это был способ военной защиты от возможной агрессии Запада. Что не помешало немцам, однако, доехать прямо-таки до Москвы. Оказалось, что переставить колеса и они могут.

* * *

В этих позорно-упаднических размышлениях я даже не заметил, как наш вагон снова поставили на рельсы. Я понял это, когда мы снова куда-то покатали: очевидно, цепляться к основному составу.

«Скоро поедem. Скоро приедem. Господи, скорее бы! Скорее бы... Счастье встречи. И дальше все будет как? Хорошо? Германия станет совсем уж мифом. Потусторонней жизнью...» Да, проступала из тьмы моя реальность. И эта реальность была — женское лицо. Ясноглазое, спокойное, заботливое.

И тут в дверь нашего купе постучали, несильно, но отчетливо, затем она отъехала в сторону, и в помещёние к нам заглянул Тарас Башмачкин, задирая голову и ища меня глазами на моей верхней полке. Вот уж кто точно не мог быть один!

— Вас можно на минутку? — проговорил он почти грубо, но с явным испугом в голосе, что, как очевидно ему казалось, оправдывало бесцеремонность и настойчивость его тона. И хотя лицо его было встревоженным, он закрыл дверь купе, не дожидаясь моего ответа, показывая тем самым, что я не могу не выйти.

Соскочив с верхней полки, чувствуя себя окостеневшим от долгого лежания на деревяшке, я принялся натягивать башмаки. Движения были скованные, а потому выглядевшие неохотными.

— Что это с ним? — посочувствовал мне Виктор, с трудом поднимая хмельную голову. — Обокрали, что ли? — Видимо, он тоже почувствовал изменившуюся интонацию в голосе Тараса.

Я вышел в коридор и передернул плечами от холода: у себя на полке под дурацкие свои размышления я угрелся, и теперь было зябко. Снова приоткрыв дверь, я сдернул с крючка свою куртку, набросил на плечи.

— Что-то случилось? — спросил я Башмачкина.

Вместо ответа он показал глазами, что лучше пройти в тамбур. Там он протянул мне пачку сигарет. Взяв предложенную *белую палочку здоровья*, я тоже задымил, однако молча, выжидая.

— Вам вернули таможенную декларацию? — шепотом и нервно взглядывая по сторонам, вдруг выпалил Тарас.

— Нет, я и забыл про нее, — удивился я, но, увидев увеличившуюся тревогу в глазах собеседника, почти страх, добавил утешающую глупость. — Наверно, ещё вернут.

— Вряд ли, — мрачно сказал философ. — Поезд уже с границы отбехал. Ближайшая остановка часа через два, я узнавал.

— Ну и что? — не понимал я.

— Вы там писали о валюте? — ответил он вопросом на вопрос.

— Написал, что ее у меня нет.

Он непроизвольно схватился за голову, это был искренний жест, не показной, он в самом деле был испуган:

— Что же я наделал! — воскликнул он.

— А что такого вы наделали?..

Он затаился несколько раз, серея лицом и глубоко и нервно всасывая в себя дым, бросил непогашенную сигарету в ведро; руки дрожали, пока он закуривал новую.

— Теперь мне все понятно, — прошептал он, кусая ноготь на большом пальце правой руки. — Они в сговоре...

Отгрызенный ноготь он сплюнул на пол. И молчал.

— Кто в сговоре?..

— Таможня, проводник и бандиты, — видно было, что даже дышал он с трудом, передыхая после каждого слова. — Я ведь... указал... в декларации... о валюте... Я думал... вдруг назад... удастся поехать... Чтoб деньги... можно было... из России... спокойно вывезти... С этим... может... мои надежды связывались...

— Ну и что, что указали? — не понял я.

— Как что?! — вздрогнул Тарас. — Ведь мне же... не вернули декларацию... А кому-то... ее... отдали. Теперь... они... знают... сколько... у меня... денег... Общество-то у нас... нездоровое... в распадае... неморальное... Развратили... всех... Каждый второй... преступник... В той... или иной... степени... Вот проводник... и подселил ко мне... двух бандитов...

— Каких бандитов?! — тут и я испугался, вспомнив письмо жены и рассказы кельнских знакомых: вот оно — случилось! — С вами же в купе женщина ехала и дед старый...

— Они в Бресте сошли. У меня теперь двое *азеров*... — выпалил он одним дыханием. — Совершенно бандитские морды...

Он употребил этот уличный термин — «азеры» вместо «азербайджанцы», словно их национальность и впрямь тут играла роль, объясняла их бандитизм: презрительная кличка, вроде «жида» для евреев. Вообразив, однако, сумрачные «кавказские» лица, смуглые, с черными щеками, от быстро растущей бороды, — так что не спасает и ежедневное бритье, я подумал, что и мне было бы жутковато остаться с такими наедине в купе: чем черт не шутит — вдруг и впрямь внешность не обманчива, а рассказчива...

— Ну, может, ничего... — неуверенно сказал я.

Тарас Башмачкин в своем страхе был, однако, бескомпромиссен:

— Да знаю я таких, нагляделся... — пыхнул он резко сигаретой, и тон его был почти злобен. — У меня сестра в Тбилиси замужем живет, я как раз у них гостил, когда ее сына вот такие же азеры похитили... У нее муж довольно богатый... Нет, в Тбилиси я больше не ездох... Раньше там хорошо было, почти как в Европе, а теперь среди бела дня трамваи грабят... Да у нас сейчас и вообще никуда не поедешь... Всюду грабежи и разбой, если не война... Запретили марксизм, вот и достукались... На хапок сверху народ ответил столь же бессовестным хапком снизу. Спрашивается, кому это выгодно?.. Только американцам... Я, конечно, не экстремист, но иначе как изменой это все не назовешь... «Правительство измены» — точнее не скажешь. В Москве ещё жить можно, но и там все страшнее... Вот такие, как у меня в купе, понаехали... Их все и боятся, а правительство им служит... На каждом углу эти, как говорят в народе, «лица кавказской национальности»... А чеченцы, которые каждую минуту могут в Москве террор начать!.. Вот вам результат распада советской империи! Чему тут радоваться!.. Мафия ликует, это да...

— Послушайте, — сказал я, несколько удивленный, как мог он от конкретной своей ситуации перескочить к публицистической мелоде-

кламации, но, поддерживая его, чтоб отвлечь от страхов. — Во всяком случае всё происходящее — закономерно. Ведь распад империи и не мог быть иным.

— Могло, все могло быть по-другому, и распада могло не быть, — раздражение и злоба его усилились, но, несмотря на общественный пафос его слов, предпосылки были вполне личные, диктовались вчерашними разочарованиями и нынешним страхом: я вдруг это понял. — Могла остаться великая держава, и от последствий сталинщины могли избавиться, показать всему миру, что социализм с человеческим лицом возможен!..

— Наверное, только с другим человеческим материалом, с другим этносом, — прервал я его, напомнив ему его же рассуждение.

— Все это поддается исправлению, — досадливо махнул рукой Тарас; сигарета, вырвалась из его пальцев и упала около двери в тамбур; не обращая на нее внимания, он достал новую. — Если бы все делать правильно, а самое главное — не продаваться Западу. А верхушку купили. Я и говорю, что победил доллар. Нет-нет, победила не Германия, она сама побеждена этим долларом. Я вот сейчас съездил в Германию. Случайно. А раньше я естественно мог ездить в Прибалтику! Кому это мешало?! Прибалтам?.. Да они без нас сейчас пропадают. Это нужно было США — сверхдержаве, стремящейся уничтожить другую сверхдержаву. И они всех ловят на удочку своей псевдемократии, а сами в основе своей культуры имеют гангстеризм и ковбоев, их и воспевают на все лады... Вы посмотрите их фильмы — только ковбойские и гангстерские. Они и Европу этим добром заполонили. Нет, России надо объединяться с Европой против Америки. Вариантом такого единства раньше был марксизм. Но с ним не получилось, и проблема осталась. И проблема эта — поиск «третьего пути». Против золотого мешка. *Против атлантической цивилизации.* Нужна сильная власть. Чтобы остановить распад, чтобы обуздать бандитизм. *Пусть ее называют фашистской!*.. Не надо бояться термина. Это сейчас такое движение в Европе, да что там — *всей Европы* против засилья космополитической атлантической цивилизации, по сути своей бескорневой цивилизации, цивилизации без духовных прозрений и традиций. А фашизм — это просто корпоративная структура, характерная для цеховой средневековой Европы, структура, не дающая индивиду жиреть за счет других. Это и есть истинная евразийская цивилизация, гармоничная, нормальная, человеческая, в каком-то смысле инвариант коммунизма.

Пока он говорил, я старался его не перебивать, хотя тоска брала меня. Почему мы идем вместе с Европой только тогда, когда в ней

зреет новое свинство, новый рецидив варварства? Дружим с социалистами, нигилистами, нацистами и не умеем дружить с бюргерами.

Слушая его, я уткнулся лбом в холодное стекло, держась обеими руками за решетку. Конечно, всюду жизнь. Но какая!.. Скванные морозом изуродованные колеями дороги, ведущие мимо убогих домиков в неведомые нецивилизованные просторы. Мужики и бабы, всем своим видом вызывающие ощущение отрезанности от мира, в котором происходят какие-то события. И самодостаточность каждого клочка немецкой земли, благоустроенного самодовольным бауэром, уверенным, что его дело благословляется Богом.

— Вы не согласны со мной? — не дождавшись моего ответа, нервно поинтересовался Тарас.

Сказать ему, что это интересно?..

— Помилуйте, Тарас, — сказал я, — вы сначала меня напугали своим рассказом, а потом вдруг в обобщения кинулись... Давайте я схожу и гляну на ваших попутчиков... Тогда, если ваши подозрения справедливы, надо идти к проводнику. В конце концов надо же что-то делать, а не проклинать исторический процесс...

Он вздрогнул как-то сразу всеми чертами своего артистического лица, чуть сигаретой не поперхнулся, закашлялся от дыма и выставил передо мной ладонью вперед руку. Он явно не желал, чтобы я шел смотреть его купе.

— Нет, нет, они решат, что я их подозреваю, так хуже будет! — выпалил он. — Я сейчас придумаю, как быть...

Щеки его ввалились ещё больше, зубами он стиснул мундштук сигареты, а щепотки пальцев приложил к височным впадинам, что уж слишком театрально выглядело, словно он все заранее решил и придумал, а передо мной комедию играл со всеми своими историсофскими речами.

— Знаете что?..

— ? — вопросительно вскинул я глаза.

— Я сейчас вынесу и вам свои деньги отдам, а вы их до завтра поддержите и мне утром вернете. А то они меня могут ночью убить. Я уж их взгляды перехватывал, такими взглядами за моей спиной обмениваются — просто жуть!..

Сказать по правде, мне вовсе не хотелось встречать в эту историю, втягиваться в эту реальность. Да и страшновато было — и чужие деньги брать не хотелось, и бандитов я опасался не меньше, чем Тарас. Но сказать, что боюсь, мне показалось стыдным, поэтому я предложил другой довод:

— А вы не боитесь доверять деньги человеку малознакомому? Ведь вы меня совсем не знаете...

— Что вы! — быстро возразил Тарас. — Уж коли люди нашего круга не будут друг другу доверять, то тогда вообще никому верить нельзя... Я совершенно спокойно вручу вам свои деньги.

Пришлось сказать о своем страхе:

— А если они меня ограбят?.. Вы не боитесь отдавать деньги чужому человеку, но я-то не хотел бы за них отвечать. Как я перед вами оправдаюсь, если что случится!.. Ведь они деньги искать будут, раз знают про них. Они же, небось, видели, что мы все время вместе...

— Да ничего с вами не случится, — с наивным эгоизмом убеждал меня философ. — Вернете вы мне деньги. Во-первых, они не догадуются, кому я их отдал, а во-вторых, вы сильный, у вас плечи широкие...

Было понятно, что он не отстанет. Это был из тех зануд, про которых женщины говорят, что такому легче дать, чем объяснить, почему не хочешь давать. При этом, похоже, он ни минуты не сомневался, что меня можно *использовать*. Интересно, осмелился бы он предложить В. Белову или Ф. Искандеру выступить в качестве инкассаторов? Все с тем же эгоистическим бесстыдством, преодолевая мои колебания, он играл в «последнюю откровенность», уже без недомолвок говоря о своих намерениях.

— Вам это пустяк, а для меня, может, в этих деньгах все мое будущее заключено. Я вам говорил, да вы сами видели, у меня там, в Германии, женщина, фройндин... Она меня любит. Я уж думал об этом — разведусь со своей, если невеста станет, все равно она меня не понимает и сына так воспитала, и назад в Германию подамся. Она мне вызов сразу пришлет — только заикнусь. А меня как мужчины ещё на десяток лет хватит. А на их харчах, да с их воздухом и водой — и на побольше. Я в России все равно не нужен, там сейчас проамериканские мальчишки заправляют, за доллары отечество распродают. В Германии тоже, конечно, я не очень-то устроюсь. Но там сытнее. Да и подруга прокормит. А этих денег мне как раз на билет, да на первое время хватит...

Почему я согласился? До сих пор не могу понять. Неудобно стало показаться трусом?..

— Ладно, — махнул я рукой, — как мы это сделаем? Мне к вам пойти?..

— Нет, нет, ждите здесь! Я попрошу их выйти, будто переодеться хочу, потом они вернутся, а я к вам...

— Как вам будет угодно, — согласился я, желая одного, чтоб уже все свершилось, и я мог назад залезть на свою полку и заснуть, сокращая время до Москвы.

— А потом, — вдруг задержался он на минуту, — если у меня не найдут, то решат, что я нарочно записал в декларацию много денег, чтоб назад вывезти можно было. Так многие делают. — И пошел, выговорившись, к себе.

«А он не такой простак, не такой уж беспомощный, — подумал я. — Будет хорошим приживалом. Но если *он* туда, то я никогда».

Через несколько минут из Тарасова купе вышли двое — с изяществом кавказских барсов, а может, иных каких горных животных — в белых пушистых свитерах и темно-зеленых слаксах. Темноволосые, смуглые, они, на мой невесточный взгляд, походили на верных и любящих друг друга братьев. Были они не то одногодки, не то с очень небольшой разницей в возрасте. Только один повыше чуть и постройнее, другой пониже и поплотнее. Но оба ладные, ловкие, гибкие. Тот, что пониже, достал пачку сигарет, приглашающе кивнул спутнику, но высокий отрицательно покачал головой и остался стоять, взявшись руками за поручень внизу окна, задумчиво, с восточной невозмутимостью и спокойствием, уставившись в стекло. Поза была: сколько надо, столько могу ждать. И при этом пружинная сила движений.

Невысокий кавказец (может, и вправду «азер» — я не различал) двинулся к тамбуру. Щеки его были почти черные от густоты быстро прорастающих волос, как и у всех кавказских людей; глаза — сумрачные: лицо разбойника, абрека, как из фильмов про революционных террористов начала века, Камо или Кобу. Но войдя в тамбур, «азер» улыбнулся вдруг очень доброй широкой улыбкой, казавшейся ещё более доброй по контрасту с его свирепым лицом. И стало видно, что и глаза у него улыбочивые. Опять же как в киношной песенке о людях-дикарях: «на лицо ужасные, добрые внутри».

— Не помешал вашему одиночеству? — вежливо, с легким кавказским акцентом спросил он.

— Что вы! Ничуть, — отозвался я.

Была в его словах, жестах, повороте головы какая-то артистическая легкость, отличная от артистизма Тараса. Артистизм Тараса был тяжеловесный какой-то, с вхождением, вживанием в образ, «по системе Станиславского». А здесь что-то искрящееся, плутовское, словно из итальянского возрожденческого театра.

— Не желаете? — протянул он мне пачку «Мальборо». Затем прихлопнул слегка приоткрывшуюся дверь на буферную площадку, чтоб

идуший оттуда лязг, скрежет железа и грохот колес не мешали слышать слова. И представился:

— Батыр.

Я взял сигарету, поблагодарил и тоже назвался. Казалось невероятным, что этот вежливый и изящный будет грабить и убивать Тараса, а возможно, и меня. Вышла бакинская дама, заглянув в тамбур, извинилась, сказала, что ящик для мусора уже полон, и выбросила в ведро нечто, завернутое в газету. Курить не стала и ушла.

— Осторожнее теперь пепел надо стряхивать, — заметил предупредительно Батыр. — Как бы пожара не вышло.

— Разумеется, — согласился я.

— Вы из Германии? — спросил он вежливо.

— Угу, — осторожно ответил я.

— Деловая поездка? — поинтересовался он с большим любопытством. Начинался вроде бы обыкновенный поездной треп-знакомство, но после предупреждений Тараса я был настороже, старался отвечать достаточно уклончиво, скорее напирая на бедность свою и неудачливость финансовую, зная, что даже пустая похвальба может привести к вполне серьезному грабежу.

— Да что вы! Разве я похож на бизнесмена? — улыбнулся я. — Я писатель. Победил в конкурсе русской прозы, получил на несколько месяцев стипендию, жил там и писал.

— Ух ты! Здорово! — искренне обрадовался и даже лицом засветился Батыр.

— Первый раз живого писателя вижу. Ну, наверно, вы знаменитый, раз конкурс выиграли... Может, потом с нами коньяку выпьете?..

— Нет, спасибо, не хочется.

— Насиловать не буду. Желание друга — закон. Но хоть денег они вам дали там подзаработать? Большая стипендия была?

— Тысяча марок, — ответил я, не без удовольствия отмечая, что восточный человек именуется меня другом.

— В неделю?!

— Если бы! В месяц...

— Не густо. Как же вы жили-то?.. Мы с братом по десять лимонов в эту поездку заколотили, деревянных, конечно. Зато за неделю! Теперь их на зелененькие или на золотишко поменять — и порядок.

— Как же вам это удалось?

— Ну уж нет, — засмеялся он, — про это не рассказывают. Но — никому не обидно. Что-то продаем, что-то покупаем... Все довольны. Я раньше рэкетиром работал — это грязное дело было. Бабки хоро-

шие, но понимаешь, все время должен знать, что кого угодно убить должен. Я не кровожадный. Мой тогдашний босс как-то даже урок дал — о пользе жестокости. Не хотел один деловой человек налог платить, ну, его пригласили в дом к боссу поговорить. А перед этим босс одного бомжа за сто тысяч в день нанял — жертву изображать. Подкормил, побрил, в хороший костюм одел. Вот привозят делового, а там и бомж, тоже вроде как деловой и тоже вроде от налога отказывается. Идут все в сад гулять. А там две глубоких ямы выкопаны. Снова у бомжа налог спрашивают, а он снова, как велено, играет, отказывается. Ну, тогда его в яму бросают и по шейку землей закапывают. Хозяин с косой подходит и говорит: «Последний раз спрашиваю: будешь платить?» А бомж, как его научили, хрипит, что, мол, никогда. «Ну, тогда, как знаешь!» — говорит босс и косой голову этому бомжу как колосок от стебля одним ударом отделяет. И валетам своим небрежно: «Голову где-нибудь в другом месте закопайте». Ну, деловой после этого два налога готов платить. Он ведь не знает, что это бомж был и что никто его не хватится. Так вот работали. Ну, я откупился, ушел из этого бизнеса. Не по мне.

— Господи! О таком даже в газетах не пишут! Неужели такое и в самом деле бывает? — я всплеснул руками, выражая ужас и неверие в возможность такого, хотя в глубине души и памяти знал, что всё на этой Земле возможно: вспомнить только гражданскую, где соседи и родственники друг друга на куски резали и мочой мочились на обрубки, пытки в ЧК... А фашизм? Немецкие лагеря смерти?.. Рвы, полные трупов, и улыбки убийц... Куда этот человеческий материал делся? Да никуда, остался, существует в нетях, пока не востребуется...

— Вот видите — бывает, — наставительно сказал кавказец. — Поэтому я ремесло и сменил, чтоб мне в таких жестокостях не участвовать. Понимаете? Я теперь больше езжу. Вот две недели назад с братом в Арабских Эмиратах были. Там хороший бизнес: много принесли. Я там бусы жемчужные своей девушке купил, вот с собой до сих пор вожу, никак до нее не доеду, — он сунул руку в карман брюк, достал чернobarхатную коробочку со стеклянной крышкой, снял крышку и вынул виток бус. — Возьмите, посмотрите. Настоящие.

— Да я все равно не понимаю, — отказался я. — А вы не боитесь, что она эти драгоценности заложит, продаст?

— Да как это?! — рассмеялся Батыр. — Она же знает, что ей после этого не жить. Ее лучшая подруга мне донесет, потому что все ей завидуют. Я на всякий случай пару ее подруг тоже трахнул, чтоб, если что, замена была. Но моя Светка мне больше нравится. Она веселая.

Когда первый раз с ней лег, никак не мог засунуть, не лезет, да и все тут, а она смеется: «А ты, — говорит, — сметаной помажь». Так со смехом и пошло дело. Теперь это у нас вроде шутки насчет сметаны. Она в Ростове живет. Я у ней золотишко храню, валюту, когда приезжаю — сразу постельный режим, конечно. Тело-то просит. Но ничего. Молодая, а ждет, терпит. Знает, что измены не прощу.

Это уже говорил восточный человек, который знал цену своему слову. Но при этом совсем понятно стало, что никакой опасности Тарасу от его соседей не предвидится: ворочая миллионами, они вряд ли позарятся на его соцакопления. И уже даже хотелось показать свою смелость: взять что-то на хранение, как будто совершая героический поступок, затем спокойно проспять ночь, а утром вернуть, чувствуя свое превосходство и, может, даже немножко демонстрируя это. И посмотреть — устыдится ли Тарас, что заставил, упрямил постороннего, в сущности, человека рисковать жизнью ради его грошей. Да к тому же ясно, что если кого и грабить, то немецкую пару, которая везла гуманитарную помощь и уж наверняка имела при себе немалое количество дойче марок. Но немцы явно не боялись и даже оживленно поговорили со мной и Батыром, выйдя перед сном покурить в тамбур, о скверном российском сервисе, когда, кроме кипятка, ничего нельзя получить. С удивлением я отметил, что Батыр довольно сносно мог изъясняться по-немецки и выразить сочувствие немцам, привыкшим к порядку и чистоте, и видно было, что он не лукавит, ему и в самом деле было их жаль и ему и в самом деле нравились немецкий порядок и чистота. После взаимных улыбок и пожеланий «гуте нахт» немцы отправились в свое логово, а я со вздохом облегчения углядел, наконец, фигуру Тараса, выползавшего из купе.

Он вышел как бы ни в чем не бывало, с вздернутой головой, даже слегка откинутой надменно, но все же тревожно окинул взглядом коридор. Увидев задумчиво облокотившегося о поручень окна «кавказского барса», он вздрогнул, но тут же сообразил, что, может, это и нормально, а если и не нормально, то замечать это нельзя. Видно было, что он окликнул его и, судя по жестам, сообщил, что купе свободно, и извинился за некоторое промедление, а кавказец в ответ улыбнулся, что, мол, ничего страшного, что он с удовольствием постоял у окна. После чего они поменялись местами, кавказец скользнул в купе, а Тарас двинулся к тамбуру. В коридоре было светлее, тамбур был в полумраке, поэтому Тарас не сразу различил, с кем это я покуриваю дружески. Но, различив, оцепенел. Впрочем, назад ему пути тоже не было. В купе уже вернулся один из «братьев-разбойников». Лицо философа

растерянно вытянулось. Он не знал, куда ему броситься. Губы задергались. Резко, по-солдатски, развернулся на одной ноге, сделал было шаг в противоположную сторону, но остановился, опустил голову, и снова развернулся лицом в сторону тамбура. Вжав подбородок в грудь и слегка оскалив зубы, при этом почти зажмурив глаза, словно пустился в отчаянное предприятие, Тарас шагнул к нам в тамбур. И улыбнулся самой приветливой улыбкой, словно он счастлив видеть нас, особенно Батыра. Он играл, он перевоплощался... Но на себе я словил его мгновенный трусливо-испуганный и подозрительно-недоуменный взгляд: «откуда, мол, такие приятельские отношения?..»

Взгляд и испуг его мне казались понятны, хотелось объяснить нелепость ситуации, но при этом дурацкая ухмылка почему-то кривила мне губы. Ухмылка, которая была абсолютно неуместна, и только увеличивала настороженность и боязливость Тараса. Сказать же при Батыре, мол, напрасно Тарас подозревает, что Батыр собирается его грабить, и вовсе было диковато, *стрёмно*.

Тарас все же вошел в тамбур, криво улыбаясь, держа что-то в раздувшемся кармане пиджака, под мышкой газету, нервно теребя в руках сигарету:

— Можно огонька попросить? — еле шевельнул он губами. Я с готовностью щелкнул зажигалкой, наперегонки со мной и Батыр поднес к его сигарете горящий фитилек своей. Тарас затянулся, прислонился спиной и затылком к холодному железу вагонной стенки и уставил глаза в потолок, как бы в прострации.

— Переделесь? — дружелюбно спросил его «азер» Батыр. — Тогда я пошел, накурился уже, понимаешь. Приходите, — это уже ко мне, — утром кофе с коньяком пить.

— Спасибо. Как получится, — отозвался я.

За Батыром мягко захлопнулась дверь, он заскользил к купе.

— А вы, я гляжу, подружились, — не глядя на меня, сквозь зубы процедил Тарас. — Или раньше были знакомы?

Он вроде бы шутил. Но, как говорят, в каждой шутке есть доля шутки. То есть он и не очень-то шутил. Боялся меня. И вместе с тем некуда ему было от меня деваться: уже сказал, что есть у него деньги и что хочет мне их отдать на хранение.

— Да бросьте вы, Тарас, я вовсе не жулик, — засмеялся я, чувствуя, что смех получается не очень натуральным. — И вовсе не претендую на роль хранителя.

Тарас недоверчиво уставился на меня, видно было, как в мыслях он прокручивает разные варианты, что для него будет безопаснее.

— Что вы меня торопите? — вдруг огрызнулся он. — Не надо уж так явно навязываться!..

Я наверно, вспыхнул, покраснел. Но никогда не умел я, к своему несчастью, ловко и находчиво отвечать обидевшим меня. А это уже было чересчур. Насуплено, не глядя на него, глядя в пол, чувствуя даже слезу почти мальчишеской обиды где-то у горла, я буркнул:

— Я, пожалуй, пойду..

Тут уж Тарас сообразил, что перехватил и встал передо мной, умоляюще сложив руки на груди:

— Простите, Иннокентий, вы меня неправильно поняли. Я просто нервничаю, и у меня с языка сорвалось... Я вас прошу — не обращайтесь внимания... Я сейчас... Докурю и...

Не докурив, он выбросил окурочек в ведро и, торопясь удержать меня, чего-то пугаясь все время, во всяком случае я ловил на себе его трусливо-подозрительные взгляды, забормотал:

— Я сейчас, правда, я сейчас, минуточку, я вас прошу, возьмите, пожалуйста, ну пожалуйста, я понимаю, что для вас это не очень удобно, но не откажите уж, пожалуйста, прошу вас...

Я думал, что он передаст мне свой спрятанный в карман пиджака сверток, и протянул руку, сказав односложно, сквозь зубы:

— Ладно, давайте.

Но он даже отскочил:

— Нет, не этот. Я сейчас. Минутку. Только в туалет зайду..

— Медвежья болезнь, что ли?.. — неловко пошутил я.

— Я вам объясню потом, подождите только...

Он скрылся в туалет, слышно было, как он проверяет несколько раз, прочно ли заперлась дверь. Я снова закурил, чувствуя, что от этого бесконечного курения легкие у меня перестают дышать, а голова — соображать, горло же, конечно, першит.

Минут пять его не было. Наконец, он вылез, прошел в тамбур, прижимая к животу сверток, завернутый в газету, протянул его мне. Я автоматически принял сверток... Он был мягкий, какой-то тряпочный и совсем не походило, что я держу в руках пачку денег. На мой недоуменный взгляд Тарас закивал как-то по-стариковски мелкими кивками и зашептал:

— Понимаете, я деньги в трусы зашил. В туалете переодевался, они на мне были.

Мне было немного брезгливо держать *это* в руках, он понял и шепнул.

— Не волнуйтесь, я их ещё в тряпочку чистую завернул.

— А вы в купе не могли, что ли, переодеться? — не удержался я.

— Не успел, понимаете, не успел, все боялся, что они начнут снова в дверь стучаться...

— Господи! Да вы что, боялись, что с вас трусы будут стаскивать?! Вы же не женщина, которая может бояться, что ее изнасилуют.

— Тише, тише! — сморщился он. — Они всё могут, вы представить себе не можете, что это за люди. Зато теперь я спокоен, — он нелепо как-то подмигнул мне, де-мы с ним теперь повязаны одной ниточкой, и добавил: — Всё в надежных руках. Да я спокоен. Но давайте ещё покурим, чтобы не сразу расходиться, чтоб незаметно было, будто я вам чего передаю, — на сей раз моргнув обоими глазами.

Слабый человек, я уступил, и мы ещё покурили. Его сверток я за-сунул в боковой карман своей полуспортивной зеленой немецкой куртки. Карман был глубокий и застегивался на молнию. Со стороны даже и не заметно было, что там что-то спрятано. Просто пузо стало выглядеть объемнее. Наконец, мы разошлись по купе. Сейчас, когда я пытаюсь все происшедшее изложить на бумаге, история с трусиками начинает казаться слишком сексуально-символической. Но все это чистая правда.

Мои попутчики спали. Я запер дверь, поднял даже предохранительный железный фиксатор, не пускающий дверь открываться дальше определенного расстояния. Залез на верхнюю полку и выключил синеватый ночной свет. Куртку снимать не стал, так в куртке и улегся — все же надежнее. А одну ночь в одежде переночевать — не в европейском отеле, а в родимой обстановке — запросто! Конечно, я понимал, что не должен интеллигентный человек прятать на себе деньги незнакомца, — не идет сюда детективный сюжет! Но — увы — сделанного не воротишь. Это, разумеется, глупо, пошло, ненормально, это таинственная «русская психея», то есть почти безумие. Безумие, вызывающее из небытия, из пространства X (икс) таинственные силы. Раз ехал я на поезде из одного немецкого города в другой, из Кёльна в Дюрен, на деловую встречу. Расстояние — минут сорок. Вдруг поезд встал и простоял целый час. С грехом пополам на своем диковатом немецком выяснил я у шафнера (проводника), что ветром поперек путей было свалено дерево. Отсюда и задержка. Потом я рассказывал знакомым немцам эту историю. Сначала они говорили, что такого не могло быть, что в Германии деревья на железнодорожные пути не падают. Потом одна из дам рассмеялась: «Наверно, это случилось потому, что в поезде ехал русский». То есть такая нелепица может произойти только под русским влиянием. Ну, а благодаря немцам дрeves-

ный ствол убран был быстро и не валялся сутки, преграждая дорогу. Вспомнив эту свою поездку, я усмехнулся и сказал себе: «Ну да ничего. И нелепее бывало. Непохоже, чтобы грабанули». И заснул.

В пять часов утра (это я сразу определил, взглянув на часы и морщась от ярко вспыхнувшего света) дверь в купе распахнулась и громкий грубый голос разбудил нас:

— С них и начнем!

«Вот и явились. Пчела за данью полевой летит из кельи восковой. А здесь разбойные пчелы собирают свой мед». Но страха не было, потому что выхода не было. Я давно заметил, что страх появляется, когда есть возможность другого выхода. Когда же — без вариантов, то и страха нет, есть тупая покорность судьбе. Тоже, небось, российское качество.

Но это оказались вовсе не кавказцы. В дверях стоял широкоплечий мужик в форменной железнодорожной тужурке, такой же фуражке, с тесемочной планшеткой в руке, глаза с прищуром. Или это я сам от неожиданного света щурился?.. Сзади него, в такой же форме, миловидная женщина, блондинка с кудряшками, — словно, чтобы мы ни на минуту не усомнились: перед нами не бандиты, а обычные железнодорожные чиновники. Женщина — как удостоверение благонадежности.

— Проверка! — грубым, громким и тяжелым голосом сказал железнодорожник. — Сколько вещей везете сверх положенного?! Сколько веса лишнего?

— А попозже, когда люди сами проснутся, хотя бы после семи, нельзя было зайти? А не врываться по-разбойничьи на рассвете... — не удержался я от бессмысленного ворчания.

Женщина молчала, видно, что смущенная, а железнодорожник уже нахальным хозяйским глазом шарил по нашим тюкам и чемоданам.

— Не спорь с ними, Кеша, — подал голос со средней полки Виктор, — что с них, с козлов, взять!..

— Это мы с вас брать будем, — вроде бы даже не обижаясь на «козлов», хмыкнул железнодорожник. — Явный перевес. Чьи вещи?

— Мои и его, — объявил Виктор, кивая на свесившегося с полки меня, — у немца чемоданчик только.

— Ну вот, с каждого по шесть тыщ рубликов. Давайте, кошелечки потрясите, а мы пока дальше посмотрим.

— У меня нет с собой столько рублей, — сказал я, и, действительно, не было.

— Тогда в марках плати, — бросил через плечо железнодорожник, двигаясь к следующему купе.

Через десять минут весь вагон был перебужен. Люди гудели, выходя ползая недовольно из купе, помятые, сонные.

Бакинская женщина, столь упорно и успешно державшая оборону от польской вымогательницы, сейчас была настроена много законопослушнее и примирительнее.

— *Надо дать*, — она вдруг усмехнулась красивым ртом. — Я имею в виду, что надо платить. Не заплатим — пригрозил ссадить в Вязьме: это последняя станция перед Москвой.

— Грозится... — не поверил я.

— *Наши* — ссадят. Это вам не поляки. Нашим на все наплевать, — уверенно сказала женщина. — Я во всяком случае плачу. Высадит, что будешь делать?! И управы на них не найдешь.

Я посмотрел в сторону Тарасова купе, он беседовал с кавказцами, взмахивая рукой с не зажженной сигаретой, спиной прислонившись к поручням окна. Поверх свитера и пиджака на плечи было накинуто пальто. Вид взлохмаченный и почти гамлетовский. «Гамлет Щигровского уезда», — почему-то вспомнилось мне тургеневское название. «Какие-то наши Гамлеты противные», — подумал я, потому что Тарас даже головы не повернул в мою сторону, даже не поздоровался, ему нужны были те люди, с которыми он говорил (они были «нужники», они его могли прижать, а в меня он верил, я ему был безопасен, и меня он уже использовал). До меня доносились обрывки его фраз:

— Ну в таком случае я уж вообще ничего не понимаю, — разводил он руками с видом, будто понять его и оценить могли только эти кавказцы, что с ними только у него общий язык. — Мне рассказали, я вам сейчас объясню. Всё просто. Банда Ельцина за доллары продает страну. Тем, кто платит. Понимаете?!

Конечно же, они понимали и понимающе кивали головами. Тем временем железнодорожник в форме собирал свою мзду. Все сдавали ее безропотно. Однако купе кавказцев он на всякий случай обошел стороной, пробурчав, что здесь все нормально. Те смеялись и махали в воздухе деньгами, но железнодорожник был тверд и ни одного денежного знака не присвоил. Подойдя к нам, он хрипнул мне:

— Марки приготовил?

— У меня их нет, — пожал я плечами, выражая, однако, на лице растерянность.

— Ссаживать будем, — сказал железнодорожник.

Я умоляюще посмотрел на следовавшую за ним женщину. Может, она будет посписходительнее. Но тут меня плечом оттеснил Виктор и,

встав перед обнаглевшей двойцей мздоимцев, уставился на них блатным, все понимающим прищуром.

— С вас с каждого по шесть тысяч, — попытался сохранить лицо железнодорожный разбойник или разбойный железнодорожник.

— Две штуки хватит? — вдруг тихо спросил Виктор и сунул ему в руку две бумажки. — Бери, пока даю.

— Хватит, — неожиданно для меня вдруг согласился тот.

— В Москве меня жена встречает, я вам половину отдам, — сказал я.

— Да брось ты, я же шахтер, для меня это гроши. А может, после этой поездки я и вообще в люди выйду, — он залез на свою среднюю полку, положил руки под голову, вытянул ноги.

А мне мешал сверток Тараса в кармане моей куртки: мешал нормально спать, медитировать, просто слоняться по вагону. Мешало бессмысленное чувство ответственности. Мог бы и забрать, раз уж ночь позади. Купе, однако, всасывали в свое пространство пассажиров — если уж не досыпать, то, по крайней мере, долеживать положенные последние, а потому самые нервные часы перед приездом в Москву. Когда всех нас распакуют, вынут из вагона, как из ящика. Я все же попытался привлечь внимание Тараса, но он отрицательно замотал головой, показывая глазами, что, мол, позже, потерпите, мол. Тогда и я вернулся в купе и взобрался на свою верхотуру, улегся поудобнее, все время чувствуя, как некую опухоль в боку, тайный клад Тараса Башмачкина.

И снова ощущение тесноты, зажатости со всех сторон, наваливающегося прямо на меня потолка: хотелось упереться в него руками и оттолкнуть прочь — что-то похожее на клаустрофобию, на ужас от замкнутого пространства. К тому же непрерывный перестук колес на рельсовых стыках, да ещё этот вагон, этот ящик на колесах все время дергается, трясет... И не сам ты едешь, тебя везут. Стараясь избавиться от этого неприятного ощущения, я решил думать о хорошем: о той, кто меня встретит, кто достанет из этого ящика. И я опять буду кем-то, верну себе свое имя...

Уже скоро, уже скоро, буду дома, буду дома, буду дома. В России, дома, дома, где ждет меня любимая, ждет меня женщина, которая, знал я, примет меня всякого — убогого, больного, хромого, слепого, разбитого, бедного или богатого — все равно, потому что любит и потому что я ее люблю, и она это знает так же точно, как то, что живет, пока любит — моя Сольвейг, только «русская душою», моя любовь, моя судьба, моя жена. Я хотел было повернуться удобнее, но опять помешал сверток, навязанный мне российским мыслителем. «Су-

чёнок, — подумал я о нем подзаборным термином, да по-другому не думалось. — Рассуждает о великой России, пролагательнице третьего пути, доллар клянет, а за свою валюту трясется, потому что сам свалить на Запад хочет. Да пусть его. Мир сумасшедший. А уж за нашей околицей — просто Бедлам. Словно коробку с тараканами перетряхнули, а потом крышку открыли — они и понеслись, кто куда. В поисках кормежки. Где посытнее. Ну а мне? Мне одного хочется — нормальной жизни с любимой в той стране, где мы с ней родились. Скорее бы обнять, почувствовать запах ее волос, ее тела...»

Тем временем наступило вагонное утро. Захлопали двери купе, народ поплелся вставать в очередь к туалетам — наскоро приводить себя в порядок перед приездом. По радио уже объявили, что через час «поезд прибывает в город-герой, столицу нашей Родины — Москву». Соскочив с полки с полотенцем и умывальными причиндалами в руках, я сунул ноги в башмаки и вышел в коридор. Тарас уже был там, с полотенцем через плечо. Я направился прямо к нему и немного раздраженно, быть может, сказал, что готов, наконец, вернуть ему его сверток.

Но, оглянувшись пугливо, он шепнул:

— Давайте попозже, я перед выходом к вам зайду...

Мне было непонятно, чего он медлит, чего тянет время, уже все опасности позади. Боягуз! Боятся даже не рисковать, а невесть чего, — думал я, — так, на всякий случай... Но пожав плечами, согласился. Еще час подержать его богатство — от меня не убудет. Господь с ним!..

Справив свою нужду, я умылся и вернулся к себе в купе. Средняя полка была уже сложена, и немец с Виктором сидели на нижней одежке, ожидая, когда же... когда же... Я присел рядом и тоже уставился в окно. Вот и переплетение железнодорожных путей, пустые составы на запасных рельсах — все признаки приближающего вокзала. Ходили между путей с инструментами в руках рабочие в грязных, замазанных ватниках. Колеса стали стучать медленнее, мы въезжали на предназначенный для нашего поезда путь.

Я поднялся, с колышущимся сердцем вылез из купе и прилип к коридорному окну, ища глазами среди встречающих *своих*, но прежде всего, конечно, *ее*. Наш вагон был последний и не дотянул до платформы, когда мы почувствовали, что поезд встал. Но именно перед нашим вагоном — из самой ведь Германии! — уже клубилась группа здоровенных мужиков с тележками: грузчиков. Готовых за марки отвезти твои вещи, куда тебе нужно, а если получится, то и обратно. А вот, вот и *она*. В рыжей болоньевой куртке, в красной вязаной шапочке, с кулачками, прижатыми к груди, вглядывается с надеждой, тревогой,

робостью и нежностью, привезло ли это громыхающее чудовище ее долгожданного. Я замахал в окно рукой, а сердце щемило от любви и счастья. За ее спиной я разглядел своего друга детства, тоже приехавшего встречать — здорового, могучего, бывшего штангиста, ныне художника, рисовальщика... Это тоже было приятно. И понятно, что с вещами справимся. Наконец, и меня заметили, и стали мои голубчики мне махать и двигаться к входу в вагон. Их, конечно же, опередили грузчики, распахившие первых выходящих и помчавшиеся по коридору, заглядывая в каждое купе и требуя принятия своих услуг. Из моего купе немца с его чемоданчиком они выпустили беспрепятственно, уж очень убогий у него был вид. Зато на Виктора и на меня надели, резво хватая наши чемоданы и порываясь вынести их из вагона. После весьма неудачного словесного сопротивления, не дождавшийся своей здешней родственной «гопкомпаниии», Виктор махнул рукой и сдался на милость татарской мафии носильщиков. Я же продолжал сидеть, держась руками за чемоданы и говоря, что меня встречают. Но ждал я не только приятеля с сильными бицепсами и жену, я ждал Тараса, который должен же был заскочить ко мне перед выходом, когда исчезнут пугавшие его попутчики-азеры...

Но первой, разумеется, вбежала жена, прижалась щекой к щеке, следом вошел друг детства, а третьим вперся очередной, ещё не ухвативший своей жертвы носильщик.

— Все выносить? — спросил он, хватая сразу два чемодана. Приятель распрямылся во весь свой не маленький рост и нарочито хрипло сказал:

— Положь на место и не трогай. А то тебя сейчас вынесем.

Мы подхватили самые крупные чемоданы и вылезли из вагона. Затем я вернулся за женой и остатками вещей. Выходя снова, уже не столь обремененный ношей, я заглянул в Тарасово купе: оно было пусто. «Наверно, ждет меня на улице», — решил я. Оставив жену и приятеля сторожить вещи, я пробежался по кучкам прибывших и встречающих. Тараса нигде не было. Ну, наверно, так перетрусил, что где-нибудь в сортире отсиживается, пока *азеры* сойдут. Ничего не объясняя своим, я снова ринулся в вагон, но и туалеты пустовали точно так же, как и все купе. На мой вопрос, проводник помолже ответил, что описываемый мной человек вышел одним из первых. А его соседи по купе ещё сильно после того подзадержались.

Мы тащили вещи к заказанной приятелем машине, и я, вместо ожидавшегося от меня рассказа — ведь несколько месяцев дома не был! — все таращился по сторонам, ища своего попутчика. Но его

словно черт унес. «Что же теперь делать? Ведь он моего адреса не знает. Он не найдет меня. Господи, вот в дурацкую историю влип!» Дома, перебив все мои мысли, у меня на шее повисла шестилетняя дочь с сияющими от радости глазами, так похожими ясностью на глаза жены.

— Папа, а мы тут без тебя придумывали с мамой смешные задачи. Из Африки привезли десять кенгуру, ой, то есть, из Австралии. А из Африки — шесть бегемотов и поместили в одну клетку. Сколько животных скажет друг другу «здрасьте»?

Господи, а ещё этот бабский мужик спрашивал, почему я возвращаюсь!..

Затем, после душа, раздачи подарков, за рюмкой водки я рассказал о Тарасе и его свертке.

— Так тебе повезло, дурачок! — захохотал приятель. — Глядишь, и ты теперь не хуже других жить будешь.

Но все это была шутка, и хотя, как я уже говорил, *в каждой шутке есть доля шутки*, мы решили, что я отправлюсь в Институт философии, который он назвал своим местом работы, и там найду его. Честно признаться, я ехал туда с некоторой тревогой. Вдруг в отделе кадров мне скажут: «Да, был такой, работал. Но пропал без вести. А вот кто вы и какие у вас к нему дела?!» Поди потом доказывай, что ты не вор и не грабитель. Однако в отделе кадров мне с удивлением сказали, что Тарас Башмачкин у них не работает, да и никогда не работал и что вообще о таком философе они слышат первый раз. Вот, правда, есть Тарас Перепетуев, но его описание не походило на моего попутчика. Я все же пошел полюбопытствовать на лестничную площадку, где, как мне сказали, обычно Перепетуев курит и ведет разговоры. В первый момент показалось, что он, но нет — он поднял глаза: черты лица другие, да и меня он не узнал.

Пришлось возвращаться домой безо всякого успеха. Позвонил приятелю. Он приехал на совет, посмеялся на мои слова, что, мол, отдам в милицию сверток, и вызвался взрезать на этих трусах шов. На что после некоторых колебаний мы с женой согласились, решив, что если денег будет много, то приложить все усилия — и искать, а если мало, то куда-нибудь спрятать, и просто ждать счастливого случая, авось объявится, где-нибудь встретимся. Короче, мы дали приятелю согласие на операцию по взрезанию шва, несколько тем самым снимая с себя ответственность.

Находка, надо сказать, потрясла нас. О тысячах марок не приходилось и говорить, ни даже о сотнях и десятках. Марок там вообще не было. В трусы Тараса Башмачкина были аккуратно зашиты сорок вы-

шедших из употребления советских десятирублевок, «красненьких», с портретом Ленина. В полном недоумении мы смотрели друг на друга.

— Он, наверно, сумасшедший, — предположил мой приятель, — или трусы перепутал.

— Перепутать можно что угодно, — усмехнулась жена, — но зачем вообще эти бумажки прятать?

— Тогда сумасшедший, — заключил приятель.

Я же ничего тогда не сказал, но, кажется, понял. Не сказал же, потому что объяснить *это* довольно сложно. Конечно же, Тарас старался рассчитать все возможные неприятности на много ходов вперед. И в одни трусы зашил настоящие, в другие — бессмысленные дензнаки, чтобы, если у него стали бы отбирать настоящие, как-нибудь эти подсунуть. И мне он нес настоящие. Но увидев меня дружелюбно беседующим с «азером», тут же вообразил, что я-то и есть глава шайки, которому он так простодушно открылся, а потому надо измыслить новую хитрость. И он заходит в туалет, снова одевает на себя трусы с марками, трусы же с рублями, которые он надел на себя на случай ограбления, всучивает мне. Мол, теперь шайка спокойна, деньги у главаря, и его трогать не будут. Потому и уваливал он от меня, чтобы шайка продолжала думать, что его деньги уже похищены, чтоб не вздумали ещё искать, а то вдруг я перед отдачей вздумаю поинтересоваться, что же там зашито. Пусть уж я не тороплюсь с просмотром. И сбежал потому быстрее всех! Примерно таково было безумие его логики.

Больше я с ним не встречался. Надо думать, что в один из очередных своих вояжей в Германию он все же остался у своей немецкой подруги в дурацкой российской надежде, что отныне ему обеспечена спокойная и безбедная жизнь. Почему же мы, все остальные, не едем, почему здесь?.. Потому что, наверно, привыкли, да к тому же, как говорила мать-кротиха или барсучиха своему сыночку, жаловавшемуся, что он живет в земляной норе, в темноте и неуютно, а не на зеленой травке под теплым солнышком: «Зато тут наша Родина, сынок». Это точно. Здесь и живем.

Кёльн. Ноябрь 1993

Москва. Апрель—май 1994

Ногти

Рассказ

Побитые и униженные, мы сидели в песочнице и стыдились посмотреть друг на друга. Нам было лет по девять, наши обидчики примерно тех же лет, может чуть старше. Или они просто казались старше, потому что были сильнее и беспощаднее? А мы не умели ударить их в лицо или хотя бы показать, что мы можем это сделать. Да ещё побившие нас грозились ещё сильнее нас побить, когда приведут «ребят из бараков». Мы знали, что они с ними дружили, во всяком случае захаживали туда, и подражая барачным тоже ходили нечесаными, с нестриженными ногтями и черной каймой грязи под ними, при случае царапали этими ногтями лицо противнику и кричали: «А у меня ногти все грязные! Теперь у тебя заражение крови будет!» И хохотали. Были они обычные мальчишки из ближних четырёхэтажных домов, где жил инженерный люд, но, в отличие от нас, профессорских сынков, бродили по окрестностям всегда стаей. Мой приятель быстро утешился и сказал, что лучше пойдет смотреть телевизор, и позвал меня с собой. У нас телевизора не было, а потому соблазн был немалый, но я переживал и не мог идти. Они сорвали с меня матросскую бескозырку, которую мне подарил настоящий капитан, муж маминой сестры. И возвращаться домой, так позорно лишившись этого символа мальчишеского мужества, мне было стыдно. Соврать же, что потерял, я знал, что не получится. Наши победители веселились совсем неподалеку, в маленьком парке на берегу прудика, откуда слышались их крики. И мне так хотелось храбро пойти туда, к ним, нагло развалившимся на скамейке, и отобрать мою бескозырку, да ещё сказать нечто гордое. Но знал, что не получится. И от этих разрывавших меня чувств — желания героического поступка и очевидной трусости — я сидел на бортике песочницы и грыз ногти. И не двигался с места.

Тогда-то и подошёл к нам Севка Грановский. Ему тогда было уже лет четырнадцать, жил он в доме напротив, был сын известного профессора-мидиевиста, но казался нам очень странным. Он никогда не играл ни в какие игры, не то, что с нами, но и с ребятами постарше — ни в волейбол, ни в городки, ни в пинг-понг, ни даже в шахматы, за которыми в летнюю пору под липами, окружавшими газон, рядом

с качающимися золотыми шарами и скрытые от любопытных старух кустами сирени, просиживали не только подростки, но и солидные отцы семейств, даже некоторые профессора. Севка ходил мимо, глядя в сторону, кивая на расстоянии, как бы всем сразу и никому в отдельности, и как-то боком обходил все дворовые сборища. Я ни разу не был у него дома, но рассказывали, что Севка ест курицу с яблочным джемом, потому что-де так едят в Европе. Почему-то нас это потешало. Мы предпочитали сосиски с горчицей. А Севка и одевался непривычно. Уже лет с двенадцати он носил костюм, настоящий костюм, пиджак, брюки, а последний год завёл ещё и жилетку. При этом был он косолап, имел непропорционально длинные руки, а при ширине плеч и движении боком вперёд напоминал не то шимпанзе, не то гориллу. Но для гориллы он был низковат. Чёрные волосы он красиво зачёсывал на левую сторону, иногда прядь падала, и тогда одним движением головы он гордо вскидывал её назад и приглаживал рукой. Наверно, подражал кому-нибудь из литературных героев. Все мы тогда кому-то подражали. Просто мы не знали, на кого он равняется. Глазки у него были маленькие, серые, но вид всё равно какой-то нерусский, что-то восточное, а может, даже и еврейское. В отце его это виделось сразу. Но мать Севки была блондинка, и её кровь немного разбавила его жгучесть. Он подошёл к нам, держа в руках толстую трость с какими-то причудливыми изгибистыми линиями по всей палке, а на рукоятке был блестящий набалдашник. «Серебряный», — пояснил он нам. И спросил:

— Чего ногти грызёшь?

Я не ответил, но он догадался.

— Побили вас. Да ведь небожно. Ничего, плохо, что поцарапали. Идите лучше домой и йодом смажьте, чтоб заражения не было.

Севка редко когда с кем говорил. И если б нас было не двое, а, скажем, трое, он бы к нам не подошёл. А тут даже советы начал давать.

Мой приятель Алёшка возразил:

— Он не может. Они у него бескозырку отняли.

— Ну не сидеть же до вечера, — усмехнулся Севка, — они ж её назад не отдадут. — И тут же как само собой разумеющееся добавил: — Подождите меня здесь. Я её сейчас у них отберу.

И, помахивая толстой тростью, всё так же боком и косолапо, он отправился по тропке мимо большого дуба к парку у прудика.

— Побьют его, — сказа приятель. — Он один, а их много.

Но минут через десять Севка, всё такой же медлительный, странный и кособокий, вернулся и протянул мне бескозырку.

— Держи, — сказал он. — Они же трусы, как все дикари. Дикае, грязные, нечёсаные. А потому бояться белого цивилизованного человека.

Как уже потом я определил его манеру, он мыслил и говорил сентенциями, которые полагал должным исполнять. В тот раз он нёс на себе киплингское бремя белого человека. Однако в каждой своей интеллектуальной маске, это я тоже понял потом, после его безумного поступка, он следовал какой-то своей внутренней идее. Далеко не все люди имеют свою, присущую им в результате ещё очень ранних поисков ума какую-либо идею. Многие не только не ищут, но и вообще не думают. Из тех же, кто ищет, лишь единицы имеют смелость осуществить то, до чего они додумались.

Севка в какой-то момент взял и осуществил. Но это потом, после. Пока же он и сам ещё лишь подбирался к своей идее. Мы тем более ни о чём не догадывались. Я был ему очень благодарен за бескозырку, преданно заглядывал ему в глаза, хотя ещё накануне и подумать бы не мог, что косолапый и кособокий Грановский осмелиться схватиться с шайкой отвязанных мальчишек.

А он мне сказал наставительно:

— Но запомни только, что ногти грызть нехорошо. Цивилизованное человечество для борьбы с ногтями, наследием дикой природы, изобрело ножницы.

Туповато я спросил, не врубившись в его слова, потому что голова была занята спасённой матросской шапочкой:

— А почему это ногти наследие дикой природы?

Он покачал головой:

— Вот уж не ожидал от тебя. Ты же интеллигентный мальчик. Твой отец производит впечатление интеллектуала. Да и ты должен бы просто сообразить. Ногти — это то, что осталось от когтей, которые есть у всех животных, но у человека в процессе эволюции когти приобрели мирный характер ногтей. К тому же человек и этот остаток дикости, который у него каждый день отрастает, удаляет с помощью ножниц. А если не удаляет, то становится, как эти, те, что вопят там у пруда. Если же ты грызёшь ногти, то ты лишь частично цивилизованный. Не говорю уж о глистах и прочих желудочных удовольствиях.

— Но мы же из природы произошли, — возразил я, хотя возражать спасителю вроде и неприлично было.

— Но мы же в ней не остались, — сурово так и раздражённо ответил он. — Иначе ты не переживал бы за свою бескозырку, а носил бы гриву волос, которые бы никогда не стриг, не мыл и не причёсывал. Ладно, вырастешь — поумнеешь.

Я даже обидеться хотел, обернулся к Алёшке-приятелю, но он, пока мы препирались, уже умотал к телевизору — учёных разговоров он не любил.

Да и Севка повернулся и пошёл из песочницы, опираясь на свою трость, как большой, как будто он имел право в своём возрасте уже ощущать себя вполне взрослым и солидным.

* * *

Время потихоньку двигалось, мы тоже выросли. С Севкой не общались, да он и не выказывал к тому особого желания, ходил мимо, глядя перед собой, в сторону или под ноги, поглощенный чем-то своим, иногда даже не здоровался. Зато часто можно было видеть, как он выходит из подъезда, опираясь всё на ту же трость, держит за ручку большой портфель, который словно бы его ещё больше скособочивал, кривил на одну сторону, пройдя по липовой аллейке и повернув к трамваю, он иногда останавливался и взмахивал правой рукой, будто отмахивался от каких-то своих мыслей, или рубил этой рукой воздух, принимая вроде бы какое-то решение. От кого-то я слышал, что он поступил на исторический МГУ, но в отличие от отца занялся современной, советской историей. Говорили, что отец был против, кричал на сына, что с его знаниями языков глупо миновать если уж не средневековье, то хотя бы зарубежку. Сын отмалчивался, махал своей правой рукой, выдвигал вперёд косое плечо, но сделал по-своему. Все решили, что из карьерных соображений. Теперь он носил двубортный костюм (тёмный или светлый — в зависимости от погоды), отпустил себе усики под носом, волосы стал мазать бриллиантином, чтоб не падала на глаза его знаменитая прядь. Это мне пояснил Алёшка, который вошёл уже в половозрелый возраст, трахался налево и направо, но поэтому строил из себя денди и тоже мазал чем-то волосы. А потом, хотя и выглядел Севка абсолютным анахоретом, не говоря уж о явном уродстве его фигуры, он стал появляться во дворе с удивительно красивой женщиной. Девичей в пошлом смысле этого слова её никак нельзя было назвать. Стройная, выше Севки, не длинными, но очень аккуратными ножками, блондинка с чёрными глазами, она была очень милой, что стоит не меньше красоты, а грудь была такова (нет, нет, не велика, но удивительно соблазнительной формы), что эротические вождения у мужской части нашего двора просыпались сами собой. Алёшка выразился кратко: «Везёт же уродам!» Несколько раз он пытался подойти и заговорить с ней, когда она одна выходила из подъезда, возвращаясь от Севки куда-то к себе домой, но она проходила мимо красавца Алёшки,

словно даже не замечая его. Он злился. «Такая же чокнутая, — говорил он недовольно. — Из одного теста сделаны, — кривился и добавлял: — Тили-тили тесто — жених и невеста!»

Потом, похоже, они поженились. Про свадьбу ничего не было слышно, но Севкина красавица стала гулять по двору с коляской и уж, конечно, больше никуда не уезжала по утрам. Сам же он по-прежнему двигался одним и тем же маршрутом с портфелем в руках, так же махая правой рукой, только став будто чуть пониже ростом. Мне почему-то казалось, что он носит в портфеле какие-то тайные документы. Так цепко он держался за ручку портфеля, что аж пальцы были белые, это и издали было заметно. Потом появился второй ребёнок, потом дети подросли, и Севка стал гулять с двумя мальчиками, цепко держа их за руки, как свой портфель. Алёшка уже не пытался добиваться его красавицы-жены, только цедил презрительно: «Всего двух детей сделал, а согнулся, будто сто баб переимел». Потом умер Севкин отец, мать умерла раньше, и он стал хозяином квартиры, перебравшись, как говорили, жить в кабинет отца. Отец был знаменит, его труды издавались, но что писал Севка, никому не было известно.

Так случилось, что, женившись, я переехал совсем на другой конец Москвы. И неожиданную диссидентскую славу Севки я узнал уже по «вражеским голосам». Как тогда говорилось: «Есть такой обычай на Руси — слушать вечерами Би-би-си». Оказалось, что, занимаясь советской историей, он умудрился написать несколько книг (и издать их в *тамиздате*) по истории уничтожений — кибернетики, врачей, ядерной технологии, генетики, или, как сам он определил в одном из своих интервью зарубежным корам (незадолго до того, как его арестовали): «Я не очень интересуюсь политикой, я пишу о том, как дикость хитроумно и целенаправленно уничтожала у нас все возможные варианты цивилизованного развития». Его спросили как-то про экологию, а он неожиданно развернул свое миропонимание, что-то в таком духе: «Я не верю в экологический кризис, природа — это и есть дикость, а она пока торжествует. То, что вы называете экологическим кризисом, это использование дикарями, т.е. теми же детьми природы, инструментов цивилизации. Т.е. природа уничтожает сама себя, а техника и прочее лишь средство этого самоуничтожения». Но тогда на сумасбродство его идей не обратили внимания, тогда всех интересовала политика — и только политика.

Его арестовали, и началась на Западе кампания в защиту «честного русского историка». Пламенную речь произнёс в Штатах Солженицын — под Толстого по Ленину, требуя «срывания всех и всяческих масок». Здесь за него заступился Твардовский, как раз накануне свое-

го юбилея. Именно по поводу Севкиного случая он произнёс свои знаменитые слова, которые долго ходили тогда по Москве, прибавив ещё один штрих к славе поэта. Рассказывали, что когда Твардовский выступил в защиту Севки на одном из писательских собраний, а потом написал какое-то обращение в ЦК, ему из последней инстанции позвонили и сказали, что партия и правительство собирались наградить его Героем Социалистического труда в связи с юбилеем, а он-де себе позволяет антисоветские выступления и что если он прекратит свои выпады, то ему это простят, и он-таки получит Героя. На что Твардовский ответил: «Первый раз слышу, чтобы Героя давали за трусость». Короче за этими баталиями о Севке едва ли не забыли. Но подписи среди интеллигенции в его защиту собирались, подписал какое-то письмо и я, хотя как-то не вязался у меня облик Севки с обликом героя.

В результате правозащитной кампании дали ему не так много, как казалось нам на воле, наслышанным о сталинских десятках и четвертаках. Его посадили на пять лет, причем зачли год предварительного заключения в тюрьме. Такие до нас доходили слухи. А потом началась перестройка, страхи, перемежаемые ликованиями. Вот уже Сахарова выпустили, а теперь война в Карабахе. Переживаний хватало. Кончилась война в Афганистане, но умер Сахаров, но Баку, но Ош! И всё же ко всему привыкаешь. Привыкли даже к тому, что в Москву несколько раз вводили танки, ещё даже до ГКЧП. По центру ходили, натываясь бесконечно на бронированных ящеров с прямым хоботом. И как будто так и должно было быть. Севку я почти и не вспоминал, только слышал краем уха, что он тоже вышел на свободу. Однако его книги, которые тоже были изданы теперь в легальной печати, были не так уж и интересны по сравнению с информацией о степени бандитизма государства, под властью которого мы жили. Всё же его сочинение о генетике я купил, но почти все факты, там изложенные, разошлись уже по газетным и журнальным статьям, да и «Белые одежды» Дудинцева были всеми прочитаны. Успеха Севка не имел. Я, правда, корил себя за невнимательное чтение, потому что чувствовалось там что-то ещё за фактами. Поначалу его всё-таки приглашали на всяческие тусовки, фамилия то тут то там мелькала. А потом как отрезало. Не вписывался он в новый бомонд. Да и жизнь продолжалась.

Продолжалась и требовала новых горячих материалов, чтоб подогреть ледяные души обывателей. А в новую ситуацию, когда теряя линкоры, дредноуты, не говоря уж о территориях, Россия делала вид, что входит в цивилизованное сообщество народов, не умея иначе объяснить себе и другим, что с ней происходит, так вот в эту ситуацию

Севка почему-то не вписывался. Теперь-то я понимаю, почему. Потому что у него была идея. Все рвали куски от разваливавшегося пирога, приписывая себе не существовавшие диссидентские добродетели, а он, и вправду отсидевший *за дело*, никуда не лез, ибо вынашивал идею.

* * *

Встретился я с ним в эти тусовочные годы совершенно случайно. Два западных фонда (американский и немецкий, кажется) устроили что-то вроде двухдневной конференции о новой русской демократии, после которой закатили в пятизвёздочном отеле под Москвой, где проходила конференция, шикарный банкет. За решёткой, окружавшей этот западный на русской территории отель-ресторан, стояла вполне тривиальная почерневшая от непогод и лет деревенская изба, лежала под примитивным навесом куча дров, рядом с крыльчком стояли простенькая тоже почерневшая лавочка и непряхотливый тощий тополёк, если и был садик, то с другой стороны, невидимой нам стороны, ночью из избы орал петух. Не надо было иметь особого образования, чтобы произнести слова о двух мирах, двух слоях, двух классах и об опасности нового деревенского топора и красного петуха. Все эти слова и произносили, не учитывая лишь того, что жителю этой избы было уже в высшей степени наплевать на не его жизнь. Опыт столетий, а особенно последнего, отложился так, что все попытки «сообча» перестроить жизнь себе в выгоду всё равно неисполнимы, и «сообча» больше никто ничего делать не будет. Каждый за себя, каждый сам по себе. Так что демократы зря опасно поёживались, глядя на эту избу.

Меня пригласили на эту конференцию как представителя довольно влиятельного тогда журнала, где я работал. Севка выступал в первый день. Но я смог приехать только во второй и доклада его не слышал. Он никогда не курил, поэтому среди тех, кто под предлогом курева мотал с этой бодяги, я его тоже не встретил. Программы мне как опоздавшему не досталось, организаторы обещали поискать её для меня (для журнала, то есть) в последний день. Так что и из программы про Севку я ничего знать не мог.

Почти никого я здесь лично не знал. Всё это были телевизионно известные люди, но не учёные. Поэтому за банкетным столом я сидел вполне в одиночестве, общаться мне было не с кем, заказывать статью тоже некому, ибо говорилось здесь всё не для смысла, а для представительства. И когда во время банкета кто-то тронул меня за плечо и спросил, не возражаю ли я, чтобы ещё два человека заняли места за моим столом, я кивнул, почти не взглянув на спрашивавшего. Шумел в центре

мраморный фонтан, вежливые и хорошенькие официантки подносили по просьбе сидящих водку или вино (закуски и еду брали сами с длинных столов, на которых чего только не стояло — сёмга, осетрина, карбонат, буженина, маслины, оливки, салаты и пр., не говоря уж о горячем). Произносились какие-то речи о том, что Маркс помешал нашему естественному развитию, что демократия неизбежное будущее России. И с каждым съеденным куском чрезвычайно дорогих и недоступных яств казалось, что дело демократии крепнет. У меня было одно желание — как следует всё это на халяву распробовать и выпить. Но против соседей я не мог возразить, как бы места для всех были предназначены. За стол сел мужчина примерно моего возраста с короткими усиками под носом, в двубортном сером костюме-тройке, стриженный очень коротко, почти наголо, брови его кустились, а восточного типа лицо выглядело как-то вопросительно. Рядом с ним села женщина, которая при беглом взгляде показалась мне и привлекательной и отдалённо знакомой.

Я сдвинул свои тарелки немного в сторону, чтоб не мешать им, и, с приветствием подняв рюмку водки, выпил. И тут вдруг мой взгляд упал на трость с серебряным набалдашником и вязью каких-то слов по самой палке. Именно трость заставила меня поднять голову и посмотреть на неожиданного соседа, увидеть кособокость, неправильный подъём руки, узнать усики и под морщинами уже не очень-то молодого человека увидеть лицо Севки Грановского. Да, ему было по виду уже близко к пятидесяти. Он усмехнулся той улыбкой, которую я запомнил с того дня, когда он выручил мою бескозырку. А рядом, конечно, сидела его жена, по которой в своё время вздыхали мужики нашего двора. Тогда её привлекательность, казалось мне, была в удивительно красивой груди. Но вот она вся подувала, да уж и никак нельзя было говорить теперь о прекрасной и юной женской груди. Но привлекательность осталась. И только тогда я понял, в чём она заключалась и почему Алёшка так завидовал Севке. Всё её лицо выражало состояние полной эротической покорности, но не распутной, а той, которая отдаётся единственному избраннику. Именно это-то и сводит мужчин с ума. Он усмехнулся, и она тоже улыбнулась, глядя мне прямо в глаза.

— Вот видишь, он узнал, — сказала она Севке.

И так мило она это сказала, что я тоже невольно позавидовал Севке.

— Не сразу, — честно признался я. — Хотя рано или поздно встретились бы.

— Почему? Могли и не встретиться, — покривился Севка.

— Я имею в виду уже после твоего лагеря, ну, как тебя выпустили, — поправился я. — Я ведь даже твою книгу о генетике купил, да и

все передачи о тебе слышал. Для меня, по правде говоря, неожиданно всё это было, я имею в виду твой *тамиздат*, твои интервью.

Он не ответил, сказав другое:

— А я тебе благодарен. Меня чиновник, который подписывал мои бумаги об освобождении, уже здесь, в Москве, пригласил и показал письма в мою защиту. Там и твоя подпись была.

— Господи! Чего только мы тогда не подписывали! — ляпнул я. — Уж больно всё противно тогда было. Противнее даже, чем сейчас. Но, — спохватился я, — конечно же, в твою защиту я не мог не подписать.

— Отчасти квиты, — сказал он.

Я вопросительно взглянул на него.

— За твою бескозырку.

— А ты помнишь?

— Конечно. Я вообще всё помню. Я же историк.

Я ещё раз налил себе, поднёс бутылку к его рюмке, но он отрицательно покачал головой:

— Как не пил, так и не пью. Даже в лагере не научился. Ты же знаешь, я против всего, что пробуждает в человеке его дикую природу.

Я невольно глянул на его милую спутницу, прикусил язык, но потом всё же спросил:

— А как же любовь? Секс? Дети откуда берутся.

— Оттуда, конечно, — рассмеялся он. — Но ведь ты знаешь, что секс или, скажем, простое животное половое влечение человек сумел преобразить любовью. И в этом-то и задача, чтобы бороться с природой и дикостью в мире и себе. Это как если бы люди ногти не стригли, помнишь наш разговор? Дикие были бы звери. Я в этом в лагере окончательно убедился.

Я невольно глянул на его ногти и коротко стриженную голову (тоже борьба с дикостью в человеке?), а также на его жену. Ногти её были ухожены, как у лучших модниц, только что лак был бесцветный. Но на её голове...

Волосы на её голове были завиты и покрыты серебристой пудрой. Она мне улыбнулась и сказала:

— Ничего особенного, это парик. Так Сева захотел.

Он коротко приказал ей:

— Сними.

Она послушно сняла парик, под ним не было обычных женских волос: голова её была коротко стрижена, почти наголо, как и у него. Я смутился, и она, заметив это, быстро водрузила парик на голову. Мы сидели как бы в небольшом кабинете-закутке, на нас никто не

обращал внимания, все уже были в подпитии, бродили по знакомым, чокались, говорили друг другу комплименты, приглашали на очередные тусовки, ожидали духовную музыку и знаменитый монастырский мужской хор. Для иностранцев в этом было единение церкви с демократией, а для церковного хора возможность валютного заработка. Севка словно проследил направление моих мыслей.

— Потому стараюсь и не выступать нигде. Никто из них о сущности дела не думает. Всё — пустые слова. Освобождение человека от дикости должно начинаться с самого простого: чтоб каждый день брились, чистили зубы, принимали душ, стригли ногти, да, да, ногти... Не смотри на меня так. Думаешь, пунктик?

По правде сказать, я и впрямь так подумал. И чтобы перевести разговор, спросил о детях:

— А где ваши сыновья? Должно быть, они уже большие.

Она неопределенно улыбнулась мимолетной улыбкой, а он хмыкнул и коротко ответил:

— Один в Штаты подался, компьютерный бизнес. А другой, ты не поверишь, а младший пошёл в феэсбе, как в наше время в партию поступали, с целью, чтоб там больше хороших людей было.

Заиграла музыка. Потом запел красивый мужской хор.

— Я подойду поближе послушаю, — спросила она.

— Иди, Вика, иди, — разрешил Севка.

Он словно обрадовался, что она отошла. Вид у него вдруг стал совсем блаженный, который я часто наблюдал у бывших лагерников, когда они начинали делиться тем, что надумали в остроге.

— Знаешь ли, — он наклонился ко мне через стол, — лагерь — это хорошая школа, в этом Солженицын прав, и у каждого в лагере свои открытия.

— И у тебя тоже? — попытался я ироничным тоном прикрыть тему.

Но он был серьёзен, он даже не заметил моего тона.

— И у меня тоже, — подтвердил он. — Зачем природа придумала так, что у человека растут не переставая ненужные ему ногти, а цивилизация заставляет нас их держать в порядке — стричь, чистить и т.п. Когда человека так ненадолго выпускают в мир, и он знает, что он и в самом деле вдруг может перестать жить, зачем ему заниматься ногтями? Так я думал на воле. Но в лагере понял. Ногти — это и есть то, что связывает нас с животными. Мы прячемся, делаем вид, что мы не животные, стрижем ногти, но всё это прикровенно. В лагере ножницы были только в больничке у фельдшера и когти все запускали жуткие, ими царапались, перерезали бечёвку, могли и горло перерезать,

если бы приспичило. Там все превращались в диких зверей, кто хищных, кто съедобных, но тоже диких. И я подумал, что когда женщины украшают свои ногти-когти, то это ведь тоже их сексуальное оружие. Знаешь, в лагере всегда есть начальник с абсолютной властью, а поскольку Солженицын назвал всю страну Архипелаг Гулаг, то значит и здесь в любой момент появится начальник, который может приказывать любую дикость. И все будут исполнять, — он склонился над столом, чтоб ближе придвинуться к моему лицу, чтобы слова как бы с большей вероятностью попадали в мои уши, и тут мне стало заметно, что глаза у Севки из серых стали прозрачными и подернутыми даже какой-то голубизной, какая бывает у новорожденных младенцев. — Я там, — продолжал он, — даже такой сюрреалистический рассказ придумал, что у нас к власти пришли почвенники и выпустили указ или декрет, как хочешь назови, запрещающий отныне стричь ногти. С обоснованием заботы о народе: среди прочего говорилось, что на садово-дачных участках отросшие ногти сильно облегчат народу работу на огородах по прополке, по рыхлению земли, выдиранию с корнем сорняков и пр. На улицах останавливает вооружённая милиция прохожих и требует, уткнув автомат в брюхо, «предъявить ногти». Помнишь, как раньше в школе проверяли руки на предмет чистоты прямо перед входом. И всех отлавливают, кто стрижет ногти, всовывают руки в колодки и сажают так в тюрьму на пару недель, пока ногти до нужной длины не отрастут. И колодки такие болезненные, чтоб человек надолго запомнил и больше не попадался бы. Понимаешь? Я во всяком случае понял, что стрижка ногтей — это паллиатив, что ногти — это скрытый резерв дикости, что так природу не победить, с ней надо бороться радикально. Заставить человека отращивать ногти — это тоже из истории уничтожения цивилизационных механизмов. А как этому противостоять?!

— Не знаю, — поспешно прервал его я, чтобы как-то остановить его речевое наступление на меня.

— Я-то теперь понял. Надо отменить природу, преодолеть её.

— Ну знаешь! Отменить природу — это отменить жизнь. Природу можно гуманизировать, цивилизовать, но отменить!.. — я пожал плечами, соображая как бы мне поестественней оторваться от него. Да и спать пора было.

— Да, да, я так тоже раньше думал! Все мои книги были в защиту цивилизации, а их приняли за политические. Я писал, как человек пытается благоустроить жизнь, а дикари ему мешают!

Всякий работавший в редакции газеты или журнала привык иметь дело с авторами сверхъидей. И тут главное — придумать тактику от-

хода, чтобы наступательная агрессия посетителя растворилась в воздухе, а не обрушилась на тебя. Обычно просишь его оставить свой трактат, чтобы-де на досуге с ним разобраться, почитать внимательно, дать на отзыв специалистам. Как правило, это действует, ибо любой человек с пунктиком заинтересован, чтоб как можно больше людей узнали о его открытии мирового значения.

— Понимаешь, — он сделал характерный жест шизика, т.е. притянул меня за ворот пиджака поближе к себе. — Говорят, они противостоят друг другу, а в случае с ногтями сошлись заодно. Природа растит, а цивилизация велит обрезать. Я пробовал отращивать, неудобно, мешают. Как преодолеть эту условность? Видишь ли, я и с волосами пытался бороться, но волосы не так опасны, они не могут превратиться в оружие хищника, как могут ногти. Я уже в разные медицинские и межправительственные и международные комиссии обращался, объяснял, что преодолев когти, человечество на самом деле сделает шаг вперёд по пути гуманистического прогресса. Меня выслушивают иногда только из-за почтения к моему диссидентскому прошлому. А вообще-то для всех я законченный шизофреник. А я, на самом деле, та точка роста, от которой пойдёт новое развитие человечества. Нужны серьезные медицинско-биологические опыты по сведению ногтей, здесь очень может помочь генная инженерия. С ней опять пытаются бороться, как когда-то с генетикой, а мы можем изменить всю историю человечества.

— Ну да, — не удержался я, — «довольно жить законом, данным Адамом и Евой». Уже это было, и по ту сторону необходимости мы уже дружными когортами двигались.

— Ты не понял, — обиделся он, — я никого не хочу насильно заставлять, это должен быть свободный выбор каждого на пути к подлинному гуманоиду.

Со страшной силой затянул хор какую-то тоскливо-оптимистическую православную песню, стало понятно, что распевки кончаются. Я замедленно — из-за изрядного количества выпитой водки — обдумывал отрыв от Севки.

Но на моё удивление он сам вдруг — угловато, как всегда, правым боком вперёд — встал и пожал мне руку:

— Пока, — сказал он. — Приятно было поболтать. Пойду Вику поищу, куда-то она запропастилась, пристаёт к ней небось кто-нибудь. Утром в автобусе увидимся, я тебе свои новые координаты дам, а где тебя найти — я знаю.

«Мои координаты знает! Обрадовал! А он ещё и ревнив!» — такие тупые и спутанные слова произносились у меня в мозгу, пока я, при-

встав, пожимал ему руку и договаривался встретиться за завтраком, не сообщив ему, что меня увозят уже сегодня вечером. Вроде бы забыл. Он ушёл, а я отправился искать даму-распорядительницу, чтоб узнать, когда мы едем в Москву. Увидев меня, дама раздражённо, но всё же удовлетворённо сказала:

— Вот вы где! Куда вы исчезли? Вас обыскались. Все уже в автобусе.

Через три минуты оказался в «Мерседес»-автобусе и я. Усталый и напитоком народ молчал. Тем более молчал и я. Автобус развозил всех по домам, чтоб демократы могли избежать прелестей общественного транспорта. Не прошло и часа, как я уже был дома, более того — даже в постели. Но спалось мне плохо. Видно, съеденное и выпитое на халыву не пошло мне в прок. Я лежал, открыв глаза и стараясь не ворочаться, чтоб не разбудить жену, и, разумеется, думал о вреде обжорства, о завтрашней работе и немного о Севке. Его судьба казалась мне очень понятной: лагерь своей жестокостью свихнул Севкины мозги. Может, кто-то из уголовных, с которыми, как известно, держат у нас политических, издеваясь, развлекался тем, что резал своими ногтями ему кожу до крови, грозил выколоть глаза и пр. Много ли интеллигенту надо! И вообще Севкин пунктик был очень в тональности сегодняшнего демократического словоблудия: поиск какой-то одной причины, почему в России не сложилась европейская демократия. Да нет, не поиск. Искал-то Севка, а остальные вряд ли что искали и во что-то верили, тем более в возможность у нас гражданского общества. Но за эти слова платили, и все их произносили. Но и с Севкой в сущности общаться было не о чем.

* * *

Прошло несколько лет. Западные фонды поостыли в своей попытке, накормив сотню-другую интеллигентов-демократов, устроить в России европейскую демократию. Кто был поумнее из наших демократов, те свалили на Запад, чтобы преподавать там легенду о таинственной русской душе, называя её на новый лад ментальностью. Новые русские, наворовав и по возможности отмыв наворованное, во внимании интеллигенции не нуждались и гуляли на свой лад и без свидетелей. Теперь процветала порода пиарщиков, которые протаскивали во власть бывших партработников (сохранивших парткасу) и бандитов. Короче, русская демократия принимала свойственные ей ещё с эпохи Смутного времени черты повального разбойничества. Куда-то на периферию общественного сознания ушли и диссидентство, и Мемориал, и Солженицын, будто и не было этого героического в общем-то периода, и героев будто не было.

Севка, надо сказать, мне так и не позвонил. Не зашёл он и в редакцию с объёмистой рукописью, в которой содержалась бы идея спасения человечества. А я одно время этого опасался и даже коллег предупредил о такой возможности, чтоб меня подстраховали и, если придет Грановский, не позже, чем через час, вызвали меня на срочное совещание. Книги его больше не переиздавались, статей у него нигде не появлялось, по третьей программе ТВ раз показал Максимов в порядке курьёза среди других шизиков и Севку с его идеей борьбы за будущего гуманоида без ногтей. Правда, волосатый и бородатый ведущий говорил с ним уважительно, вспомнил его диссидентское прошлое, но в сущности ему было наплевать на Севкину идею, как и на идеи других его собеседников, не говоря уж о том, что весь его внешний облик противоречил тому, к чему призывал Севка.

Конечно, я через несколько месяцев, а тем более лет уже и не вспоминал Севку. Своих дел хватало. Но вот наступило новое столетие, новое тысячелетие, и народонаселение поздравляло друг друга, подчеркивая, что не просто так поздравляет, а именно с новым тысячелетием, и так радовались все, будто собирались прожить его до конца, совершенно вдруг утратив перспективу человеческой жизни, которая измеряется годами, в крайнем случае десятилетиями.

Правда, поначалу долго спорили, является ли двухтысячный год концом старого или началом нового тысячелетия. Оптимисты, конечно, говорили, что нового, пессимисты, выдавая себя за математиков, возражали. Но зато в две тысячи первом году все радостно успокоились. Новое тысячелетие пришло. В жизни, однако, ничего не переменялось. Вскоре многие даже стали забывать, что живут в новом тысячелетии, по-прежнему числя себя по ведомству двадцатого столетия. В этом повальном помешательстве Севкин пунктик казался лишь дополнительной деталькой, не более того.

Встретился я с ним снова совсем неожиданно. Думаю, что он бы с удовольствием избежал бы этой встречи, если б мог её предвидеть. Мне предстояла месячная поездка в Германию по научной стипендии, и я записался на ролевые курсы немецкого языка при Международном университете. Это было совсем недалеко от Белорусского метро, а потому для меня удобно. Мне досталась роль журналиста, наверно, преподавательница узнала, что я работаю в журнале. Группа состояла не более, чем из двенадцати человек — разного пола, разного возраста, разных профессий и даже разного социального положения. Никто друг друга не знал и по замыслу этих занятий, все должны были соответствовать своей роли, и только. У меня был полный цейтнот, и я

прибегал, когда занятие уже начиналось, и убегал раньше, чем оно заканчивалось. Глазами ел молодую и энергичную преподавательницу, стараясь вбить себе в мозг обороты речи, которые она бросала в воздух с такой лёгкостью. Но по ходу урока учащиеся становились друг против друга и разыгрывали сценки, повторяя, что только что произнесла преподавательница. Группа оказалась не сильная, участники всё больше отмалчивались. Среди прочих выделялся своей молчаливостью и угрюмостью человек, которому досталась роль капитана Фишера из Гамбурга: корабль его был на ремонте, команда сошла на берег, а он не знает, что делать. То есть по роли всё сходилось чудно: и даже выглядел это Фишер отчасти по-капитански — грубый шерстяной свитер, густая седая борода, джинсы, на глазах тёмные очки, а руки всегда в карманах джинсов. Даже, когда надо было что-то записывать, он рук из карманов не вынимал, говорил, что и так всё запоминает. Преподавательница не возражала. И всё бы ничего, но голос его мне откуда-то был знаком. И на втором занятии, во время перерыва с чаепитием, я простодушно задал ему вопрос, не встречались ли мы где-то. Он нахмурился, отвернулся и отошёл, косолапя. Но и тогда я ещё не врубился, как вдруг пожилая женщина с короткой стрижкой, милой улыбкой и, несмотря на возраст, очень трогательными женственными ужимками, тоже одна из группы, тронула меня за рукав, отводя в сторону, и спросила:

— Неужели он так изменился?

Про себя она не сказала ничего, скромно умолчала, но когда я оказался в ситуации напряжённого воспоминания, я вдруг сразу вспомнил её, Вику, жену Севки, которая так пленяла когда-то всех. Она увидела, что узнана.

— Я знаю, что изменилась, постарела, подурнела. Да вы как раз никогда и внимания на меня не обращали, не то, что другие. Так что немудрено вам пройти мимо меня, не узнав. Но он! Его же даже по телевизору два года назад показывали. Неужели за два года?..

— Невероятно, — сказал я. — Как кто-то говорил, полностью переменяет облик. А почему он не здороваётся.

— Он и со мной-то мало говорит, — вздохнула она. — Если б мог без меня обойтись, думаю, выгнал бы меня.

Фишер посмотрел на нас сквозь тёмные очки, что-то пробормотал, скривив губы, но не подошёл, а наоборот отошёл на несколько шагов и повернулся спиной. Мы сели с Викторией на два стоявших по соседству кресла, держа в руках чашки с чаем. Она как-то очень откровенно и доверчиво сказала:

— Вы же с ним из одного двора, он и ваши статьи всегда читал, и благодарен вам до сих пор за подпись в его защиту. Он вообще-то на доброе памятливей. Немного у него добра было в жизни.

— Да что произошло? — перебил я её.

Она даже вздрогнула:

— Вы же помните, он всегда говорил, что нужно начинать с себя. Он и начал. Писал, писал, а потом решил сам стать примером. Я как-то с работы прихожу, а он весь в крови без сознания на кухне. Я к нему побежала и о что-то запнулась, — она снова вздрогнула и поежилась.

У меня от предчувствия ужаса её рассказа как-то странно пусто стало в животе, заныло там всё, а во рту словно привкус железа.

— Да, запнулась, — повторила она и стала вытирать глаза рукой, но не заплакала, — а под ногой кончик его большого пальца с правой руки. Он себе сам все кончики пальцев обрубил, чтоб с ногтями покончить. Никто его не слушал. Вот он и решил сам доказать. Топором всё сделал. Топор-то я потом заметила. И ведь никогда им не пользовались. Особенно Сева. Это про него можно было сказать, что он с двумя левыми руками. Ничего не умел делать. Как сил-то у него хватило левой рукой с обрубленными пальцами удержать топор и на правой все пальцы отсечь. Залечили ему кое-как. Но ничего не может делать. А может, и не хочет. Не бреется, шнурков сам себе не завяжет. И на меня обижен, что я так же не сделала, что вроде я ему и не верная жена. А кто бы тогда обед ему готовил, в квартире прибирался, его бы обихаживал?.. — оправдывалась она.

Здорово, видно, у неё напекло, если вдруг почти незнакомому человеку так выложить! Видно, и поговорить ей совсем не с кем.

— Он и руки-то теперь стыдится из карманов вынуть, костюмы перестал носить, бороду отпустил, — печаловалась она.

— А немецкий-то зачем? — торопливо спросил я, потому что чаепитие подходило к концу и группа уже рассаживалась по креслам.

— Как зачем? — удивилась она. — Сева уже пенсионного возраста. Хотим по еврейской линии в Германию выехать. Он же полукровка. А там на социале жить будем. Говорят, квартира бесплатная, пятьсот сорок марок в месяц на человека, на зимнюю одежду дают, на летнюю. А главное — медицина там хорошая, а для нас и бесплатная будет, может, подлечат руки-то ему. Пальцы-то у него гноятся всё время.

— А дети?

— А что дети? Дети его за ненормального считают...

— Achtung! Achtung! — воскликнула преподавательницы и, подняв руки, хлопнула в ладоши. — Wir sind wieder Reisende...

Мы замолчали и откинулись на своих креслах, ожидая начала урока. Но Севки в облике капитана Фишера я не видел.

— Kapitän Fischer fehlt! Wo ist unser Kapitän? Wer kann es sagen? — продолжала преподавательница урок, обыгрывая новую случайную ситуацию.

А Вика вдруг вскочила и, шепнув мне: «Обиделся на меня почему-то», нарушая роль, воскликнула по-русски:

— Я сейчас его приведу.

А мне, склонившись, смущённо шепнула:

— До свиданья. До следующего занятия, наверно. Уговорю я его. Деньги-то немалые сюда заплатили.

Однако на следующее занятие они не пришли. А потом перестал ходить я, свалившись в тяжелом гриппу, которым почти все переболели в ту зиму.

Хорошо бы, думал я тогда, сидя укутанный перед своим книжным шкафом и машинально перебирая книги, хорошо бы удался им этот немецкий социал. Конечно, бред, дикость, та самая дикость, с которой он всё время боролся. Так себя изувечить во имя идеи!? А наши раскольники, впрочем, которые во имя светлой христовой идеи устраивали кострища, где сами себя сжигали?.. А скопцы, которые ради чистой жизни сами себя кастрируют?.. А литературный герой Рахметов, который из какой-то ему одному ясной идеи, спал на гвоздях?.. И пусть бы себе спал, но ему потом изо всех сил живые люди подражали!.. А Ленин и большевики, которые, чтоб победить отечественную дикость, со всей страстью и яростью вернули страну в состояние почти первобытное, разбудив такой вандализм и пренебрежение к человеческой жизни, которые царизму и не снились?.. Чем Севка-то хуже!? Начал с борьбы против дикости, но борьба эта обернулась ещё большей дикостью. И этот ещё из лучших, как говорил о д'Артаньяне Атос из «Трёх мушкетеров». Пусть ему удастся этот социал! Жаль только, что нельзя всю страну отправить на социал!

Июнь 2001 (Marbach am Neckar, Германия)

Няня

Рассказ

Я готовился пойти в душ. Халат, чистое белье, махровое полотенце из шкафа — все отнес в ванную. Домашние брюки, дражные, но любимые и, главное, уютные и рубашку снял, бросил в «грязное». Из душа всегда выходил внутренне подтянутый, довольный собой, а волосы, просохнув, становились шелковыми и даже немного вились. Зато нянька наша, не наша, конечно, а с трудом раздобытая для сына, о мытье отзывалась неодобрительно. «В Европе, — говорила мне обычно моя первая жена, иронически усмехаясь в такие минуты, — душ каждый день принимают. А то и два раза в день». Я с ней соглашался, но добавлял, что для этого и быт иначе устроен, и квартира чистая, и посуда всегда вымытая, и в гости на всю ночь играть в преферанс не закатываются. А ведут более размеренный образ жизни, за книгами, за письменным столом. Но это была эпоха «застойного» и самого веселого времени в советской истории. Был бесконечный маскарад и карнавал. Под песни Окуджавы, мы воображали себя благородными дамами и кавалерами, чувствовали себя как бы в светлом пушкинском времени. На эту свободу нужно было время. Денег не было, но няньку для сына мы хотели. Ибо и в пушкинское время родители тоже не занимались детьми, по малолетству с детьми сидели няни, а потом начинались гувернеры. Моя нынешняя жена как-то сказала: «Богат русский язык. Что делают няни и бабушки с детьми? Не воспитывают, не образуют, а *сидят*. Гениально. Как заключенные».

В этот застойный период институт нянек был своеобразным. Вывешивали на заборах объявления, а потом к тебе приходили наниматься разные сомнительные особы. Помню одну, широкоплечую, в пиджаке, которая объявила, что ехала к нам из загорода, будет жить у нас, и уже сегодня останется, поскольку приехала издалека, из Александра, что мы можем больше ни о чем не беспокоиться, работать, ходить в гости, она все берет на себя. Глаза были серые и очень решительные. И жене, и мне она сразу стала говорить «ты». Мы спросили, наконец, ее паспорт. «Вы что, человека по лицу различить не можете? Я же не в милицию пришла, а к приличным людям. И прописка мне у вас не нужна. Нужно, чтобы ваш сынок вырос здоровым». Но сверкавшая во рту фикса меня тоже смущала. И, пересилив интеллигентскую робость, которая всегда возникала, когда я чего-то должен был требовать от незнакомых людей, я все же настойчиво попросил показать

паспорт. «Боишься, что ли?» — спросила она, употребив слово более грубое. «Знаете, вы нам не подходите», — сказал я, ненавидя свой интеллигентский извиняющийся тон. «Ладно, покажу, — возразила она, неохота ей было куда на ночь глядя ехать, тем более в такую даль, в Александров, — только паспорта у меня нет. Есть только бумага об освобождении». И она вытащила мятую-пермятую бумагу из черной дамской сумочки. Мы с женой остолбенели и бумагу смотреть не стали. Женщины всегда решительнее. «Ну-ка, подымайся и топай отсюда, — резко сказала жена, — пока милицию не вызвала!». Тетка встала, но с места не сдвинулась, только подбоченилась: «А ты мне дорогу туда-обратно оплати. Я ведь по твоему объявлению ехала, деньги на проезд занимала!» Жена вспыхнула, а в гневе она была не подарок, я, во всяком случае, ее в такие минуты побаивался. Где и силы у Лильки против такой бабищи нашлись: она схватила ее за воротник пиджака и, подталкивая коленом, поволокла к двери. Но у двери та уперлась: «Под дверью сяду, всю ночь сидеть буду. Не на что мне ехать! Понятно?». Я спросил: «Сколько?» Услышав ответ, сунул ей в карман пиджака трешку, и мы с трудом выставили ее за дверь. Больше объявлений давать не решались. Да и жена ещё вспомнила, что Александров — это тот самый город, куда ссылались за сто первый километр те, кому после тюрьмы не разрешена была Москва.

Поэтому когда моя бабушка, жившая на улице маршала Конева, сидя на лавочке перед пятиэтажкой, услышала трогательную историю про деревенскую тетку, которую невестка выгнала из квартиры, и та ночевала по соседям, она нам сразу позвонила. Приехала эта тетка из белорусской деревни к сыну, работавшему уже год в Москве милиционером. Он ее сам из деревни и выписал, дом ее продал, а деньги — как бы взнос невестке за житье в московской квартире. Но невестка все равно ее, особенно спьяну, на улицу выгоняла, и вот Домна Антоновна сидела на лавочке, плакала и жаловалась соседкам на жизнь: «И жена Генина пьет, и теща. Напьются, так жена Геню (так она сокращала имя сына — Геннадий) к себе в постель не пускает». Бабушка Настя осторожно спросила, пойдет ли она сидеть с трехлетним мальчиком и что за это возьмет. Она сразу сказала: «Надо у Гени спросить, если разрешит, то пойду. Да ночевать бы дали, да исты что-нибудь, вот и скажу спасибо». Старухи на лавочке накинулись на Домну, чего, мол, у сына спрашивать, раз он позволяет ее на улицу выгонять. Но она твердо стояла на том, что сын не виноват. Заступиться за нее он не может, потому что жена ему самому прописки не дает, и он никаких прав на жилплощадь не имеет. Хотя когда три года в милиции отработает и за

это московскую прописку получит, он бросит свою жену-пьяницу, уйдет от них, дочку по суду заберет и в интернат определит, а сам комнату получит, и мать к себе возьмет, чтоб за порядком приглядывала и обед готовила.

Вернувшись от Гени, она долго, по рассказу бабушки, сморкалась в свой коричневый платок, потом спросила: «Геня велел узнать, чи они очень богатые?». Бабушка ей сказала, что внук живет в одном из профессорских домов в Тимирязевском районе, что там два профессорских дома друг напротив друга и двор хороший, тихий. Дед внука был профессором, но дед давно умер, а жена внука работает экскурсоводом, а сам он аспирант, получает маленькую стипендию, так что вот за стол и постель могут пустить. Домна снова ушла, потом вернулась, сказав, что без денег Геня не велит идти. После чего бабушка позвонила нам, передала все разговоры и добавила, что и без денег пойдет, потому что деваться Домне некуда. Но нет, та чувствовала свою полную зависимость от сына, и без денег не шла. Тогда, посоветовавшись, мы решили, что если от ничего (от нашей зарплаты) отрезать чего-то, то меньше у нас не станет. И предложили ей тридцать рублей. Никакой символики мы в эту цифру не вкладывали. Не тот был сюжет.

Когда она появилась у нас, мы были поражены ее худобой и странными привычками. Платье на ней было плоское и длинное, висело, как на вешалке-манекене. Вначале мы думали, что вот, будет у сына своя Арина Родионовна, будет рассказывать народные сказки, прибаутки и песенки, услышим мы своеобразный народный язык с примесью белорусских словечек. Сказок и песен она, правда, не знала, но язык точно был своеобразный. Снимая сына с горшка, она брала лист газеты и говорила, при этом заглядывая нам в глаза и надеясь на наше одобрение: «Сейчас сраку-то досуха вытрем». И терла, почти втирала газету в попку сына, так что тот корчился. Впрочем, чего было и ждать: жизнь ее была столь тяжела и ужасна, что ей было не до сказок. Муж сторел ещё в начале войны, почки не выдержали той водки, что мужики пили в деревне. И она осталась вдовой с четырьмя детьми — двумя дочерьми и двумя сыновьями, но из сыновей выжил младший — Геня. Хотя про себя иногда она говорила, поглаживая рукой по плоской груди и плоскому животу, раздвигая узкие губы: «Хороша не была, а молода была». Так намекала она, очевидно, на некие свои любовные приключения. Надо сказать, трудно было вообразить, что какой бы то ни было мужик, если только не с дикого перепоеу, польстился бы на эту вешалку для платья. Вспомнив это приятное, она затягивала тоненьким голоском какую-то мелодию без слов.

Была она высокая, худая, плоскогрудая, платье носила без пояса, длинное и обтягивающее, скорее похожее на длинную рубашку. И когда она слезла с голодной диеты, на которой существовала у сына и невестки, она стала немного толстеть — но лицо не округлилось, не потолстели ни плечи, ни руки, а просто появился на худом теле выпирающий животик, словно на остальных местах и мяса не было, где бы можно было жиру отложиться. Ела она много и жадно, зачерпывая все ложкой, полную подносила ко рту и словно опрокидывала в горло. Но в какой-то момент отодвигала резко от себя тарелку или переворачивала вверх дном чашку и ставила ее на блюдец, отрывала и произносила: «До!» или «Досыть!». Это означало высшую степень насыщения. Отрывки своей она нисколько не стеснялась, напротив, даже как будто гордилась: вот, мол, как она сытно ест, что может даже отрыгнуть. Но кроме еды и связанными с нею столовыми приборами, самыми простыми: глубокой тарелкой, столовой ложкой, чашкой и блюдцем, — другими благами цивилизации пользоваться она не желала. Я видел однажды, как на даче, построенной тестем и тещей, куда на лето мы вывозили сына, она сидела на траве, вытянув свои жилистые ноги, перегнувшись в поясе, склонившись над стопами, кухонным ножом обрезала ногти, так что кусочки летели в разные стороны. Теща, увидев эту сцену, сказала дочери, то есть моей жене: «Меня сейчас вырвет». Потом крикнула в окно Домне: «Домна Антоновна, да вы бы ножницы взяли». Но та, кряхтя, отрицательно мотнула головой: «Да уж, поди, все покончила и так!». Жена выскочила на крыльцо и резко сказала: «Еще раз увижу, как столовым ножом ногти режете, уволю. Вы ещё и Тимку этому научите! Я требую в своем доме гигиены!». Домна съежилась, словно над ней взметнулась рука ее ударить, и захныкала: «Не буду я вашего Тимку этому учить. А с бабой Доней ему хорошо, она его жалеет». «Бабой Доней» называла она сама себя. Да и понятно было, что мы без нее уже не обойдемся. У нас появились не только дни для библиотеки и работы, но и свободные вечера, даже свободные ночи, которые мы могли просиживать у друзей за выпивкой, анекдотами, разговорами, играми в буриме и т.д.

Но с гигиеной и мытьем дело по-прежнему обстояло не самым лучшим образом. Мыться она ужасно не любила. Не говорю о ванне, даже душ вызывал ее устойчивую неприязнь. По ее понятиям достаточно было раз в месяц, а то и в два, сходить в баню. Как-то, когда я вылез из душа, покрасневший от жара, чистый, с чувством свежести в теле и одежде, и как бы в воздух бросил, что хорошо бы так каждый день, словно заново рождаешься. Домна посмотрела на меня с испугом, как

на слегка тронутого умом, и ойкнула: «Каждый день мыться! Да ведь так сдохнешь!».

Не собираюсь говорить об органическом неприятии русским народом чистоты, — это было бы неправдой. Но, будучи и сам наполовину деревенским, я бывал в той деревне, откуда была родом мама, — и прекрасно помню редкое мытье, раз в неделю банька по-черному, откуда вылезает весь в саже. Неслучайно ходил в конце семидесятых анекдот об известной нашей певице народных песен, приехавшей в Париж на гастроли. И на вопрос горничной, когда-де русская дама принимает ванну, ответила, что по субботам. Но сколько было людей, совершенно не воспринимавших этого анекдота. «А что, разве кто по пятницам моется?». Но бывает жизнь так построена, что тема мытья тела даже в голову не придет. Жизнь Домны Антоновны, нашей воображаемой Арины Родионовны, складывалась так, что ненормальность стала нормой.

И при ее жизни о каждодневном мытье и думать не приходилось. Страшная все же была жизнь. Во время войны в Белоруссии она жила в землянке. Немцы искали партизан, деревню сожгли, пятнадцатилетнего сына ее застрелили, почему-то решив, что он партизанский связной. Осталось трое. Сама выкопала землянку, старшая дочка Наташка немного помогала. Глотала слезы, рыла, устраивалась, делала из земли полки и лежанки, ставила кое-какие чашки и плоски, лежанки покрывала тряпьем и ругалась матом. Погодки Геня и Маша лежали в грязи и ревели. Геня уже ходил, а Машка была ещё пятимесячным младенцем. Потом начали болеть, больше всего дизентерией маялись. Питались картофельными очистками, подгнившей ботвой да корой. Воду из болота брали. Стирать было негде, да и нечего. Все, что было, было на них. Да и какой туалет — ближайшие кусты. И в холод, и в дождь. Гене как-то совсем стало плохо. И вот на санках, местами по глубокому снегу, двадцать километров тащила до немецкого госпиталя. Дали им там лекарства, помыли, покормили, на три дня оставили. Вылечили, короче. А младшая, уже годовалая, тем временем на старшую девятилетнюю оставалась. Подхожу к землянке, рассказывала Домна, хихикая, санки еле волоку, тиф у меня тогда начинался, а в землянке старшая младшую укачивает: «Спи, блядишша, спи! А то матка придет — пизду тебе надерет!». Мы удивлялись ее хихиканью, пока не поняли, что матерщину она воспринимала как юмор. И о своей жуткой судьбе рассказывала просто, эпически спокойно, даже о том, как немецкий офицер вывел их всех из землянки, целился в них из пистолета, говорил: «Пиф-паф!». Жестами показывал, как сбрасы-

вает их трупы в землянку и заваливает землей. И хохотал, довольный собой. Она именно повествовала, как будто все так в жизни и должно было быть.

А я ничего подобного не знал, не испытал, всегда в квартире ванна была и душ, всю жизнь в городской квартире, исключая детские годы. Почему-то стыдно становилось от рассказов Домны, будто я виноват в такой ее жизни. А может, при высшем, мировом мистическом раскладе и виноват, ибо говорится: у неимущего отнимется, имущему дастся.

Старшая дочь Домны в начале пятидесятых вышла замуж и осталась в деревне, а младшая Маша уже в шестидесятые раньше даже своего брата приехала в Москву и стала работать официанткой в ресторане, обеспечив себе жизнь. Тогда я почему-то впервые понял, что работа при пище, в тепле, при возможных чаевых, считается у «простого народа» жизненной удачей. Она-то и посоветовала брату Геню милицейскую карьеру в Москве. Мать она навещала нечасто, но очень запомнилась мне: хорошей мордочкой, черными выющимися волосами, веселым глазом, умением поиграть с сыном. Один раз она шумно восхищалась Тимкой, и Домна вдруг вполне серьезно сказала ей, почти посоветовала, указывая на меня: «А ты Глебу дай, и у тебя такой же будет». Дочка блеснула глазками и засмеялась. Смутился только я.

Зато сын приходил к нам два раза в месяц, долго стоял в коридоре, потом долго вытирал башмаки о коврик в прихожей, проходил в комнату, где мать жила с нашим сыном. Там долго молчал, потом спрашивал: «Ну как?» И мать торопливо отвечала: «Да ничего, Геня. Не обижают. И малец послушный». Первый раз он как бы навещал, заботился, все ли с матерью в порядке. Второй раз приходил забрать зарплату матери. Объяснял, что все ее деньги на сберкнижку на ее имя кладет. Был он степенный, всегда гладко выбритый, видно, что чисто вымытый, всегда в форме и непременно в свежей рубашке. Сыну моему он подарил кокарду, и Домна, когда мы приходили с работы, всегда подсовывала сыну кокарду как игрушку. И нам поясняла: «Геня мальцу подарил. А уж он как об этой кокарде обмирает. Вырастет, тоже, наверно, милиционером станет. А что — хлебное место...». Хотела нам показать, какой Геня добрый и заботливый, ибо чувствовала наше к нему нерасположение. Жена так просто считала, что он обирает мать и деньги кладет на свою сберкнижку. И старшая дочь Домне о том же писала (она нам ее письма показывала), сердилась, что мать не ей, в нищую деревню, посылает деньги, а отдает брату в «богатой Москве». Надо сказать, что Геня старшую сестру во многом обошел. Скажем, получил от матери доверенность и раз в полгода ездил в деревенский

сельсовет, где копили к его приезду пенсию матери, и получал ее, естественно, тоже забирал себе.

Но мать он как-то по-своему жалел. Я даже видел, как один раз, глядя в сторону, он гладил ее по плечу. Нежнее этой ласки немислимо и вообразить для такого, как он, подумал я тогда. На мои слова, сказанные мною Домне после его ухода, что негоже ему так мать обирать, нянька отвечала, что его собственные деньги, его милицейскую зарплату его жена, невестка то есть, отбирает, а сама пропивает все с любовником: «Как Геня на дежурство, к ней мужики сразу, у них вся семья такая. И мать ее пьет, и отец пил, а сестру Гениной жены всех родительских прав лишили, так она дите свое бросила и с ними теперь живет, и каждый день нового мужика водит, с того и кормится. Да холодильник у них все равно всегда пустой, сколько бы Геня еды ни приносил, у них в милиции заказы дешевые бывают, — все сжирают. А деньги все на водку тратят. А мой Геня у меня никогда не пил и теперь не пьет. Он ждет, пока его пропишут, потому и терпит, — говорила Домна Антоновна, — а когда у него право будет, он через суд с ними квартиру поделит и уйдет от них. Да они его все не прописывают, боятся. Но в милиции ему уже обещали комнату дать с пропиской. А их он и засудить тогда сможет, и всю квартиру себе забрать. Нигде не работают, а каждый день пьют, нажгутся своей водки, наблюют, так в блевотине и спят, ей-ей! А потом даже и душа не примут, и сами не подмоются, и срach свой за собой не уберут. Геня там все чистит и моет». Это было единственный раз, когда Домна положительно упомянула душ. Как рассказывали бабушкины соседки, невестка Домне мыться в ванне не разрешала и не кормила. Прежнее отсутствие еды она у нас наверстала, а равнодушие к ванне сохранила, хотя руки мыла несколько раз в день. Но ванну принимала не чаще раза в месяц. Зато уж тогда лежала и, казалось, просто отмокала, чтобы струнья грязи сошли с нее. Увы, это случалось весьма не часто. Но и зрелище было, когда она вдруг за обеденным столом хватала обеденную ложку, запускала ручкой вниз под свое мешком висевшее платье и, кривя лицо от наслаждения, принималась чесать спину! Жена уже молчала, отводила глаза. Ссориться не хотелось, поскольку Домна и впрямь дала нам свободу.

Она спала в комнате сына, где кроме детской кровати стояла широкая тахта. Тахту на ночь она застилала своей собственной коричневой простыней и огромным одеялом с пестрым пододеяльником, пошитым на деревенский манер из разных кусочков ткани. Постель стояла поначалу сутками неубранная, но как-то после замечания

жены Домна среди дня поверх одеяла начала стелить наш шотландский плед. Когда мы уходили в поздние гости, она брала Тимку себе в постель, чтобы ночью к нему не вставать. Правда, Лилька следила, чтобы туда же были перенесены Тимкины простыня, подушка и одеяло. Он укладывался, грустно смотрел на уходящих родителей, а Домна махала на нас рукой: «Идите! Мы с Тимочкой спать будем». И укрывала поверх его одеяла своим пестрым. А мы мчались в гости и проводили время, будто и забот у нас семейных никаких не было, словно молодые и бездетные.

Днем она одевала сына, ходила с ним гулять. Любила знакомиться с прохожими. Подводила сына к кому-то и говорила: «Дай дяде здравствуйте». Она была очень высокая, поэтому ходила сутулясь. Все окрестные домработницы и няньки Домну знали и рассказывали нам, как Тимка любит бабу Доню. Одна история была такова, что мы растерянно даже не знали, как ее воспринять. Няньки и домработницы часто водили выпасаемых ими хозяйских детей в парк «Дубки». Там они сидели на лавочках и болтали, а дети резвились перед их глазами в песочнице и на площадке с качелями. Чтобы дети не разбегались, няньки запугивали их, что в парке между деревьев бродит волк, да, может, и не один, а с голодной волчицей, поэтому далеко от нянек уходить нельзя. Площадка — как охраняемый загон. Именно там как-то Домна Антоновна и устроила спектакль для товарок. Она вдруг спряталась за дерево. Но Тимка был увлечен игрой и не замечал ее попыток напугать его. Какая-то из нянек пришла Домне на помощь: «Тимочка, а где баба Доня? Ты не видел?». Тимка поднял голову и огляделся. Домны нигде не было. «Баба Доня», — позвал он тихо. В ответ молчание. А она не раз говорила ему: «Вот будешь плохо себя вести, уйду к другому мальчику». И Тимка решил, что он чего-то нашалил, не заметив этого, и пришла расплата: баба Доня бросила его. А где-то за кустами уже наверняка притаился волк. Открыл рот и заревел во весь голос, точнее даже, зарыдал, закричал с всхлипами, с каким-то странным подвыванием. И тут-то и произошла история. Через «Дубки» шла домой с работы Лилька. Бросив на землю сумку с продуктами, она понеслась на рев сына. Но Домна сообразала быстро. Не успела жена добежать к ревушему сыну, как Домна молнией метнулась из-за дерева и уже сидела рядом с сыном, прижав его голову к своей груди, так что тот и пикнуть не мог. И приговаривала: «Ну вот, малец, вот твоя баба Доня! Не пугайся, она тебя никому в обиду не даст. Ух ты, как бабу Доню любит! А уж как она тебя жалеет!». Такой мужик Марей в юбке! Тимка успокоился и, не видя ещё мать, обвинил руками шею бабы

Дони. Но лицо няньки, как потом рассказывала Лилька, было оскалено прямо как волчье.

В этот раз Домна обвела жену, сказав, что решила поиграть немного с мальцом в прятки. Лилька не нашла, что ответить, только резко сказала: «Пожалуйста, впредь без таких игр!». Домна обратилась к Тимке, будто это была их общая затея: «Слышь, Тимочка, что мама говорит? Не будем больше так играть». И впрямь, Домна стала замкнутее, хотя с товарками болтала по-прежнему, но в «Дубки» ходить перестала. Они теперь больше гуляли во дворе, тем более что зелени здесь тоже было немало. Два газона с кустами сирени по бокам, два ряда лип меж двух профессорских домов, аллея между ними, скамейки, где Домна сидела либо, сутулясь, ходила за Тимкой, когда он катался на своем трехколесном велосипеде. Машины во дворе почти не ездили.

Геня продолжал навещать мать по-прежнему два раза в месяц. Но начал с ней больше разговаривать. И как-то Домна, очень гордясь, сказала, что Геня нашел себе справную женщину и скоро от этой своей жены-пьянчужки уйдет. Может, и дочку заберет. В интернат он ее отдавать раздумал. Наверно, ей с внучкой придется сидеть. И жена, и я немного занервничали, привыкнув к вольной жизни. Но, как и обычно, понадеялись, что невыгодно Гене снимать свою родительницу с места, где ей платят деньги, которые идут ему в карман. И все-таки жизнь вдруг изменилась. Никого себе Геня не нашел, но слух этот он потихоньку внедрял в сознание своей жены, и та вдруг испугалась остаться без мужа с ребенком на руках. Дальше произошло невероятное. Она бросила пить, выгнала сестру в ее квартиру, туда же отправила и мать. А сама устроилась работать. И тут-то и впрямь понадобилась им Домна — сидеть с дочкой.

Мы просили хотя бы пару месяцев повременить, поскольку у меня как раз должна была быть защита кандидатской. Но она ни в какую: «Геня велел». Мы ещё боялись, как перенесет ее уход Тимка, за два года, казалось, сроднившийся со своей нянькой. «А вы ему скажите, мол, баба Доня поехала к внучке погостить, а скоро вернется», — учила нас Домна. Быстро собрала свои пожитки, и уже через час за ней зашел Геня, сказав, что милицейский газик уже ждет внизу. Тимка, словно чуя беду, затих в своем углу, расставляя зверей и играя в важного директора зоопарка. Только когда хлопнула входная дверь, он поднял голову. Мы робко подошли к нему. «Она ушла?» — как-то настороженно спросил сын, почему-то назвав няньку не «баба Доня», а отчужденно «она». Наперебой мы стали его утешать, что баба Доня

уехала только погостить, что через неделю она вернется. Он недоверчиво смотрел на нас, чуя неправду. Потом так и спросил: «Вы неправду мне говорите?». Я сказал: «Что ты. Конечно, правду». Но он покачал головой и вдруг сказал уверенно: «Нет, неправду». Мы растерянно замолчали.

И вдруг Тимка вскочил с пола и закружился по комнате, приплясывая и отбрасывая ногами игрушки. И закричал громко: «Она ушла. Она ушла навсегда! Она никогда сюда не вернется! Ура! И никогда больше не будет меня пугать! Ура!». Оказывается, тот случай в парке был не единственным, но она запрещала сыну даже заикнуться кому-нибудь об этом, страшая, что баба Доня уйдет, а родителям не до него. А мы, занятые нашим самоощущением духовного возврата в прошлое русской дворянской культуры, даже не замечали вопросительных глаз сына, его нежелания нас отпускать надолго из дома. Презируя себя, я все же позвонил бабушке, рассказав про ее протееже. Бабушка рассказала соседкам. Все решили осудить Домну. Но Домна и не думала стесняться, говоря, что без нее родители Тимочки совсем бы пропали, *сидеть* с сыном не умели и ухаживать тоже. А она всем нужна. Вот и сыну пригодилась. На том все и успокоились.

Сто долларов

Маленькая повесть

«Войны братьев тяжки»

Еврипид

Глава 1

Вопрос квартирный, перестроечный, семейный — все худо!

«**П**ойду помойку вынесу», — Глеб знал, что разговор будет сложный, и всячески тормозил его. С мусорным ведром он выскочил на улицу и побежал к переполненным бакам. В воздухе стояла дождливая изморозь, почти туман. Фигуры встречных соседей и случайных прохожих, которые ходили через их двор к районной больнице, казались фантастически размытыми как в акварелях Артура Фонвизина. В этой больнице Глеб как-то несколько дней пролежал в реанимации и не любил ходить мимо нее. Он поднялся на лифте; войдя в квартиру, налил в ведро из крана воду, сполоснул ведро, вылил грязную воду в туалет, застелил дно газетой. Прошел мимо комнаты, где жена на гладильной доске гладила рубашки, время от времени откидывая волосы со лба. Он улыбнулся ей и вернулся в свой кабинет, куда следом пришла жена. Похоже, она терпеливо ждала его.

«Позвони брату Клавдию, — сказала виновато жена. — Выхода нет. Ни у кого из наших друзей таких денег нет».

Он, помрачнев, ответил цитатой из «Бури», о которой писал статью:

Мой младший брат Антонио, твой дядя...
Узнай, Миранда, что и брат родной
Порой врагом бывает вероломным!..
Его любил я больше всех на свете...

Жена спросила:

«А у кого ещё деньги есть? Твой эстонский друг не бедный, но он далеко. А деньги нужны завтра. Продать нам нечего».

Квартира была обставлена скудно, когда-то коммунальная, с месяц назад выехал последний сосед, оставив в своей комнате продавленный

диван. В их двух комнатах мебель тоже была старая: две тахты, несколько стульев, письменный стол, шкаф, который Глеб купил за тридцать рублей на барахолке и который ездил за ними с одного съемного жилья на другое, теперь остановился в этой коммуналке. А тут появился шанс, что квартира будет переписана на них. После выезда соседа они немного освоили кухню, перенесли туда холодильник, на него поставили маленький телевизор с комнатной антенной. Глеб был не добытчик. Хотя все же добился, что комнату выехавших соседей записали на них. Обе их комнаты были заставлены, завалены книгами, даже из пианино он сделал что-то вроде книжной полки. Теперь речь шла о третьей комнате. Пару раз их жилище навещала мать, которая была недовольна, что сын оставил родовую квартиру первой жене и сыну, беспокоилась за его *нехваткость* и говорила недовольно: «Что же все книгами заставил? Книгами что ли питаться будешь? Бери пример с младшего брата. Он тоже работает интеллектуально, но про быт не забывает. Он, конечно, богаче, но попроси, он тебе поможет. Вы же братья».

Примерно то же самое предлагала ему сделать и жена. Глеб с неохотой еле слышно сказал:

«Позвоню, конечно».

Они сидели в его кабинете, там стоял письменный стол, который достался им с его работы, из издательства, где стол списали за старостью и благородно разрешили Глебу его забрать. Лежали на столе рукописи. Здесь стоял и телефон. Глеб тянул время и предложил: «Послушай, что сегодня пришло».

Иногда он приносил домой письма, приходившие в издательство, особенно если замечал там тему, которая волновала его. Они были комичные, но по-своему мудрые. Вот и это письмо ему таким показалось. Уж больно явственно надвигалась на них тьма.

Он вслух прочитал:

«Меня очень интересует вопрос, что такое тьма. На эту тему в литературе не нашел ответа. Когда же не нахожу ответа, то строю свою гипотезу. Вот она как у меня выходит. Согласно определению В.И. Ленина всё то, что существует не независимо от человека, есть материя. Значит, и темнота есть материя, да ещё и первичная материя. Библия в самом начале говорит в первый день творения бог отделил свет от тьмы. Но это же не выдумка бога. Подхожу к вопросу исторически: первобытный человек селился в пещерах, в которых существовала только тьма и до сих пор она существует. Когда первобытный человек открыл огонь он внес его в пещёру и тем отделил свет от тьмы — т.е. не библия родила отделение света от тьмы, а создал эту теорию перво-

бытный человек в своем историческом развитии. Но, если тьма материя, и противоположна свету, если световое явление бесконечно, то и темнота то же бесконечна. Если ее назвать минусовым состоянием материи, то она будет тоже бесконечна. Абрацумян открыл в мировом пространстве дыру, но не есть ли это облако тьмы? На этой базе создал теорию круговорота материи: посредством адсорбции и абсорбции две частицы отрицательной материи соединились и стали плюсом, к плюсу присоединился минус и т.д. И создалась вся та материя, которая окружает нас. Прошу Вас!! Вправьте мои мозги на место».

Но жена сказала: «Мозги надо вправить, милый, но потом. Позвони брату. Если мы не заплатим, через пару дней этот алкаш въедет в нашу квартиру».

«Опять будет говорить, что я неправильно живу, что совершаю ошибку за ошибкой, что надо не так жить. Знаешь, не в том я уже вырасте, чтобы слушать поучения».

«Пропусти мимо ушей. Ты же знаешь, что это его манера речи. Но позвони все же».

Хорошо сказать — позвони!

Правда, из Англии Клавдий вдруг сам позвонил, когда узнал, что у Глеба проблемы с квартирой, и сказал: «Дай кому надо тысячу долларов. Займи. Приеду — тебе их возьму. Не хочу, чтобы мой брат жил в коммуналке».

В долг Глеб войти не мог и делал все по своему разумению и средствам.

Приехав, Клавдий и не вспоминал об этих своих словах, как-то в разговоре даже обронил: «Говорил о твоих делах с женой. Ксенька права, каждый получает жилье в меру своих возможностей».

Он сказал это так, будто жена была оракул, будто не было, помимо нее, у него других женщин, не говоря уж о Диане, которой он купил четырехкомнатную квартиру, объяснив Глебу:

«Не хочу, когда буду разводиться, оказаться в твоем положении — без крыши над головой».

Лицо Клавдия за ту пару лет, что он прожил в Англии, изменилось. Повзрослело, что ли? Да и сам он раздвинулся в плечах, появился явный, хотя пока и не очень большой живот. Кажется, даже ростом стал выше, голову держал вздернутой. А лицо пополнело, стало мясистее, особенно крутым стал подбородок, под которым рос уже второй. Над толстым с явной горбинкой (раньше была незаметна) носом, темнели крупные глаза с постоянным выражением неприязни ко всему миру, сознанием собственной значительности. Все это придавало лицу Клавдия важность

почти что римского императора. Нет, от него помощи не дождешься! Эх, если бы снова махнуть в Таллинн и найти Лёву!... Да, эстонцы!...

Глеб вспомнил, как с помощью друга эстонца Эдуарда Мумме снимал на заливе в Хаапсалу что-то вроде дачи, куда вместе с семьей взял и тринадцатилетнего брата Клавдия. Тогда у Глеба вышла первая большая статья о русском полузапрещённом мыслителе в одном из центральных журналов. Глеб получил сразу шестьсот рублей, что при семидесятирублевой месячной стипендии казалось богатством. И эстонский друг предложил поехать в Эстонию, на море. Они и поехали. Денег все равно было в обрез. Мать хотела дать Глебу рублей сто на содержание младшего брата. Но он отрицательно помотал головой, мол, уже большой, сам отвечаю за свои поступки. А денег не было настолько, что Глеб не мог себе плавки новые купить. Желаемое и недоступимое неожиданно с гордым видом принес ему Клавдий и сказал, что для брата он сумел добыть деньги, «в честном бою», добавил он. История приобретения подарка звучала в его рассказе весьма романтически. Шли соревнования по боксу за денежный приз. Клавдий-де принял в них участие, победил, а на этот приз принес брату плавки. Это очень походило на джекклондоновские истории, а потому Глеб как книжный человек в рассказ поверил и всем с восторгом рассказывал о подвиге младшего брата, маме тоже. Уже много лет спустя он вспомнил ее иронически тихую ухмылку. Но тогда, до отъезда, младший брат был героем. В Эстонии появились другие герои, взрослые друзья Глеба, с которыми он общался. И Клавдий начал дуться, что не он центр внимания, а другие — маленький сын Глеба или эстонец Эду. Ночью даже плакал. В итоге, потакая ему, Глеб свернул их эстонскую поездку на неделю раньше, удивив эстонских друзей. Но после этой поездки Эстония стала как бы вторым домом. Туда он повез и свою новую любовь. И опять друг принимал его, помогал с жильем.

Впрочем, жизнь — это не только потери, но и приобретения, а дружба среди них, наверно, даже важнее любви: память остается благодарной. А тут ещё и то, что он поступил как сумасшедший: влюбившись, заведя роман, тянул его, сколь мог долго, потом понял, что без любимой женщины не жизнь. Развелся, и с новой женой и маленькой дочкой пошел скитаться по съемным углам, пока не добрались они до комнаты в коммуналке. И теперь из коммуналки надо было выбирать в отдельную. А в перестройку, ещё до ГКЧП, у Глеба сгорели отложенные на квартиру деньги. Деньги он получил за вышедшую книгу прозы и ничего умнее не придумал, как положить их в сберкассу на срочный вклад, чтобы снять их, когда сумеет пробить кооператив. По

советским да и европейским понятиям доктор наук и профессор, автор пяти монографий, двух книг прозы, пяти десятков статей и рассказов, должен был либо получить квартиру (это по исчезнувшим советским), либо иметь деньги, чтобы ее купить (это по европейским). Чего-то не хватало в нем. В эти годы делались состояния, а он оставался книжным человеком. Люди либо продавали свои возможности на Запад, либо рвались во власть, ему все это претило. Проще было выпить с друзьями, которые книг не писали, но и в преуспевающие структуры не вливались.

Впрочем, раз и ему представился случай войти в верхние слои тогдашнего истеблишмента. Не на самый верх, разумеется, но, во всяком случае, получить квартиру без особых проблем. Их директор издательства Степан Фрязин в Перестройку резко поднялся вверх, стал членом Политбюро, главным редактором центральной партийной газеты. Слышавший либералом, Фрязин к Глебу относился в высшей степени хорошо как редактору и как к пишущему человеку. Был этот начальник совершенно американского типа, с белозубой улыбкой, русоволосый, среднего роста, обаятельный — то, что тогда требовалось. Он часто повторял фразу: «Хочешь быть свободным, хочешь ни от кого не зависеть, хочешь делать добро — иди во власть». От начальства более высокого он, конечно, зависел, но мелкие ходили под ним. Тут он независимости добился. К тому же был и доктор, и профессор, а, получив чины, получил и звание академика, Да ещё и крестьянского происхождения — из деревни Добродеево. А Глеб, оставив первой жене и сыну ещё дедовскую квартиру, скитался с Ариной по съемным комнатам, откуда их периодически, практически без предупреждения, просили хозяева съехать, поскольку института съемного жилья ещё не было, а у хозяев появлялись иные планы на сдаваемую жилплощадь. Как-то дочка даже спросила, когда им очередной раз пришлось собирать вещи: «Где мы зиму-то зимовать будем?». Это было сказано и по-детски и по-взрослому одновременно. Вот в этот момент Фрязин и пригласил к себе в кабинет Глеба. Это был кабинет главного редактора центральной газеты, но дизайн подобных начальственных комнат везде был одинаков. Стол начальника с креслом, а перпендикулярно стол для посетителей, обставленный стульями. Глеб сел рядом со столом начальника, гадая, что побудило того вызвать бывшего подчиненного. Разговор был прост.

Фрязин усмехнулся: «Чего эти бабы с нами делают. Слышал о твоих проблемах. Вообще-то разводиться и бросать хорошую квартиру никогда не надо. Всегда можно как-нибудь так обойтись. Но сделанного не воротишь. Предлагаю вариант. У тебя хорошее перо, голова

тоже неплохая. Предлагаю тебе место члена редколлегии и заведующего отделом в Газете. Это — дача, машина, трехкомнатная квартира. Дача и машина, пока ты работаешь, пока в номенклатуре. А квартира навсегда. Ну как?»

Глеб как-то даже оцепенел, поэтому вместо резкого отказа, сказал: «Вы забываете, что я никогда не был членом партии».

«А ты забываешь, что я член Политбюро. Если соглашаешься, завтра же примем тебя в партию на Политбюро, все формальности минуем».

«Могу я подумать до завтра?»

Фрязин посмотрел на него и пожал плечами:

«Думай, конечно. Хотя о чем тут думать?»

Дома Арина сказала ему: «Ты хочешь? Нет? Ну и не ходи».

Фрязин даже обозлился на Глеба. Очевидно, там просчитывают ходы наперед, и вдруг один ход оказался ошибочным: «Баба, что ли, отсоветовала? Значит, не на той женился. Ладно, иди».

Клавдий, когда Глеб рассказал ему об этой истории, произнес раздумчивым голосом Атоса фразу, которую тот сказал когда-то д'Артаньяну, фразу, взятую из любимых ими обоими «Трех мушкетеров»:

«Ты поступил благородно, безусловно, так и надо было поступить, но все же предложение заслуживало более серьезного раздумья».

Поступок-то был правильный, но плохо быть бедным, благодушия это не добавляет. Еще хуже быть бедным без квартиры, без жилья. Были месяцы, когда зарплаты не платили вообще. Рушились издательства. И три месяца они на работе складывали полностью подготовленные номера журнала в шкаф, поскольку издательство их не принимало. На работе им выдали сроком на два месяца справку с печатью, что «податель сего имеет право на бесплатный проезд в городском транспорте». Глеб носил эту справку в маленькой сумочке (которую тогда почему-то называли «педерасткой») вместе с удостоверением от работы, журналистским билетом и билетами во все московские библиотеки — от Исторички до Иностранки. Как-то эту толстенькую педерастку в метро из портфеля у него вынули. Потом через служителей метро вернули: пропуска в библиотеки жулика не интересовали. А вот справку о разрешении на бесплатный проезд он изъял. А потом наступило время, когда зарплату стали платить, появились продукты, и зарплаты на них хватало, но только на них, да ещё на дорогу до работы. Да и квартирный вопрос все так же оставался нерешенным.

Комическое при этом бесконечно сопутствовало ему в попытках этот вопрос решить. Однажды Глеб случайно познакомился с дамой,

которая работала в Комиссии по жилищным вопросам при Правительстве Москвы. Она почему-то ему посочувствовала. Потом догадался по плотоядному взгляду, что он ей просто как мужчина показался. Худощавым женщинам нравятся плотные мужики. Это немного напрягло Глеба, на эту взятку он все же не был готов, уж чересчур както! Но она понимала, что вначале — дело и посоветовала ему пойти в департамент муниципального жилья по их району, назвала фамилию человека, от которого все зависело. И спросила вдруг:

«Но могут понадобится деньги. Сколько у вас свободных денег?»

«На взятку?»

«Назовем это так».

«500 рублей».

Она опустила глаза, немного разочарованная. Видимо, он произвел другое впечатление.

«Можете не ходить, — потом все же покачала головой, отступить ей тоже было нельзя. — Но попробуйте, всякое бывает».

Глеб отправился по нужному, вполне официальному адресу. Дама сказала, что предупредит человека и что Глеб сможет пройти без очереди. Была уже, кажется, весна или начало лета. Во всяком случае, кусты и деревья были с зеленью. С портфелем в руках, где лежали нужные бумаги, он медленно шел наверх. В трехэтажном доме на втором этаже перед заветной дверью сидели и стояли люди — всегдашняя очередь. Глеб попробовал было заикнуться, что ему назначено без очереди. Но это не прошло. «Всем надо», — сказал мрачный мужик и добавил: «Постойшь, как все. Нечего тут!»

Стояние вышло долгим. Из очереди люди боялись отойти, разве что в туалет на этом же этаже. Дверь в туалет не закрывалась. Глеб решил, что люди так опростились в этой очереди, что забыли даже об элементарных приличиях, а, может, из туалета прислушивались к движению очереди, отслеживая каждый шорох, справляя нужду и одновременно оченивая реплики из коридора. Наконец, и он понял, что ему без туалета тоже не обойтись. Предупредив человека стоявшего за ним, и того, за кем стоял сам, что отойдет на три минуты, Глеб, взяв в руки портфель с драгоценными бумагами, вошел в туалет. Мимо открытой двери ходили люди, в том числе женщины. Тогда он все же захлопнул дверь. И тут же понял, что совершил жуткую ошибку. Дверь-то захлопнулась, но на замке не было никакого приспособления, чтобы открыть дверь изнутри. Получилось, что он сам себя запер. Тогда понял, что народная мудрость открытой двери была и в самом деле мудростью.

В туалете было грязно, но сюда не за чистотой ходили. Струя билась прерывно, он все-таки нервничал, хотя и понимал, что, не сделав того, за чем сюда шел, ломиться в дверь было бы нелепо. Потом нажал на дверь плечом. Никакого результата. Дверь открывалась только извне. Постучал, но в коридоре словно не слышали. Позвал на помощь — никакого эффекта. Похоже, его либо и в самом деле не слышали из-за своих волнений, либо решили таким простым способом избавиться от конкурента. Подождав минут десять в надежде, что все же кого-то приведет сюда нужда, он занервничал, поскольку очередь его была уже близко, а ведь, если опоздает, то прозвучит классическое российское «вас здесь не стояло». Глеб подошел к окну, оно открывалось. Взобравшись на подоконник, он посмотрел с некоторой тревогой вниз. Но показалось, что не очень высоко. Тогда он скинул вниз балласт — свой портфель, затем спрыгнул сам, стараясь, как его учили в школе, присесть на корточки при приземлении, чтобы ног не переломать. Все обошлось удачно. Немного покрасневшись после прыжка из сортира, он вернулся к входной двери и вновь поднялся на второй этаж. Как раз подошла его очередь. Его не ждали, все видели, как он затворился в туалете, и понимали, что ему оттуда не выйти. Его появление было почти волшебным. На лицах — недоумение, под удивленными взглядами он вошел в кабинет. Но там ему повезло меньше, чем в сортире. Дверь в будущую квартиру оказалась тоже не открываемой, окна, чтобы выпрыгнуть, не было. А когда сказал, что готов внести в жилой фонд пятьсот рублей, то понял, что лучше бы он этого не говорил. Короче, ушел ни с чем. Приславшая его дама, видимо, получила информацию, не красившую Глеба. Больше советов не давала, да это было и слава Богу. Хотя жилья по-прежнему не предвиделось.

В лице у Глеба появилась неуверенность. Ни творческие, ни научные достижения больше никого не интересовали. Либо ты во власти, либо ты продаешься на рынке, либо ты никто. Он стал тем, кого можно оставить без работы, без еды, без жилья. Поэтому он не любил смотреть на себя в зеркало. Даже борода не скрывала растерянное выражение.

Интеллигенция разорялась, вроде бы не лишаясь работы, беднела. Упала подписка на журналы и газеты. Уходили советские социальные льготы, чиновники, кроме взяток, которые выросли непомерно, начали приватизировать все вокруг себя, что можно и что нельзя, чувствуя себя новым русским дворянством. Богатели хваткие писатели и художники, вовремя сумевшие предложить свой товар Западу, а там

научившиеся банковским операциям. Мастера шоуэстрады, всяческие отечественные Паоло Коэльо, вторичные, облегченные, но потому и продававшиеся. Человек, который все может купить, — таким стал его младший брат Клавдий. Да, это было хуже всего, что он был братом, о котором Глеб все его детство заботился, пестовал, гордился его успехами. Глеб и вообще гордился братом. Он всегда с восторгом пересказывал друзьям рассказ брата, как к нему должен был приехать министр иностранных дел ФРГ. В ночь вокруг его мастерской на Трехлужном переулке перед мастерской был-де разбит газон, вдоль которого высажены в рядок цветы. Пришли к нему из ФСБ полковник и два майора — проверить, можно ли здесь принять высокого гостя. Оглядев мастерскую, сказали: «Грязно здесь. Особенно пол». Клавдий ответил, что все же это мастерская, а не зал для приемов. «Помыть бы пол надо», — сказал полкан. «Вот вам троим два ведра, тряпки, вода на кухне», — якобы сказал брат. И они взялись послушно и отдраили пол почти до бела. «Теперь, — говорил Клавдий, — один из феэсбешных генералов мой большой друг. Все для меня сделает». Правда или нет? Но очень хотелось видеть в брате героя.

Были и ещё истории. Как он перевозил картины через таможеню. И обратился к «крыше». «Крыша» выделила ему машину с шофером по имени Виктор.

«Не поверишь, — говорил Клавдий, — но один его взгляд, и ты понимаешь, что лучше быть далеко от него на много километров. И вот в Шереметьево нас мент тормознул. Витя высунулся и тихо так спросил: «папа, тебе жизнь не надоела?». И все. И тот почти на цырлах от машины отошел».

Да, он умел действовать, умел строить дела, Глеб когда-то гордился его смелостью и решительностью. Его известностью. Его картины тиражировались открытками, которые стояли на всех полках Глеба.

У Глеба, правда, вышла в это же время книга «Русский европеец как явление культуры». Книга была замечена, ее все читали, но никаких позиций в жизни он не приобрел, не укрепился. Не до русских европейцев тогда было в России. Зато Мумме начал звать его Хлеб Петрович.

«Почему — Петрович? — спрашивал Глеб. — Я же Маркович».

«А почему Хлеб? — отвечал Мумме. — Потому что русские без хлебushка жить не могут. А уж без хлебной водки тем более. А Петрович потому, что все русские европейцы — Петровичи».

*Глава 2***Телефон бросается на героя**

Что-то изменилось в их отношениях с Клавдием. Лучше бы не звонить.

Но он видел потенциального жильца, приходившего смотреть освободившуюся комнату. Прежний сосед выехал, однако комнату они пока не получили, ЖЭК грозился другими жильцами. Нужна взятка. И всего-то не хватает ста долларов. Меж тем их катастрофически не было. Возможный будущий сосед-жилец Глеба безусловно напугал, бровь рассечена, рот кривой, зубы гнилые, изо рта пахнет на расстоянии. Да и вообще пахнет. Глеб брезгливо подумал о том, что будет с «местами общего пользования», как они назывались на жэковском языке. При этом мужик был высок и могуч. Вынул из кармана бутылку, предложил отметить его заселение. Стало понятно, что квартира превратится в шалман. И кому-то из них не жить, ведь придется с ним не раз драться, защищая жену и дочку. В общем, грозил коммунальный кошмар.

Глеб вспомнил, как говорил с немецкой слависткой, которая никак не могла понять, то такое коммунальная квартира в России, что такое соседи по коммуналке. «Это соседи по подъезду? — спрашивала она, исходя из своего немецкого опыта. — Или соседи по лестничной площадке? То есть живущие в соседней квартире?» Глеб терялся, потому что после его слов, что это люди, которые — с тобой в одном помещёнии, пользуются тем же туалетом, той же ванной комнатой, той же кухней, она резонно и простодушно спрашивала: «А зачем вы так живете? Вам нравится? Это что-то ведь Достоевское, да? Ведь можно переехать». Объяснить советскую систему распределения жилплощади, черный рынок съёмных квартир, когда снять квартиру невозможно, а если и снимаешь, то тебя в любой момент выгнать могут, он так и не сумел. Потом, сообразив, сказал: «Но ты ведь русистка, ты о Зоценко писала. У него почти все сюжеты в основе содержат коммунальный кошмар». Она открыла широко наивные немецкие глаза: «Так это он описывал реальность? Это не так интересно, как я думала. Я думала, что это он изобрел такой гениальный художественный прием».

А ещё учесть коммунальные условия коммунальных квартир! Квартира, где Глеб и Арина получили комнату, тоже оказалась совсем не подарком. Дом был построен в пятьдесят седьмом, ещё до хрущоб, то есть «сталинский», на том месте, где раньше было плохо осушенное болото. Говорят ведь, что Москва на болоте стоит. Летом, ночами, когда было жарко, они открывали окна. Противокомариных сеток у них

не было, да они и не знали, что такое существует в природе. Поэтому комары пили их кровь каждую ночь. Каждую ночь они то не могли заснуть от надвигающегося на ухо комариного гудения, гасили свет, укутывались в простыни. Но комар все же находил щель, вонзал жало и пил кровь. Как-то Арина не выдержала, встала и ушла на кухню гладить белье, все равно не спалось. Это был ее способ находить душевное равновесие. Глеб пошел следом.

«Ты что?»

«Ничего, — ответила она, вода утюгом по простыне. — Мы пришлые, а они местные. Они нас выживут. Надо что-то делать. Но я справлюсь. Обещаю тебе. У нас будет чисто и уютно, и без комаров».

С комарами, тараканами, гулявшими по квартире, она и правда справилась. Но сосед-алкаш?.. Это похуже и комаров, и тараканов!

И Глеб все же позвонил брату. И попросил. Ответ был жесткий:

«Я, знаешь ли, не ворую и денег не печатаю. Мне они достаются за мой труд. Думаю, ты должен заранее рассчитывать, на что тратятся деньги, которые ты занимаешь».

«Я же отдам».

«Не знаю. Но у меня просто нет ничего. Я родителей всегда в санаторий отправлял. У тебя на это денег никогда не было, хотя надо бы было поровну. Не упрекаю, как видишь... Я и сам собираюсь отдохнуть с женой ехать. Это тоже деньги. Могу я за мой труд отдохнуть?»

«Мне не к кому обратиться, ты же знаешь».

«А родительскую квартиру ради молодой любовницы не ты ли бросил?»

«Я женился на ней».

«Квартира была твоя, а ты хрен знает кому ее оставил», — сухо сказал Клавдий.

* * *

Действительно, родители переехали вместе с Клавдием в кооперативную квартиру. А в старой дедовской оставили свекровь (бабушку сыновей и мать отца), и Глеба с семьей. Глеб считал, что принимает на себя груз семейных забот, поскольку отношения бабушки и мамы довели родителей практически до разрыва. Он воспринимал тогда принятие на себя этой квартиры как жертву. Действительно, двадцать лет жизни с больной старухой были не сладкими: врачи, неотложки, дежурство по очереди у ее постели, ночные крики и приступы, бессонные ночи, дни, когда им надо было ездить на работу, приходили дежурить друзья. Никогда не приходили ни отец, ни Клавдий. После бабушки-

ной смерти эта квартира перешла Глебу. Отдельная квартира — это жизненный статус! Но благородные дела не остаются безнаказанными. Клавдий считал, видимо, что его обошли, что Глеб должен был эту квартиру делить с ним. Впрочем, теперь, у него было три квартиры в Москве, две в Лондоне и вилла в Италии. Казалось бы, чего переживать? Но Макиавелли не случайно написал, что потеря мелкой части имущества помнится дольше, чем смерть близких людей.

Вообще-то, думал порой Глеб, семейка их была интересная. Отец родился в Аргентине, в Буэнос-Айресе, где его родители жили в эмиграции. К бабке потом, уже в СССР, иногда приезжали аргентинские знакомцы. Она постоянно ждала свою дочку, оставшуюся за океаном. Это то, что разрезало тоску ее полубольничной жизни. Впрочем, аргентинский сюжет неожиданно получил продолжение уже после бабушкиной смерти. Умерла сестра, отец хотел поехать на ее могилу. И поехал. Как выяснилось, после поездки в Аргентину на могилу к сестре, поездки, которую помог ему сделать Глеб, отец получил аргентинское гражданство. Глеб случайно узнал об этом, когда навещал отца, а тот, разбирая свои документы, вдруг достал аргентинский паспорт.

«Откуда?» — обалдел от неожиданности Глеб.

«Но я ведь там родился, — растерялся отец, словно пойманный жулик. — По их законам я, где бы не жил, — гражданин Аргентины. И мои дети — тоже. Клавдий уже получил аргентинское гражданство. Ему ведь нужно».

Это было что-то несусветное. Но он же старший, он принял на себя жизнь с умирающей старухой. Он принял и это. Спросил только:

«Почему же вы мне не сказали?».

«Вначале Клавдий боялся, что два запроса помешают ему получить гражданство, а потом ему было стыдно перед тобой. Он просил не говорить тебе. Ты же знаешь, что там от сестры Лили остались две квартиры. Но какие-то юридические проблемы... У Клавдия же есть деньги. Он сможет их выручить. Думаю, одну он тебе отдаст. Только ты ему не проговорись, что я тебе рассказал. Он может обидеться, решит, что я его предал». Глеб сказал: «Не волнуйся». Он понимал зависимость отца от богатого сына.

Понятно, почему отец ему и не рассказывал об этой истории, об открывшейся щели в иное пространство. Возможно, и впрямь Клавдия опасался. Об аргентинских квартирах, разумеется, в дальнейшем и речи не было. Самое ужасное, что и Глебу было стыдно почему-то сказать человеку в лицо о его таком простом и непорядочном поступке. А Клавдий тоже молчал, хотя уже знал, что Глеб знает. И Глеб

молчал, чтобы не ставить брата в неловкое положение. Они вроде бы даже забыли об этом. Только недавно удивился, когда прочитал интервью Клавдия о смерти отца. Клавдий называл отца *портеньо*, как называли докеров и хулиганов Буэнос-Айреса. И важно рассказывал журналисту: «Я рисовал его лицо и в морге — холодный острый профиль «портеньо», твердый рот, высокий лоб. Он был очень добрым, но очень гордым человеком. Несгибаемым». Это словечко *портеньо* Глеб вычитал у Борхеса, о котором писал статью, потом дал читать книгу младшему брату. Портеньо были коренные горожане, хулиганистые портовые ребята (Буэнос-Айрес все же порт). И в устах Клавдия оно было «красным словом»: отцу было три с половиной года, когда его увезли из Аргентины. *Портеньо* он никак быть нее мог. Зато Клавдий умел придать себе интерес. Неприятно было другое: когда он соврал о последних днях отца, рассказывая, что отец мечтал вернуться в Аргентину и, умирая, прошептал по-испански: «*Donde estoy? Где я нахожусь?*». По журналистски это была трогательная история, но неправдивая. Отец умирал на руках Глеба, Клавдий занимался своими делами в Лондоне. И последние слова, последняя просьба умирающего, обращенная к старшему сыну, — привезти к нему женщину, в которую отец был влюблен в последний год жизни.

* * *

Но жестокие слова Клавдия о его бывшей жене и сыне заставили хоть немножко переступить Глеба через вросшие в него интеллигентские неудобство и стеснение...

«Ты знаешь кому: жене и сыну, твоему, кстати, племяннику».

«Он такой же бездарь, как и ты. Ну, вот у него и проси».

Это было хамство, после которого, как Клавдий мог догадаться, Глеб положит трубку. Поэтому поспешил добавить:

«Или у своих воров, вроде Левы из Таллинна, проси. Ты им тогда так восхищался. Вот и проси у эстонцев. Они крепкие мужики и вороватые».

«Во-первых, Лёва не эстонец, а грузин. Во-вторых, я ничего теперь про него не знаю. Да при чем здесь эстонец или не эстонец. И не смей так говорить о моем сыне. Ты же дядя, ты всегда говорил, что любишь его. Прощу тебя не хами», — его оттирали, отказывали как-то грубо и неприязненно, понимал Глеб.

Клавдий сказал: «Люблю. Но правду говорить надо. А ты привык с дружками и братками гулять, вот у них и проси. Ты ведь не домосед. Жен меняешь, по гулянкам и кабакам ходишь. В сущности, с раз-

бойниками всю жизнь якшался. Небось, Карла Моора из себя строил? Вот к браткам и обращайся».

«Какими братками? Ты что говоришь! Вспомни свои рассказы о всяких Викторах, да о тех, кто у тебя картины покупал. Я к брату обращаюсь...»

«А ты вспомни, что сам рассказывал... Лучше бы каким-нибудь делом занялся, чтобы деньги зарабатывать».

«Я пишу. У тебя мои книги стоят».

«Стоят, потому что ты дарил. Сам бы покупать не стал. Их никто и не покупает. Товар должен обладать спросом. А текст иметь привязку к актуальности, газеты читай, телевизор смотри. Поймешь, что надо».

Глеб вспомнил, как подарил ему свою книжку о «Братьях Карамазовых» с надписью:

«Любимому брату Клавдию как знак братства в небратском мире».

Да, тогда он даже на правах старшего с идиотским, как он теперь думал, умилением вложил в книгу страничку со словами Достоевского: «Французы провозгласили *Liberte, egalite, fraternite*. Очень хорошо-с. Что такое *libert*? Свобода. Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать всё что угодно в пределах закона. Когда можно делать всё что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает всё что угодно, а тот, с которым делают всё что угодно. Что ж из этого следует? А следует то, что кроме свободы, есть ещё равенство, и именно равенство перед законом. Про это равенство перед законом можно только сказать, что в том виде, в каком оно теперь прилагается, каждый француз может и должен принять его за личную для себя обиду. Что ж остается из формулы? Братство. Ну эта статья самая курьезная и, надо признаться, до сих пор составляет главный камень преткновения на Западе. Западный человек толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братства, коли его нет в действительности. Что делать? Надо сделать братство во что бы ни стало. Но оказывается, что сделать братства нельзя, потому что оно само делается, дается, в природе находится». И слова сказал: «У нас тоже братства мало. Но зато, когда оно есть, оно крепко». В этот момент Клавдий принимал, уже ставши знаменитостью — как же промышленник, художник, популярный публицист, друг отечественных олигархов! — какую-то французенку. И строго сказал:

«Не надо плохо о французах сейчас говорить. Я Запад ненавижу, я настоящий русак. Но сейчас не ко времени».

Да, тогда он его осек. Хотя Глеб не совсем понимал эту наигранную ненависть: ведь именно Европа сделала Клавдия и знаменитым, и богатым, да и старшего брата он первый раз сам вытащил в Европу, устроив ему приглашение, помогал советами, дважды приглашал на свои выставки и презентации. Советовал заводить там связи, чтобы звали, поскольку Россия видит все глазами Запада. Короче, опекал его. В том числе и поэтому Глеб верил в их братство. Называл это христианским заветом. Хотя уже вполне понимал, что в новом Завете убирается кровнородственное братство. Становятся братьями все люди, независимо от крови. Поскольку все — дети единого Бога в духе. Духовные дети, духовные братья и сестры. Однако тогда он верил и в их духовное братство, что это не пустые слова.

Он долго учился уметь вести себя с посторонними, чтобы принимали за своего и не обижали. Научился смотреть в глаза, не отводя свои пугливо, научился смеяться, так что смех его казался искренним, научился так шутить, что его шуткам смеялись. Его стали уважать, вступил с возрастом фактор ума в интеллигентной среде. Социализовался, так сказать, только сам обижать не мог. Что не мешало ему быть нечистым в отношениях с женщинами. Изменял, обманывал, бросал. И за это должен быть наказан. Бросил жену и сына. А орудие наказания — БРАТ. Но нравственно ли орудие наказания? Может ли оно таковым быть, ибо казнит. Нравствен ли палач? А он знает, что он орудие. А когда человек не знает, что он орудие возмездия, а просто творит зло...

Как-то пару лет назад, когда Глеб с подачи Клавдия попал на Запад, он оказался на тусовке, устроенной младшим братом. Был настоящий бомонд: журналисты крупнейших газет, промышленники, политики. Все смотрели на Глеба как на чужака, непонятно как здесь очутившегося. Клавдию пришлось объяснить, что это его брат. «Неужели у вас есть брат? — удивленно спросил Клавдия иностранный политик. — И это вы? — обратился он к Глебу. — Когда мы с господином Галаховым (он указал на Клавдия) познакомились, и я предлагал помощь его родным, он сказал, что о родителях он сам позаботится, а сестер и братьев у него нет, что он единственный сын у родителей». А потом политик добавил:

«Вы наверно, братом гордитесь. Ведь его доклад о «Братьях Карамазовых» Достоевского, который он сделал по своей книге, был просто блестящий. И вообще ваш брат настоящий русский европеец. Он себя так справедливо зовет. Он даже писал об этом».

Глеб тогда оторопел, в голове закрутились литературные образы от крошки Цахеса до господина Голядкина-старшего, все дела которого

присваивал себе господин Голядкин-младший. Но сказать, что это его книга, он не посмел, побоялся, что брат потеряет в этой компании уважение. А ведь когда-то, когда вышел его первый роман, Глеб просил брата помочь найти переводчика. Ответ Клавдия тогда был прост и честен: «Ты же не умеешь писать, это российское психоложество всем давно надоело. А, потом, прости, пробив тебя, как я свои тексты буду пробивать? Как ты помнишь, Боливару не сvezти двоих».

Все это крутилось в голове, пока Клавдий продолжал: «Твоих книг никто не покупает. Ты же творчеством зарабатывать не можешь, а я могу. Поэтому я богат, а ты беден».

«Ты обещал, что поговоришь с издателем о переводе моего романа. В России он все же прессу имел».

«Мало ли что имеет прессу в России. Я хотел было показать, но посмотрел перед этим ещё раз твой текст. Стиль все же у тебя неряшливый. Надо писать так, чтобы было как удар кисти у Ван Гога или удар шпаги у героев Дюма. А ты все психологизмы разводишь».

«Откуда такая злость?»

«Злости нет. Просто констатация факта. А то, что у тебя проблемы с жильем... Ну, что ж, всякое бывает. У всех что-нибудь да не так. Ты любил рассказы о сильных, вроде Левы из Таллинна. Вот и стань сильным сам».

Глебу показалось, что телефон как собака оскалился, бросился на него и тяпнул за руку. Он уронил трубку. Говорят, что человек делает подлости, потому что его не научили добру. Но ужас-то в другом! Что добру учили, что правильные книги люди читали, что знают о том, что быть злым нехорошо. Но кто же скажет, почему человек, даже будучи просвещённым, прочитавшим хорошие книги, не может всегда быть добрым и благородным, ибо почему-то свою силу и выгоду видит в ином — в презрении к ближнему.

Да, Глебу нравились сильные и свободные. Хотя сам таким не был.

Просто любил отчаянность. Он никогда не был инициатором приключенческих жестов, но всегда широко открытыми глазами и с любопытством наблюдал эти вспышки смертельной опасности и принимал в них участие. Они были случайны порой, как с подругой Мумме Ану. Это был тот раз, когда Глеб отдыхал с сыном, Клавдием и своей первой женой в Хаапсалу. Мумме приехал к нему с любовницей, она была за рулем. Эду хотел показать другу внутреннюю Эстонию, скрытую, как думали эстонцы, от глаз властей. «Твои домашние подождут», — сказал Мумме. Клавдий надулся, но здесь решал не он. И Эду повез Глеба на машине подруги в южную Эстонию. Были в глухой провинции кафе,

где сидели за столиками сухенькие, вполне европейские старушки, пили чай или кофе, беседовали. Совсем не похожи на сидящих на лавочках перед подъездами несчастных русских старух. А потом неслись они по шоссе с односторонним движением! Все встречные шоферы крутили пальцем у виска. «Курат! Что они хотят мне сказать?» — удивлялась рослая любовница Мумме. Потом поняла, круто развернулась, так что дверца с ее стороны оторвалась. Эду еле успел ухватить подругу за плечо. Так с оторвавшейся дверцей они и врезались в какое-то здание. И тут эстонская парочка принялась безумно хохотать. Надпись на здании была по-эстонски, Глеб не понял. Ему перевели, что это морг. Юмор был, конечно, черноват. Но все закончилось благополучно.

* * *

А история, которую помянул Клавдий, была довольно давняя. Шел 1982 год. Они с Мумме сидели в Ку-Ку клубе, ресторане творческой интеллигенции Таллинна. Советская власть казалась навсегда. Всякое маленькое отклонение было неожиданной возможностью свободы. Так Глеб и воспринимал этот город, этот ресторан, своего эстонского друга, самого свободного человека, из всех, что ему доводилось тогда встречать. Это был его аспирантский приятель. Он к нему и младшего брата Клавдия как-то отправил, тот потом рассказывал, что заметил в квартире Эдуарда его скульптурную голову. Наверно, брат несколько позавидовал, но выразил зависть пренебрежительными словами. «Ты его скульптуру видал? В углу комнаты стоит. Нет, твой Мумме — это настоящий пыжик», — сказал Клавдий. Глеб определений давать не умел. Он знал, что Эду Мумме, в тот год Главный редактор «Sirp ja Vasar», эстонской «Литературки», перепробовал много социальных ролей. Вот где идеи о ролевой структуре общества видел Глеб въяве. Иногда называл он его эстонским Феликсом Крулем. В Советской армии на Дальнем востоке, когда после двухнедельной муштры, солдатиков выстроили, и капитан спросил, есть ли здесь фельдшер. У Эду было на эстонском языке удостоверение, что он окончил Школу каменщиков, а был по происхождению интеллигент, сын знаменитых эстонских актеров. Он вышел, сказал «Так точно» и показал эстонское удостоверение. Капитан повертел его и сказал: «Иди в медпункт, там укол новобранцу надо сделать». Выхода не было. Пошел и сделал. Три года прослужил фельдшером. Там он спас от штрафбата своего будущего приятеля, Егора Шафьяна, потом притащил его в ГИТИС, писал за него рефераты и контрольные, а потом, когда стал бизнесменом и разбогател в Перестройку, он взял Шафьяна в доверенные компаньо-

ны, передал даже ему четыреста тысяч долларов на хранение, опасаясь эстонских мафиози или просто бандитов. Не задаром, нет, за десять процентов. Егор, красавец, похожий на Арамиса, узкоглазый, тонкий, с острой бородкой, взял, а когда в трудный момент Мумме попросил их вернуть, ответил, пожимая узкими плечами с невинным видом. «Ты мне ничего не давал». Со смешком добавил: «Ты от своего финансового расстройтва своим чухонским рассудком совсем тронулся. Разве бы я взял у тебя такие деньги?». Мумме говорил Глебу, когда они брели по Таллинну в его последний приезд: «Я перестал верить в дружбу. И бизнес-дела прекратил практически. Хорошо, что театроведение не бросал, кафедру в институте получил. Жить могу. Наверно только братьям можно доверять. Сестра у меня хотела квартиру отсудить, а брат — это надежно. Вспомни Леву-грузина».

Глава 3

Городской разбойник

Да как его можно было забыть! Да, 1982 год. И они с Эдуардом в Ку-Ку клубе. Утром Мумме устроил Глебу две лекции, за которые тот получил по двадцать рублей за каждую. Так что в кармане был сорок рублей, для тогдашнего скромного ресторанного вечера неплохо. К ним подсел плейбойистого вида эстонский художник по имени Юлев, фамилии его Глеб то ли так и не услышал тогда, то ли забыл. Лицо смазливое, крупный мужичок, но слегка потасканный. По-русски говорил свободно. Эду пожал ему руку, висевшую на перевязи. Отведя Глеба в сторону, быстро сказал: «Просто, чорт, чтоб ты знал: Юлев после аварии. Они на легковушке в баню, уже пьяненькие, ехали, налетели на грузовик с брусовым лесом. Один ствол попал ему в плечо, все раздробил. Его ещё из легковушки выкинуло, он и ногу повредил. В общем попекай его немного». Они сели, пригубили за знакомство, через полчаса Мумме посмотрел на часы, встал, наклонился к Глебу и шепнул: «Скажешь вечером жене, что я с вами был. Только учти, что у Юлева денег никогда нет». Глеб переспросил: «Но надо бы договориться о времени, чтобы мы порознь не пришли. Таллинн не велик городок». «Не волнуйся, что-нибудь придумаю», — сказал спортивный сердеед и удалился.

Глеб заказал пару рюмок коньяка, лимон с сахаром, пару шоколадок и почему-то (очевидно, по деньгам) крабовый салат. Увидев на их столе коньяк, к ним из-за соседнего столика подседа пара моло-

дых некрасивых эстонок, но очень милых, так что Глебу не хотелось даже думать об их профессии. Пришлось заказать ещё пару коньячных рюмок. По правую руку от Глеба стоял столик, за которым сидел молодой мужик кавказского типа, лет тридцати, гладкие черные волосы с хорошим вороновым отливом лежали по плечам, усы шли вдоль верхней губы (наверно, подумал Глеб, эстетство Ку-Ку клуба), черный костюм и галстук-бабочка. Вдруг он встал, стройный, но с крутыми плечами, чувствовались серьезные мускулы, поднес к их столу кресло, поставил и спросил у Глеба: «Брат, позволишь за твой столик?». Почему он обратился к нему? Очевидно, видел, что Глеб заказывал, а стало быть, старший за столом.

«Почему — брат?», — спросил Глеб.

«А приятные друг другу люди — все братья. Вот я вас всех не знаю, но вы мне как братья, так я вас выбрал».

Протянул руку и представился: «Лёва».

Они все тоже представились. Имен девушек Глеб не запомнил, да и не стремился к этому: слишком не в его вкусе, да и вообще к продажной любви относился плохо. Лева шелкнул пальцами, официант появился сразу, как не появлялся к вежливым приглашениям Глеба. Лёва заказал бутылку французского коньяка (в Москве он давно пропал), две больших шоколадки для девушек, а мужчинам тарелку балыка и тарелку семги. Глеб подумал о деньгах, понимая, что он на пределе, если придется платить. А поскольку уже выпил и язык был развязан, то и сказал: «Знаешь, Лёва, давай не будем гусарить. У меня лимит в сорок рублей».

«Брат, ты меня обижаешь, — ответил Лева и, сунув руку в боковой карман пиджака, достал бумажник. — Когда я выпиваю с братьями, у меня меньше тысячи с собой нет».

Он открыл бумажник, вынул бумажки, разложил на столе, оказалось даже две с половиной тысячи. «Ты знаешь, брат, если в честном переводе, то это около ста американских рублей».

«Рублей?»

«Ну, долларов».

Глаза у девушек зажглись желтым светом. Лева сложил деньги в бумажник:

«Так что, брат, не волнуйся, выпивай и закусывай».

Они выпили, Лева предложил тост за братьев. Потом спросил Глеба:

«А ты кто, Глеб? Ну, по профессии кто?».

«Писатель, историк», — сказал Глеб чистую правду, но, чувствуя почему-то неловкость, будто хвастал.

«Это хорошо, — отозвался Лева, — уважаю. Значит, умный. А я боксер, да и дело у меня в Таллинне прибыльное. Но какое — не буду говорить. Это мой секрет. Ведь у каждого должен быть свой секрет. Правда?».

«Как тебе удобнее, — ответил Глеб. Помолчал и все же спросил: — Послушай, а ты почему к нам как к братьям относишься. В самом деле, как к родным братьям?».

«Ну, — ответил Лева, — братья по дружбе — это больше, чем брат по крови. У меня в Тбилиси брат остался, он меня ментам продал, пришлось в Таллинн по быстрому ехать. Я ведь в розыске. Но я его все же достал там».

«Что это значит?» — спросил Глеб, чувствуя, что свет в большом зале вдруг темнеет.

«Зачем тебе это знать, брат? Я в розыске, это я сразу братьям говорю. Я за братьев много готов сделать. За братьев я даже сестер не пощажу. Как-то здесь сидел с братом...».

«Настоящим?»

«Ну, настоящим, таким, как ты. Брат на заводе художником работал. Какие там деньги — смех один. Понимаешь? Вон второй брат, — он указал на Юлева, — я слышал, тоже художник. Хоть и на гонорах, но денег мало, раз здесь сидит. Понимаешь, подсел я к брату, за вашим столиком сидел, он мне понравился. Ну, выпили. Потом двух девиц сняли. Взяли такси и к ним, понимаешь, поехали, они в Муга жили, на даче, недалеко от моря, снимали, наверно. Все путем у них было, даже камин. По дороге я выпивки и закуски купил. Ночь неплохо провели. Я им денег дал. Наутро такси вызвали, поехали в город. И тут брат хватился, что все его деньги, шестьдесят рублей, из кошелька испарились. Я свое портмоне открываю. И там пусто, для смеха рублей пятьдесят оставили — на такси. Мне что, а брата жалко! Все его деньги уплыли. Я шефу приказываю развернуться, к дому вернуться и ждать. А те и дверь не заперли. Заходим. Я одной сразу кулаком в челюсть. Зря, конечно. У меня по боксу был первый разряд, чемпионом Тбилиси был. Она так головой в камин и рухнула. Я и говорю: «Что же, сучки, зачем брата ограбили? Где деньги?». Вторая перепугалась, к шифоньеру кинулась, деньги протягивает, а самой руки дрожат. Я пятьдесят рублей вынул, велел ей за вином и закуской сбегать. И пригрозил, что если не придет, то подругу живой закопаю и на нее труп повешу. Пришла, я такси отпустил, мы ещё у них ночь провели. Но больше им денег не давал, свой проступок отработывали. Нет, что ни говори, за брата я на все готов».

«Курат. Чорт», — сказал Юлев.

Девушки притихли. Лева ухмыльнулся:

«Не унывайте, девочки. Вы сегодня не в расчет. Сегодня Лева просто выпить с братьями хочет».

Они допили бутылку коньяка. Тут свет начал гаснуть, и официант, извиняясь, сказал, что Клуб закрывается, поздно уже. Глеб глянул на часы. Было одиннадцать вечера. Самое время идти на улицу Кундери к Мумме, у которого он ночевал. Пока дойдет, глядишь, и Эду вернется. Но Лева был настроен иначе.

«Нет, братья, мы в *Норд* пойдем. Он до трех ночи открыт. И не смотри, брат, на часы, — он взял Глеба за плечо. — Ты сегодня с Лёвой гуляешь».

* * *

И они пошли по ночному Таллинну, путь был не очень далек.

А Глеб все обкатывал слова Левы, что для брата он на все готов. И пока шли, вспомнил, как он после реанимации встретил Клавдия на презентации журнала, где тогда подрабатывал. Глеб попал в реанимацию с прободением язвы. Жена надеялась на помощь Клавдия. Были на то основания. Когда лет десять-двенадцать назад Глеб стал жаловаться на сердце, а домашние отнеслись к его словам с недоверием, Клавдий, ещё студент, нашел через приятеля хорошего кардиолога, привез его к Глебу, врач внимательно слушал мнимого больного, сделал кардиограмму и поставил диагноз — «ишемия». Тогда все как-то заволновались. Эту историю Глеб не раз рассказывал Арине, и она очень верила в братскую надежность Клавдия. Но что-то в составе неба и земли изменилось. Изменился и Клавдий.

Один раз младший брат все же приехал к Глебу в больницу, от него пахло коньяком, он был накануне в гостях у друга протоиерея Ивана Содомского. Со священниками в чинах он тоже дружил. Больше не появлялся, но передавал через Арину приветы. На тусовке в Овальном зале Иностранной библиотеки, когда Глеб стоял с рюмкой водки, которую ему пить было нельзя, отвечал на поздравления, что снова здоров, к нему вдруг подошел и священник Иван Содомский, которого он как-то видел с Клавдием. Подошел, протянул руку для рукопожатия, хотя был холёный и в рясе, и сказал: «Поздравляю вас, что выбрались из такой беды. Хорошо, что у вас такой брат, который для вас все сделал». Глеб даже оторопел:

«А что именно?»

«Ну-ну, — ласково пожурил его священник. — Не гоже не признавать заслуг другого человека. Хотя, конечно, ваш брат порой позволя-

ет себе сомнительные самоопределения. После своего братского подвига он даже назвал себя «спасителем». Я сказал ему, что не стоит все относить к себе это слово. Но у вашего брата гордыня сильна, хотя он имеет на нее право. Но тогда он сказал то, что говорить не должно, даже в шутку. Он сказал, что Христос пришел раньше него; а он является вторым; но ведь то, что в порядке времени является после, то по существу первее. И Христос-де — его предтеча, задача которого была предварить и приготовить его явление. Это очень рискованная шутка, конечно». Глеб о самолюбии брата прекрасно знал, помнил, что ещё в десятом классе, прочитав ницшевского «Заратустру», тот начал писать мемуары «Хроника времен меня». И все же повторил с тупой настойчивостью: «Но что он для меня сделал?»

Протоирей удивился, но, грассируя, сказал: «Ну, как же, он вам половину своей крови отдал!». Глеб даже вздрогнул: «Он?». Так получилась, что на этих словах к ним подлетел Клавдий, услышавший всю концовку разговора. Священник недоуменно повернулся к приятелю и сказал: «Глеб, наверно, просто не знает о твоём подвиге. Ты просто чересчур скромн, мой друг». Клавдий понимал, что Глеб сейчас что-то ляпнет, и быстро сказал: «Я про половину крови в высшем смысле говорил. Ведь если будет нужда, я брату печенку свою отдам». И Глеб промолчал, чтобы не позорить брата. А кровь для переливания отдал тогда здоровый и сильный эстонец Эдуард Мумме, приезжавший по случаю в Москву, и тут же пошедший в больницу и сказавший, что он спортсмен и абсолютно здоров. Его-то кровь Глебу и перелили.

* * *

Они шли, а Глеб вспоминал, потом перестал вспоминать, лучше было жить этим моментом. Он посмотрел на спутников. Богемному и безденежному Юлеву надо было как-то время убить, а девицы шли в тайной надежде на перемену ситуации. И вскоре «Nord» был перед ними. Пред стеклянной дверью грудились молодые парни и девицы, ночная публика, а швейцар в форме с позументами, как из старой жизни или из книг, стоял спиной, выражая всей толстой спиной власть и презрение к безденежной молодости. Лева протиснулся к двери. Пропускали его неохотно, но с любопытством, что, мол, грузин этот собирается делать. Лева громко застучал в стекло. Тогда швейцар повернул толстое лицо к двери и выкрикнул, приоткрыв дверь: «Сказано вам — нет мест!» Но Лева просунул ногу в образовавшееся отверстие. Не глядя на рвавшегося, швейцар злобно крикнул:

«Куда ногу суешь?! Сейчас без ноги останешься!».

Лева почти ласково спросил: «Это я-то?»

Превращение было мгновенным. Швейцар узнал! Это проявилось в широкой улыбке, которая как жидким медом облила всю его физиономию, поменяв ее выражение. «Лева! — радостно вскричал он (именно «вскричал», как в старом романе). — Дорогой гость. Извини, не признал. Проходи».

«Я не один, — ответил Лева. — Я с братьями».

«Пусть и братья проходят, — был на все согласен швейцар. — А эти кто — сестры? Пусть и сестры проходят». Неожиданно следом за девицами просочились два припортовых парня, лет по двадцать каждому, с серыми лицами, в каких-то рытвинах. Парни говорили по-русски, стал быть, лимитчики, приехавшие в Таллинн из русской глубинки. Глеб подумал, что сейчас их выгонят. Но швейцар их тоже отнес к Левиным «братьям». Цыкнул на взывшую толпу за дверью, дверь запер и повел их в зал. Столики в зале были переполнены. Глебу не хотелось этой толкотни и шума. И он сказал Лева: «Слушай, давай по домам. Мест и вправду нет». Но Лева усмехнулся и возразил: «Сейчас нас правильно посадят, думаю, в отдельный номер».

Действительно, они поднялись на некий подиум, ступеньки две выше паркета в зале, швейцар раздвинул красные портьеры, за ними стоял длинный стол, окруженный дюжиной стульев. Подбежал официант, сдвинул лишние стулья в сторону и, махая полотенцем, предложил им присесть. Все сели. Даже припортовые пацаны, которые, как выяснилось, работали на таллиннском рыбзаводе, уселись рядом с девицами. Лева, как запомнил Глеб, сел в дальнем углу, лицом к входу. Официанту он сказал: «Все, как обычно. Девушкам — коньяку, а этим двум, наверно, водки». Он указал рукой на русских парней, но потом все же спросил и у них: «Водка или коньяк?». Парни, конечно, привыкли к водке, но тут намечалась большая халява.

«Коньяк», — важно сказал тот, что был постарше, с оттопыренными ушами, толстыми губами, более развязный по виду. Официант вопросительно глянул на Леву, он уже внес водку в свой блокнот.

«Оставь водку, я буду», — сказал Глеб.

«Ты это из-за них, брат?», — спросил Лева.

«Нет, — Глеб пожал плечами, — ты извини, Лева, но я и вправду водку охотнее пью. Коньяк не мой напиток».

«Ты, брат, прямо как финн», — ухмыльнулся Лева. Парни с рыба-вода захохотали с оттенком издевательства в смехе по отношению к Глебу. Лева недовольно посмотрел на них, но промолчал, кивнув официанту: «Делай, как брат просил». Официант исчез за шторами. За

красными шторами играл оркестр, слышались восклицания, иногда сдвигались, очевидно, стулья, там танцевали.

* * *

Принесли много хорошей закуски, редкой даже и для застойных лет. Глеб сидел за столом, пил рюмка за рюмкой холодную водку «VIRU VALGE», запивал томатным соком, ел селедку с круглыми колечками репчатого лука в хорошем растительном масле, подбирая с тарелки черным хлебом кусочки отслоившейся селедки, семгу, белую рыбу, карбонад, намазывал белый хлеб маслом, на него клал то красную, то черную икру. На горячее был лосось на гриле. Девушки молчали, как свойственно молчаливым эстонкам, Юлев молчал, наслаждаясь жизнью. Парни с рыбзавода молчали, жадно напихивая в себя редкие для них продукты. Только Глеб задавал иногда вялые вопросы, не очень понимая, о чем с Левой говорить.

Лева, однако, скоро надоело молчаливое выпивание и поедание, он встал, обошел стол со стороны Глеба, распахнул шторы. Открылся зал, задымленный, шумный, пот словно струился от танцующих пар, сразу стало слышно звяканье стаканов и рюмок. В углу играл оркестр.

Лева поднял руку и тихо произнес через зал оркестру, прерывая его игру:

«Полковник контрразведки Кудасов просит исполнить «Бони-М» для его эстонских друзей!».

И его вдруг услышали. Глеб вспомнил, что «полковник Кудасов» — персонаж из серии про «приключения неуловимых». Очевидно, это была известная некоему кругу кличка Левы, подумал московский писатель Глеб Галахов.

Оркестр вдруг перестал играть. Дирижер повернулся лицом к залу, поднял, как Лева, руку, прося тишины. Зал затих. И в полной тишине дирижер торжественно произнес: «Па-просьбе полковника контрразведки Кудасова «Бони-М» для его эстонских друзей! Па-апл-адируем па-лковнику!».

Когда зал, кто, стоя, кто сидя, принялся аплодировать, стало понятно, что Леву знают. Может, и любят. Люди подталкивали друг друга, перешептывались, вскидывая глаза на грузинского боксера. Лева поклонился, как человек, привыкший к популярности, и вернулся за стол. Оркестр заиграл, а Глеб подумал: «Ничего себе в розыске! Когда все его знают, кто он и где он! Всех ведь не купишь! Бояться?».

К столику, где они сидели, точнее, где сидел Лева, пробирался человек лет сорока, в мятом вельветовом костюме коричневого цвета,

со спутанными жидкими волосами на очень большом черепе, слегка пьяненький уже. Он махал Лева рукой, пытаясь произнести что-то, но артикуляция была плохая, мало что можно было понять.

«Поверишь ли, брат, — сказал Лева, все так же обращаясь к Глебу, — ведь это был лучший эстонский актер. А потом разум потерял из-за несчастной любви». Он назвал имя актера, которое Глеб и тогда не запомнил, а сейчас, спустя пятнадцать лет, и вовсе не мог вспомнить. «Он даже диктором работал, самый любимый диктор в Таллинне был».

«А ты эстонский знаешь?»

«Конечно, брат, я ведь здесь живу».

«Ну, ты даешь, — обратился к Лева «на ты» один из припортовых парней, тот, что был поразвязнее, — пусть уж лучше они русский учат!».

Лева нахмурился: «Надо знать язык страны, где ты живешь».

«Так в России живем», — возразил парень.

«В Советском Союзе, — возразил Лева, — и у нас все народы равны».

Подошел бывший актер, потерявший разум из-за любви. На губах была радостная улыбка.

«Дасте, Льёв», — сказал он, путаясь в звуках.

«Садись, дорогой, — сказал Лева, — коньяку выпей, лимончиком закуси, рыбку съешь. Давай я тебе бутерброд с икрой сделаю. Черную предпочитаешь?»

«Чьён, Льёв», — ответил актер.

«Дасте, Льёв, чьён, чьён», — передразнил актера развязный, второй парень захохотал грубым, дворовым смехом.

Глебу это не понравилось. Он шепнул Юлеву: «Противно, когда было над несчастьем смеется».

«Курат, — ответил Юлев, — отвратительно».

«Брат, — услышал Лева слова Глеба, — все будет хорошо!»

Актер выпил пару рюмок, поел и побрел в зал, где все, узнавая его, зазывали за свои столики.

«Кофе ли чай?» — спросил Лева у сидящих за столом.

«Я бы ещё водки выпил, — возразил Глеб. — Что-то хмель сегодня не берет. Уж больно закуска хороша».

«Рад, брат, что тебе это все понравилось. Сейчас водки ещё закажу для тебя. Остальным ещё коньяк? Понял. И бутылку коньяку». Он отдернул красную штору, выглянул и помахал рукой. Мигом возник официант.

«Еще бутылку водки, бутылку коньяка, ну и закуски повтори. Сам сообразишь. Да и счет вместе принеси».

«Все сделаю, Лева!»

Он убежал, прихватив грязные тарелки, а Лева сказал: «Увидите, что обсчитает меня рублей на пятьсот, а то и побольше».

«Мы им не дадим», — сказал развязный.

«Я сам разберусь», — ответил Лева.

Вошел официант с подносом, расставил на столе новые тарелки, поставил две бутылки, разлил кому водку, а кому коньяк, ушел. Через минут пять принес повтор закусок и счет. Лева взял счет, махнув рукой: «Мол, иди. Позову, когда надо будет».

И снова пошло выпивание, но как-то более натужно. Лева смотрел в счет, что-то помечал шариковой ручкой. Все почему-то ждали результата его подсчета с некоторым трепетом, Глеб тоже. Наконец, Лева положил листок на стол, пригубил рюмку коньяка и сказал почему-то Юлеву:

«Вот ты, ты ближе к входу, позови официанта».

Юлев вышел, через несколько минут вернулся. Следом шел улыбающийся официант: «Какие-нибудь проблемы, Лева?»

«Ты что же это делаешь, а? — спросил Лева. — Надеешься на мою доброту? Ты же меня на шестьсот рублей обсчитал. Я же говорил, что в следующий раз обсчитаешь, я тебе задницу надеру».

Тогда такое выражение было внове. Но официант ответил в тон:

«Что, Лева, подставлять задницу?»

«Зачем она мне нужна? — сказал Лева грубо, но смеясь. — Неси правильный счет».

Музыка за шторами играла, потный воздух от танцующих и пьющих в зале протискивался и к их столику. Да и официант то входя, то выходя нес этот воздух с собой. Он снова явился, в белой курточке официанта, краснощекий, слегка прыщавый, угодливый, и протянул Лева новый счет:

«Ты уж извини, Лева, народу много, обсчитался».

«Не обсчитался, а обсчитал, дорогой, — поправил его Лева. — Вот теперь правильно. А чтоб ты не думал, что я жадный, я тебе эти шестьсот рублей сверху кладу. Доволен?».

«Конечно, доволен, — сказал официант, — ты уж извини. Еще что-нибудь хотите? Могу за счет заведения».

Тогда это тоже было в новинку, во всяком случае, Глеб про такое не слышал.

«Ты пока иди, — ответил Лева. — Мы пока тут посчитаемся».

Глебу стало скверно. Он-то знал, что сорок рублей — весь его капитал.

Глава 4

За все надо платить, или Благородство разбойника

Лева взял счет, ещё раз помял его в руках, потом осмотрел компанию сидевших за столом. Достал теперь ручку с золотым пером (а все уже стремились к шариковым ручкам), признак богатого джентльмена, что-то написал на обороте счета. Потом очень внятно произнес:

«Я ведь не обязывался за всех платить. Надо по справедливости разделить на тех, кто здесь ел и пил».

Голос его стал глухой и какой-то бесповоротный. Так говорят блатные, когда ты у них во власти. Он похолодел, в груди стало пусто. Возникло чувство, что по собственной глупости, русской жажде халявы вляпался в крайне неприятную историю. Парни с рыбзавода вдруг вскочили: «Нам бы пока в туалет».

«Сидеть», — очень тихо сказал Лева, голосом без эмоций. И парни присели. Только затравленно поглядывали друг на друга: мол, ты меня втянул в историю. Лева не улыбнулся даже на эти комические переталкивания. Глеб сунул руку в задний карман брюк и вынул четыре красных бумажки по десять рублей. Что такое портмоне, он тогда и не знал, первый раз у Левы увидел. Это казалось предметом далекого буржуазного прошлого. Такими *прошлыми вещами* иногда удивляла его квартира друга Эдуарда, квартира начала тридцатых годов, когда Эстония была ещё буржуинской. Как говорила его жена: «Даже когда дома еды мало, достаем родительский хрусталь, и кажется, что все в норме».

Так вот портмоне у Глеба не было, а сорок рублей имелись:

«Лева, — сказал он очень осторожным голосом, чувствуя испуг сидевшего рядом Юлева, — я же тебе тогда говорил, что у меня всего сорок рублей».

«Зачем мне твои сорок рублей, брат, — возразил вдруг Лева. — Я же с братьев не беру. Я тебе говорил это. А сегодня ты мне брат, и друг твой эстонский тоже мне брат. С девушек никогда ничего не брал, кроме того, что сами давали. А так — всегда угощал. Любить женщин люблю, но денег с них никогда не беру. А вот эти двое, — он ткнул рукой в парней, — явились сюда, хотя я их не приглашал. Ладно, я добрый. Но вот зачем они над больным актером смеялись. Так только плохие люди делают. Вот они свою долю и внесут».

«Сколько?» — хрипло-писклявым голосом спросил старший из них.

«Посмотрим, посмотрим. Хоть вы и плохие люди, но Лева не жестокий человек. Да, так. Я заплатил две тысячи четыреста. Сто рублей этот кстати, сдачи так и не принес. Ладно. Ну, шестьсот я дал на чай, это вас

не касается, это мое дело. Остается тысяча восемьсот рублей. С братьев и девушек не беру. Значит, платим мы трое. Чтобы понимали, что Лева не жлоб, тысячу рублей беру на себя. А с вас с каждого по четыреста».

Чтобы понятен был ужас, который ясно проявился на лицах парней, надо вспомнить, что подручные (а ни даже рабочими не были) получали рублей восемьдесят, максимум — сто двадцать. И в ресторан они ходили, видимо, в расчете на халяву, на потанцевать и потискаться, в крайнем случае, могли наскрести на пару кружек пива. А тут им вдруг обломился королевский ужин. И все бы с рук сошло, если бы не вылезло хамское нутро.

Девушки сжались, ожидая недоброго. Это видно было. Их тупенькие белобрысы не очень уже молодые мордочки побелели от напряжения. Всякого, наверно, они навидались в своей жизни. И могли предполагать самое плохое.

Парни вжали головы в плечи, принялись выворачивать пустые карманы, толкая зло-трусливо друг друга, мол, ты меня сюда затащил. Пересчитывали трешки и рубли. Потом униженно посмотрели на Леву и замотали головами, а парень постарше пробормотал, что всего у них восемнадцать рублей. Теперь, вспоминая эту историю, Глеб поражался, насколько серьезно тогда все воспринималось. А пацанам максимум было лет по семнадцать, да и грозному Лева не больше двадцати шестидвадцати семи. Самому Глебу было тридцать, похоже, он был старше всех. Но ситуация заманивала, затягивала. И как можно научиться стоической (или кинической, или христианской) мудрости стоять выше или вне происходящего. Чего бояться? Смерти? Но ещё Эпикур писал, что когда ты есть, смерти нет, а когда есть смерть, то тебя нет. А все равно человек нервничает, никуда не деться от физиологии.

Хозяином положения был Лева, человек в белой рубашке, черном костюме, гладко выбритый, но с синевой по щекам, как бывает после бритья у южных людей. Да он и вообще был тут хозяином. Это все понимали. Лева с презрением посмотрел на рыбзаводских прыщавых мальчишек, словно на нелюдь какую-то. И сказал строго старшему:

«Тебя как зовут?»

«Сереза», — еле пошевелил губами тот.

«Так вот, Сереза. Сними свой пиджак, повесь на спинку стула. Это чтоб не удрал. А вы, братья, посмотрите, чтобы второй с пиджаком не улизнул. Давай из-за стола вылазь. Пойдешь со мной в туалет».

Как заколдованный на подгибающихся ногах парень из-за стола зашагал следом за Леву, он бы и упал от страха, если бы Лева не подхватил его под локоть. Они скрылись в глубине зала.

«Что он с ним будет делать?» — прошептал мертво бледный второй прыщавый паршивец.

Надо сказать, мы и сами хотели бы это знать. За столом все тягостно молчали. Время тянулось. Ушедшие не возвращались.

Юлев пихнул Глеба локтем. Наклонился и шепнул:

«Курат!.. Ты сходи, посмотри. Не убил бы. А к тебе он лучше вроде бы относится».

Миссия была не из приятных, но Глеб понимал, что раз надо, то надо. И он пошел. Ноги шагали нетвердо. То ли от нерва, то ли от выпитого алкоголя. Но вот длинный вход в помещёние, где друг за другом располагались туалетные комнаты — вначале для дам, потом для джентльменов. Глеб резко открыл дверь и шагнул внутрь. Пройдя мимо ряда писсуаров, он подошел к последней кабинке, откуда раздавалось какое-то повизгивание и шум спускаемой воды. Он подошел ближе, дверь в кабинку была приоткрыта. Внутри он увидел, что голову Сережи Лева держал в унитазе, время от времени спуская воду, которая смачивала взъерошенный затылок наказываемого.

«Понимаешь, брат, — обратился к Глебу Лева, увидев его, — утопить его в сортире не могу, голову отрезать — жалко, а помыть его в унитазе — это удовольствие. Понимаешь? Хочешь, тоже спусти воду».

«Н-не надо! — булькая, взвыл парень. — Я больше не буду!! Лева, прости!»

«За что ты его так? — осторожно спросил Глеб. — Если из-за денег, то ты же нормальный человек, Лева, ты ведь знал, что у них денег нет, а за стол пустил. Это ведь издевка получается».

«Издевка, говоришь? Нет, издеваться это не Левин фасон. Это, понимаешь, они над больным артистом издевались. А я артистов, как детей, люблю. За это и наказываю».

Глеб понял, что на интеллигентность можно давить и сказал: «А сам оказываешься вроде этих подонков. Ведь, как бы он себя ни вёл, он ведь тоже человеческое существо. Разве ты не согласен?».

«Хорошо говоришь, брат, — сказал Лева и выдернул голову парня из унитаза. — Брату за себя спасибо скажи. Лижи ему ботинки!..»

Тот встал на колени и полез с высунутым языком к башмакам Глеба.

«А вот этого не надо, — твердо сказал Глеб и вздернул парня за плечо. — Посмотри на себя в зеркало, весь в соплях и слезах. Глаза утри, сопля утри. Умойся, потом приходи к столу».

Глеб нарочно говорил отрывисто и сурово, чтобы не дать Лева передумать. Они вернулись к столу. Глеб кивнул остальным головой,

что, мол, все в порядке. Минут через пять пришел парень, умытый, хотя и с распухшим лицом.

Он сел на свое место рядом с другом и молча уставился в тарелку, чтобы не говорить, не рассказывать, не позориться.

* * *

Но Леву они раздражали: «Вот что, — сказал он, — думаю братьям, да и девушкам пора размяться и потанцевать, а вы, дружочки, забирайте свои монатки и уматывайте отсюда. И запомните: дорога в «Nord» вам запрещена. Лева запретил. Предупрежу, чтоб вас не пускали. А попадетесь мне здесь!.. Лучше не попадайтесь. Я понятно говорю?».

Парни поднялись и, вжав головы в плечи, гуськом, но очень быстро покинули зал. Глеб пошел с девушками танцевать, Юлев со своей вывихнутой ногой остался сидеть, продолжая пить. Потоптавшись и немного потискав девиц, которые усердно подставляли под его руки свои выпуклости, Глеб, так и не возбудившись, уже хотел вернуться к столу, как его вдруг остановил юный голос:

«Простите, можно спросить?»

Глеб обернулся. Перед ним стояла очень юная русская пара, наверно, едва достигшая совершеннолетия. Девочка была очень хорошенькая, такая шатенка с кудряшками, да и парень по виду был из хорошей семьи.

«Да, я вас слушаю».

«Простите, — заикаясь внутренне (это было видно), но внешне очень правильно строя слова, — вы не из Таллинна. Видите ли, мы с Ксюшей из Иван-города. Мы приехали сюда на вечер, потом думали найти номер в гостинице. Но, — он сжал губы, но все же произнес, — в один номер нас не пускают. Мы ведь не расписаны. А на два номера у нас нет денег. Вот я и подумал, вдруг кто-то из местных, из таллиннцев, — поправился он, — может нам сдать комнату».

Девушка вцепилась в рукав пиджака своего парня и с надеждой смотрела на Глеба. Глеб улыбнулся ей.

«Нет, я сам приезжий, остановился у друга. Но вот что, думаю, могу вас пригласить к столу, там таллиннцы, с ними и обсудим».

На всякий случай он обогнал пару и спросил Леву, может ли он пригласит пару к ним за стол.

«Конечно, брат, — ответил Лева. — Это наш общий стол».

Глеб махнул рукой парочке, чтоб они подходили. Глазки у девочки засверкали от удержавшихся на столе остатков былой роскоши. Они сели за стол, Лева налил им по рюмке конька и сделал жест, мол, угощайтесь.

Незаметно Глеб свел разговор на проблему юной пары. Юлев отрицательно покачал головой. Девицы снимали комнату на двоих. Там они принимали случайных гостей, но готовы были одну лежанку отдать девушке и парню. Но те сами не захотели. Видно было, что молодые приуныли. Тогда Лева просто так сказал:

«Если не боитесь дядю Леву и не боитесь ехать на окраину города, то комнату я вам выделю».

Что-то в его словах Глебу не понравилось. Он почувствовал в голосе настоящую жесткость, словно стену перед ним поставили. Но за ребят беспокоился. И сказал:

«А давайте все завтра в одиннадцать встретимся на Ратушной. Идет?».

«Это другое дело, — ответил Лева. — Конечно, встретимся. Договорились, брат. До завтра. Спи спокойно. Но запомни: понадобятся деньги или помощь нужна будет, Лева про это узнает и всегда тебе поможет. Ты мне теперь брат».

* * *

По ночному Таллинну, спотыкаясь пьяно, добрел Глеб до дома друга на улице Кундери. Позвонил в звонок на подъезде против фамилии Мумме. Такого в Москве и в помине не было. Это была все же Европа, хоть и советского разлива. Глеб вошел в подъезд, поднялся на лифте на четвертый этаж, прошел вдоль перил в к угловой квартире. Дверь была открыта. Друг его ждал.

Войдя в большую, все такую же буржуазную, четырех комнатную квартиру с гостиной, он нашел Эдуарда именно там. Друг сидел за столом и играл сам с собой в шахматы. Лицо не изменилось, но посветлело.

«Не только жив, московский гость, но, курат, и без единой царапины. И не очень пьян, товарищ Галахов. Выражаю тебе партийное одобрение», — это была эстонская манера шутить.

Как-то Мумме повез его на эстонскую свадьбу в один из хуторов под Таллинном. Из России был один Глеб. Столы шли в круговую через весь деревенский дом. Такого количества еды и питья Глеб никогда ни раньше, ни позже не видел. Жареные поросята, утки, куры, печенка, колбасы, соленые рыбы, напитки высшего класса по тем временам. Но Глеб почувствовал вдруг себя совсем чужим. Пригубил рюмку — не пилоь. Что-то положил в тарелку — не елось. Разговор шел только по-эстонски. Видимо, Эду пожалел его и что-то шепнул хозяину, который вдруг встал и на нормальном русском языке, хотя и с акцентом, произнес:

«У нас, оказывается, гость из Москвы. В его честь я предлагаю тост за Советскую власть... — он сделал паузу, а Глеб с неприязнью подумал, что для них он советский захватчик. Хозяин ещё помедлил и добавил: — за Советскую власть, которая погубит нас не сегодня, так завтра». Все засмеялись, засмеялся и Глеб. С тех пор он принимал этот юмор.

«А я вот жду, — сказал Эду. — Уже три ночи. Думал тебя убили. Но решил подождать до утра. Где тебя сейчас искать было? Хочешь партию в шахматы?»

Пьяному Глебу сошли и шахматы. Но, играя, он рассказал историю своей вечерней посиделки. Тут эстонская невозмутимость покинула друга:

«Как его зовут? Лёва? Лева-грузин? Так это самый крупный бандит в Таллинне, он давно в республиканском розыске. Ты в рубашке родился, что живой ушел...»

* * *

Как-то через месяц после случившегося Глеб рассказал эту историю младшему брату Клавдию. Тот вспыхнул: «Вот, что значит не брат тебе. И нервы железные. Сидел и ждал. Я бы давно на ноги весь город поднял! Брат — это важнее».

* * *

А в тот вечер Глеб вдруг испугался за молодую пару. И досказал историю до конца, что парень с девушкой ушли к Лева, а Лева не назвал своего адреса. Но что у него, Глеба, хватило смекалки, договориться о встрече в одиннадцать утра на Ратушной площади. Утром, выпив кофе и съев утреннюю яичницу, они отправились на Ратушную площадь.

Они подошли к ратуше и встали между колонн. Одиннадцать уже прошло. Глеб нервничал, но пытался перенять эстонское хладнокровие. И вдруг он увидел пару вчерашних юнцов, спешащих к Ратуше. Глеб и его приятель пошли к ним навстречу. Лёвы не было, но лица этих двоих сияли от счастья, особенно у девушки, которая теперь твердо держала своего парня за руку.

«Извините, что опоздали. Нас Лёва завтраком кормил. Он такой хороший, просто замечательный. И комнату дал, и душ там есть, и ни копейки с нас не взял».

«А чего сам не пришел».

«Да хотел идти. А в последний момент сказал, что нет, что бережного Бог бережет. И остался. И вы уж извините, не велел говорить, где он живет».

Так закончилась эта странная «братская» таллиннская история.

Глава 5

Когда наступает тьма?

Глеб думал: «Всегда хотел дом. Первый дом оказался не очень удачным, как бы и не его. Слишком много народа, гостей, пьянок и песен. Когда уходил, оставил дом сыну, понимая, что человеку дом нужен, что без дома человек жить не может. А он, думал о себе Глеб, он справится, он большой, да и сам виноват». И ведь почти справился. Не хватало несчастных ста долларов. Надежда была только на брата.

«Неужели вина моя, беда моя, что я старший? — думал Глеб. — Или это закон природы и социума, что старших убирают? Старший сначала защитник, а потом его надо превзойти, уничтожить. Слабый тип и хищный тип. Русская классика».

* * *

Целый день после утреннего разговора с Клавдием Глеб не мог ни за что взяться. Вроде бы он все понимал, понимал, как социальное положение разводит и друзей и родственников, помнил сказки о бедном и богатом брате, но все мстилось ему, что они другие, что иначе были воспитаны, что книжки те же читали, переживали их, хотели быть благородными, как герои Дюма. А родители хотели видеть их единым целым, мать говорила не раз: «Я тебе Клавдия в помощь рожаю. У вас же разница в двенадцать лет. Пока он маленький, ты ему опека, а потом он тебе всегда поможет». Вспомнил их дружеские разговоры десятилетней давности, вспомнил, как Клавдий хотел дружить с его друзьями. И что он-то все равно любит своего младшего брата, отбрасывая наносную ерунду, и лучше бы не звонить, но почему не попробовать? Всегда есть надежда на чудо преображения. Может, тем самым он преодолеет возникшую пограничную полосу. Кто-то ведь должен перешагнуть через нее. И ничего сверх силы он не просит. Ведь сто долларов для Клавдия все равно, что для него русский червонец. И он снова набрал его номер. Клавдий снял трубку и сказал кому-то по другому телефону, очевидно, мобильному (в те годы вещь богатых).

«Sorry, mister Grisly, I have another telephone call. Yes, ha-ha. I'll call you later». И уже по-русски: «Да, вас слушают»:

Глеб ответил, начав сразу с главного, о чем думал:

«Хочу перешагнуть разделявшую нас черту. Все-таки без твоей помощи не могу. Младший брат — это же тот, кто может, когда старшему плохо, всегда плечо подставить».

После паузы Клавдий ответил:

«Знаешь, Глеб, что я тебе скажу. Ты мог и сам все получить. Ты от предложения Фрязина тогда отказался. Хотел чистеньким и честным остаться. А теперь скулишь. Но ты не приbedняйся. Хотя какая-то правда есть в том, что ты сказал. Когда ты маленький (это я о себе), то в детстве смотришь на старшего брата как на Бога. Он и самый умный, и самый сильный. А вырастаешь, и становится понятно, что ничего-то особенного в нем нет. Даже слабее многих других. Только себя коришь за прежнее глупое обожание. Так и у нас с тобой. Я ведь когда-то преклонялся перед тобой, даже две твоих первых книги проиллюстрировал. Но я хотел тебя превзойти и превзошел. Знаешь, в «Разбойниках» Шиллера мне всегда был ближе Франц, а не Карл, который, как ты, любил пить, гулять, общаться с отребьем. А я был верен родителям, пока они были живы. Ты о них мало думал, а я думал. Повторю известные тебе слова: «У меня все права быть недовольным природой, и, клянусь честью, я воспользуюсь ими. Зачем не я первый вышел из материнского чрева? Зачем не единственный?» Это вопрос вопросов. Я никогда не хотел быть вторым. Меня всю жизнь учили вежливости, учили уступать. А, уступая, сверхчеловеком не станешь. Я хотел переломить воспитание и научиться бить человека по лицу. И первый раз сумел заставить себя это сделать, когда алкаш — хозяин коммуналки, сдавший одну из своих комнат под мастерскую, потребовал сверх оговоренного ещё денег, грозя выгнать раньше времени. Сашка-бездарность, помнишь его? Очень милый парень, из простых, сын армейского офицера, смотревший на меня снизу вверх, предложил, что побьет хозяина. Но я хотел сам научиться. Сашка меня, конечно, подстраховывал. Потом рассказывал: «Ну Клав его с одного удара свалил, а потом разошелся. Руками так махал, что даже я испугался, что прибьет его. В раж вошел. Тот упал, а Клав начал его ногами волновать. Тут уж я его оттащил». Вот тогда я понял, что все смогу, что все пидорасы, а я — д'Артаньян. А ты не сможешь. Да и не смог. Поэтому ты чмо, а я настоящий герой, как в кино».

«Не надо грубить. Я тебе долг верну. Ты же это знаешь».

«Что может отдать селадон? У тебя же, кроме жены ничего нет. А твоя жена тебе в дочери годится. И как на тебя девки падают? Слепу, что ли? Жена ведь твоя тоже в очках?» — будто не знал.

* * *

Жена и впрямь была моложе его, и он к ней относился как к дочери, хотя разница в возрасте была нормальная — 10 лет. Но влюблен он был страстно, он помнил, как когда у них был роман, он звонил ей из Феодосии.

А чувство было настолько сильным, что приводило к поразительным эффектам. Тогда он первый раз догадался о своих странных способностях, о силе мысли — чтобы происходило то, о чем он подумал. Не колдовал, не напрягался, а просто подумал — без нажима и напряжения. Когда сознательно желал чего-то, не исполнялось категорически. А тут исполнилось. Через год после начала их романа он поехал с сыном отдыхать в Феодосию. Их поездка выпала на день рождения Арины. Об Арине сын, разумеется, ничего не знал. Невозможно было ему сказать, что, не расставшись с его матерью, отец завел себе другую женщину. Не любовницу, по сути, вторую жену. Хотя сам сын уже был большой и всюду гулял по Феодосии с девушками. Но в тот день, день ее рождения, придумав какой-то повод, Глеб с утра на час ушел в центр города, где была почта и стояли телефоны-автоматы. Уже с утра была ужасная жара. Во дворе почты толпились люди, но — ни деревца. В помещёнии, где две комнаты занимали автоматы, народу было ещё больше. И хотя окна открыты, дышать почти нечем.

Люди покорно сидели на двух скамьях, подоконниках, на корточках — ждут. Глеб узнал, кто последний звонить в Москву, занял очередь, мысленно подсчитывая, что стоять никак не меньше часа и вдруг увидел, что автоматы в Москву пустые, что в них никто не заходит. Он кинулся к одному из них, в толпящейся очереди засмеялись и посоветовали не торопиться. А пожилая рыжеватая тетка в сарафане раздраженно добавила, что тут все — в Москву звонить. Пусть, де, он стоит и ждет своей очереди, поскольку автоматы сломаны, механик должен был ещё два часа назад придти, но все его нет. Да и пусть пришелец поймет, что очередь вовсе не такая маленькая, как ему кажется, что многие, зафиксировав свое место, просто временно отошли, а так людей раза в три больше. Тогда Глеб, задержавшись у дверей телефона-автомата, оглянулся и понял, что тут стоячки часа на четыре — не меньше. А сын его ждет, и второй раз ему уже не выйти, да и договорились они с Ариной, что он ей утром позвонит.

«Я все-таки попробую», — сказал он просительным голосом, обращаясь к очереди и не желая скандала, при этом понимая нелепость поступка, но чувствуя, что *должен*, что *должно получиться*.

«Пробуй, — сказали ему, рассмеявшись, — тут уже многие пробовали».

Он вошел в телефонную кабину, наполнив ладонь пятиалтынными, опустил, как положено, две монеты для начала разговора, а всего их у него было десять, набрал ее номер, чувствуя стук своего сердца. И хотя гудок еле слышный, но по всем законам его вообще не должно было быть.

Он принялся набирать номер, и рука была тверда и преисполнена энергии. Хотя надежды особой все же он не чувствовал вовсе. Поэтому, внезапно услышав далекие длинные гудки, да ещё с каждой секундой становящиеся все отчетливее, он обомлел, но уже когда услышал ее голос и нажал переговорную кнопку, понял, что пока держит трубку, пока хочет с ней говорить, телефон будет работать.

«Арина! Счастье мое! Поздравляю, — почти закричал Глеб. — Я люблю тебя. Жить без тебя не могу». «Ага, — ответил ее милый нежный голос, который вызывал в нем счастье и желание. — Ага, милый. Я тоже. Я без тебя сохну и вяну. Как ты там отдыхаешь? Как сын?» «Хорошо, — крикнул он в ответ. — Я приеду, и мы всегда будем вместе. Навсегда». «Да, милый, да. Хочется верить».

Он вышел из телефонной будки. Увидев его успех, в нее сразу кто-то кинулся. Но безуспешно. Телефон по-прежнему не работал. Глеб ошалело шел, изредка оглядываясь на разговорившуюся и махавшую руками толпу. Такого с ним раньше не бывало. Явное чудо любви. Или, думал он теперь, вспоминая, странная энергетика мысли.

* * *

Он ответил брату: «В очках, без очков. Какая разница. Я же тебе о другом говорю. О том, что долг отдам непременно».

Клавдий хихикнул: «А чем поручишься, что отдашь? Хотя ты и брат, но я же не могу всех своими деньгами обеспечить. Что в залог? А, может, твою жену? Отдашь? Ведь для нее жилье строишь. Неужели не поймет?».

«Ты, ты просто Калибан!»

«Ну, уж нет, твоим рабом никогда не был. Пока был маленький, тебе в рот смотрел. А теперь ты посмотри! Ты когда-то меня защищал от хулиганов, в школе помогал, в институт устроил. А зачем оставил первую жену? Вот и стал никто. Я, может, месть за твои грехи. Теперь ты мой раб, а твоя Миранда мне утеха! Раз мужа от жены сумела увести, то и его брату даст».

Начитанность Клавдия всегда радовала Глеба, отчасти он и свою заслугу в этом видел. Как сразу Клавдий имя дочери Просперо подхватил! «Бурю» он тоже читал. Хотя сейчас Глеб корил себя за это. В детстве бесконечно начитывал ему, заставлял читать, дарил книги на день рождения: «Клавдию деньрожденному, будущему эрудиту необыкновенному». Так и Просперо учил всему Калибана, пока тот не задумал низвергнуть учителя.

«Пошел на хер! Не смей мне больше звонить», — оборвал Глеб, чувствуя, что предел унижения наступил.

Но прежде, чем он хлопнул трубку, Клавдий успел добавить: «Постой. Ты ведь мне звонил, ты же во мне нуждаешься, а не я в тебе. Так что сам пошел на хуй. И жену ты мне непременно пришлешь! Она меня ещё не пробовала. Ей понравится, вот увидишь. Я ведь моложе тебя и сильнее. Куда денешься — отдашь. Ты же по натуре слабак, тоже мне русский европеец! Ты подхватил где-то это понятие, но не понимаешь, что это такое. Европа сурова. И русский европеец — это я. А ты? На самом деле — ты мой раб, холуй, холоп, хамлет».

«Ты зачем так говоришь?» — тихо спросил старший брат.

«А ты вот приди к моей мастерской, поскули под дверью. Может, и вынесу тебе, так, и быть, сто долларов».

«Пошел ты!..», — ответил, еле двигая зыком, Глеб и положил трубку.

Пустота в душе, так себя чувствует оскорбленные и опущенные. Сердце тепалось. Перед глазами темнота, руки тряслись. Энергетика Клавдия была для него чересчур сильна. Казалось, что мир сломался. Словно времени больше не было. Если бы мог вызвать его на дуэль! Но не может. Дуэлей уже нет, даже не произнесешь такое. Это только повод к новым оскорблениям и насмешкам. Пощечину по телефону тоже дать невозможно. Клавдий чувствует свою безнаказанность, потому что может любую черту переступить. Ему легко жить не любя. А у него есть уязвимое место, ахиллесова пята — любимая женщина. В эту пятау брат и выстрелил. Боль в груди, тоска и отчаяние. Но что он мог сказать или сделать, чтобы наказать за оскорбление? Ничего. От всего такого хотелось в подполье, скрыться от самого себя.

* * *

Но все равно надо было как-то выживать, искать деньги.

Он угрюмо снова снял телефонную трубку, в груди было пусто, а глаза застилала тьма. Словно заколдовало его письмо про тьму, которое он принес из редакции. Может, просто навеяло ощущение, что мир застлала тьма. В глазах темнота. Да и весь мир, вся история человеческая стали казаться созданными из тьмы. Темнота не здесь, не в России, началась, так мир создан. Каин и Авель, Иаков и Исав, Ромул и Рэм, повздорившие из-за укреплений города Рима, после чего Ромул убил Рэма, и восстал брат на брата. А пословица «Залез в богатство, забыл и братство»? Впрочем, эта тема бесконечна у Шекспира, да и у Шиллера в «Разбойниках» о том же, а «Владелец Балантрэ» Стивенсона! А Достоевский с его «Двойником» и двумя Голядкиными!

В письме что-то было о бесконечности тьмы. Да, об этом уже в книге Бытия есть: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была

безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Тьма — первоначало. Перед Творцом стояла задача преодолеть тьму. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Тьма наступает тогда, когда дремлет Бог.

Он все же набрал номер коллеги, заведующего редакцией, решив собрать хотя бы по мелочи с каждого. Начальник Борис долго мялся, потом сказал, что двадцать долларов он ему одолжит, но только через пару дней. Кто-то пообещал десять долларов сразу. Кто-то в ответ хмыкал. В очередной раз положив трубку и пролистывая телефонную книгу, он услышал телефонный звонок. Это был неожиданный, но как бы не ко времени звонок, поскольку звонивший любил поболтать. Это был эстонский друг Глеба, приветствовавший его немного иронически, но уважительно: «Привет московскому мыслителю!».

«Ты откуда звонишь? — сразу прервал его возможный разговор Глеб. — Надолго в Москву. Если с ночевкой, то просто приезжай, а то мне телефон нужен, ещё звонить и звонить».

«Что-то случилось?».

«Мне до завтра нужно достать сто долларов».

«Ну, тогда не звони. Будут у тебя деньги».

Это было неожиданное решение. Глеб сказал жене:

«Эду Мумме в Москве, он даст деньги».

А сам почему-то судорожно стал соображать, как и когда он отдал бы этот долг Эдуарду. Мысли были самые фантастические и абсолютно безумные.

Его вытолкнул в реальность приход Мумме. Глеб открыл входную дверь. Высокий и светлоглазый с поредевшими уже волосами в мокром от продолжавшейся измороси плаще, он вошел, похлопал Глеба по плечу, сказав:

««Ты что, Хлеб Петрович, приуныл? Петровичи должны высоко голову держать! Позволь мне почеломкать твою хозяйку, как вы русские говорите. Но вначале пристрой мой плащ, чтобы вещи не замочить»».

Поцеловав хозяйку, он спросил: «Где мне расположиться? Покажи мне, мой московский друг, где эстонец будет ночь ночевать?»

Глеб провел его в бывшую комнату съехавшего соседа, где жена уже успела застелить диван. Они сели на два оставленных соседом стула, Глеб, поглядел в окно на туманную улицу, задернул линияющую занавеску, тоже оставленную соседом, а Эду поставил кейс в угол и спросил:

«Это и есть на сегодня приют убого чухонца? Курат, чорт, и приют тоже убогий. За него борешься?»

«Да».

«Ну вот и получи сто пятьдесят долларов».

«Это много. Мне нужно сто».

«Ох, знаю я нравы русских взяточников. Пусть пятьдесят про запас будут».

«Эду, ты не понимаешь. Мне и сто тебе будет трудно отдать».

«Вот что значит, что не пустился в свободный бизнес. И не понимаешь, что у твоего эстонского друга хорошая память. И он помнит, что завтра у тебя день рождения».

«Ну и что?»

«А то, что можешь не отдавать. Я хочу сделать такой подарок другу».

С кухни раздался голос: «Ребята, ужин готов».

Эду сразу отправился, большой и шумный, на кухню.

«Ну-ка, хозяйюшка, накорми гостя ужином. Все-таки гость — друг твоего мужа-мыслителя. А товарищ Мумме пока телевизор посмотрит».

Телевизор стоял на холодильнике, они смотрели новости на кухне. Глеб крикнул «Я сейчас!» и прошел в свою комнату положить на завтра в портфель нужные бумаги, пока вспомнил, пока не забыл. Сидя за столом, он перебирал листки. Вдруг он подскочил от крика Мумме:

«А ну-ка иди сюда, мыслитель, послушай, что твой гениальный брат-миллионер по телевизору рассказывает».

На экране Глеб увидел мясистое сытое лицо Клавдия с вздернутой вверх головой, выражением недовольством миром, который все не исправляется, несмотря на его, Клавдия, усилия. Это была программная речь под аплодисменты собранной телевизионщиками случайной публики: «Признать принцип братства более необходимым человеческому обществу, нежели принцип соревнования. Соревновательный характер развития современной цивилизации некогда был объявлен благом — в мире, где девять десятых не допущены к участию в соревновании, этот принцип является субститутром расизма. Так мафия наследует побежденным диктатурам. Критерии и оценки статуса общественного развития должны выноситься, исходя из принципа братства, и только из него. При наличии этих трех компонентов — междисциплинарного критерия оценки, новой эстетики, принципа братства — можно говорить об изменениях, которые оздоровят общество. Или мы примем участие в очередном бунте сытых, осмысленном и беспощадном — и будем именовать очередную резню революцией».

«А почему он против сытых?» — спросил Эду.

«Потому что сам богат. Это на самом деле и есть бунт сытых, когда они делают вид, что за бедных. Страна на вранье стоит, и богатые в мейнстриме: врут, врут и врут. Что-нибудь да останется. Это такая игра, понимаешь? Зачем им бедных уничтожать? Ведь без бедных и богатых не будет. Стало быть, вранье. Кант писал, что антрополог не может судить о богатеях и знати, поскольку они слишком далеки от других людей. Но и просто о человеке! Если б кто мог что-нибудь вообще объяснить, что происходит с людьми! Самая темная тьма — это человек. Единственно ясно, что тьма — от отсутствия любви к другому».

Вместо ответа Эду принялся за ужин, он любил метафизику, но в меру.

Закончив еду, Мумме откинулся на спинку стула и посмотрел с ухмылкой на Глеба. И спросил: «Осуждаешь его?».

«Хотел бы, да не могу. Боюсь судить. Не суди да не судим будешь».

«Какой-то вы несмелый Хлеб Петрович, товарищ Галахов! Большевики нас учили не щадить никого по родственным чувствам. Вот и победили всех».

«Да мне не надо побед».

«В этом наша беда с тобой, дорогой товарищ».

А Глеб думал: «Откуда берется тьма?».

23 февраля 2010

Часть четвертая

Старик



Смерть пенсионера

Рассказ

Есть ли существо гнуснее человека? Где-то читал Галахов, что в одном африканском племени стариков заставляли влезать на высокое дерево. Затем подходили здоровые мужики и трясли дерево. Кто падал и разбивался, тех съедали, а удержавшимся позволяли ещё пожить.

Павел попытался повернуться на бок, подложив руку под подушку, а щеку на подушку, как он любил (самая удобная поза ещё с детства), но боль в спине и ногах лишала его всякой силы. Вчера он был в больнице у отца, куда того положил младший брат Павла Цезариус. Сам Цезариус в Лондоне, а ухитрился в одну из лучших больниц отца положить. Деньги всюду сила. Отцу исполнилось в этом году восемьдесят девять, Павлу — шестьдесят семь. Уже не мальчик, пенсионер, а бегаёт, как мальчик. Здорово он вчера навернулся, когда еле выскочил из-под колес подлой машины подлого нового русского, очевидно, бандита. Машина, шедшая вдали, вдруг прибавила скорость, обогнала шедшую впереди, которая притормозила, пропуская Галахова, и промчалась, почти вплотную к тротуару, словно пыталась сшибить его. Павел успел взойти на тротуар, но зацепился ногой о столбик загородки, как-то неловко крутанулся и упал спиной на металлическую трубу загородки. С трудом встал. Что хотел этот шофер? Неужели и вправду убить? За что?

Павел вспомнил странного дружка из первого класса: звали его Васёк, жил в доме без номера, куда даже милиция боялась заходить (там никто не имел никакой прописки, что для начала пятидесятых было весьма необычно). Он очень стеснялся образованного соседа по парте. Стриженный, как и все, наголо, Васёк стеснялся ещё и лишая на затылке, выевшего часть волосяного покрова на голове. Он очень хотел показать Паше свою значительность, такая защитная реакция бедного зверька. И Васёк выдумал себе принципы. Он переходил шоссе, нарочно замедляя шаг перед быстро мчавшимися легковушками. «Чтобы не нагличали», — объяснял он. При этом шоссе — боковое, в середине XX века почти пустынное, да и скорости тогда были не сравнимые с нынешними. Своими принципами Васёк хотел заслужить уважение Галахова. Потом остался на второй год, а потом Паша услышал, что его бывшего соседа по парте насмерть сбила машина. Теперь он думал о нем, как о правдолюбце, который на свой лад боролся с

сильными мира сего, потому что на скоростях всегда неслись машины властных нелюдей.

От боли Павел не мог заставить себя подняться и вылезти из постели. А потому хотел заспать свою маленькую нужду. Обычно — каждую ночь последний год — промаявшись до пяти утра (ворочаясь, вставая, выходя в туалет, потом на кухне выпивая ненужную чашку чая, которая снова гнала его в туалет), он засыпал, наконец, и спал часов до десяти. Он не умел спать один, и дело было не только в телесной близости с женщиной, которая ещё требовалась, хотя не столь живо, как раньше. Нет, просто в тепле женского тела, а под женщиной последние годы Павел понимал только Дашу, и, не находя ее рядом, чувствовал среди ночи, что ему не хватает половины самого себя. Оставшаяся одна сама по себе половинка ныла и жаловалась, что ей некомфортно. Он пил на кухне ненужный ночной чай и смотрел телевизор. По ночам под утро, как правило, крутили вестерны: ковбои в шляпах с заломленными полями выхватывали кольты и расправлялись с негодяями. Почему-то раньше ему и в голову не приходило, что в этих длинных скачках по степям и горным перевалам герои никогда не испытывают простых человеческих потребностей — пописать, покакать. Разве что пожрать да выпить! А если у тебя к старости запор, да ещё аденома предстательной железы, когда по двадцать минут стоишь в туалете, мучительно глядя, как мелкие редкие капли превращаются, наконец, в вялую струйку. Смог бы ты скакать при этом на лошади и стрелять из кольга без промаха? Как всегда, он заснул перед экраном, очнулся, вспомнил слова Даши, которая в таких случаях обнимала его за плечи и, ведя к постели, приговаривала: «Спать надо лежать». Он шел и ложился в постель, но все равно засыпал лишь, когда начинало светать.

Около девяти он услышал звонок домофона, но сквозь дурноту сна только испытал к звонившему раздражение и полное отсутствие в теле какой-либо возможности встать, подойти к входной двери и нажать кнопку, впускающую в подъезд. Он вспомнил, что сегодня приносят пенсию. Приносит почтальонша с твердым квадратным ртом и бородавками по всегда открытой шее. Потому он и не поднялся на звонок в дверь, знал, что соседка с нижнего этажа возьмет пенсию. Почтальонша все же как-то вошла в подъезд, поднялась на его этаж, позвонила в дверь. Но Галахов затаился. И та отправилась к соседке, бормоча: «Ушел, что ль куда в такую рань».

Эту почтальоншу не хотел он видеть с прошлого месяца. Он тогда ей тоже не открыл. Неохота было на эту пенсию смотреть. Из четы-

рех с половиной тысяч у него две уходило на квартиру, тысячу он по-прежнему отдавал восьмидесятидевятiletнему отцу, а на остальные полторы тысячи живи, как хочешь. На американские деньги это получалось около пятидесяти долларов. Если при этом учесть, что Москва считалась одним из самых дорогих городов в мире, то лучше было ничего не жрать. Павел не грустил. И без того казалось, что чужие дни доживает, дни друзей, которые умерли раньше. Но прошлый месяц, не дозвонившись до него, почтальонша пошла на хитрость.

Соседка с нижнего этажа, молодая, уже в теле, пришла с ней вместе, чтобы подтвердить, что это и в самом деле почтальон: «Вы чего не открываете?» «Даша приедет, сама со мной на почту сходит», — хитрил он. Даша на почту никогда с ним не ходила. Он и сам мог бы сходить, просто никого последнее время не хотел видеть. «Вы будете открывать?» По слабости характера сдался, открыл дверь. И получил! «Даша! Даша! Да нет ее уже в живых! Знаете сами, а придуриваетесь! стыдно, дедушка!» А потом добавила с укором: «Что вы голову, как страус, прячете?! Просто берегла она вас». Даша бы не позволила так говорить с ним или о нем, если б была дома, а он мужик, мужчина позволил эти речи, как последний подлец. А ведь хотели умереть в один день. Он не мог даже вообразить, что с Дашей может случиться что-то плохое!..

Нет, соседка врет! Галахов молча взял деньги у почтальонши, не пересчитывая, сунул в карман домашних мятых брюк, расписался в ведомости — большой амбарной книге. Глаза слезились, им, наверно, казалось, что он плачет, но слез не вытирал. Закрыл за ними дверь, все так же не разжимая губ. Врут нарочно, чтоб мне стало плохо. Даша не умерла, она уехала, оставила его. После Дашиного отъезда и стали слезиться глаза. Обидно, что она не с ним, но она хотела как лучше. Сама живет сносно, и ему помогает. Он ведь нашел пакет, а в нем триста долларов и ее записка. Она писала: «Рада, что у тебя в руках сейчас деньги. Это моя тебе помощь, подарок!». Конечно, уехала. Даже домой не завернула из больницы. Или завернула? Он не помнил. Кажется, прямо отправилась в аэропорт, передав через знакомых, что она все же уезжает в Америку к тому, кто будет о ней всегда заботиться, чтобы Павел ее не провожал. Он был потрясен, обижен, замкнулся и не разжимал губ почти неделю. Никому не сообщил, но все же в тот день к дому подкатили знакомые, заходили к нему, пытаясь увлечь за собой. Он отказался.

Надо подняться, вылезти из-под одеяла, встать ногами на пол. «Пока Даша в отъезде, надо не забывать цветы поливать», — говорил он себе, и это был один из внешних стимулов, заставлявших его что-

то делать. Нельзя умирать в одиночестве. Самая страшная смерть. Днями думаешь, чем себя занять, чем время наполнить. Ну, суп из пакетика сварил, сардельку, которую есть не хочется. Лучше на больничной койке, даже в лагерном бараке, хотя нет, судя по рассказам там уж совсем полное одиночество. Может, Даша все же вернется... Уж очень много она здесь работала. А сама нездорова. Все время давление высокое, так с ним то на лекции, то на синхронные переводы ездила. По утрам жаловалась, что вся разбита, но вставала и ехала. Как она сейчас живет?

Он вспомнил, как Даша рассказала ему в самом начале их романа, что однокурсник сказал ей: «Мужика завела? Или влюбилась?» «Почему?» — удивилась она этой пронизательности, вроде никак себя не выдавала. «Да с тобой можно смело в самые темные подворотни заходить. Не страшно». «Почему?» «Потому что светишься вся!» Это поразительное свойство влюбленных женщин он и сам наблюдал, оно лучше всяких слов рассказывало об их подлинных чувствах. Он стеснялся, что на тридцать лет старше ее, что она ещё совсем юная, думал, что любит его за его знания и ум и мигом разочаруется, когда узнает о нажитых им с возрастом болячках. Как-то машинально, говоря по телефону с ней, с трудом урвав момент для этого разговора, пожаловался на здоровье и даже испугался, ведь что молодой женщине до его болячек! Но она спокойно сказала: «Мне можешь жаловаться!» Это было удивительно и трогательно.

Потом понял, что отношение ее к нему было сложнее. Отец оставил их с матерью, когда Даша была ещё маленькая. И так получилось, что Галахов стал ей и любовником, и отцом, а потом (хоть они так и не расписались) по сути дела мужем. Труднее всего ей было как-то называть его. Наедине, в письмах, конечно, милый, а на людях? Ей казалось, что будут усмехаться над ней, да и самой было неловко звать мужчину много старше ее, известного ученого, просто по имени. И она стала звать его по фамилии — Галахов, сама к этому привыкла, да и все привыкли. Только отец почему-то ворчал: «Она тебя зовет по фамилии, как Наталья Николаевна звала Пушкина». В тот жуткий вечер, когда они возвращались от Лени Гаврилова и их чуть было не убила шпана, он предложил ей руку и сердце, а она в ответ очень по-детски, но твердо: «Галахов, мы с тобой хорошо жить будем». И жили хорошо, пока, пока, пока... Да, пока она его не оставила год назад. И уехала в США. Как нарочно, первая лекция, которую он читал ее курсу, была на тему Америки в русской литературе девятнадцатого века, и он рассказывал, что для русских писателей Амери-

ка казалась тем светом. И Даша пропала для него. Но теперь он утешал себя, что это все же Америка, а не тот свет. Что иногда она там вспоминает о нем.

Она была немного выше его, иногда важно говорила: «Галахов, у тебя теперь высокая дама». Но тут же наклоняла голову и тревожно заглядывала ему в лицо, не обидела ли. И видя, что он не сердится, начинала светиться всем своим круглым лицом, всеми своими ямочками. Как она смешно ревновала, маленькая, что он такой бывалый. Ревновала к медсестрам, когда он лежал в больнице, к продавщицам, улыбавшимся Галахову, к тому, что молодая врач-невропатолог пригласила его в свой кабинет и продержала там почти час. «Да что же я не понимаю, что тебя все хотят!». При этом по первому его зову она бросала учебу, мчалась к нему, жадно и страстно принимала его любовь, хотя порой и бормотала: «Я из-за тебя двоечницей стану». Пока они не жили вместе и он много ездил, стеснялся этого, а брать ее с собой на конференции было трудно, почти невозможно, и он бормотал, извиняясь: «Я взять тебя с собой не смогу». «Я понимаю, я почти и не существую, чувствую себя абсолютно виртуальной». «Такая большая и красивая». «Такая большая, а вся помещаюсь в телефонную трубку». А теперь и в самом деле она стала виртуальной.

Отъезд вдаль всегда напоминает похороны, а похороны напоминают отъезд. Наверно, соседка видела, как Даша все же проехала мимо дома (да, все же проехала!), ожидая, что Павел выйдет, и сколько было цветов и провожающих, потому так и сказала. Среди провожавших он видел атлетическую фигуру Лени Гаврилова. Именно после визита на его день рожденья Галахов сделал Даше предложение. Был писатель Борис Кузьмин, чьи повести нравились Даше. Павел не запретил ей уезжать, он никогда никому ничего не запрещал. Но он не вышел и провожать ее, в аэропорт не поехал. Остальные поехали на машинах и в автобусе, было не только много цветов, но была даже музыка.

С этого момента у Галахова пропала отчетливость разума, он мог много раз, как будто в первый, обсуждать сам с собой какую-то проблему, возникали постоянные провороты в мыслях, воспоминания из разных периодов жизни напльвали одно на другое, первой реакцией на всех людей, на все события стала обидчивость и раздражительность. Мысли путались, повторялись. И сейчас, лежа в постели, он чувствовал, как его давит невнятица прожитой им жизни. А ещё страх пенсионера, что дети не будут помогать. Нет, думал Павел, нет вечно возвращения, Ницше не прав, есть лишь постоянное возвращение человека в небытие. Это вечный путь, проходимый каждым.

* * *

Его дети — от двух браков — не только выросли, но и устроились на весьма оплачиваемые работы. Сын стал менеджером, а потом и директором какой-то пиар-компании. Иногда, грустя, Павел вспоминал, как носился по врачам, отмыливая сына от армии, возил презенты, договаривался с кем-то, чтоб помогли, не тронули. А в аспирантский период работал вечерами, чтоб ему на башмаки заработать (сам и в старых ходит), хотел беседовать с ним, чтоб было интересно, как ему самому было интересно с отцом, заранее придумывал темы разговоров. А как однажды несясь он домой, бросив работу, узнав, что рухнул мост, где — может быть! — мог проехать трамвай, на котором иногда ездил сын! Глаза вытаращены, весь мокрый от ужаса. Теперь сын знать его не знает, разбогател. И унижительное чувство беспомощности, в которой он оказался, рождало обиду. Дочь, которую он устроил в аспирантуру в Швецию, вышла там замуж, родила и вытребовала туда мать. Катя, его вторая жена, уехала, он не возражал. Жену больше волновали всякие бытоустройства и дочкина судьба, что было и разумно, и естественно. Она была женщиной умной и доброй, поэтому, когда Павел написал ей о Даше, она это приняла, просила только не говорить дочке, чтобы та не ревновала отца. Так с Дашей они и не расписались, квартиру в свое время он оформил на Катю и дочку. А Даша оставалась прописанной у матери в Черноголовке. Дочка иногда телефонировала, тогда бывала ласкова. Сын не только не заходил, но даже не звонил. Когда Павел пытался ему звонить, то слышал протяжное: «Пап, я сейчас занят, я тебе потом позвоню». И не звонил. Другой вариант бывал, когда он звонил ему в воскресенье, часов в двенадцать дня: «Пап, ну что ты так рано! Я очень поздно лег. Досплю, перезвоню тебе». И ни разу не перезвонил. Павел и сам перестал ему звонить. Его звонки были похожи на вымаливание милости, а он и впрямь порой с ужасом воображал такую возможность. «Есть ли существо гнуснее человека?» — снова подумал он.

Пенсия была такая, что впору идти побираться. Но не у сына же просить милостыню. Николай Федоров писал, что воскресение отцов — русская идея. Достоевский усомнился и показал, как дети убивают отца, старика Карамазова, каждый по-своему. А теперь дети просто ждут, когда старики свалятся с дерева, чтобы брезгливо их зарыть. И дело здесь не в стыде перед попрошайничеством, а в жизненной установке, точнее, привычке к определенному образу жизни. Еще до его пенсии, Даша ещё была с ним, то есть несколько лет назад они в воскресный день съездили в Александров, бывалые люди говорили, что там 101 километр, всегда бандиты жили, бывшие шпана и воры,

подъезды на ночь не запирают, можно пристроиться ночевать. Павел смеялся тогда: присмотрю, мол, подъезд на пенсионное будущее. Погуляв по городу, посетив музей Марины Цветаевой, доходившей и здесь от бедности, двинулись в чересчур знаменитую Александрову слободу, откуда пошла опричнина.

Зашли в Троицкий собор. В помещении колокольни — синодик Ивана Грозного, перечисление им убиенных — но только бояр, смердов не считал, зато о смердах — в писцовых книгах, как опричники убили хозяина крестьянского двора, затем другого, жен насильничали, дворы после грабежа сожгли, короче, разорение крестьянства.

При выходе из Троицкого собора увидели девочку с чересчур осмысленным взрослым лицом, но маленького роста, темные волосы стрижены под ежик, очень синие глаза, взрослая шерстяная кофта, черные брючки и лакированные черные старые туфли (тоже с взрослой ноги). Павел с Дашей прошли было дальше. Подошла монастырская хожалка, странница, попрошайка и побирушка. Протянула привычно руку: «Подайте, сколько можете, на хлебушек». Павел протянул копеек сорок. Рядом возникла девочка: «Они говорят «на хлебушек», а сами вечером водку покупают. Мы за одной проследили». «А как тебя зовут?». «Катя». «Сколько ж тебе лет?». «Двенадцать».

Была она слишком мала для своего возраста. Павел протянул ей червонец, она деловито взяла и объяснила, что ей теперь и на свечки и на булку с маком хватит. Даша сказала: «Ты бы сняла кофту. Жарко». Та потянула сквозь вырез у шеи лямки нижнего белья: «Не, там у меня ночнушка».

Потом перед службой села между ними на лавку. Свободно болтала обо всем, о себе, конечно: удивительный талант общения. Павел даже поразился этой свободе и открытости, живому языку.

— Мамка в Курган уехала. За мной?.. Мамина подруга присматривает. Иногда мои подружки чего поесть принесут, хлеба, супу (*понятно стало, что, «мамина подруга» не очень-то смотрит, так взглядывает, не померла ли девчонка*). На прошлой неделе на тридцать два рубля мяса мне купили. Я кастрюлю наварила, вкусно было. Варить я умею, мама у меня повар и швея. Папку мама выгнала: уходи, говорит, а то я тебя задушу. Не, я не из Кургана. Я в Москве родилась. Но я папу Сашу не люблю, я больше родного папку люблю, дядю Витю. А Сашка мне ножом за дверью грозился. Я дверь открыла и его как ногой в живот!.. (*Глазки засверкали от собственной выдумки.*) Он убежал. Я сюда недавно хожу. Я крестилась. Отец Андрей крестил меня бесплатно. Неделю назад, — она показала дешевый латунный крестик на бумажной веревочке. — Не,

не здесь. У нас за оврагом у моста церковь тоже есть. Не, я сама к нему пришла. Мамка ещё не знает. Сюда хожу, им помогаю, сёстрам, матушкам, иногда подмету, посуду помою. Они тоже покормят, копеечку иногда дадут. А я себе сайку куплю. Здесь дешёвые. Читать умею, но плохо. Во второй класс только в этом году пойду. Почему раньше не училась?.. А мы бедные, портфель не на что было купить. Нас у мамки пять, ещё два брата и две сестры. Скоро ещё один маленький будет, у сестры Ленки. Её муж ногой в живот ударил, она его просила не пить. Они на диване спят. Братья на топчане, а я на раскладке. Мамка с папой Сашей раньше на диване спали, до Ленкиной свадьбы, а теперь на полу..

Пол-России такие. А у него немного наоборот. Он детям не нужен.

* * *

А чего на пенсию вышел? Не знал разве, что тягостно будет? Хотя тогда он ещё работал и относился к пенсии как дополнительному доходу.

Всю прошлую неделю он ходил в пенсионный фонд, пытаясь добиться повышения пенсии на триста рублей, которые полагались ему по принципу введенной накопительной системы. Скользил по тротуарам, а, переходя шоссе перед замершими на светофоре машинами и вступая на оледенелый поребрик, каждый раз думал, что поскользнется, упадет на спину, и рванувшаяся машина его переедет. А к зданию пенсионного фонда переход и вовсе был без светофора. Кто перебежит, глядишь, и получит пенсию. А не сумеет, то нет ни человека, ни пенсионной проблемы.

Первый раз он пришел туда семь лет назад в конце марта, дня за три до своего дня рождения, к девяти утра. Все документы собрал заранее, и был уверен, что дело это займет полчаса, ну, час. Двери уже были открыты, но когда он поднялся на второй этаж, то увидел бесконечную, длинную русскую очередь из стариков и старух: все толпились перед кожаной дверью, но порядок соблюдался. Сидела женщина с листочком, на котором были записаны фамилии и их порядковые номера. Павел подошел к ней и попросил его записать. «Вы будете сто сорок восьмым», — сказала женщина в капоре. Рядом стоявшая высокая и широкоплечая тетка в ватном пальто пожалала плечами: «Сегодня вы не попадете, дня через два разве по этому списку. В день они не больше тридцати человек принимают». «Ну что вы, женщина, говорите! — возразила первая в капоре. — Бывает, что люди записались, а вовремя не пришли. Тогда те, кто не отходили, могут пройти. Но с вашим номером, мужчина, шансов, конечно, не много». «Когда же приходиться нужно, чтоб в тот же день попасть? — спросил Павел, пони-

мая, что сегодня стоять не будет. «Все, кто в самом начале, к пяти утра приезжают, — пояснили ему. — И ждут до девяти перед дверью».

Но март стоял холодный, и Павел приехал на это стояние только в конце апреля. Протолкался часа три на улице, бегая в дальние кусты по малой нужде, аденома мучила. В восемь утра их запустили на первый этаж, на втором стояли, преграждая путь, охранники. Пенсионный фонд начинал работать в девять. Потом было долгое сидение на лавочке, толкотня вокруг двери, заглядывание внутрь комнаты, чтобы понять, свободен ли *его* инспектор. И непрекращающаяся склока перед этой *важной* дверью: «Мужчина, не лезьте». «Да мне только справку отдать». «Все так говорят. Не пустим. Что, с женщинами драться будете? Я тебе говорю: куда прешь?! Женщины, не пускайте его!» В дверь он вошел где-то около четырех, выкурив перед подъездом несметное количество сигарет, хотя до этого не курил почти полгода. В огромной комнате, уставленной шкафами с бумагами и столами, сидели инспекторы, от которых зависела будущая судьба пенсионера: как скоро будет пенсия оформлена. А ведь были — в отличие от Павла — и не работавшие уже люди. Для них всякое промедление было похоже на катастрофу. Тут же выяснилось мелкое чиновничье воровство. Мало того, что не присылали все пенсионные извещения по почте, как в Америке и Европе, не посещал вас вежливый пенсионный чиновник, пенсию начисляли лишь с момента подачи заявления, а не с дня рождения!

«А если бы я, скажем, полгода болел?» «Нас, мужчина, это не касается. Не мы правила устанавливаем», — ответила молодая, но расплывшаяся нездоровой полнотой девица лет двадцати пяти. Но окончательно ошеломила его женщина в другом кабинете, в котором Галахов попытался выяснить, много ли накопил он за те два года, когда была введена накопительная система. «Да в ваши года уже много не накопишь, — сообщила улыбчивая тетка. — Но вам полагается *срок дожития*, вот и старайтесь его прожить». «Какой ещё срок дожития?» — Павел почувствовал какой-то мистический ужас. «Срок дожития вам определен в восемнадцать лет». Переспросил, не понимая: «Мне?». «Ну, всем пенсионерам с момента получения пенсии». «А если я вас обману и прихвачу пару годков». «Не обманете, умные люди считали. Обычно гораздо раньше умирают».

У его друга Орешина был лысый приятель, старик уже, как им казалось, по прозвищу «комиссар» (Орешин вообще питал слабость к чудакам) — со старческими пигментными пятнами на лысине и по лицу, он пил с ними, орал песни. Павел даже поначалу спяну допытывался, правда ли и сохранился ли у того маузер. Но потом как-то

в один из дней Павлу позвонил общий приятель и сообщил, что «комиссар» покончил с собой ни с того, ни с сего. Причем для верности повесился в лестничном пролете: если бы не выдержала веревка, то наверняка разбился бы. На «Смерть комиссара» Петрова-Водкина нисколько это не походило. Ни тебе красного знамени, ни уходящих в бой товарищей. Жестокая смерть отчаяния.

А другие смерти стариков!..

Но он все же год назад ушел из университета на пенсию. Не стало сил говорить с кафедры, вчерашний любимец совсем потерял контакт с аудиторией. Не интересно стало готовиться. Да и сил не было в переполненном метро ехать к первой паре. И раньше-то выползал из метро еле живой, особенно после пересадки на Проспекте мира, — мокрый, потный, минуты три приходил в себя, одергивая измятый пиджак или поправляя перекрутившийся плащ, — смотря по погоде. А тут ещё дождь, значит, — раскрывать зонт и минут двадцать по лужам до здания универа, когда в голове ещё туман от недосмотренного сна. А потом стали сбываться слова тетки из пенсионного фонда о «сроке дожития».

После отъезда Даши он стал присматриваться к жизни бомжей. Как собирают жестяные банки, кладут на землю, каблуком уминают, складывают в мешок, куда сдают, сколько стоит. Перчатки, дырявые на пальцах, и большая сумка, чтоб рыться в мусорных баках. Вот старик роется в мусорных баках. Бочком. Баки зеленого цвета, обшарпанные. Стыдно профессору толкаться у мусорных баков. Увидел, как что-то бросили в бак разумное, но подехала машина, подняла на магнитах бак, перевернула в кузов, не повезло. Бомж отскочил в сторону, матюгнулся. Ну, подумал Галахов, со мной все же неплохо. Все же дома ночью. Павел видел телепередачу про бомжа, который получал пенсию, сдавал бутылки и стал миллионером. Но, как сказал репортер, места были расхватаны и грязные, жутко пахнущие мужики избивают и гонят чужих, если они пробуют рыться в мусорном ящике. В сообществе этом были свои группы — картонщики, бутылочники, жестяники. Не было Павлу там места.

Профессор вспоминал идею о «хищных гоминидах», о которых писал в середине девяностых некто Диденко. Что, мол, с самого своего зарождения человечество делится на людей и «хищных гоминидов», существ похожих, но биологически другой породы, живущей за счет людей. Тогда Галахов даже мимоходом выступил в какой-то своей статье против этой идеи, как слишком биологизаторской. Нагавкал на Диденко. Нужно искать социальные законы, возразил он. Тогда он был сильный. И не понимал, как по глазам можно узнать хищного го-

минида. Теперь он их видел: на улицах, в транспорте, по телевизору, научился различать. Видел по телевизору министра здравоохранения и социального развития России Михаила З., который сообщил, что по планам правительства деньги на социальное обеспечение рассчитаны таким образом, что мужчина в России должен умирать в возрасте пятидесяти семи — пятидесяти девяти лет, не доживая до пенсионного возраста. Даже щедринский Угрюм-Бурчеев был милосерднее. Он читал указания градоначальника из «Истории одного города»: «Люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по соображениям околоточных надзирательей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек».

Галахов думал о жизни, о хищных гоминидах и полуспал-полубредил.

* * *

Да сны ещё — стали один другого причудливее. Когда Даши рядом не было, в очередной раз уезжала на заработки, ему снился какой-то бред. Как-то приснилась ему мама с безумными глазами. Кто-то стучал дико в дверь чем-то тяжелым, долбил, взламывал, отворачивая филенку — нахально, не скрываясь, не боясь соседей. Он отворил полуразбитую дверь. На пороге мама, глаза безумные как на картине Брейгеля о слепцах, волосы всклокочены, в руках — лом. И бормочет: «Что-то очень мне беспокожно за вас стало. Решила посмотреть, как вы там». И говорит, и смотрит, как живая. А Павел-то при этом помнит, что уже несколько лет, как она умерла.

Вот и сегодняшний сон. Павел знает, что в соседнюю комнату забралось Всё Зло Мира и готовится уничтожить человечество. А у него в нижней, закрывающейся дверкой, книжной полке стоит супероружие, которое только одно на свете способно уничтожить Всё Зло Мира. И дочка из Швеции вернулась ради этого: «Папа, доставай оружие. Только мы можем справиться». А он ещё перед ее приездом дверь в комнату, куда Враг просочился, не просто прикрыл, а снизу в щель большие Дашины портновские ножницы забил, чтоб она не открылась. «Да, — говорит дочке, — сейчас достанем, потом на балкон выйдем, оттуда как раз можно в ту нашу комнату попасть снарядом». И в голову ему не приходит, что и стрелять-то он не умеет, никогда в армии не был. Открывает он дверку шкафчика, а там никакого сверхаппарата нет, а одни книги. «Где же?!» — в отчаянии кричит дочка. А он книгу за книгой выкидывает, гору нагромоздил уже, а за книгами ещё книги — и никакого оружия.

Нет, все же встать необходимо, хотя бы цветы полить. К тому же захотелось пить и в туалет. Глаза по-прежнему слезились, будто плакал. Вытерев их углом простыни, Павел снова попытался подняться, но почему-то теперь не мог даже рукой двинуть, тем более сесть и спустить ноги с тахты. Все-таки он здорово навернулся! В конце февраля, несмотря на быструю смену мороза и легкого таяния, несмотря на наледи на тротуарах, скользкие бугорки и неровности от слежавшегося, стоптанного снега, улицы чистить вообще перестали. Мэр появлялся на экранах только в случае крупных городских катастроф, обещал разобраться, но было понятно, что на следующий срок он не останется, а потому уже не мог заставить чиновников что-либо делать. А без приказа в России ничего не делается. Чиновникам было некогда: они понимали, что не останутся на своих местах после отставки шефа, а потому лихорадочно припрятавали наворованное за годы пребывания у власти, легализовали свои особняки и дорогие машины. До тротуаров ли им было! Вот и падали и разбивались старики и люди что называется среднего возраста.

Надо было ещё полежать, притерпеться. В конце концов, чем меньше пьешь жидкости, тем легче не ходить в туалет. Боль утихнет, и он встанет. Хорошо, когда воет ветер, а ты молод, молод, лежишь, тепло укрыт, читаешь книжку и думаешь, что когда-нибудь будешь вспоминать этот вечер уюта. А когда тебе шестьдесят семь?.. Почему он не передал своей тревожной натуры детям? Никто не зайдет, не навестит. А как квартиру будут делить? Он бы так не смог. К отцу он ездил каждую неделю, а звонил каждый день (мама умерла восемь лет назад), деньгами помогать не мог, как раньше, но старался, приезжая, хотя бы фрукты привести. У отца жила женщина, ухаживавшая за ним. Раньше они с братом платили ей зарплату напололам, а теперь едва мог выделить тысячу рублей, жалкие тридцать долларов. Брат Цезариус поначалу требовал, чтобы он платил прежнюю сумму — шесть тысяч рублей. «Это наш общий отец», — пояснял он свою точку зрения. Но что делать, если получал Павел теперь всего четыре с половиной тысячи, сто шестьдесят долларов, из которых две тысячи платил за квартиру. Цезариус предложил ему продать или поменять свою квартиру, которая ему не по карману, получить некую сумму, чтобы он мог по-прежнему вносить свою половинную долю на оплату отцовской сиделки. Павел отказался. Менять привычную трехкомнатную квартиру, набитую книгами, — трудно было даже вообразить себе. Куда книги деть? Выкинуть? Но так долго жили ими!.. Да и страшновато было. Ему несколько раз звонили, предлагали выгодные обмены, скажем, на двухкомнатную с очень большой доплатой. Но он отказывался, боялся, не верил, бросал

трубку. Слишком много писали, как при таких обменах стариков выкидывали вообще на улицу, если не убивали в пригородном каком-нибудь парке. У брата Цезариуса (поздний ребенок — и странное имя ему отец дал) было три квартиры в Москве, не говоря о лондонских апартаментах, да ещё и родительская квартира была завещана тоже ему.

У него, правда, что-то лежало на карточке, куда переводили зарплату с последней работы. Но деньги эти он тратил скупно, чтобы оставить себе на похороны. Код карточки (с объяснением для чего эти деньги) он написал на листке бумаги, положив ее в верхний ящик письменного стола, надеясь, что первыми по случаю его смерти придут сын или брат. Вот только Дашиных долларов там не было. Подумав о долларах, он весь болезненно сжался. Как там Даша в Америке?.. Ему приснилось однажды, что Даша прислала ему эсемеску, словно уехала не в Америку, а в командировку: «Как ты там, счастье мое? Доклад написал? Скучаю и очень хочу к тебе». Давно ее с ним не было. Даша много раз повторяла ему, что они хорошо жить будут. И жили неплохо, долго жили. Но потом все же она ушла. Как в старых романах о власти золота — так и у них произошло. Ну нет, не совсем так, все же вместе десять лет прожили. Она не только любила его, но и уважала, гордилась его известностью, его книгами. Ни известность, ни профессорство денег не приносили. Конечно, Галахов позволял себе шуточные, хотя и правдивые рассказы, как иностранные коллеги приходили в ужас, узнав, что в месяц он получает триста долларов, спрашивали даже, настоящий ли он профессор. Он смеялся: «Ну не показывать же им мои два десятка книг!». Даша довольно долго смеялась вместе с ним. Работать при этом ей приходилось много. Она преподавала в двух областных вузах, переводила с английского за деньги какие-то научно-популярные книги, да ещё в НИИ имела полставки. И все равно денег хватало от зарплаты до зарплаты. Павел уже не профессорствовал, бесконечно оппонировал ради копеечных денег, да ещё писал книги, на которые надо было доставать гранты. Книги денег не приносили никаких. Он все время удивлялся, как коллеги с гораздо меньшим научным багажом пристроены в жизни много лучше его. Очень часто, когда она долго не возвращалась, он звонил ей на мобильный. Тут было два варианта. Или она не брала свою трубку, и шли бесконечные длинные звонки («выключила звук, чтоб не мешал на лекции», — объясняла она). Павел сам читал лекции и почти никогда не отключал мобильный: профессор всегда со студентами договорится. Или абонент бывал недоступен. А потом она рассказывала, что ее курс перевели в помещенье с тяжелыми потолками, где

мобильный не ловит. Однажды после какого-то совещания он все же часов в семь вечера поймал ее. Она резко ответила: «Не могу сейчас говорить. Начальник дает ЦУ. Приду поздно». Павел вначале ревновал. Но что он мог поделывать! И перестал тревожить ее в те дни, когда она уезжала из дому на службу. Даша бегала по всем этим работам, хотя ее мучило давление и, что хуже, какие-то женские неполадки. Иногда головы поднять не могла, но вставала и говорила: «Пока человек ходит, он должен работать. Мне же деньги за это платят. Откуда мы их ещё возьмем».

А Павлу оставалось беспокоиться за нее, ходить в аптеку, тихо выгуливать ее в выходные дни. Потом она нашла работу с поездками. В Сибири платили больше, особенно в нефтяных местах, она вдруг стала привозить оттуда немалые деньги и дорогие подарки. Это в России было принято, Павел не удивлялся. Но когда ее не стало, он нарисовал себе картину, что какой-то из не очень крупных нефтяных магнатов, все же миллионер, пленился и красотой зрелой женщины, а главное, ее умом, что для него, человека с образованием, было тоже важно. Даше было тридцать семь, ещё самый возраст для женщины! Да и устала она, понять можно. Болела очень, а за границей и лекарства, и врачи — любого в порядок приведут. И она уехала в США — жить со своим новым русским, думал Павел. Ему казалось, что раза два Даша присылала ему в помощь не то двести долларов, не то триста. Но где они? Как он их не искал, найти не мог. Потом известий от нее не стало, и тогда он сам для себя решил, построил сюжет, что богач, новый русский, прогнал Дашу, что она одна, бедствует в этой богатой Америке, живет в ночлежке для бомжей, но написать об этом, тем более вернуться — не может. Стыдится. На самом-то деле ей бы самой как-то надо помочь, что-нибудь из пенсии откладывать, найти эти дурацкие, неизвестно куда завалившиеся доллары. Но на какой адрес их послать? Записки и доллары она передавала с оказией, приходили какие-то странные люди, приносили послания и исчезали, а ему ни разу и в голову не пришло взять их координаты. Спасибо, что хотя бы зашли.

Да-да, как в романах когда-то им любимого Бальзака. Все понятно, ему как раз исполнилось шестьдесят шесть, когда он остался один. А теперь ему — шестьдесят семь. В этом возрасте умерли оба его деда. Он лежал на спине и чувствовал себя Грегором Замзой, неожиданно превратившимся в насекомое-паразита. Ungeziefer, — вспомнил он немецкое слово. Неужели пенсионеры сродни паразитам?

Соседи редко заходили. У всех свои дела. Но отношения *теплые*, то есть *здрасьте* и улыбки при встрече, иногда в Новый год зайдут с

рюмкой или к себе зовут чокнуться. Случайные встречи в дверях или на площадке...

Раньше слово «пенсионер» чем-то напоминало ему слово «легионер». Пенсионер — это легионер на покое. Он один в трехкомнатной квартире. Все есть, а нищета. На Западе профессора на свою пенсию по миру катаются, а куда я доеду на трамвае? До парка — посидеть на лавочке? Так это тоже не жизнь, а умирание. Теперь понимал он долгие старушечьи разговоры на лавках, над которыми пошучивал раньше. Их попытки вмешаться в чужую жизнь, на что так досадовала молодежь, было простым желанием оказаться кому-то нужным и тем сам наполнить жизнь, продлить ее.

Так был ли он легионером? Студенты ждали от него какого-нибудь решающего слова, но его отпугивали все прошедшие по мировой истории полубессмысленные революции и движения, убивавшие десятки миллионов за те слова, которые через двадцать лет уже всех сместили. А дети хотели действия, активизма. Или хотя бы нового учения. А своего слова, которое требовало бы развития, у него не было. Были точные наблюдения, угадывающий анализ, из этого системы не построишь.

* * *

Какой уж там активизм! С постели слезть не может. А ещё и лекарства надо принять: ноотропил, сермион, декамевит, сиднофарм — всё, что по бесплатным рецептам получал. Сил только встать нету. Надо же так удариться об эту железяку! Он дотронулся рукой до болевшего места на спине чуть выше поясницы. Было больно, но, похоже, обошлось без перелома. Потому что боль была переносима, как от ссадины. Где-то он слышал, что если перелом, то дотронуться нельзя. А дотронуться можно, хотя синяк, конечно, будет. Так что паниковать нечего! Не из-за синяка же вызывать врача! Да и неловко привлекать внимание к своей особе. К тому же запах!.. Омерзительный запах, такой, что трудно дышать. Хотя и говорят, что собственной вони человек не замечает, но газы отходили, окна были закрыты, и Галахов поневоле оказывался в закрытом пространстве, где травил сам себя собственными отправлениями. Хорошо бы встать, в туалет сходить, но ещё и окно приоткрыть. Как-то исхитрившись, они с Дашей, до ее отъезда, сделали пластиковые окна, чтобы уличный шум не очень доставал. Но, закрытые, окна и запах не выпускали на улицу.

Почему он такой нерешительный? Слишком уязвим.

Себя он порой чувствовал мужчиной по имени Золушка. Всегда мучило чувство бесконечной ответственности. Подростком, открыв

перочинный нож, ходил к парку встречать с работы маму, боялся за нее. За всех боялся. О себе не думал, думал, что сам всем обязан, а потому по мере сил надо отдавать долги. С первой женой Леной долго не мог разойтись, хотя любовь давно кончилась, домом она не очень-то занималась, даже посуду после гостей он мыл сам, к его книжным занятиям она относилась вполне иронически. Но он не уходил, хотя роман с Катей привел к рождению дочки, не уходил, потому что обязался быть с ней, исполнять ее прихоти. В детстве младший брат Цезариус был королем во дворе, знали, что старший брат выйдет в любую минуту и расправится с обидчиком. А как он этого брата устраивал в институт, возил к влиятельным знакомым, переписывал статью одного из них и публиковал в журнале, где сам тогда работал: от этого человека зависела оценка сочинения. Прибегал и позже, когда тому грозила опасность. Потом брат завел большое коммерческое дело в масс-медиа, вышел на международный рынок, тогда Павел стал ему мешать. Несветскостью, что ли? Вначале, приглашая к себе, дверь не открывал. А потом, не извиняясь, говорил, что ему было некогда, что у него была важная встреча с западными людьми. Ужасное ощущение — стояние перед запертой дверью, в которую даже записка не всунута, что, мол, приду тогда-то. А потом и вовсе перестал приглашать. Деньгами он ворочал немалыми, но Павла все время упрекал: «Тебе хорошо, ты живешь на зарплату, ежемесячно получаешь деньги через кассу и ни о чем не заботишься. Попробовал бы ты жить, как я! У меня нет гарантированной зарплаты». Теперь Павел получал *гарантированную пенсию*, а брат, став типичным русским миллионером, перебрался в Лондон, где собирались российские олигархи. Хозяин жизни! Вот и к отцу его погнал, как мальчишку, наставительно и требовательно говоря в трубку: «Если я могу из Лондона положить отца в больницу, то, кажется, ты можешь хотя бы раз в день к нему съездить, навестить. Ты же пенсионер, ничем не занят». Разница у них была в пятнадцать лет, молодость Цезариуса пришлось на перестройку, он сумел в новую жизнь вписаться. И не желал думать, что брат уже больной старик.

Все заняты сиюминутным, словно не понимая, что скоро умрут. Его часто посещало странное чувство. Глядя на смеющегося старика, работягу, засовывающего в карман бутылку водки и торопящегося на пьянку, женщин, рассуждающих о каких-то покупках, больных в поликлиниках, человека, радующегося обновке, он все время воображал, что они все они живут, как для вечности, а на самом деле для дуррацких пяти минут. Живут так, словно всегда будут жить, словно им никогда не приходила мысль, что настанет момент, когда их на этом

свете не станет... Ну и что же? — спрашивал он себя. — Сразу кончать самоубийством? Уж лучше жить так, что твои пять минут и есть вечность. А что есть вечность? Гениальная идея Андерсена в «Снежной королеве», что вечность нельзя сложить из льда, сотворить ее ледяным холодным сердцем. Она требует сердечного тепла. В той мере, в какой она возможна, она создается временно, любящим сердцем.

Как же она решилась на отъезд? Он с трудом мог это вспомнить. Перед тем, как уехать в Америку, Даша стала худеть, слабеть, но работать продолжала. Потом сказала, что ей предстоит небольшая операция, по женской линии, и неопасная, добавила она. «А может, и в Америку уеду, — странно улыбалась она. — Уж там точно перестану работать. Устала очень. Надо и отдохнуть».

Он старался не слушать этих ее слов. Неужели она может его оставить? Наконец, она отправилась в больницу, просила ее не провожать, мол, скоро вернется. Беспокоилась, чтоб он без нее вовремя принимал лекарства. Он принимал лекарства, на душе было горько, как будто пил какие-то горькие микстуры. Один раз она позвонила, беспокоилась, как он себя чувствует. А он ещё переживал, что перестал быть тем любовником, «фантастическим любовником», как она когда-то ему сказала, что постели у них уже по-настоящему не было, по его вине. Его ласк хватало теперь очень ненадолго. Конечно, она ещё молодая, ей нужно что-то другое. Однажды он сказал ей это и услышал в ответ: «У тебя плохое настроение. Но зачем ты обижаешь меня? Мне же больно». Когда она говорила ему, что он нужен ей любой, он по мужской глупости не очень в это верил. И оказался прав, она все-таки оставила его. В тот день, когда это произошло, ему было очень плохо, он думал, что умрет. И радовался этому. Но не умер, просто стал передвигаться с трудом. Что-то в этот день ещё было, но он забыл и не хотел вспоминать.

На следующий день после ее отъезда Галахов выполз на улицу, соседи смотрели на него странными глазами и сочувствовали ему. Подальше от сочувствий он пошел в царицынский парк. Прошелся мимо императорских дворцов, вышел к большому пруду, сел на бревно среди деревьев, тупо смотрел на воду, которая казалась ему бездонной. Спрашивал себя, мог бы он броситься в воду и утонуть. Но он же не Офелия и не Катерина, он — мужчина. Стоял поздний теплый август, деревья были зеленые, а у него болело сердце, и Павел с тревогой спросил себя, доберется ли он до дому. И тут, вертя тощим хвостом, подошла к нему черная узкомордая и, очевидно, немолодая дворянка и принялась вдруг тыкать носом ему в руку и просительно заглядывать в глаза. Он машинально погладил ее по загривку, она затихла и при-

тулилась к нему. Потом они сидели, Галахов чесал ей машинально то за одним, то за другим ухом. А когда он отправился домой, собака за ним последовала. Прогнать ее не было сил, она была такая умильная. Он назвал ее Августой — по месяцу находки. Спала у него в ногах, он кормил ее тем, что оставалось от его еды, чаще всего заливал овсянку мясным бульоном, сваренным на костях. Она смотрела на него и все понимала. Благодаря ей, Павел стал гулять утром и вечером.

Но ему было грустно. Глядя на тощий хребет Августы, он невольно вспоминал (начитанность не уходила) старика Смита из «Униженных и оскорбленных» Достоевского и его исхудалую собаку Азорку. Смерть Азорки оказалась предвестием смерти старика.

* * *

Спина болела, когда он пытался повернуться. Может, все-таки врача вызвать? Но из «академической» перестали выезжать, а из районной придет толстая тетка и, глядя в другую сторону, начнет ворчать, мять спину и прописывать антибиотики: она считала их средством от всех болезней. Хотелось прежней молодой независимости, не хотелось стариковской униженности, уязвленности. Ведь он ещё не старик! Его ещё нельзя загонять на дерево! Но уже что-то подобное чувствовалось ему в равнодушии и пренебрежительности врачей.

И он уже сам замечал, что тон его становится, нет, ещё не заискивающим, но зависимым. Принять, проглотить чужую грубость. А не возмутиться как раньше. Потому что деваться некуда. Вот и месяца три назад, он сидел перед кабинетом зубного врача. Правая челюсть отяжелела, как свинцом налита, рот с трудом открывается. Кабинет закрыт, врача все нет и нет. Пошел стукнуться в ординаторскую, благо, на том же этаже, узнать, пришла ли Валентина Петровна вообще на работу. Открыл дверь. В маленькой комнатке со шкафами толкотня белых халатов. Увидел своего доктора, автоматически поздоровался, мол, «здрасьте, Валентина Петровна». Высокая тетка в плаще, стоявшая в центре группки других теток в белых халатах, вдруг властным и грубым тоном оборвала его: «Куда претесь?! Вы все скоро в туалет за нами ходить будете. Не видите что ли, что это наша комната?!» И вдруг Павел с ужасом услышал свой голос, услышал, что он, как и положено старику, испуганно пробормотал, стараясь при этом казаться вежливым: «Простите, я не хотел никого обидеть».

Нет, надо лечиться народными средствами. Но какими? Он вдруг вспомнил давний разговор с приятельницей, эмигрировавшей несколько лет назад в Германию. То есть она уехала с мужем, который получил там двухгодичный контракт. Но когда он собрался вернуться

и сказал ей об этом, она ему бросила (потом этот ответ долго по эмигрантским кругам ходил): «Ты меня Родиной не пугай!». Развелась с ним, нашла немчика и осталась. Так вот, как-то подхватив не то грипп, не то простуду, Павел пил разные лекарства, как вдруг позвонила Майя. Дальше произошел разговор, прямо для современной пьесы: «Болеешь?» «Болею». «Что с тобой?». «Простуда, кажется». «Чем лечишься?» «Народными средствами». «Помогает?». «Не очень-то». «Может, народ не тот?»

Нужен хотя бы глоток чаю. Чашка стояла у постели на краю комода. Он потянулся, не достал, надо было немного приподняться, подтянув тело, чтобы спина опиралась о подушку. Тело слушалось плоховато: вот, что значит никогда не занимался спортом, да и толщину нажил, тяжёл слишком. Он попытался сделать упор на локти, действуя силой плеч. Это удалось. Правда, сползло одеяло. Но это пустяки. Он поднял чашку, сделал глоток, но тут же вспомнил, что придется идти в туалет. А сможет ли? Невелико пространство, но сегодня для него немалое. От этих мыслей, чашка в руке дрогнула, желтоватая чайная жидкость выплеснулась на наволочку подушки. Совсем противно стало. Чем-то старческим потянуло от этого желтоватого пятна. Надо бы не просто до туалета дойти, но и наволочку сменить, ещё и отцу позвонить. Что за глупость! Вчера же ещё, уже после падения, он ходил, даже за квартиру в сбербанке платил. Болела спина, но боль пересилить было возможно. Эх, если бы какая красивая девушка на него глянула (а лучше — Даша!), он бы непременно встал и все сделал.

* * *

А какое у него ещё дело? Недописанная книга, где он проводил странное сравнение между переселением народов в четвертом-пятом веках нашей эры, когда варвары потянулись в цивилизованные римлянами части тогдашней Ойкумены. Теперь русские сотнями тысяч едут в Европу и Америку, ругая почему зря эту цивилизацию. Вроде его брата Цезариуса, который в России бывает лишь наездами из Лондона, но поскольку сохранил российское гражданство, эмигрантом себя не считает. Все на Запад прут — и богатые, и бедные, надеясь разбогатеть. А в Россию — люди с Кавказа и из Средней Азии. У них во дворе уже пару лет вместо русского пьяницы-дворника работали мальчишки-туркмены, тщательно метя и чистя двор.

Ладно, не о книге надо думать, а как до сортира добраться.

Зачем мои книги о толерантности, о наднациональной идее России, когда в Москве и Питере убивают таджикских девочек, убийц

оправдывают, в крайнем случае дают срок как за мелкое хулиганство, а молодые скинхеды кричат об уничтожении всех нерусских. Вот и до русского фашизма дожили. И ведь не фашизм, а обыкновенный русский бунт, когда режут всех.. На этой идее даже Третий Райх не построишь. Смерть не строитель. Хорошо, что дочка моя в Швеции, внучка там и жена Катя, а Дашу ее новый русский вывез в Америку. Ругают новых русских, а они шкурой чувствуют...

Но его-то сейчас это не касается. У него простая задача — вылезти из постели и дойти до туалета. Не мочиться же в постель. Тогда он здесь вообще лежать не сможет. А кто к нему придет? Никто. Сослуживцы бывшие в лучшем случае на похороны скинутся, да на кладбище придут. Друзья? Их так мало осталось. Столько уже приятелей, едва к пятидесяти подходило, умирало. Двух он даже считал близкими друзьями. Только один человек звонил ему постоянно — друг детства и ровесник Лёня Гаврилов. Он рассказывал анекдоты, вычитанные в «Комсомольской правде», в основном эротического содержания, повторяя: «Старичок, мы должны держаться. Жизнь ведь продолжается. Послушай, что пишут: «Если мужчина четыре раза сходит налево, то по законам геометрии он вернется домой». А? Ха-ха! Нас ещё рано в утиль-сырье. Слышал про Давида Дубровского, из ваших, из гуманитариев? Ему семьдесят четыре, а жене двадцать четыре, они уже ребенка сделали. И мы, старичок должны держаться. Главное — не раскисать! Ну, хочешь, я тебе альбом сделаю с Дашиными фотографиями? Может, тебе легче будет?». Да, ему не нужна была никакая другая женщина, кроме Даши. Спасибо Лёне, что звонит. Отец последние годы никогда ему не звонил, всегда ждал его звонков, часто ему пенял: «Ну, ты ещё молодой. Мне осталось уже немного. Поэтому мне можно жаловаться, а тебе ещё нельзя». Что ж, получил свое. Когда они только начали жить вместе, он ворчал. «Я ведь умру раньше тебя», — говорил он. «Это никому неизвестно, кто когда», — очень серьезно отвечала она.

А потом она уехала, и этот разговор потерял смысл. Только одно осталось: чувство потери, да и говорить теперь было не с кем. Уже давно, чтоб создать себе эффект общения, он звонил бывшим сослуживцам вроде по делу, но как бы между прочим заговаривал и о бытовых вещах. Те охотно отвечали, советовали, но сами не перезванивали никогда. Утешала Августа своей и в самом деле собачьей преданностью. А куда ей было от него деваться! Здесь все же кров и пища. Была она даже трогательна в своей забитой привязанности. Собака была загнана в своей несчастной бездомной жизни, вздрагивала от каждо-

го шороха в квартире. Когда однажды Павел уронил на пол торшер, Августа так перепугалась, что не знала куда забиться, даже под комод пыталась, пока не заползла в узкую щель под тахту. Оттуда Павел ее потом едва извлек. Зато слыша шум шагов на лестничной площадке, Августа принималась отчаянно лаять, защищая себя, свою слегка наладившуюся жизнь и человека, пригреввшего ее, отпугивая воображаемых врагов.

Нет, все не о том он думает. Надо сползать, не вверх на локтях, а наоборот боком из-под одеяла — и на пол. Пусть даже на четвереньки встанет. Все равно никто не видит. Прежде, чем начать сползать, он оглядел комнату, нет ли чего полезного для сползания. Горел над головой ночник, за окном уже было темно, светились окна двенадцатиэтажного общежития напротив: с отъезда Даши он шторами пользоваться перестал. У окна на столе мерцал экран не выключенного компьютера. Может, послать сразу по нескольким адресам письмо: «Помогите, мне плохо!» А что плохо — спина болит? Но это надо преодолеть, в конце концов, он все мог преодолеть. Около стола валялась груда книг, которыми до больницы пользовалась Даша, переводя очередную книгу, так он эту груду и не разобрал, год прошел, а он все никак не опомнится. Единственно, что он запретил тогда очень жестко: он запретил себе спиртное. Он помнил, как запил его друг после смерти жены, и через год был конченный человек, а там и умер. Хорошо, что Даша не умерла, а нашла себе богатого мужа, который вывез ее отсюда. Нет, Галахов не смерти боялся, боялся пьяной пошлой смерти, когда с улицы приходят бомжи-собутыльники и шарят у мертвого по карманам и в столе, не осталось ли на выпивку.

Да, комната без Даши совсем захламлена. Больше всего у него заставлен комод. Кроме чашки чая, будильника, валявшихся блокнотов, шариковых ручек, поводка для Августы, там стоял ещё и телефон в стиле ретро начала XX века, подаренный ему сослуживцами, когда он уходил на пенсию. Зачем он это сделал? Ведь знал, что на пенсионные копейки прожить нельзя. С тех пор они существовали на Дашины заработки и тратили пенсию на квартплату да на помощь отцу. До того момента, как Даша покинула его. А три дня назад его покинула и Августа. Побежала куда-то в кусты, да так и не вернулась. Звал он ее понапрасну. Ходил по соседям, спрашивал, не видел ли кто. Однако нет, никто ему помочь не смог. А молодая толстотелая соседка с большими грудями, жившая этажом ниже, сказала: «Да успокойтесь, дедушка. Может, ее бомжи покончили, на шапку. Да вам теперь легче будет, не придется утром и вечером с ней по улицам таскаться!»

* * *

Слезая с постели, он все-таки упал. Встав на четвереньки, Павел попытался подняться на ноги. Проклятый шофер! Неужели задавить, или, точнее сказать, убить хотел? Или просто поугагать? Тот, кто в машине, по сути дела, — «человек с ружьем» против безоружных. Хорошо хоть успел из-под колес выскочить. Прав был Васёк, его сосед по парте в первом классе. Он уже тогда понял, что шоферню следует обуздывать. Старик все же поднялся. Держался за притолоку двери, потом за стенки коридора. В туалете стоял, упершись головой в стенку перед собой. Его мутило, ноги подгибались. «Кажется, моя ветка трещит», — мелькнуло мимоходом и, слабея, он завалился на кафельный пол. От холода кафеля через время очнулся. Лежал и готовился помирать. «Это мне наказание, — сказал он себе, — за то, что другого старика стяхнул с его ветки».

Вчера выгнал он с лестничной площадки между этажами бомжа Александра Сергеевича. Между их этажом и следующим ниже, угнезвился бомж. Запах от него стоял понятно какой. Из дверей квартиры стало трудно выходить. Он с позапрошлой зимы там прижился. Даша тогда его добром просила, в милицию звонила, спрашивала, где в нашем районе специальные приюты для бездомных. «Нету таких», — ответили ей менты. «А по телевизору рассказывали...». Те рассмеялись: «А вы что, всему, что в телевизоре рассказывают, верите?»

Но стояли морозы, гнать его было невозможно, Даша стала, как приبلудному псу, выносить ему еду. В разговоре он сообщил, что его зовут Александр Сергеевич (поначалу они решили, что врет, что во всем Пушкин виноват, но он паспорт показал — верно), что он бывший учитель математики, что ему шестьдесят шесть, уже три года не работает, а их подъезд выбрал, поскольку прописан на втором этаже, но бывшая жена и дочка его в квартиру не пускают, а он, однако, здесь по праву прописки. Во время разговора Даша заметила, что три пальца на руке у него черные, спросила, что это, он ответил, что, наверно, отморозил. Тогда Даша вызвала «скорую», его забрали, но следующим вечером он снова был на своем месте, объяснив, что его в больнице помыли, дали переночевать, утром покормили — и выгнали. Вот он снова здесь и обретается. А на пальцы они даже смотреть не захотели. Даша снова вызвала «скорую». В этот раз приехала милая широколицая женщина, но с твердым выражением на лице, — такая, любимая Павлом разночинно-интеллигентская уверенность в себе, привычка настаивать на достойном. По просьбе Даши она посмотрела пальцы Александра Сергеевича, не снимая резиновые перчатки, как и было положено врачам «скорой».

«Да, — сказала, — температура, воспаление, может дальше пойти, на начало гангрены похоже. Пойдет дальше — придется руку резать».

Даша умоляюще посмотрела на нее. «Понимаю, — пожалала та плечами, — но нам запрещено бомжей госпитализировать. Всех больных перезаражать могут. Кто знает, что они на себе носят. Ладно, беру на себя. Уговорю нашего хирурга». И Александра Сергеевича увезли, не появлялся он долго, уже Даша уехала, а его все не было. И вот явился. Вернувшись на площадку, рассказал, что месяц пролежал в больнице, руку ему вылечили, потом где-то скитался почти год, а идти все равно некуда. Пока бомжа-пришельца не было, соседи выяснили его историю. Оказалось, что и впрямь он в квартире на втором этаже прописан, пришел добродушный участковый, проверил паспорт: прописка правильная. Но вселять отказался, поскольку насильно к жене поселить его не может, тем более и ситуация сложная — там коммуналка, соседи тоже протестуют. Конечно, сначала жену ругали — стерва! Двери она никому не открывала, смотрела в глазок, кто звонит. А потом пошли по соседям и узнали. Александр Сергеевич лет пятнадцать назад бросил ее с малолетней дочерью и ушел к овдовевшей генеральше, ушел и забыл, ни разу не появился, денег ни копейки не посылал, дочку сама растила, а работала всего-навсего на почте. Жила весьма бедно. Что там с генеральшей произошло, но год назад А.С. снова явился. Бросив жену, из квартиры он не выписался, формальное право имел вселиться. Однако квартира была двухкомнатная, коммунальная. В одной комнате брошенная жена с дочкой, в другой — соседи. Пускать его было некуда: только к себе в комнату, чего она не хотела и боялась. Ситуация безвыходная.

И вот вчера он сам страхнул старика с дерева. Хотя А.С. был и помоложе его, но тоже пенсионер. Пришла соседка из квартиры напротив, позвонила вчера вечером Павлу в дверь. «Вы все же мужчина, Павел Вениаминович», — она улыбнулась немного иронически, — а у меня просто сил не хватит, да он меня и не слышит, потому что слово женщины для него не существует, он ведь женщин за людей не считает. А вы, хоть уже и в возрасте, но вид внушительный. Может, он вас хоть испугается. А то прихожу домой, квартиру отпираю, запах, сами понимаете, но мы вроде притерпелись, но ведь он прямо по лестнице вниз от моей квартиры, весь мне виден. Вчера пьяный напился, валяется, ширинка растегнута, хозяйство наружу. Видно, перед тем, как отрубиться, онанизмом занимался. Таньке моей пятнадцать лет, ей такое ни к чему видеть. Я вчера его пинками подняла и на улицу выгнала. А сегодня прихожу, он снова с бутылкой в обнимку и мне кулаком грозит, да ещё какую-то блохастую собаку с собой привел».

При слове «собака» Павел даже вздрогнул. Но соседка поняла и отрицательно, с сочувствием покачала головой: «Нет, не ваша. Не Августа. Так поможете?» Никогда Павел не умел людям грозить, тем более выгонять их, да и драться, если честно сказать, тоже не умел. Он и представить не мог, что должен сказать А.С., чтобы тот ушел. Он вышел на площадку в теплой домашней куртке, которая уширяла и без того его широкие плечи, к тому же в ней он чувствовал себя мужественнее (бывает такая одежда), посмотрел на А.С. сверху вниз как можно мрачнее и произнес неопределенно: «Шел бы ты, мужик, отсюда, чтобы хуже не было». Кому хуже? Но божм вдруг засуетился, сунул бутылку в отвислый карман драпового вонючего пальто, встал, подобрал подстилку и суетливо побрел вниз. Ветка надломилась, и старик упал с дерева.

А другой старик вернулся в свое жилище, думая, что сам он насколько не лучше. Прошло два дня. Одиночество давило его. Исчезнувшая три дня назад собака Августа стала казаться каким-то страшным зовом судьбы. Он ее искал целый день, звал, но она не вернулась. Без нее квартира стала совсем неудобной. А после вчерашнего падения, он чувствовал себя словно выбитым и из того физического состояния, которое поддерживало в нем жизнь.

С трудом он начал подниматься с кафельного пола, но руки-ноги подгибались. Хотя бы доползти до комнаты, до телефона, приказывал он себе. Но сил не было. Павел лежал, из глаз катились слезы. Похоже, что на этот раз он в самом деле плакал. Плакал о совершенно непонятно зачем прожитой жизни. Все же он приподнял голову. Зачем? Чтобы встать? И вдруг усилием воли встал. Голова кружилась, он с трудом сохранял равновесие. Потом ощутил, что ему стало трудно дышать, грудь сжималась при каждой попытке вздохнуть, от жуткой слабости подгибались ноги, спина покрылась потом. Ему стало страшно, он ослаб, снова сел на пол. Но даже ползком он уже не мог добраться до телефона.

* * *

Его душа ещё блуждала по Земле, сорок дней ей было предназначено скитаться здесь до ухода на небо. Он умер, но ни брат, ни сын не интересовались по-прежнему ни его жизнью, ни смертью. Спихватился отец, которому он перестал звонить. Дозвонился до внука, то есть сына Павла, брат, как всегда, был в Лондоне. Сын ответил, что занят, что ему некогда, но все же приехал, взломал с милицией и людьми из ЖЭКа замок, вошел в квартиру. Оттуда позвонил дяде в Лондон

(они все же иногда общались), тот сказал, что похоронить надо по-человечески, что он пришлет три тысячи баксов, но особо оповещать и собирать народ не надо. А то слишком много хлопот. И без того кто-нибудь да придет. Народу и впрямь было немного.

И Павел видел свои скудные похороны, видел, что ни брат, ни отец, ни сын на похороны его не пришли. Впрочем, брат и денег обещанных не прислал. Был друг детства Леня Гаврилов с женой, он привел нескольких общих знакомых, писатель Борис Кузьмин высокопарно говорил о трудности оставаться человеком в этой жизни, которая, добавил он вдруг афоризм, «вовсе не школа гуманизма». Старый бабник Томский пустил слезу, сказав: «Павлушка, ты был хороший. Мы скоро за тобой последуем. Но тебе-то наверно небо определено, а куда нас отправят?»

И снова заплакал. Пришло также несколько бывших сотрудников Галахова. Даши не было. И Павел заглядывал в лицо всем пришедшим в безумной надежде, что вдруг обознался, вдруг она просто в другой одежде. Но не увидел. Душа как птица присела на одинокое дерево у могилы. Душа плакала и думала, что, наверно, Дашу ее новый муж не отпустил даже на похороны. Душа его долго блуждала около этой пустынной могилы. Через месяц прилетела из Швеции дочь, а жена Катя, видимо, осталась там караулить внучку. Дочка долго плакала, сидя на лавочке у могилы. Потом улетела назад. А Даша так и не оказалась здесь. И только спустя сорок дней он понял, почему она не пришла, осознал то, о чем не хотел думать весь последний год. Даша давно ждала его на небесах, где они и встретились, наконец.

Сентябрь 2007

Об авторе

Владимир Карлович Кантор — доктор философских наук, профессор философского факультета Национального Исследовательского Университета — Высшей Школы Экономики (НИУ-ВШЭ), член редколлегии журнала «Вопросы философии», член Союза российских писателей, прозаик, лауреат премии Генриха Бёлля (Германия, 1992), нескольких отечественных премий, трижды номинированный на премию Букера, историк русской культуры, автор более пятисот опубликованных работ. Лауреат премии «Золотая вышка» за достижения в науке (2009, Москва). Область научных интересов — философия русской истории и культуры. По европейскому рейтингу, публикуемому раз в 40 лет (январь 2005) парижским журналом «Le nouvel observateur (hors serie)», вошел в число 25 крупнейших мыслителей современности, как **«законный продолжатель творчества Ф.М. Достоевского и В.С Соловьева»**. Произведения Владимира Кантора переводились на английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, чешский, сербский, эстонский языки.

Основные опубликованные сочинения Владимира Кантора

ПРОЗА

Два дома. Повести. — М.: Советский писатель, 1985.

Крокодил. Роман // Нева. 1990, № 4.

Историческая справка. Повести и рассказы. — М.: Советский писатель, 1990.

Победитель крыс. Роман-сказка. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1991.

Поезд «Кёльн-Москва». Повесть // Вопросы философии. 1995. № 7.

Мутное время. Из цикла «Сны» // Золотой век. 1995. № 7.

Крепость. Роман (журнальный вариант) // Октябрь. 1996, №№ 6, 7.

Чур. Роман-сказка. — М.: Московский Философский Фонд, 1998.

Соседи. Повесть // Октябрь. 1998, № 10.

Два дома и окрестности. Повесть и рассказы. — М.: Московский философский Фонд. 2000.

Рождественская история, или Записки из полумертвого дома. Повесть // Октябрь. 2002. № 9.

Крокодил. Роман. — М.: Московский философский Фонд. 2002.

Записки из полумертвого дома. Повести, рассказы, радиопьеса. — М.: Прогресс-Традиция. 2003.

Крепость. Роман (*сокращенный вариант*). — М.: РОССПЭН, 2004. (Серия «Письмена времени»).

Krokodyl. Roman. *Przekład: Walentyna Mikołajczyk-Trzcńska.* — Warszawa: Dialog, 2007.

Гид. Немного сказочная повесть // Звезда. 2007. № 6.

Соседи. Арабески. — М.: Время, 2008.

Смерть пенсионера // Звезда. 2008. № 10.

Krokodill. Romaan. Vene keelest tõlkinud Jüri Ojamaa. Tallinn: Loomingu Raamatukogu, 2009 / 3 -5.

Смерть пенсионера. Повесть, роман, рассказ. М.: Летний сад, 2010

Няня Рассказ // Знамя. 2010. № 12.

Сто долларов. Маленькая повесть // Звезда. 2011. № 4.

Запах мысли. Повесть (*не опубликована*)

Помрачение. Роман (*не опубликован*)

МОНОГРАФИИ

Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба. — М.: Искусство, 1978.

«Братья Карамазовы» Ф. Достоевского. — М.: Художественная литература, 1983.

«Средь бурь гражданских и тревоги...» Борьба идей в русской литературе 40-70-х годов XIX века. — М.: Художественная литература, 1988.

В поисках личности. Опыт русской классики. — М.: Московский Философский Фонд, 1994 (Серия «Россия и Запад»).

«...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. Историософские очерки. — М.: РОССПЭН, 1997.

Russija je evropska zemlja. Mukotrpan put ka civilizaciji. *Prevela s ruskog Mirjana Grbic.* (Biblioteka XX vek). Beograd. 2001.

Феномен русского европейца. Культурфилософские очерки. — М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999.

Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ). — М.: РОССПЭН. 2001.

Русская классика, или Бытие России. М.: РОССПЭН, 2005. (Серия «Российские пропилеи»).

Willkür oder Freiheit? Beiträge zur russischen Geschichtsphilosophie. Ediert von Dagmar Herrmann sowie mit einem Vorwort versehen von Leonid Luks. — **ibidem**-Verlag. Stuttgart 2006.

Между произволом и свободой. К вопросу о русской ментальности. М.: РОССПЭН, 2007. (Серия «Россия в поисках себя...»)

Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. М.: РОССПЭН, 2008. (Серия «Российские пропилеи»).

Das Westlertum und der Weg Russlands. Zur Entwicklung der russischen Literatur und Philosophie. Ediert von Dagmar Herrmann. **ibidem**-Verlag Stuttgart. 2010.

«Судить Божью тварь». Пророческий пафос Достоевского. Очерки. М.: РОССПЭН, 2010. (Серия «Российские пропилеи»).

«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (становление философского пространства в России). М.: РОССПЭН, 2011. (Серия «Российские пропилеи»).

СБОРНИКИ

Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века. Подготовка текста, составление, вступительная статья и примечания В.К. Кантора и А.Л. Осповата. — М.: Искусство, 1982. — (Серия «История эстетики в памятниках и документах»).

А.И. Герцен. Эстетика. Критика. Проблемы культуры. Составление, вступительная статья и комментарии В.К. Кантора. — М.: Искусство, 1987. — (Серия «История эстетики в памятниках и документах»).

К.Д. Кавелин. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. Составление, вступительная статья В.К. Кантора. Подготовка текста и примечания В.К. Кантора и О.Е. Майоровой (Серия «Из истории отечественной философской мысли»). — М.: Правда, 1989.

Метаморфозы артистизма. Составление, первая статья. — М.: РИК, 1997.

Ф.А. Степун. Сочинения. Составление, вступительная статья, примечания и библиография В.К. Кантора (Серия «Из истории отечественной философской мысли»). — М.: РОССПЭН, 2000.

Simon L. Frank Licht in der Finsternis. Versuch einer christlichen Ethik und Sozialphilosophie. Einleitung und Kommentar von Vladimir Kantor. — Verlag Karl Alber. Freiburg/München. 2008.

Юрий Михайлович Лотман. Сборник. Составление, вступительная статья В.К. Кантора (Серия «Философия России второй половины XX века»). — М.: РОССПЭН, 2009.

Федор Августович Степун. Жизнь и творчество. Избранные сочинения. Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора (Серия «Социальная мысль России»). — М.: Астрель, 2009.

Федор Августович Степун. Большевизм и христианская экзистенция. Избранные сочинения. Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора (в печати).

Александр Иванович Герцен. Избранные труды. Составление, предисловие, комментарии В.К. Кантора. (Серия «Библиотека общественной мысли»). М.: РОССПЭН, 2010.

Петр Бернгардович Струве. Сборник. Составление, вступительная статья О.А. Жуковой и В.К. Кантора (Серия «Философия России первой половины XX века»). — М.: РОССПЭН, 2012 (в печати).

Федор Августович Степун. Сборник. Составление, вступительная статья В.К. Кантора (Серия «Философия России первой половины XX века»). — М.: РОССПЭН, 2012 (в печати).

Содержание

Часть первая

Книжный мальчик

Наливное яблоко. <i>Рассказ</i>	7
Заимообразно. <i>Рассказ</i>	16
Немецкий язык. <i>Рассказ</i>	20
Знакомая девочка, или Как сверкают пятки. <i>Рассказ</i>	52
Язычница. <i>Рассказ</i>	55
Святочный рассказ.....	65
Смысл жизни. <i>Рассказ</i>	77

Часть вторая

Подросток

Радиоприемник. <i>Рассказ</i>	93
Собеседник. <i>Рассказ</i>	105
Ольга Александровна. <i>Рассказ</i>	125
Прятки. <i>Рассказ</i>	147
Библиофил. <i>Рассказ</i>	164
Лесной участок. <i>Повесть</i>	174
Глава 1. Телефонный звонок.....	174
Глава II. Бригада.....	180
Глава III. Споры-разговоры.....	190
Глава IV. Осиное гнездо.....	201
Глава V. Ужасное рукопожатие.....	214

Часть третья

Взрослый

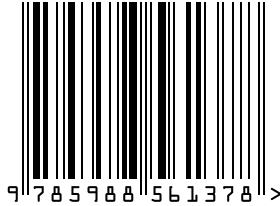
Фазанова. <i>Рассказ</i>	233
Случайные заботы и смерть. <i>Рассказ</i>	247
Поезд «Кёльн — Москва». <i>Повесть</i>	270
Ногти. <i>Рассказ</i>	330
Няня. <i>Рассказ</i>	347

Сто долларов. <i>Маленькая повесть</i>	357
Глава 1. Вопрос квартирный, перестроечный, семейный – все худо!.....	357
Глава 2. Телефон бросается на героя	366
Глава 3. Городской разбойник.....	374
Глава 4. За все надо платить, или Благодество разбойника	383
Глава 5. Когда наступает тьма?.....	389
Часть четвертая	
Старик	
Смерть пенсионера. <i>Рассказ</i>	399
Об авторе.....	424

Кантор Владимир Карлович

Наливное яблоко

Повествования



Корректор: Е. Романова
Компьютерная верстка: Ю. Балабанов

Издательство «Летний сад»: 121069, Москва, ОПС 69, а/я 46.
Сайт: <http://letsad.info>
E-mail: letsad@letsad.info

Книжный магазин «Летний сад»:
Москва, ул. Воздвиженка, 3/5
(в здании Российской Государственной Библиотеки,
1-й подъезд).
Телефон: 622-83-58.

Подписано в печать 10.02.2012. Печ. л. 27. Печать офсетная.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура Petersburg. формат 60x90/16.
Тираж 1500 экз. Заказ №



По-моему, это не совсем повести,
и не совсем рассказы.
Это необычный жанр философской прозы,
скажем - философский фельетон.
Если не ошибаюсь,
такие вещи были в бумагах Кафки.
Ваши произведения я осознаю как принадлежащие
к этому особому роду.
Странно простодушная интонация
и ощущение сильного страдания.

Самуил Лурье (из письма Вл. Кантору)

Написать историю так,
чтобы любому читателю стало вдруг внятно
ее «духовное измерение» – это настоящее мастерство
и главное достижение писателя.
Дело в том, что ему удалось сконцентрировать
на невозможно малом пространстве текста такое
множество важнейших бытийных вопросов и проблем.
Творчество Владимира Кантора поистине редкая
в сегодняшнем литературном процессе попытка
сохранить и продолжить лучшие традиции
отечественной словесности.
На верхние этажи смыслов поднимаются
его герои – и зовут за собой читателя.

Марина Загидуллина

Социальная реальность,
нарисованная Владимиром Кантором,
не похожа на пространство,
пригодное для жизни.
Поэтому герой Кантора,
как лучшие герои Достоевского и Толстого,
упорно не хочет адаптироваться к реальности.
Его внутренний мир выглядит как капля масла
в стакане с водой.
Она соприкасается, но не сливается,
она зависима – и, одновременно,
независима от среды обитания.

Константин Баршт